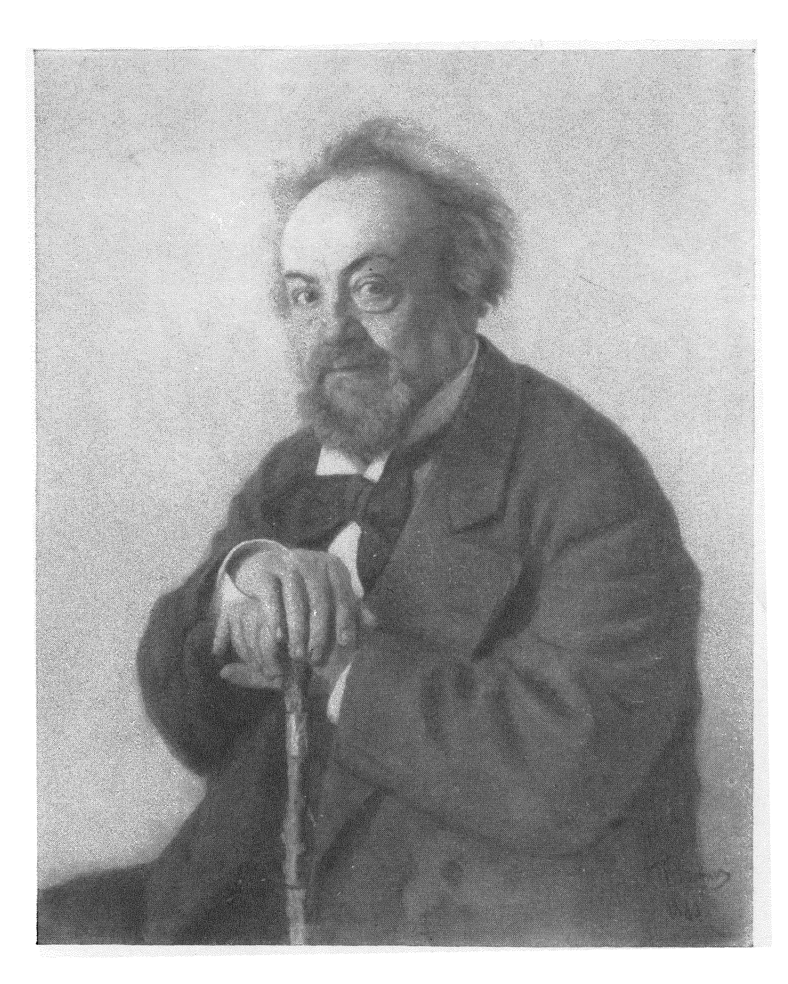
А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

А. Писемский



А. Ф. ПИСЕМСКИЙ.
Портрет работы И. Репина.

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением
А. П. Могилянского.

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
М. П. Еремина.

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕАЛИСТ

На своих современников Писемский производил не совсем обычное и даже, может быть, несколько странное впечатление. Один из самых популярных писателей своего времени, тонкий знаток театра и сам незаурядный актер, он по внешности ничем не напоминал художника, артиста, как тогда называли всякого человека, причастного к искусству. Петербургским и московским литераторам бросалось в глаза прежде всего провинциальное в нем. «Трудно себе представить,— вспоминает П. В. Анненков,— более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербург в образе... Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой» [1]. А он не только не старался преодолеть в себе эту «провинциальность», но даже несколько щеголял ею. Говорил он с ярко выраженным костромским акцентом, а о «столичной утонченности жизни», как вспоминает тот же Анненков, всегда отзывался насмешливо. В нем было что-то простецки-задиристое, свойственное его младшим современникам — писателям-разночинцам 60—70-х годов.

Но в его поведении нельзя было не заметить и того, что заставляло вспомнить патриархально-помещичьи нравы, что Анненков обозначил гоголевским словечком «халатность». Такое сочетание на первый взгляд казалось странным. Однако люди, близко знавшие Писемского, ясно видели, как естественно и непринужденно уживались в его характере такие как будто бы взаимоисключающие качества.

1

Алексей Феофилактович Писемский родился 11 марта 1821 года (сам он всегда указывал другую дату — 10 марта 1820 года)

---

[1] П. В. Анненков. Художник и простой человек (см. т. VIII Полн. собр. соч. А. Ф. Писемского, СПб, 1911, стр. 752—753).

в сельце Раменье, Чухломского уезда, Костромской губернии. Писемский любил то ли с гордостью, то ли с веселой иронией говорить о том, что он происходит из старинного, едва ли не четырехсотлетнего дворянского рода, что имена его предков «в родных преданьях прозвучали». Однако в новейшие времена ничего от былого могущества и славы Писемских не осталось. Отец будущего писателя, Феофилакт Гаврилович, выслужившийся из солдат подполковник в отставке, был дворянин без поместья. Он «зажил помещиком» только потому, что его жена — Евдокия Алексеевна Шипова — получила в приданое небольшое именьице.

В «Людях сороковых годов» есть выразительный диалог между Павлом Вихровым, образ которого, по признанию самого Писемского, во многом автобиографичен, и его отцом. Возвращаясь из гостей от богатой соседки Абреевой, отец с сыном разговорились о военной карьере, и Павел заметил, что служить в гвардии и быть флигель-адъютантом, по-видимому, хорошо.

«— Еще бы! — сказал старик.— Да ведь на это, братец, состояние надо иметь.

Павел внимательно посмотрел на отца.

— А мы разве бедны? — спросил он.

— Бедны, братец! — отвечал Михаил Поликарпыч и почему-то при этом сконфузился».

Да, это была бедность, хотя и особая, дворянская бедность. О куске хлеба, конечно, не приходилось думать, он был, но во всем остальном надо было соблюдать суровейшую экономию. Писемский, как и его герой, Павел Вихров, очень рано познакомился с бедностью и испытал на себе все ее «прелести», особенно унизительные именно в дворянской среде. Может быть, еще острее и болезненнее, чем Павел, он возненавидел положение человека, которого «облагодетельствовали» богатые соседи или родственники, которому «покровительствуют» их высокомерные дети. Отчасти, может быть, поэтому его и тянуло к крестьянским ребятишкам; ему не подсовывали их в качестве живых игрушек, как это было в богатых дворянских домах, он дружил с ними на равной ноге, говорил и думал, как они.

Но все-таки он был и барчук. У него были няньки и даже учителя, хотя и плохие по недостаточности родителей. В семье Писемских родилось десять детей, и только один, Алексей, остался жив. Естественно, что в нем души не чаяли. В своей автобиографии Писемский вспоминает, что в детстве он сделался «каким-то божком для отца и матери, да сверх того еще для двух теток, барышень Шиповых, которые... пылали ко мне какою-то материнской любовью, так что между соседним дворянством говорили, что у меня не одна мать, а три» [1].

Тринадцати лет он был определен во второй класс Костромской гимназии, в которой проучился шесть лет — с 1834 по 1840 год.

Писемский учился в школе николаевского времени, в ко-

---

[1] А. Ф. Писемский. Избранные произведения, М.—Л., 1932, стр. 25.

торой ученики, по словам Герцена, низводились до положения «арестантов воспитания». Вдалбливание «идей» о «всеблагом промысле господнем», о мудрости и отеческой попечительности «обожаемого монарха», об извечной греховности и порочности человеческой природы, о погибельной гордыне разума и о спасительности слепой веры; издевательское восхваление участи народа, голодного и забитого крепостниками; насаждение взаимной подозрительности и доносительства как важнейших гражданских добродетелей; наконец, запугивание самыми зверскими наказаниями — таков далеко не полный перечень средств, применявшихся для оболванивания юношей. Понятно, что пребывание под ферулой такой школы не могло не сказаться на характере Писемского, на его умонастроении.

К счастью, среди наставников Костромской гимназии были не только чиновники от педагогики, послушно исполнявшие предписания светского и духовного начальства. Были там и преподаватели вроде Николая Силыча Дрозденки («Люди сороковых годов»), которые приучали гимназистов критически относиться к окружающему их миру пошлости и паразитизма. Не без влияния таких преподавателей Писемский в последних классах гимназии стал всячески сопротивляться царившей здесь казенщине. Не зубрежка «от сих до сих» занимала теперь его время, а самостоятельное, пусть во многом еще беспорядочное, чтение. Оно-то, по-видимому, и подсказало первую мысль о писательском призвании.

С ним произошло то, что нередко случается с богатоодаренными людьми, когда они, сами еще того не понимая, стихийно, ощупью пробиваются на тот путь, на котором ожидает их главное дело их жизни. Натура деятельная, он под влиянием прочитанных книг попробовал писать сам, сочинив две (не дошедшие до нас) повести: «Черкешенка» и «Чугунное кольцо». Позднее Писемский отзывался о них не без снисходительной иронии, так как, по его собственному признанию, он описывал в них «такие сферы», которые были для него совершенно неведомы. В то время он находился под сильным влиянием весьма распространенной в 30-х годах романтической литературы с ее небывалыми страстями и «риторически ходульно-величавыми» героями. Недаром Писемский позднее признавался, что вышел из гимназии «большим фразером».

В 1840 году Писемский поступил на математическое отделение Московского университета. За четыре года пребывания в университете завершилось в основных чертах формирование его личности. Один из его современников утверждает, что «в нем всегда чувствовался московский студент сороковых годов» [1].

Московский университет в начале 40-х годов переживал своеобразную переходную эпоху. В преподавании старое, казенное соседствовало с новыми веяниями, а то и ожесточенно соперничало с ними. Среди профессоров было много еще людей реакционных в политическом отношении и безнадежно отсталых в научном. Достаточно сказать, что ректором университета до 1842 года был Каченовский, отсталость литературных (а позд-

---

[1] П. Д. Боборыкин. За полвека. М.—Л., 1929, стр. 146.

пее и исторических) взглядов которого обнаружилась еще в 20-х годах. В первой половине 40-х годов еще занимали кафедры и читали лекции такие усердные проповедники правительственной идеологии, как профессор русской истории М. П. Погодин, профессор археологии И. М. Снегирев или профессор словесности С. П. Шевырев.

Но в эти же годы в университете начинала свою преподавательскую деятельность плеяда молодых профессоров, все больше и больше завоевывавших симпатии студенчества. Лекции П. Г. Редкина, Т. Н. Грановского, Н. И. Крылова отличались не только научной глубиной и обстоятельностью; в них, хотя и в прикрытой форме, но вполне недвусмысленно осуждалось все средневековое в русской государственной и общественной жизни. Даже независимо от того, слушал Писемский лекции этих выдающихся ученых или нет, он не мог не испытать влияния их идей; демократически настроенные студенты (а таких было в то время большинство) на каждом шагу горячо обсуждали эти идеи, жили ими.

Интересы Писемского в это время были далеки от математики. Он по-прежнему львиную долю времени уделяет литературе. В своей автобиографии он признается: «Научных сведений из моего собственно факультета я приобрел немного, но зато познакомился с Шекспиром, Шиллером, Гете, Корнелем, Расином, Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Виктором Гюго и Жорж Зандом, сознательно оценил русскую литературу...» [1].

Этот перечень содержит в себе косвенное указание еще на одного учителя студенческой молодежи, имя которого не значилось в списках профессоров университета. С Шекспиром или Гете, Шиллером или Корнелем можно было тогда познакомиться из самых различных источников, но увлечься творчеством Жорж Санд можно было только под влиянием этого учителя. Большинство русских журналов к ее творчеству относилось отрицательно и замалчивало самое ее имя. В то время был только один влиятельный журнал, который систематически пропагандировал творчество Жорж Санд,— это «Отечественные записки», руководимые Белинским.

Писемский все ее творчество понимал «по Белинскому». Недаром еще в университете он начал писать роман на типически «жоржзандовскую» тему: о трагической судьбе женщины в помещичьем обществе, роман с характерным, недвусмысленно раскрывающим позицию молодого писателя заглавием — «Виновата ли она?».

Многозначительно и следующее признание Писемского: «...сознательно оценил русскую литературу...» В университете он окончательно освободился от былого увлечения романтической литературой и навсегда стал пламенным поклонником и последователем Гоголя. Этот поворот к реализму произошел, конечно, не под влиянием лекций и статей профессора Шевырева, который ставил Бенедиктова, одного из столпов реакционного романтизма, выше Пушкина, Лермонтова считал подражателем Бенедиктова, а Гоголя — автором «хохотливых», а иногда и

---

[1] А. Ф. Писемский. Избранные произведения, М.—Л., 1932, стр. 26.

«грязных» повестей. Литературные вкусы, эстетические взгляды Писемского формировались в то время под влиянием борьбы Белинского против казенно-романтической литературы, под влиянием его страстной защиты и пропаганды Гоголя.

Много лет спустя, когда праздновалось двадцатипятилетие литературной деятельности Писемского, поэт и критик Б. Н. Алмазов в присутствии юбиляра и, конечно, с его полного согласия говорил о том, что в студенческие годы Писемский был «жарким поклонником Гоголя и статей Белинского...», что «на эстетические его (Писемского.— М. Е.) теории имели большое влияние критические статьи Белинского...» [1]. Через три года после юбилея в письме к профессору Ф. И. Буслаеву, которое сам Писемский назвал своей творческой исповедью, он опять говорил о Белинском как об идеальном наставнике современных ему писателей [2].

Приобщение к литературным взглядам Белинского — самое важное, что он пережил в студенческие годы. Писемский не сумел подняться до понимания революционной сущности идей Белинского, но основные положения эстетики великого критика были для него несомненной истиной. Сама жизнь Белинского была для него примером самоотверженного служения литературе. Не случайно, создавая в «Тысяче душ» образ литератора-демократа, он воспроизвел в нем наиболее характерные черты личности Белинского.

После окончания университета Писемский вернулся в Раменье. Около десяти лет с небольшими перерывами прожил он в родных местах: то в Костроме — здесь он служил, начав с чина губернского секретаря и за восемь лет дотянув до титулярного советника,— то в Раменье, где он однажды собирался навсегда освободиться от службы и целиком отдаться писательству.

Трудно представить себе обстановку, более не подходящую для литературной работы, чем та, в которой жил Писемский в эти годы. Или постоянная, иссушающая душу возня с бесконечным потоком бумаг, или поездки, иногда в самые отдаленные уголки Костромской губернии, с самыми различными поручениями: то для производства следствия по делу об убийстве, то на поимку «разбойников», то для того, чтобы закрыть и уничтожить тайную старообрядческую церковь. Все это изматывало и физические и духовные силы.

В этой обстановке Писемский временами приходил в отчаяние. «Неизлечимый литератор», как сам он говорил про себя, он никогда, даже в самые трудные времена, не переставал писать, но в Костроме некому было даже прочесть написанное, годами ничего не удавалось напечатать: первое крупное произведение — роман «Виновата ли она?» — было запрещено цензурой, а другие, почти законченные, посылать в журналы он уже не решался, боясь, что их не пропустит «цензурная стража». Литературная работа казалась ему порою совершенно

---

[1] «Русский архив», 1875, № 4, стр. 453—454.

[2] А. Ф. Писемский. Письма, М.—Л., 1936, стр. 367. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Письма и соответствующая страница.

бессмысленной. Оставалась только надежда на старые студенческие московские связи. «...Напишите мне, бедному служебному труженику,— обращается он к А. Н. Островскому.— Письмо Ваше доставит слишком много удовольствия человеку, делившемуся прежде с Вами своими убеждениями, а ныне обреченному волею судеб на убийственную жизнь провинциального чиновника; человеку, который, по несчастью, до сих пор не может убить в себе бесполезную в настоящем положении энергию духа» [1]. А. Н. Островский откликнулся на это письмо: он помог Писемскому напечатать повесть «Тюфяк».

В русской литературе XIX века немного найдется произведений, появление которых было бы встречено таким дружным хором похвал и восторгов, какой раздался в конце 1850 года после выхода в свет «Тюфяка». Критики ведущих журналов того времени в один голос объявили повесть Писемского не только лучшим произведением отечественной беллетристики в 1850 году, но и одним из лучших произведений всей русской литературы.

Этот успех окрылил Писемского. Ему по-прежнему приходилось выполнять все чиновничьи обязанности, и все-таки он за один только 1851 год написал столько, что нельзя не удивляться, когда он успевал это делать.

Но этот же успех еще больше обострил одиночество. Писемский с каждым днем все тяжелее переносил свое вынужденное пребывание в чиновничье-дворянской Костроме. После творческого подъема 1851 года наступает упадок сил, раздражительность, боязнь за свое здоровье — словом, все то, что он называл ипохондрией «Если бы вы знали,— писал он М. П. Погодину,— как трудно и как неудобно заниматься беллетристикой мелкому губернскому чиновнику...» [2]. «Если я еще останусь на долгое время в Костроме, то решительно перестану писать»,— признается он ему [3]. К тому же и самая служба превратилась в непрерывную нравственную пытку. Простодушно-прямолинейный при исполнении своих служебных обязанностей, органически неспособный прибегать к плутовской чиновничьей дипломатии, Писемский никогда не был на хорошем счету у губернского начальства. А после того, как оно узнало, что коллежский секретарь Писемский — еще и знаменитый на всю Россию писатель, то попросту решило отделаться от опасного свидетеля. При первом удобном случае ему предложили перевестись в Херсон.

Он вышел в отставку и поселился в Раменье. Однако прожил он там недолго, хорошо понимая, что в деревне задерживаться нельзя. «Жить, во 1-х, нечем,— писал он А. Майкову,— во 2-х, очень уж одичаешь» [4]. Писемский принимает решение навсегда переехать в Петербург и начать жизнь профессионального литератора. «В Питер, в Питер! Бог с ним, с этим уединением, в котором я даже сочинять не могу. Гоголь между многими умными правдами сказал одну неправду, что

---

[1] Письма, стр. 26.
[2] Письма, стр. 532.
[3] Письма, стр. 537.
[4] Письма, стр. 73.

будто бы писатель должен искать вдохновения в тиши кабинета: вдохновение я, по крайней мере, черпал всегда из жизни, а в уединении, и то временном, непродолжительном, удобно пользоваться этим вдохновением» [1].

В конце 1854 года он уже был в Петербурге.

Кончились его чиновничьи мытарства, о которых он всю жизнь не мог вспоминать без раздражения и боли. Но не только горькие воспоминания обременяли его душу, когда он покидал родное костромское захолустье. Служба в Костроме давала Писемскому неограниченные возможности наблюдать самодержавно-крепостническую Россию в самых цинически откровенных проявлениях, видеть жизнь народа во всей ее непосредственности. Все, что составило ему славу незаурядного художника, все, за что современники ставили его имя наряду с именами Островского, Тургенева и Гончарова,— все это было сделано под впечатлением того бесконечного количества фактов, событий и лиц, которые в костромские годы проходили перед его вдумчивым взором. Его обширная память запечатлела так много, что этого хватило не только на то, что уже было написано или задумано ко времени отъезда в Петербург, но с избытком наполнило и те его произведения, которые он создавал позднее.

2

Первые произведения Писемского были созданы и большею частью опубликованы в то время, когда русская литература испытывала особенно ожесточенный натиск реакции.

Сороковые—пятидесятые годы XIX столетия — это период, когда все более и более обнаруживалась внутренняя несостоятельность «фасадной», по характеристике Герцена, империи Николая I. И главной болезнью режима, по признанию самих высших властей, было крепостничество. Напуганное неуклонно нараставшим протестом крестьян против помещичьего гнета, правительство Николая I со дня на день ждало открытых выступлений народа. Малейшие отклонения от официального регламента, которому заправилы самодержавно-крепостнической реакции стремились подчинить все стороны жизни общества, рассматривались как симптомы бунта.

После того, как в Петербурге было получено известие о французской революции 1848 года, главари режима потеряли последние остатки самообладания. «Красная опасность» чудилась им повсюду и особенно в литературе. На нее-то и обрушились наиболее тяжелые удары. Во главе цензуры были поставлены самые озлобленные и невежественные сановники, вроде Бутурлина или Корфа, которые до того были ослеплены страхом, что даже в евангельских притчах усматривали скрытую проповедь... социализма. Но и эти беспримерные цензурные гонения казались Николаю I явно недостаточными. Над всеми передовыми литераторами нависла угроза расправы без суда

---

[1] Письма, стр. 77.

и следствия. Тайная полиция уже готовилась арестовать Белинского, и только его смерть помешала осуществить этот замысел. Достоевский был осужден на каторжные работы; Плещеев отдан в солдаты в отдаленные оренбургские гарнизоны, куда за год до этого был сослан великий поэт украинского народа Тарас Шевченко; Щедрин изнывал в вятской ссылке, и никакие хлопоты не могли облегчить его участи.

Естественно, что все эти неистовства реакции не могли не отразиться на состоянии литературы. Журналы, альманахи и сборники наводнились «светскими» повестями и романами, бесконечными элегиями или игривыми безделушками. «Вот опять,— писал Чернышевский,— как во времена Марлинского и Полевого, появляются на свет, читаются большинством, одобряются и ободряются многими литературными судьями произведения, состоящие из набора реторических фраз, порожденные «пленной мысли раздраженьем», ненатуральною экзальтациею, отличающиеся прежнею приторностью, только с новым еще качеством — шаликовской грациозностью, миловидностью, нежностью, мадригальностью... и эта реторика, оживши в худшем виде, опять угрожает наводнить литературу, вредно подействовать на вкус большинства публики, заставить большинство писателей опять забыть о содержании, о здоровом взгляде на жизнь, как существенных достоинствах литературного произведения» [1].

В эти годы заявили претензии на главенствующее положение в литературе всевозможные противники критического реализма. С глубокомысленным видом толковали они о Пушкине, который был якобы основоположником «чистого» искусства, искусства, примиряющего с жизнью, то есть с самодержавно-крепостнической действительностью; они лицемерно заявляли, что между «Мертвыми душами» Гоголя и его «Выбранными местами из переписки с друзьями» нет принципиального различия и т. п. Особенным, имевшим прямо-таки доносительский характер нападкам подвергались писатели «натуральной» школы, то есть школы Белинского и Гоголя. Их произведения объявляли «грязными», «мизантропическими», не отражающими «светлых» сторон жизни. Необходимо было высокое гражданское мужество, чтобы сопротивляться проповеди апологетов официальной идеологии, чтобы не поддаться обезоруживающим нашептываниям теоретиков «искусства для искусства» и продолжать дело правдивого воспроизведения жизни. Именно поэтому тургеневские «Записки охотника», например, или комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» были восприняты передовыми людьми того времени не только как крупнейшие явления в истории русского искусства, но и как бесспорные свидетельства необоримости освободительного движения в стране.

В этой обстановке позиция Писемского может на первый взгляд показаться весьма неопределенной. Наибольшее количество его произведений в 1850—1852 годах печатается в одном из самых реакционных журналов того времени, в славянофиль-

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, М., 1949, стр. 255.

ском «Москвитянине». Но в это же время он начинает постоянно сотрудничать в некрасовском «Современнике». В его высказываниях о литературе сталкиваешься подчас с явной разноголосицей. То он мечтает о блаженных временах, «когда критика в искусстве будет видеть искусство, имеющее в самом себе цель...» [1], то смеется над рецензентами, восхищавшимися «ограниченной», как он ее характеризовал, поэзией Фета, спрашивая, «не похожи ли они в этом случае на котов, у которых чешут за ухом» [2]. Эти факты отчасти и породили довольно устойчивую легенду о том, будто Писемский творил бессознательно, не руководствуясь никакой определенной системой взглядов, не преследуя никаких более или менее ясно осознанных целей; будто «ко всем партиям, ко всем лагерям, ко всем людям он относился одинаково скверно» [3]. Однако эта легенда не имеет под собой сколько-нибудь твердой почвы. В колебаниях Писемского явно выделяется тенденция, сложившаяся в его сознании еще в студенческие годы.

Живя в костромском захолустье, Писемский внимательно следил за событиями в литературе. Он сурово осуждал мелкотравчатую, развлекательную беллетристику, получившую в то время большое распространение. «Видит бог,— писал он издателю журнала «Отечественные записки» Краевскому,— сколько я желаю трудиться и сделать хоть что-нибудь для русской литературы, и с каким грустным и тяжелым чувством пробегаю я повести, романы и рассказы моих собратов, которые, кажется, и приучили цензоров к бесцветности и пошлости» [4].

Зато с какой радостью приветствовал он все, в чем видел здоровые начала передовой русской литературы! Каждое новое произведение Тургенева, Л. Толстого (особенно его «Севастопольские рассказы»), Островского он воспринимал как свой успех. «Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума» или, точнее сказать, купеческие «Мертвые души»,— писал он Островскому после прочтения его комедии «Свои люди — сочтемся» [5]. В развитии традиций Грибоедова и Гоголя, то есть традиций критического реализма, он видел одну из главных заслуг Островского, и поэтому малейшие отступления от этих традиций, как, например, в комедии «Бедность не порок», Писемский рассматривал как нечто чужеродное в творчестве великого драматурга [6].

Среди многочисленных легенд, связанных с именем Писемского, легенда, будто он в период своего сотрудничества в «Москвитянине» испытал на себе влияние славянофильских идей, занимает далеко не последнее место. Однако, не говоря уже о том, что в его произведениях трудно найти мотивы, сколько-нибудь осязательно связанные со славянофильской идеологией, все его взаимоотношения с издателем «Москвитянина» М. П. Погодиным и членами «молодой редакции» этого

---

1 Письма, стр. 63—64.
2 Письма, стр. 69.
3 С. А. Венгеров. Собр. соч., т. 5, СПб, 1911, стр. 176.
4 Письма, стр. 41.
5 Письма, стр. 26.
6 Письма, стр. 75.

журнала свидетельствуют о том, что он никогда не был последовательным единомышленником этих людей.

Дружеский кружок литераторов, составивших так называемую «молодую редакцию» «Москвитянина», по своим эстетическим и общественно-политическим устремлениям не был единым и монолитным, как это изображают славянофильствующие мемуаристы. Такие члены этого кружка, как поэт и критик Алмазов, критик Эдельсон, знаток старинной русской песни и благоговейный ценитель православного богослужения Филиппов и теоретик кружка Аполлон Григорьев, в сущности, с начала 50-х годов примыкали, с незначительными оговорками, к официальной идеологии. Хоть они и не прочь были при случае поиронизировать над старомодной и прямолинейной терминологией откровенного реакционера Погодина, их сотрудничество с ним было вполне закономерно.

В этом содружестве занимал особое место Островский. На первых порах он, может быть, и не совсем отчетливо сознавал свои расхождения с членами «молодой редакции». Но постепенно он все более и более ясно видел, что в его творчестве их интересуют лишь те элементы идеализации патриархальности, которые, как это показал Чернышевский в своей статье о комедии «Бедность не порок», в корне противоречили действительно плодотворному началу творчества драматурга, с такой силой выразившемуся в «Своих людях». С самого основания «молодой редакции» Островский был в ней наиболее последовательным сторонником гоголевского направления. Именно поэтому он и привлек Писемского в журнал.

Не входя непосредственно в состав «молодой редакции», Писемский пытался противодействовать влиянию А. Григорьева, из статьи в статью твердившего об антихудожественности произведений писателей «натуральной» школы, о необходимости примирения с господствовавшей в то время действительностью. «Я не советую вам верить Григорьеву на слово,— писал он Погодину в одном из своих писем,— он завирается иногда». «Посоветуйте говорить об авторах,— настаивает он в другом письме к тому же Погодину,— чем о своих началах»,—разумея под последними излюбленные философские и исторические рассуждения Григорьева[1]. Правда, эти попытки поссорить явного реакционера Погодина с проповедником чуть-чуть подновленного славянофильства Григорьевым были довольно наивны, но они, тем не менее, весьма характерны для Писемского. В конце концов он отходит от этого кружка, резко осудив свойственное большинству его членов «лицемерие, ханжество», «возмутительное, безмысленное славянофильство»[2]. С 1853 года он прекращает сотрудничество в «Москвитянине».

В 1851 году он начал печатать свои произведения в «Современнике». Но и в этом журнале не все для него было приемлемо. До 1854 года, то есть до вступления в редакцию «Современника» Чернышевского, критический отдел журнала находил-

---

[1] Письма, стр. 47.
[2] Письма, стр. 62.

ся под сильным влиянием сторонников «чистого» искусства — А. В. Дружинина, П. В. Анненкова, В. П. Боткина. Именно с ними и спорил в то время Писемский. Так, например, он резко осудил статью Анненкова «Романы и рассказы из русского простонародного быта в 1853 году», в которой ее автор ополчался против «грубых изображений» крестьянской жизни и советовал живописать ее так, чтобы несчастья и тяготы были скрыты подобно тому, как «очертания крыльца и забора итальянской избы пропадают в гуще плюща и виноградника, обвивающих их со всех сторон» [1]. Особенное возмущение Писемского вызвала мысль Анненкова о том, что «при рассказах Писемского вы... извлекаете поучение и вывод не касательно быта, который описывается, а касательно искусства, с каким подступает к нему автор и им овладевает» [2]. В одном из своих писем он заявил, что Анненков «совершенно не понял того, что писал я...» «Вместо того, чтобы вдуматься в то, что разбирает, он приступил с наперед заданной себе мыслью, что простонародный быт не может быть возведен в перл создания, по выражению Гоголя, да и давай гнуть под это все» [3].

В статье Анненкова он вскрыл ту же тенденцию, с которой столкнулся и в писаниях А. Григорьева,— тенденцию к примирению с крепостнической действительностью.

В своей статье о втором томе «Мертвых душ», сравнив творческий метод Диккенса с методом Теккерея, Писемский высказал один из основных своих взглядов на литературу: «Один успокаивает себя и читателя на сладеньких, в английском духе, героинях, другой хоть, может быть, и не столь глубокий сердцевед, но зато он всюду беспристрастно и отрицательно господствует над своими лицами и постоянно верен своему таланту» [4]. Воспитавшийся на статьях Белинского, Писемский был глубоко убежден: талант тогда достигает расцвета, когда художник правдиво рисует действительность, не скрывая ее недостатков...

3

После того, как был напечатан «Тюфяк», всем стало ясно, что в литературу влилась новая незаурядная сила. И естественно, что обсуждение первых произведений Писемского еще больше обострило старые споры о плодотворности основных направлений в русской литературе 40—50-х годов. Все противники критического реализма—от славянофильствующего Аполлона Григорьева до англомана А. В. Дружинина,— будто сговорившись, твердили о том, что произведения Писемского ничего общего с традициями «натуральной» школы не имеют, что он начинает какое-то особое направление в русской литературе.

---

[1] П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. II, СПб, 1879, стр. 48.

[2] Там же, стр. 68.

[3] Письма, стр. 71.

[4] А. Ф. Писемский. Полн. собр. соч., т VII, СПб, 1911, стр. 457.

А. Григорьев в каждом произведении Писемского склонен был видеть явную полемику с «натуральной» школой. О «Тюфяке», например, он писал, что это — «самое прямое и художественное противодействие болезненному бреду писателей натуральной школы», что Писемский в своих произведениях якобы развенчал «героев замкнутых углов (намек на повесть Некрасова «Петербургские углы».— М. Е.) с их... им самим непонятными стремлениями, проводящих «белые ночи» (имеется в виду роман Достоевского «Белые ночи».— М. Е.) в бреду о каких-то идеальных существах, к которым не смеют подойти в действительности, или страдающих в действительности от этих же самых идеальных существ; только г. Писемский, может быть и даже вероятно, с душевной болью отнесся к этому герою как следует, комически» [1].

Но Григорьев не мог не видеть, что смысл произведений Писемского, как ни старайся, нельзя втиснуть в рамки такого толкования. Именно поэтому критик и обвинял Писемского в непоследовательности, укорял его в том, что он не овладел самым высоким идеалом эпохи — идеалом, провозглашенным Гоголем в его «Выбранных местах из переписки с друзьями». Писемскому, по мнению Григорьева, не хватало «определенного и вместе идеального миросозерцания, которое служило бы ему точкой опоры при разоблачении всего фальшивого в благородных, по-видимому, стремлениях, что вследствие этого, отрицательное начало легко может ввести его в безразличное равнодушие» [2]. Именно Григорьева и следует считать родоначальником легенды о безыдейности Писемского.

Но если А. Григорьев отсутствие приемлемого для него определенного (религиозно-моралистического) миросозерцания считал недостатком, то А. В. Дружинин это же самое вымышленное идейное безразличие возвел в безусловное достоинство. Писемского он провозгласил одним из основателей «школы чистого и независимого творчества», школы, свободной от влияния Белинского, который, как тщился доказать Дружинин, направлял писателей на путь прямолинейного дидактизма. Так же, как и Анненков, Дружинин безоговорочно хвалил Писемского за то, что его произведения якобы не вызывают в читателе «побуждений филантропических» [3], то есть, просто говоря, не возбуждают сочувствия к страдающим людям: «... г. Писемский наносит смертный удар старой повествовательной рутине, явно увлекавшей русское искусство к узкой, дидактической и во что бы ни стало мизантропической деятельности» [4].

Безосновательность этих попыток противопоставить творчество Писемского традициям «натуральной» школы с неопровержимой убедительностью показал Н. Г. Чернышевский. «Каждому, знакомому с ходом русской беллетристики,— писал он,— известно, что никаких перемен в ее направлении г. Писемский не производил, по очень простой причине — таких перемен

---

[1] «Москвитянин», 1853, № 1 (январь), стр. 29.
[2] Там же, стр. 6—7, 29, 62.
[3] А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VII, СПб, 1865, стр. 277—278.
[4] Там же, стр. 264.

во все последние десять лет не было, и литература более или менее успешно шла одним путем,— тем путем, который проложил Гоголь»[1]. Отличие Писемского от других литераторов гоголевской школы не в направленности его творчества в целом: он считал злом то же, что и писатели «натуральной» школы, сочувствовал тому же, что и они, но и сочувствие и осуждение выражалось у него в неповторимых, присущих только ему формах. В чем же, по мнению Чернышевского, своеобразие стиля Писемского?

«В своей критической статье о Гоголе,— писал великий критик,— г. Писемский выражал мнение, что талант Гоголя чужд лиризма. Про Гоголя, как нам кажется, этого сказать нельзя, но, кажется нам, в таланте самого г. Писемского отсутствие лиризма составляет самую резкую черту. Он редко говорит о чем-нибудь с жаром, над порывами чувства у него постоянно преобладает спокойный, так называемый эпический тон... Нам кажется, что у г. Писемского отсутствие лиризма скорее составляет достоинство, нежели недостаток; нам кажется, что хладнокровный рассказ его действует на читателя очень живо и сильно, и потому полагаем, что это спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость. Правда, некоторые из наших критиков, обманываясь этим спокойствием, говорили, что г. Писемский равнодушен к своим лицам, не делает между ними никакой разницы, что в его произведениях нет любви и т. д.— но это совершенная ошибка... На чьей стороне горячее сочувствие автора, вы ни разу не усомнитесь, перечитывая все произведения г. Писемского. Но чувство у него выражается не лирическими отступлениями, а смыслом целого произведения. Он излагает дело с видимым бесстрастием докладчика,— но равнодушный тон докладчика вовсе не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правою докладчику»[2].

Стало быть, для того, чтобы понять, какая сторона кажется правою докладчику, необходимо понять, как составлен «доклад». Но для этого необходимо прежде всего знать, о чем «доклад», то есть какова тема тех произведений Писемского, о которых писал Чернышевский. На этот вопрос Писемский однажды ответил сам с присущей ему выразительностью.

Приблизительно за год до того, как была напечатана статья Чернышевского, Писемский, совершавший тогда по заданию морского министра своеобразную литературно-этнографическую поездку вдоль побережья Каспийского моря, в одном из писем к жене сообщил такую подробность: «На всем этом пространстве меня более всего заинтересовали бакланы, черная птица, вроде нашей утки, которые по рассказам находятся в услужении у пеликанов... Пеликан сам не может ловить рыбу, и это для него делает баклан, подгоняя ему рыбу, иногда даже

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 569.
[2] Там же, стр. 570—571.

кладя ему ее в рот, засовывая ему при этом в пасть свою собственную голову. Чем вознаграждают их за эти услуги пеликаны — неизвестно! Кажется, ничем! Очень верное изображение человеческого общества» [1].

Писемский еще раз поставил здесь вопрос, который волновал его всю жизнь: в чем смысл существования целого класса людей, живущих за счет чужого труда? Во времена Писемского это был один из самых сложных вопросов, приковывавших внимание всех лучших людей общества.

Русское дворянство, как и всякий эксплуататорский класс, создало целую систему «теорий», доказывающих необходимость и даже благодетельность своего существования. Православная церковь внушала массам безграмотного, забитого народа, что господин поставлен «от бога». Ученые идеологи возвеличивали дворянство как единственный просвещенный класс, насаждающий в отсталой России блага культуры и цивилизации, воздвигающий своими усилиями славу и мощь Российского государства.

Из поколения в поколение лучшие люди русского общества стремились вскрыть лживость этих «теорий». И в первых рядах борцов против дворянской идеологии всегда шли русские литераторы.

Еще в XVIII столетии Новиков, Фонвизин, молодой Крылов пришли к мысли о том, что существует тесная связь между дворянской дикостью и развращенностью и дворянским бытием за счет труда крепостных. И все-таки даже этим писателям казалось, что жизнь за счет труда крепостных развращает только необразованных, непросвещенных помещиков. Как и многие люди того времени, они надеялись, что по мере распространения просвещения число добродетельных, гуманных помещиков будет неизменно увеличиваться, а следовательно, и участь народа будет облегчаться, а «злых» дворян будет все меньше и меньше.

Но не эта прекраснодушная вера определяла характер их произведений. Просвещенные, исполненные благороднейших мыслей и чувств Стародумы, Правдины и Милоны были все-таки исключением. Они терялись в тени таких массивных созданий, как Простаковы и Скотинины, которые воплощали в себе черты и нравы всей дворянской массы. Именно в этом и заключалась сила лучших произведений XVIII века.

Но в первой половине XIX века, в пору дальнейшего обострения кризиса крепостнической системы, литераторы, стоявшие на страже интересов дворянства, перевернули это соотношение. Они выдвигали на первый план среднего или богатого, образованного, «гуманного» помещика, как истинного выразителя сущности дворянского класса. Наряду с этим рыцарем «просвещения» они показывали и «непросвещенного» помещика. Как правило, это был мелкопоместный, живущий в деревенской глуши крепостник. На фоне общего «благополучия» в стране — а литературные адвокаты дворянства

---

[1] Письма, стр. 95.

только то и делали, что доказывали эту «истину»,— можно было и посмеяться над деревенским увальнем. Даже Булгарин и его приспешники — и те «обличали» помещика-провинциала, злой нрав которого не смягчен просвещением и который по этой причине нарушает нормы дворянской морали, а иногда и законности, что, впрочем, всегда, как уверяли эти писатели, пресекалось попечительными властями.

Разоблачение этой реакционной идиллии со времен Пушкина было одной из главных задач русской литературы. Пушкин в последние годы жизни пришел к мысли, что разница между «просвещенными» и непросвещенными — внешняя, заключающаяся чаще всего только в степени усвоения дворянского этикета. Иван Петрович Берестов, ничего не читавший, кроме «Сенатских ведомостей», и претендовавший на «просвещенность» англоман Григорий Иванович Муромский поссорились, пожалуй, только потому, что местное дворянство не может жить без сплетни. Муромский и Берестов отлично поладили, как только случай представил им возможность сойтись, не нанося урона их спеси. Интересы у них были общие и взгляды на жизнь, в сущности, одинаковые.

Для Гоголя принцип сопоставления невежественного помещика с дворянином, напялившим личину «просвещенности», стал основой воспроизведения дворянской жизни. Сладчайший Манилов, мечтающий о том, чтобы «следить какую-нибудь этакую науку»,— не менее отвратительный паразит, чем Собакевич, Коробочка или даже Плюшкин. Гоголь настойчиво подчеркивает, что таких людей, как Ноздрев или Собакевич, можно встретить не только в провинции, но и в верхах дворянского общества. Даже Коробочка, и та не исключение: «...Иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка».

Великие произведения Гоголя заключали в себе знаменательную для русского общественного сознания мысль: все эти люди не исключение, а норма дворянской жизни. Именно эта мысль и была подхвачена и развита писателями «натуральной» школы. Она же лежала в основе всего раннего творчества Писемского. Но в разработке этой намеченной Гоголем темы он шел несколько иным путем, чем его великий учитель.

Персонажи «Мертвых душ», например, раскрыли себя перед читателем все-таки в не совсем обычной для них обстановке. Чичиков с своей негоцией ворвался в их среду, как нечто из ряда вон выходящее. Они предстают перед читателем в крайнем проявлении характеров. Писемский 40—50-х годов сосредоточил свое внимание на заурядном быте дворян. Люди проверяют приходы и расходы; заботятся об устройстве своих домашних дел; влюбляются и заключают браки, развлекаются, как умеют; иногда неторопливо ссорятся; довольно часто, но, кажется, без злого умысла сплетничают. Но стоит только перевернуть несколько первых страниц любого произведения Писемского этого периода, как впечатление мирной патриархальности исчезает бесследно. Что ни дальше, то все яснее становится, что в этой среде каждый поступок, каждый взгляд, каждое слово таят в себе какую-то опасность. Отноше-

ния между людьми развиваются здесь всегда в одном и том же направлении: скрытая неприязнь и подозрительность превращаются в откровенную, ничем уже не сдерживаемую вражду; тревожные ожидания оправдываются: наступает катастрофа. Вся жизнь в этом обществе устроена так, что страдания и обиды являются ее неизбежными спутниками.

Не вынесши бесконечных унижений и надругательств, погибла героиня «Боярщины» Анна Павловна Задор-Мановская; страдает Юлия Кураева, насильно выданная замуж за нелюбимого человека и обманутая тем, кого она любила; страдает несчастный муж Юлии — «тюфяк» Павел Бешметев, когда-то мечтавший об ученой карьере, а теперь все более и более погружающийся в ту тину «сердце раздирающих мелочей», которая на обывательском языке называется жизнью «порядочного» общества; страдает его сестра Лизавета Васильевна Масурова, несущая тяжкий крест совместной жизни с пошляком-мужем; обманы и издевательства свели в могилу Веру Павловну Ензаеву («Богатый жених»); убит на дуэли (в ней он преднамеренно искал смерти) одаренный юноша Леонид Ваньковский («Виновата ли она?»); его сестра Лидия, обреченная выносить постоянную враждебность своей озлобленной матери и ее циничных друзей, едва ли не завидует участи брата; загублена жизнь внучки гоф-интендантши Пасмуровой — Ольги Николаевны («Старая барыня»)...

Следя за судьбой тех, которые страдают, нельзя, по-видимому, сомневаться в том, что непосредственные виновники их страданий — это какие-то прирожденные злодеи. Но Писемский не торопится с моралью. Он приглашает читателя еще и еще раз присмотреться к жизни своих героев, прежде чем делать окончательные заключения.

Ведь когда Задор-Мановский обвиняет жену в обмане и откровенно признается, что не женился бы на ней, если бы знал заранее о ее бедности, то он действует в данном случае в точности так же, как действовали бы на его месте и другие члены дворянского общества. Недаром вся боярщинская «общественность» — от Ивана Александровича Гуликова до предводителя дворянства — признает его правоту и во всем обвиняет его «безнравственную» жену. Владимир Андреевич Кураев вовсе не злодей. Он искренне был убежден, что «пристроил» Юлию так, как это обычно «делается в свете». Правда, заключая этот брак, он рассчитывал, что кое-что при этом перепадет и ему. Но это его не смущает: так на его месте поступил бы каждый. Он всего лишь прилежный блюститель нравов того самого «хорошего» общества, которое он, как и тысячи людей его круга, считает воплощением всего наиболее достойного в человечестве. Неколебимая уверенность Масурова в том, что он приятнейший член общества и образцовый семьянин, основана не на одной только его глупости,— таково мнение всего общества. Бахтиаров ни разу не подумал, как подло он относится к доверившимся ему женщинам,— но разве дворянская мораль не признала безоговорочно право людей его положения жить, ни в чем себе не отказывая? Отличный танцор Сергей Петрович Хазаров и его тесть — унылый хвастун Антон Федорыч Ступицын, «утонченный» Алексей Сергеевич Ухмырев («Бога-

тый жених») и властная гоф-интендантша Пасмурова («Старая барыня»), фанфарон Шамаев и губернский лев Батманов («M-r Батманов») — все они уверены, и не без основания, что действуют вполне в духе общепринятой в дворянском обществе морали. Нити от их губительной деятельности тянутся в самые недра взрастившей их среды.

Может быть, потому жертвы и не знают толком, кого проклинать, кому мстить за свои страдания. Ведь они и сами в подавляющем большинстве заражены той же моралью, что и их мучители, и у них нет сил освободиться от ее влияния. Так в частных судьбах, в дрязгах домашней жизни людей вырисовывается перед читателем жизнь всего дворянского общества.

Именно на эту способность Писемского проникать в самые затаенные уголки жизни указывал в свое время критик-демократ Писарев: «Вглядитесь в личности, действующие в повести Писемского,— вы увидите, что, осуждая их, вы, собственно, осуждаете их общество; все они виноваты только в том, что не настолько сильны, чтобы проложить свою оригинальную дорогу; они идут туда, куда идут все; им это тяжело, а между тем они не могут и не умеют протестовать против того, что заставляет их страдать. Вам их жалко, потому что они страдают, но страдания эти составляют естественные следствия их собственных глупостей; к этим глупостям их влечет то направление, которое сообщает им общество... Нам остается только жалеть о жертвах уродливого порядка вещей и проклинать существующие уродливости»[1].

Но умение понять, что жизнь каждого человека обусловлена жизнью всего общества, вовсе не вело Писемского к всепрощению. Для него было несомненно, что в обществе нет прирожденных извергов и чистых праведников, но он всегда добросовестно стремился различать в обществе правую и виноватую стороны. Для него все дело заключалось в том, насколько личные склонности и влечения того или иного человека соответствуют господствующей морали, господствующим в обществе интересам, насколько человеческое еще сохранило способность пробиваться через кору традиционно общепринятого.

Конечно, все эти Задор-Мановские, Кураевы, Масуровы, Ухмыревы, Шамаевы, Марасеевы усвоили взгляды на жизнь, незыблемые, по их мнению, хотя бы уже потому, что за ними стоят вековые традиции. Но они далеко не пассивно исповедуют эти взгляды. Свое основное право — право жить в свое удовольствие за счет чужого труда — они готовы отстаивать любыми средствами. Причем это право понимается этими людьми весьма расширительно. Присвоение труда крепостных было для них делом естественным, как само существование. Волновало только одно: мало! Мало доходов, мало денег, мужики изленились. С этого пункта начинались поиски средств для приличного существования. Получить наследство, взять приданое, выйти за-

---

[1] Д. И. Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 172.

муж за богача, выиграть, занять, выклянчить, вынудить шантажом — как угодно, только чтобы были деньги!

Ни один писатель 50—60-х годов с такой тщательностью не исследовал этой прозаической, но зато самой существенной стороны дворянской жизни.

В критике издавна укрепилось мнение о некоторой грубости таланта Писемского, о его неумении видеть жизнь во всей сложности оттенков. Писемского мало волновали эти упреки. В жизни дворянской массы — а он именно на ней сосредоточил свое внимание,— по глубокому убеждению Писемского, просто не оставалось места для той человечности, которая одна и составляет поэзию жизни. Дружба, любовь, сострадание, даже родственные привязанности — все эти чувства превращены здесь в предмет торга.

Правда, среди персонажей Писемского есть такие, в душе которых сохранилось еще нечто человеческое. Хотя они и заражены обывательщиной, но не настолько, чтобы не видеть хотя бы самых кричащих ее уродств. У них нет достаточной энергии для борьбы, но они, чаще всего хорошенько даже и не понимая этого, стремятся вырваться из липких объятий господствующей рутины.

В характерах этих людей, по-видимому, не может не быть той сложности и тонкости душевной жизни, которая обязательно должна привлечь внимание большого художника. И Писемский, кажется, с полным доверием и даже увлечением начинает приглядываться к этой сложности. Но результаты оказываются весьма неутешительными. У тех, кто искренне ищет выхода из окружающей их пошлости, удручающе бедные идеалы. Стремления этих людей не простираются дальше мечты о жизни с любимым человеком, в обстановке, весьма схожей с той, в которой они живут. Это идеал все того же бездеятельного существования. Ведь и Анна Павловна Задор-Мановская, и Вера Ензаева, и Лизавета Васильевна Масурова, не говоря уже о Юлии Кураевой, пределом мечты которой являются прогулки по Невскому, и Лидия Ваньковская — все они, в конце концов, мечтают лишь о том, чтобы уйти от тех гнетущих обстоятельств, которые их непосредственно окружают: от нелюбимого мужа и его циничных друзей, от лицемерных опекунов или от бездушных родителей. Их мечты о лучшей жизни всегда отдают маниловской беспочвенностью и малодушием. Какая уж тут сложность душевной жизни! Может быть, самая глубокая мысль подавляющего большинства произведений Писемского 40—50-х годов в том и заключается, что дворянское общество страшно обедняет мечту человека, опустошает его душу.

На первый взгляд может показаться, что духовная жизнь тех, на кого жертвы смотрят, как на своих спасителей, более содержательна. Герой «Боярщины» Эльчанинов учился когда-то в университете и при каждой подходящей оказии твердит о намерении начать новую, лучшую жизнь. Курдюмов («Виновата ли она?») не менее утонченная и возвышенная натура: он интересуется и музыкой, и живописью, и даже гальванопластикой. Так же, как и Шамилов («Богатый жених»), и Бахтиаров, и Батманов, они при каждом удобном случае стараются показать, что между ними и дворянской массой нет ничего общего, что

они выше ее мелочных интересов и с величайшей готовностью отдали бы свои силы какому-то важному делу, если бы давным-давно не разочаровались в такой возможности. Каждый из них мог бы подписаться под этой жалобой Бахтиарова: «С юных лет он хотел быть чем-то выше посредственности и, может быть, достигнул бы этого; но люди и страсти испортили его на первых порах». Нетрудно догадаться, что эти люди настойчиво претендуют на патент «лишнего человека».

В дворянском обществе отношение к «лишним людям» было двойственным. Конечно, Онегины и Печорины не способны на активный протест, «умными ненужностями» назвал их Герцен. Однако чрезвычайно важно, что они не хотели быть вместе с теми,

Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился...

В годы последекабрьской реакции они были воплощенным осуждением господствовавшего тогда строя жизни. Потому-то к ним и тянулись все, кто, хоть порою и очень смутно, чувствовал свой разлад с дворянской средой. «Лишние люди» всем своим поведением тревожили нечистую совесть обывателя. Он ненавидел их, боялся и втайне завидовал им, потому что чуял в них именно умных, хороших людей. Так, рядом с Печориным появилось его карикатурное отражение — Грушницкий.

Писемский всегда отчетливо видел различие между Печориными и Грушницкими и всю силу своей иронии направил против людей, кокетничающих разочарованием. Между его героями — всеми этими Эльчаниновыми, Шамиловыми, Бахтиаровыми, Батмановыми — и «лишними людьми» ничего общего нет. Глубокие, искренние страдания Печорина или Бельтова им просто непонятны. Им органически чужды те страстные искания полезной деятельности, столь характерные для людей типа Бельтова или Рудина. В отличие от Онегиных и Печориных эти герои Писемского осуждают светское общество лишь на словах, а на деле всеми силами стремятся проникнуть в него. Бахтиаров в молодости давал «породистым приятелям лукулловские обеды, обливая их с ног до головы шампанским и старым венгерским», и все только для того, чтобы стать среди них своим человеком. Эльчанинов потому так и обрадовался «покровительству» графа Сапеги, что надеялся с его помощью стать «светским человеком».

По отношению к этим людям ирония Писемского не знает никакой пощады. Даже сами эти претензии на «светскость» не имели под собой, по его мнению, решительно никакого основания. В его изображении все они — заурядные любители «пожить», готовые ради этой перспективы пойти на все, вплоть до поступления на содержание к богатой женщине. У каждого из них в прошлом или в перспективе богатая вдова—дворянка ли, купчиха ли, все равно! Бахтиаров через это уже прошел. Шамилов и Батманов этим кончили, а Эльчанинов и рад бы устроить-

ся на содержание, да случай не выходит, и потому он вынужден просить взаймы по мелочам.

Эти люди были вдвойне опасны: взятыми напрокат фразами о «разочаровании» они обманывали людей, искренне стремившихся вырваться из цепких лап дворянско-обывательской пошлости. Когда гибли жертвы дворянских нравов, то среди их палачей Эльчаниновы, Бахтиаровы, Шамиловы, Курдюмовы играли если не главную, то, бесспорно, самую отвратительную роль.

Этими образами Писемский как бы завершает анализ моральной физиономии дворянского общества сверху донизу. От мрачного, необузданного Задор-Мановского до «элегантного» Эльчанинова, от звероподобного Пионова до корректнейшего Курдюмова тянется фаланга непосредственных исполнителей уродливых законов этой среды.

В статье о втором томе «Мертвых душ» Писемский, говоря о героях Гоголя, между прочим, заметил, что главный их порок заключается даже не в отсутствии образования и не в предрассудочных понятиях, а кое в чем посерьезнее, что для исправления их мало школы и цивилизации. Этой характеристикой гоголевских героев Писемский определил и сущность подавляющего большинства персонажей своих ранних произведений. Нет, их не исправишь просвещением, цивилизация коснулась их только внешней своей стороной. Они прочно срослись с крепостнической почвой и будут держаться за нее до тех пор, пока она не разрушится окончательно.

Страшный мир опустошенности и бесчеловечности отразился в ранних произведениях Писемского. И все-таки жизнь страны в целом не представлялась ему безысходно мрачной. За помещичьей Россией он видел Россию народную, видел и хорошо знал мужика, который, по глубокому убеждению Писемского, был носителем лучших качеств нации.

Как ни тяжела жизнь мужика, он все-таки каким-то чудом сохраняет в себе ту внутреннюю независимость личности, которая то и дело проявляется в снисходительно-ироническом отношении к барину. Этим чудом, по глубокому убеждению Писемского, был труд, сам процесс работы. Хоть мужик и знал, что он работает не на себя, но он знал также и то, что только его трудом «всякое дело ставится, всякое дело славится». Недаром в народе так уважают хороших работников. Писемский с восхищением живописал именно эти черты народного характера. Его излюбленные герои, такие, как питерщик из одноименного рассказа или Петр Алексеевич из «Плотничьей артели»,— это все «строптивые» люди, люди с высокоразвитым чувством собственного достоинства, но зато ведь это и выдающиеся работники, мастера своего дела, способные тонко чувствовать красоту труда. И эти качества проявились бы в народе с еще большей силой, если бы не крепостничество.

Помещики не только присваивают труд крестьян, но постоянно унижают и развращают их. Особое внимание Писемский обращал на то, как насаждается в крепостных холопское терпение и угодничество. Стоит только вспомнить фигуру Спиридона Спиридоныча, лакея Кураевых, чтобы понять, как

Писемский относился к лакейству крепостных. Тема лакейства как неизменного спутника барства, пожалуй, наиболее убедительно развита в «Старой барыне». Не говоря уже о Якове Ивановиче — этом «фанатике челядинства», как назвал его Чернышевский,— все, кто соприкасался с Пасмуровой, в той или иной мере заражены лакейством. Лакейство и во внуке Якова Ивановича, рекруте-охотнике Топоркове; наконец, лакейство в большинстве дворовых Пасмуровой, которые в храмовые праздники буйствовали на базарах, похваляясь тем, что они люди Пасмуровой и им от властей не угрожает никакое наказание.

Несмотря на то, что отношение Писемского к дворянству было резко отрицательным, он, показывая развращающее воздействие крепостничества, редко подчеркивал личную вину дворянина. Барин Егора Парменыча («Леший»), может быть, и «добрый человек», но, как большинство помещиков, он бездеятелен и легковерен. Егор Парменыч прежде, чем стать управителем, был у него лакеем. Именно в этой школе он научился и изворотливости перед сильными и хамской жестокости в своем отношении к подчиненным крестьянам. Барин не является непосредственным виновником несчастий Марфуши, однако нити преступлений Егора Парменыча идут к нему. В конечном счете дело даже не в личности этого барина, а в системе отношений, то есть в крепостном праве. Оно губительно по самой своей природе, и никакая барская доброта не может смягчить его.

В этом проявилась одна из характернейших особенностей стиля Писемского. Писарев, сравнивая творческий метод Тургенева с методом Писемского, заметил: «Читая «Дворянское гнездо» Тургенева, мы забываем почву, выражающуюся в личностях Паншина, Марьи Дмитриевны и т. д., и следим за самостоятельным развитием честных личностей Лизы и Лаврецкого; читая повести Писемского, вы никогда, ни на минуту не позабудете, где происходит действие; почва постоянно будет напоминать о себе крепким запахом, русским духом, от которого не знают куда деваться действующие лица, от которого порой и читателю становится тяжело на душе» [1].

Дворянство, угнетая народ, развращая его, парализовало таким образом развитие главной творческой силы страны. В этой мысли основной идейный итог «костромского», наиболее плодотворного периода в творчестве Писемского.

4

В лучшую свою пору талант Писемского развивался и мужал чрезвычайно стремительно. В середине 50-х годов каждое новое его произведение обнаруживало какие-то еще неизвестные стороны и грани его незаурядного дарования. Он пробовал свои силы в самых различных жанрах: писал повести и рассказы, романы и очерки, комедии и литературно-критические статьи. Но, как ни разнообразны были его интересы и возможности, к этому времени уже явно определилась его писательская «спе-

[1] Д. И. Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 172.

циальность». Превосходно владея формой рассказа и очерка, Писемский все-таки охотнее обращался к большим эпическим формам — к повести и особенно к роману, в котором наиболее свободно и непринужденно «укладывались» неисчерпаемые запасы его наблюдательности. Роман стал для него ведущим жанром еще и потому, что этого требовала главная тема его творчества.

Те критики, которые на первых порах поспешили объявить его бытописателем помещичьей провинции, вскоре должны были убедиться в ошибочности такого заключения. В его творчестве тема частных, семейных отношений постепенно отходила на второй план и все большее значение приобретала тема общественных отношений людей. Естественно, что рано или поздно он должен был перейти от семейно-бытовой повести к социальному роману. «Тысяча душ» и стала первым социальным романом Писемского.

Этим романом он как бы подвел итог своего творчества за пятнадцать лет. Все, что в предшествовавших произведениях на первый читательский взгляд представало как нечто частное, «уездное» или «губернское» и только при ближайшем рассмотрении обнаруживало свою общероссийскую природу, в «Тысяче душ» явилось в удивительно цельной картине, сконцентрированно, рельефно.

Дворянско-чиновничье общество отразилось в этом романе по всей вертикали — от захолустной усадьбы и каморки мелкого уездного чиновника до великосветских салонов и приемной столичного вельможи. Работая над этим произведением, Писемский, по-видимому, лелеял такой же дерзкий замысел, как и его великий учитель: показать «всю Русь», показать, как в погоне за душами крепостных рабов безобразно переплетаются умыслы и страсти, как иллюзорны в этом мире циников мечты о жизни, достойной человека.

«Тысяча душ» открывается выдержанными почти в тоне умиления сценами из жизни семейства Петра Михайловича Годнева — бывшего смотрителя энского уездного училища. Спокойна и размеренна эта жизнь с ее тихими радостями и мимолетными светлыми печалями: добродушные, вечно повторяющиеся шутки Петра Михайловича; хлопотливая воркотня Пелагеи Евграфовны — не то экономки в доме, не то подруги Петра Михайловича; ежедневные визиты внешне сурового и замкнутого, но на самом деле добрейшего и благороднейшего капитана Флегонта Михайловича Годнева; невинные капризы и увлечения дочери Петра Михайловича, Настеньки; мирные чаепития и чтения вслух — все это поначалу кажется так устойчиво, что невозможно и подумать о какой-либо опасности, которая могла бы угрожать этому идиллически-безоблачному существованию. По крайней мере, Петр Михайлович не предвидел ее ниоткуда. Город Энск, по словам этого мягкого, гуманного человека, «исстари славится дружелюбием», все энские чиновники, по его убеждению,— «люди отличные, живут между собою согласно».

Однако чем больше и настойчивей расхваливает Петр Михайлович нравы энского общества, тем меньше ему веришь. Только наивному человеку, вроде Петра Михайловича, энские

отношения могут показаться такими мирными и патриархальными.

Энский почтмейстер — большой любитель чтения — оказывается бессердечным ростовщиком; простоватые купцы, которых Годнев так дружески укоряет или наставляет, на каждом шагу «обдирают» народ; исправник, человек тихий и незаметный, систематически предпринимает «стеснительные наезды на казенные имения», а с местных судопромышленников взыскивает незаконные поборы,— конечно, для собственных нужд.

Но энские нравы вовсе не исключение. В «Тысяче душ» Писемский более убедительно, чем в любом другом своем произведении, показал, что жизнь дворянско-чиновничьего общества сверху донизу характеризуется почти неприкрытым грабежом, продажностью и лихоимством. Соучастие в расхищении народного достояния — вот что связывает членов этого общества круговой порукой. Энский исправник изрядную долю награбленных им денег в виде ежегодных «приношений» отдает губернатору Базарьеву, а тот покрывает проделки исправника. Помещик Прохоров хочет присвоить имение своего родственника Язвина и добивается, чтобы губернские власти объявили Язвина сумасшедшим. И тут не обошлось без «приношений» губернатору и его ближайшим сообщникам по грабежу.

Взятки и куши связывают в один клубок и губернатора, и городского архитектора, и откупщика Четверикова, и подрядчика Папушкина, опутавшего нищий народ неоплатными долгами и бессовестно издевавшегося над ним, не боясь никакого наказания.

Писемский все шире раздвигает границы своего повествования. Нити от этих уездных и губернских преступлений тянутся в столицу. Нашлись же там защитники Базарьева, когда его «подвиги» стали уж слишком бросаться в глаза. И там все держится на лихоимстве и казнокрадстве, только, может быть, размеры кушей побольше да берут несколько иначе: энская исправница принимает взятки запросто, по-домашнему, а посредница петербургских вымогателей красавица-баронесса сговаривается с просителями на великосветском балу или в своем роскошно убранном будуаре.

Повествуя о вакханалии всеобщего хищничества, Писемский вскрывает и его основную причину. «Автор дошел до твердого убеждения,— восклицает он,— что для нас, детей нынешнего века, слава... любовь... мировые идеи... бессмертие — ничто перед комфортом... Для комфорта чистым и нечистым путем ищут наследство; для комфорта берут взятки и совершают, наконец, преступления».

Эти признаки века, ознаменованного невиданным усилением стяжательства, алчности и авантюризма, маниакальной приверженности к комфорту, особенно убедительно воплощены Писемским в образе князя Ивана Раменского. Кумир провинциального дворянства и чиновничества, свой человек в гостиных высшего света, князь Иван считает сам себя носителем цивилизаторской миссии русского дворянства, «забелкой человечества». Но этот аристократ по происхождению и положению в обществе успел приобрести также и качества буржуа-авантюриста. Чтобы

жить, как он привык, на широкую ногу, он пускается на всевозможные аферы. Заранее зная, что ничего строить не будет, он хочет взять подряд на строительство дороги, лишь бы урвать побольше денег. Он отдает красавицу-дочь за откупщика Четверикова, чтобы поживиться от его капиталов. Ради денег он становится любовником полусумасшедшей генеральши Шеваловой — владелицы тысячи душ и миллионного состояния. Ради денег же он развращает дочь генеральши Полину, а потом сосватывает ей мужа, но и за эту «комиссию» урывает пятьдесят тысяч рублей. Прелюбодей и сводник, мошенник и шантажист, готовый каждую минуту перейти от угроз к беспардонной лести,— таков этот человек, сконцентрировавший в себе всю мерзость нравственного вырождения дворянства.

Образ князя Ивана чрезвычайно важен для понимания особенностей композиции «Тысячи душ». Писемский умело связывает воедино многочисленные отделенные друг от друга не только большими расстояниями, но и сословными и кастовыми перегородками очаги действия не при помощи путешествия героя, как у Гоголя в «Мертвых душах», и не при помощи всеохватывающей интриги, как в романах Достоевского. Композиционная монолитность «Тысячи душ» зиждется на деловой взаимозависимости действующих лиц романа. Столичные воротилы могут и не знать о существовании какой-нибудь энской исправницы, баронесса, например, с ней никогда и не встретится, но тесная связь между ними все время ощущается.

Можно ли подумать, читая первую часть романа, что незаметный энский чиновник Медиокритский, покровительствуемый исправницей, через несколько лет, после целого ряда пережитых им превратностей судьбы, воспарит до великосветских сфер? Но вот в четвертой части романа мы видим Медиокритского в Петербурге, его выслушивают важные начальники, он—защитник «законных» прав своих поручителей, в самом фешенебельном ресторане Петербурга он дает почти каждую неделю обеды, на которых, может быть, присутствуют те же самые люди, что и на приемах баронессы. И все это благодаря князю Ивану, который является одной из стержневых фигур романа, связующих самые, казалось бы, отдаленные колесики огромной антинародной машины дворянского государства.

Князь Иван чувствует себя в этом обществе — и среди простоватых энских обитателей и в окружении петербургской знати — вполне непринужденно и вольготно, как рыба в воде. Это его родная среда, всегда к нему ласковая и щедрая. Его покладистость и предупредительность не только проявление светской натренированности, но и своего рода дань уважения этой самой среде.

Отношение к дворянскому обществу главного героя романа — Якова Васильевича Калиновича — гораздо сложнее.

Демократ по происхождению, он не испытывает почтения к нравам и даже законам этого общества. Особенно неприемлемо для него то, как вознаграждаются здесь подлинные человеческие достоинства и заслуги. «Более сорока лет живу я теперь на свете,— говорит он Настеньке,— и что же вижу, что выдвигается вперед: труд ли почтенный, дарованье ли блестящее, ум ли большой? Ничуть не бывало! Какая-нибудь

выгодная наружность, случайность породы или, наконец, деньги».

Эта несправедливость для него тем более нестерпима, что он полон сознания своего превосходства над теми «ума не дальнего ленивцами», которых так много в дворянской среде. И на самом деле: Калинович не безвольный Бешметев, не фанфаронствующий позер вроде Эльчанинова или Шамилова. Это человек целеустремленный, энергичный, что выгодно отличает его даже от образованнейшего, утонченного, но бездеятельного Белавина. Но на что направлена его энергия? При всем своем презрении к нравам и обычаям дворянского общества он не обнаруживает никакого стремления бороться с ним.

Все его поведение и в Энске и в Петербурге убеждает прежде всего в том, что его целеустремленность крайне эгоистична. Во что бы то ни стало вырваться из безвестности в верхи, достигнуть богатства и власти — вот самые задушевные мечты Калиновича. Он написал повесть, но не ради того, чтобы отстоять какую-то дорогую для него идею, а чтобы прославиться, приобрести деньги. Как только Калинович убеждается в том, что писательство не принесет ему желаемой славы и денег, он без всякого сожаления оставляет литературное поприще. Калинович отличается от окружавших его дворян лишь тем, что умеет скрывать свои истинные намерения, цели и «идеи». Простодушный Годнев не замечает его маскировки, а князь Иван легко разгадывает Калиновича. Когда он предлагает ему жениться на Полине, он знает, что вовсе не «соблазняет» Калиновича, а только высказывает ему его собственные желания. Он знает, что новый смотритель уездного училища также считает себя «забелкой» человечества. Понадобилось немного времени, чтобы Калинович произнес свое знаменитое: «Я ваш». «Идейности» этого героя достало только на то, чтобы признаться: «Мы, однако, князь, ужасные с вами мошенники!..»

Еще в самом начале работы над романом Писемский так определил основную его мысль: «...что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления, главное и отличительное его направление практическое: составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, обеспечить будущность свою и потомства своего — вот божки, которым поклоняются герои нашего времени,— все это даже очень недурно... Стремление к карьере производит полезное трудолюбие, из частного комфорта слагается общий комфорт и так далее, но дело в том, что человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца, а потом, когда цель достигается, то всегда почти он видит, что стремился к пустякам, видит, что по всей прошедшей жизни — подлец и подлец черт знает для чего!» [1]. Калинович и есть этот герой времени. Писемский своими многочисленными отступлениями в «защиту» своего героя вовсе не противопоставляет его дворянству. Он лишь подчеркивает, что в судьбе Кали-

[1] Письма, стр. 77—78.

новича с наибольшей резкостью обнаруживается бесчеловечная мораль этого общества. Она взлелеяла в Калиновиче мечту о богатстве и комфорте. Ради осуществления этой мечты он спокойно перешагивает через труп Годнева, легко бросает пожертвовавшую для него всем Настеньку. Любовь, дружба, чувство долга и признательности — все втоптано в грязь в угоду божкам Калиновича: деньгам и славе.

Кажется, он достиг своей цели. «Я... отвратительнейшим образом продал себя в женитьбе,— признается он Настеньке,— и сделался миллионером. Тогда сразу горизонт прояснился и дорога всюду открылась. Господа, которые очей своих не хотели низвести до меня, очутились у моих ног!..» Но Писемский, верный своему первоначальному замыслу, в полном соответствии с правдой жизни убедительно показал, что все это куплено ценой полного опустошения личности. По силе обличения растлевающей власти денег и жажды богатства образ Калиновича перекликается с зловещей фигурой Германна из пушкинской «Пиковой дамы».

Но все это верно только для первых трех частей романа. В четвертой части романа положение резко изменяется. Перед нами, в сущности, другой образ. Писемский всячески старается убедить читателя, что комфорт и слава не конечная цель Калиновича. Они — только ступеньки на пути к осуществлению «главной цели», определившейся в его сознании, оказывается, еще на университетской скамье. Эта главная цель — проведение «бесстрастной идеи государства с возможным отпором всех домогательств, сословных и частных».

Достигнув вице-губернаторства, Калинович повел жестокую борьбу с злоупотреблениями. Губернатора Базарьева отзывают в Петербург. Идея «надклассового», внесословного государства, которую он исповедовал якобы со студенческих лет, как будто бы начала осуществляться.

Эта идея не была чужда Писемскому с самого начала его творчества. В произведениях Писемского костромского периода есть, пожалуй, единственный герой, к которому он относится без всякой иронии,— это кокинский исправник Иван Семенович Шамаев. В «Фанфароне» кокинский исправник — суровый обличитель тех самых чрезмерных сословных домогательств дворянства, против которых решил вооружиться по воле Писемского Калинович, а в «Лешем» — носитель идеи «внесословного» государства, добившийся отстранения ненавистного крестьянам Егора Парменыча.

Но при всем сочувствии кокинскому исправнику Писемский не подчеркивал программности этого образа.

«Леший» и «Фанфарон», так же как и первые две части «Тысячи душ», написаны до 1855 года. Идея «внесословного» государства не имела тогда никакого подтверждения в практике управления страной.

После поражения царского правительства в крымской войне положение, как думал Писемский вместе с многими своими современниками, изменилось в корне. Широковещательные обещания Александра II отменить крепостное право и реформировать государственный аппарат он воспринял как прямое подтверждение идеи «внесословной», «просвещенной» монархии.

Ему казалось, что теперь дело было только за энергичными, бескорыстными людьми, которые помогли бы правительству осуществить взятую им на себя миссию. Фигура Калиновича показалась подходящей для этой роли. В четвертой части романа, над которой Писемский работал в 1857 и начале 1858 года, мы видим уже нового Калиновича. Человек, надругавшийся над любовью самоотверженной девушки, женившийся ради денег, получивший за взятку место вице-губернатора, становится по воле автора бесстрашным борцом с общественными недугами. Именно поэтому либеральные критики в своих отзывах о «Тысяче душ» всячески расхваливали образ Калиновича. Дружинин усиленно подчеркивал «благородство» этого героя, найдя некую романтику даже в его стяжательских стремлениях [1]. Дудышкин желал только того, чтобы будущим последователям Калиновича было «покойнее» проходить служебное поприще [2].

Иначе отнеслась к роману Писемского революционно-демократическая критика. В документе, не предназначавшемся для печати, Чернышевский назвал «Тысячу душ» «превосходным романом» — именно за верность изображения всеобщего грабежа, царящего в среде защищаемого петербургским начальством губернского чиновничества [3]. Но на страницах руководимого им журнала внимание читателей было обращено не на эту сторону «Тысячи душ». Добролюбов несколько раз резко осуждал ту политическую тенденцию, которая нашла свое выражение в ратоборстве Калиновича — вице-губернатора. «О «Тысяче душ», например,— писал он в одной из своих статей,— мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее» [4].

Трезвый художник-реалист, Писемский почувствовал, что зашел слишком далеко, наделив Калиновича качествами самоотверженного борца за «идею».

Поэтому, работая над четвертой частью романа, он пытался некоторыми ироническими деталями как-то смягчить ореол, окружающий образ Калиновича. Эта ирония сквозит уже в том, что среди сторонников Калиновича наряду с честнейшим Экзархатовым и ссыльным магистром были и такие люди, как уланский ротмистр, мужчина с лицом итальянского бандита, или племянник Базарьева — шалопай Козленев, «оппозиционность» которого проявилась в том, что он в дни губернских балов собирал горничных и «угощал» их так, что те возвращались в господские дома мертвецки пьяными.

Ирония чувствуется и в описании дела помещика Язвина. Калиновичу удалось доказать, что Язвин не сумасшедший, и тем установить корыстную причастность губернатора к этой грязной истории. Но чем яснее то, что Язвин не сумасшедший, тем определеннее убеждение в том, что он прирожденный идиот. Калинович, таким образом, выступает в бессмысленной роли

---

[1] А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VII, СПб., 1865, стр. 254.
[2] «Отечественные записки», 1859, т. СXXII, январь, отд. II, стр. 19.
[3] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, М., 1950, стр. 455.
[4] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 2, М., 1935, стр. 207.

ревностного защитника «законных» прав идиота на владение нормальными людьми!

Но эти сами по себе выразительные детали не могли восстановить цельность образа.

В «Тысяче душ» талант Писемского выразился с большей, чем в любом из его предшествующих произведений, силой. Но в нем резче, чем прежде, сказались и присущие этому художнику слабости. За год до выхода в свет «Тысячи душ» Чернышевский в статье о Писемском заметил, что некоторые его воззрения на жизнь «не подготовлены наукой», что он не имел «рациональной теории о том, каким бы образом должна была устроиться жизнь людей...» [1]. Чернышевский говорил не о полном отсутствии у Писемского «теорий» о хорошем устройстве жизни, а о нерациональном характере той положительной программы, которая давала себя знать уже в ранних произведениях Писемского. В «Тысяче душ» либеральные иллюзии Писемского отразились более прямолинейно, и это в значительной мере снизило художественную ценность романа.

Важно иметь в виду, что эти иллюзии в дальнейшем творчестве Писемского не исчезли. Их воздействие можно проследить даже в «Горькой судьбине» — едва ли не самом сильном его произведении.

Писемский с гимназических лет был тесно связан с театром. Уже в юности он обнаружил незаурядные актерские способности, а в университете его сценические успехи были настолько серьезны, что он отваживался выступать перед «большой» публикой. «При окончании курса,— вспоминал он,— что было в 1844 году, стяжал снова славу актера: я так сыграл Подколесина в пьесе Гоголя «Женитьба», что, по мнению тогдашних знатоков театра, был выше игравшего в то время эту роль на императорской сцене актера Щепкина» [2]. Естественно, что, став литератором, он не мог не писать для театра.

Первыми его опытами в драматургии были две комедии: «Ипохондрик» (1851) и «Раздел» (1852). В обеих комедиях идет речь о той же пустоте и бесчеловечности дворянского существования, что и в других его произведениях того времени. Уже в этих ранних пьесах Писемского видны некоторые свойства его драматургического стиля: резкая характерность, выпуклость образов, вплоть до второстепенных; непосредственность речи, иногда даже несколько грубоватая. Но здесь Писемский-драматург только еще пробовал свои силы. И в «Ипохондрике» и в «Разделе» налицо не только верность методу Гоголя, но чувствуется также и некоторая еще зависимость от конкретных гоголевских образов и ситуаций.

Во всей полноте талант Писемского-драматурга раскрылся в его народной драме «Горькая судьбина».

О драме из крестьянской жизни Писемский стал думать, по-видимому, давно. Такие его рассказы, как «Питерщик», «Леший», «Плотничья артель», уже свидетельствовали о том,

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948. стр. 571.

[2] А. Ф. Писемский. Избр. произведения, М.—Л., 1932, стр. 26.

что он умел находить в крестьянской среде характеры, исполненные глубокого драматизма. Сделать мужика героем драматического представления — в этом он видел не только задачу личного творчества, но и задачу всей русской литературы. Именно поэтому он советовал Островскому «заняться мужиком»[1].

Правда, «Горькая судьбина» была не первой драмой из народного быта. Во второй половине 50-х годов появилось много драматических поделок, в которых человек из народа был просто носителем «пикантных» бытовых подробностей, чем-то вроде этнографического экспоната. Оригинальность «Горькой судьбины» заключается прежде всего в том, что драматический интерес сосредоточен в ней не на деревенской экзотике, а на раскрытии сложности и своеобразной красоты характеров людей из народа.

Прежде всего это относится к Ананию. Он из тех крестьян, которые уже не хотят мириться с помещичьей властью. И это не стихийная строптивость. Он не просто чувствует, но твердо, хотя и не без примеси патриархальных предрассудков, сознает свое человеческое достоинство. С презрением он относится к мужикам вроде Давыда или Федора, которые покорно переносили надругательства старого барина. Ананий и в Питер уехал главным образом потому, что хотел быть подальше от помещика и бурмистра.

Вполне естественно, что такой рассудительный человек не мог поддаться первому порыву оскорбленного чувства. И в то же время легко себе представить, какие нравственные муки придется пережить Ананию с его обостренным чувством чести и строгими представлениями о супружеских обязанностях, прежде чем он справится хоть немного с обрушившимся на него несчастьем. В самом характере Анания заключено зерно напряженнейшей психологической драмы.

Однако этим жанровая природа «Горькой судьбины» не исчерпывается. Ананий не поверил рассказу Лизаветы о том, что она «согрешила» потому, что «стали повеленья и приказанья... делать». Он не без основания предполагал самое страшное для себя: Лизавета полюбила барина, то есть сознательно нарушила свои супружеские обязанности, которые он так свято чтил. Но в этом факте он видел двойное оскорбление: «грех» Лизаветы, с его точки зрения, отдавал лакейством. «В высокое же звание вы залезли»,— говорит он жене. Таким образом, семейный конфликт перерастает в социальный, тем более неразрешимый, что Чеглов-Соковин не желает отпускать от себя крепостную любовницу.

Казалось бы, одно это может властно приковать внимание зрителя к тому, что происходит на сцене. Но в дальнейшем ходе событий обнаруживается еще одна черта в характере Анания: он глубоко и трогательно любит свою жену и страдает оттого, что она не отвечает на его чувство. Проявляется оно весьма своеобразно. Он не говорит, да, кажется, и не умеет говорить о любви. Он добивается, по-видимому, только одного: оберечь свое честное имя от позора, подчинив Лизавету пат-

[1] Письма, стр. 106.

риархальной власти мужа. В борьбе с Чегловым-Соковиным он твердо отстаивает свое патриархальное, освященное, как он верит, богом право мужа — «...заставить там ее, али нет, полюбить себя». На этом основании Чеглов-Соковин объявляет его «тираном». Но «тиранские», домостроевские декларации Анания — это просто указания на «закон», перед которым должен отступить и помещичий произвол. Он еще верит, что этим ему удастся защитить не только свою честь, но и честь своей жены, отстоять судьбу дорогого ему человека. За «тиранскими» доводами Анания — «жалость», то есть любовь и надежда.

Но патриархальная законность не защитила; Лизавета не образумилась. Жизнь потеряла всякий смысл. Воля утратила свою власть, и ослепленный темперамент толкнул Анания на бессмысленное убийство ребенка.

Сохранились свидетельства современников о том, что в доцензурном варианте «Горькой судьбины» Ананий должен был убить Чеглова-Соковина, и только под давлением цензуры Писемский воспользовался советом артиста Мартынова и завершил драму раскаянием своего героя. Однако при последующих перепечатках «Горькой судьбины», когда цензура могла уже разрешить и прежний финал, Писемский не восстановил его. По-видимому, он считал, что эта месть противоречит сущности характера Анания. Его надежды на личное счастье окончательно рухнули, как он думал, прежде всего потому, что Лизавета не любила его. Стало быть, мстить помещику не было смысла. А до мысли об общем бунте Ананий, конечно, еще не дорос. Новое в нем — уважение к человеку и его независимости — только еще начинало пробиваться сквозь толстый слой патриархальных иллюзий и предрассудков, которые в критический момент его жизни одержали верх.

Такое же сложное переплетение старого и нового и в характере Лизаветы. Это цельная и страстная натура, на долю которой выпали безмерные страдания. Ее выдали за нелюбимого человека. По деревенским традициям, она должна была почитать его и бояться. Но Лизавета — «человек непереносливый», как она сама о себе говорит. Непререкаемая власть мужа порождала внутреннее сопротивление, перераставшее в глухую ненависть. Все это мешало ей присмотреться к Ананию и увидеть в нем то, за что можно было если не любить, то хотя бы уважать его.

Разразившаяся над ней катастрофа сломила ее, но и открыла в конце концов глаза и на Чеглова-Соковина и на мужа. Ее рыдания в финале драмы — это красноречивейшее свидетельство того, что она, наконец, поняла: человеком, по-настоящему ее любившим, был Ананий.

Чеглов-Соковин, которого Лизавета так любила и на которого она возлагала все свои надежды, был, по существу, равнодушен к ее судьбе, хотя и уверял всех в своей любви к ней. Это и понятно. Конечно, он отличается от закоренелого крепостника Золотилова. Он осуждает растленную мораль, проповедуемую Золотиловым, и утверждает даже, что мужики в нравственном отношении стоят выше дворян. Хозяйствовать,

как хозяйствуют другие помещики, он не мог, служить не хотел потому, что «подслуживаться тошно». Но поступать сообразно своим «гуманным» принципам он не в силах. В деревне у него все идет так, как было заведено при его отце. Не случайно всеми его делами, хозяйственными и сердечными, распоряжается тот же бурмистр Калистрат, который с таким же успехом делал это и при старом барине — крепостнике без всяких оговорок.

Чеглову и в голову не приходит, как подло он поступил, когда советовал подкинуть младенца бурмистру. Вполне в правилах своего отца он не замедлил объявить Ананию свое помещичье «не позволю».

Трудно переоценить значение «Горькой судьбины» — одного из совершеннейших произведений всей русской драматургии. Уверенной рукой мастера Писемский впервые на русской сцене показал подлинного мужика, сознательно выступившего на открытый бой с помещиком за свое человеческое достоинство. Выдающийся писатель-революционер М. Л. Михайлов так характеризовал эту драму: «Мы не знаем произведения, в котором с такой глубокой жизненной правдой были бы воспроизведены существеннейшие стороны русского общественного положения»[1]. И все-таки эта драма не имела успеха. Она была напечатана в 1859 году, когда революционная демократия все свои политические расчеты связывала с возможностью широкого крестьянского восстания. Вполне естественно, что финал «Горькой судьбины» в этих условиях был воспринят передовыми людьми того времени, как либерально-дворянский призыв к покорности и смирению.

Это и предопределило отрицательную оценку «Горькой судьбины» Добролюбовым[2] и несколько позднее Щедриным[3]. Расхождения Писемского с лагерем революционной демократии, органом которой был «Современник», еще более обострились.

Первое представление «Горькой судьбины» состоялось после выхода в свет «Взбаламученного моря», которое сделало имя Писемского одиозным. Лишь спустя несколько лет «Горькая судьбина» стала входить в репертуар русских театров. Многие выдающиеся русские артисты создавали замечательные сценические образы, выступая в этой драме. В репертуаре П. А. Стрепетовой, например, роль Лизаветы была коронной, наряду с ролью Катерины Кабановой.

5

Вскоре после своего переезда в Петербург Писемский стал одним из активных членов кружка писателей, близких к редакции «Современника», и принял непосредственное участие в

---

[1] М. Л. Михайлов. Соч. в 3-х томах, т. III, М., 1958, стр. 103.

[2] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 2, М., 1935, стр. 345—346.

[3] М. Е. Салтыков-Щедрин. Полн. собр. соч., т. 5, М., 1937, стр. 164 и сл.

борьбе различных течений внутри этого кружка. На первых порах он по-прежнему старался противодействовать влиянию сторонников теории «чистого искусства», среди которых особенную его неприязнь вызывал В. П. Боткин. Но это вовсе не означает, что Писемский был полностью на стороне Чернышевского и Некрасова. До известного времени он еще просто не понимал, насколько противоположны их цели целям либеральных сотрудников журнала. Но в 1856 году произошло событие, не оставившее у Писемского на этот счет ни малейшего сомнения. В ноябрьской книжке «Современника», в статье Чернышевского, было перепечатано из только что вышедших в свет «Стихотворений Н. Некрасова» несколько вещей, в том числе «Поэт и гражданин», что вызвало настоящую цензурную бурю. Писемский, как и другие либерально настроенные члены редакционного кружка, резко осудил эту перепечатку. «Панаева... призывали и пудрили,— писал он Б. Алмазову.— Весь этот скандал чрезвычайно неприятен всем нам остальным литераторам тем, что цензура опять выпустит свои кохти, на что цензора имеют полное нравственное право, если мы, литераторы... для придания полукуплетным стихам своим значения станем печатать в оглавлении рылеевские думы...» [1].

Этот эпизод показал, что Писемский расходился с Некрасовым и Чернышевским по коренным вопросам общественной и литературной жизни. Руководители «Современника» хорошо это поняли и отказались от его сотрудничества.

Осенью 1857 года Писемский становится помощником Дружинина по редактированию «Библиотеки для чтения» и вместе с ним стремится объединить в этом журнале всех противников «Современника». С этой целью он пытался даже заручиться поддержкой литераторов, когда-то входивших в молодую редакцию «Москвитянина», выразив при этом надежду, что теперь он, по-видимому, не будет расходиться с ними в убеждениях [2].

Однако этот проект не осуществился. Дружинин ненавидел лагерь «Современника» не меньше Писемского. Но он не согласился заключить союз со славянофильски настроенными друзьями А. Григорьева. Западническая ориентация «Библиотеки для чтения», намеченная Дружининым еще до прихода Писемского, осталась неизменной. Писемский вынужден был примириться с этим, хотя и видел, что направление журнала непопулярно среди читателей. Но вот в ноябре 1860 года он стал ответственным редактором «Библиотеки для чтения», заменив ушедшего Дружинина. Теперь он решил дать бой своим противникам. Только что появившиеся на страницах «Современника» резкие отзывы Добролюбова о «Тысяче душ» и «Горькой судьбине» предопределили выбор первого объекта для атаки.

Стремясь придать руководимому журналу более боевитый, чем при Дружинине, характер, Писемский завел в нем по-

---

[1] Письма, стр. 103.
[2] Письма, стр. 110.

стоянный фельетон и сам стал выступать в роли фельетониста. В первых трех книжках журнала за 1861 год он начал печатать фельетоны под общим названием «Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки». В них он и поспешил свести счеты с «Современником». В декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за этот же год Писемский опубликовал новую серию фельетонов за подписью Никиты Безрылова. Здесь он ополчился против всего демократического движения того времени. Писатель, создавший образ Анны Павловны Задор-Мановской, Лидии Ваньковской, Настеньки Годневой, глумился теперь над идеей эмансипации женщин; автор произведений, обличавших дворянскую дикость, теперь утверждал, что помещики и унтер-офицеры обучают детей гораздо лучше, чем передовые учителя в воскресных школах. Ободренный тем, что «Современник» не счел нужным отвечать на «Записки Салатушки», в которых задевалась личная жизнь его издателей, Писемский в безрыловских фельетонах еще ретивее сплетничает о передовых русских литераторах.

Фельетоны Никиты Безрылова вызвали возмущение передовой русской журналистики. Сатирический журнал «Искра» напечатал резкую статью, в которой обвинил Писемского в прямом пособничестве реакции. Выступление популярного журнала приобрело еще большее значение после того, как на его страницах было опубликовано подписанное Антоновичем, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и Пыпиным письмо, в котором сотрудники «Современника» одобрили эту статью.

После этого Писемский опубликовал новую серию фельетонов Никиты Безрылова, содержащих выпады не только против издателей «Искры», но и против Чернышевского. Дело дошло наконец до того, что издатели «Искры» В. Курочкин и Н. Степанов вызвали Писемского на дуэль. В сложившейся обстановке Писемский уже не мог продолжать редактирование журнала. В апреле 1862 года он отправился за границу и там предпринял специальную поездку в Лондон, чтобы увидеться с Герценом. Он, по-видимому, надеялся, что издатели «Колокола» поддержат и защитят его.

Писемский не мог не предполагать, что для Герцена он не только редактор «Библиотеки для чтения», но и автор «Тюфяка», «Старой барыни», «Фанфарона», «Тысячи душ», «Горькой судьбины», то есть один из самых выдающихся писателей-реалистов гоголевской школы, к которой принадлежал и сам издатель «Колокола». Он рассчитывал, что три больших тома его сочинений, посланные Герцену накануне встречи, окажутся более весомыми, чем злополучные опусы «старой фельетонной клячи» Никиты Безрылова. Больше того, во втором томе присланного Герцену собрания сочинений Писемского одна повесть имела такое название — «Виновата ли она?»,— которое невольно заставляло вспомнить заглавие герценовского романа «Кто виноват?».

Однако Писемский понимал, что при объяснении с Герценом и Огаревым речь пойдет прежде всего о безрыловской истории. И, само собой разумеется, если бы он знал, что они осудят его поведение в этой истории, то, безусловно, не

поехал бы к ним. Стало быть, он надеялся на то, что издатели «Колокола» отнесутся к фельетонам Никиты Безрылова иначе, чем сотрудники «Искры» и «Современника». Но насколько основательны были эти надежды?

Некоторые обстоятельства, предопределившие назначение Писемского редактором «Библиотеки для чтения», позволяют понять поведение Писемского.

Прежний редактор этого журнала А. В. Дружинин занимал в общественной и литературной борьбе 50-х годов достаточно определенную позицию: безоговорочная поддержка «реформаторов»-крепостников в крестьянском вопросе и проповедь теории «чистого искусства» в литературной критике. В годы общественного подъема такое направление не могло встретить сочувствия со стороны читателей. «Библиотека для чтения» становилась все более непопулярной, теряла подписчиков. Даже простые коммерческие соображения заставляли ее издателя В. Печаткина подумать о замене редактора. Выбор пал на Писемского, неприязнь которого к проповеди «чистого искусства» не составляла секрета, а отрицательное отношение к крепостничеству было засвидетельствовано всеми его произведениями. Слухи об этой замене появились еще в 1858 году и были сочувственно встречены литераторами демократического лагеря. Осведомленная мемуаристка в своем дневнике писала: «Еще год тому назад возникло в кружке Майковых, который принадлежит к «Библиотеке для чтения», редактируемой Дружининым, намерение противодействовать мутному потоку, пробивающемуся, со Щедриным во главе, в литературу, и придать ей... несколько более изящное направление... Но партия Щедрина становится сильна... Поклонники Щедрина и последователи его направления преследуют поэтов, достается и Тургеневу, но ему многое прощается ради «Записок охотника»... Дружинина выживают из «Библиотеки для чтения», чтобы заменить его Писемским...» [1].

Осуществление этих проектов было ускорено злобным отзывом Дружинина о книге Марко Вовчка «Рассказы из народного русского быта», которая была восторженно встречена революционно-демократической критикой. Герцен в гневной статье «Библиотека» — дочь Сенковского» заклеймил Дружинина как реакционера, за «эстетическим жеманством» которого кроется отвратительный облик крепостника [2]. После этого Дружинину ничего больше не оставалось делать, как уйти с поста редактора «Библиотеки для чтения».

Писемский должен был внушить читателям, что под его редакцией журнал коренным образом изменится. Ему казалось, что вспыхнувшая в 1859 году между Герценом и руководителями «Современника» полемика по вопросу об отношении к так называемой обличительной литературе не была результатом временного расхождения между ними. Вот почему в редакцион-

---

[1] Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки, М.—Л., 1934, стр. 220—221.

[2] А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. X, Пг., 1919, стр. 308.

ном объявлении он отгораживался от тех, кто был проникнут «духом порицания и крайней неудовлетворенности», то есть прежде всего от лагеря «Современника». С другой стороны, Писемский объявил о намерении быть в оппозиции к тем «реформаторам», против которых постоянно вели борьбу издатели «Колокола». Что касается литературной политики, то Писемский указывал на «Грозу» Островского и на собственную драму «Горькая судьбина» как на произведения, недвусмысленно характеризующие положительное отношение нового редактора к обличительной литературе, на которую якобы нападал «Современник» и которую защищал от этих нападок Герцен [1].

В ноябре 1860 года, когда сочинялось это объявление, Писемскому могло казаться, что Герцен — такой же «государственник», как и он сам, как и многие либеральные дворяне того времени. Не один раз высказанные Герценом надежды на освободительную инициативу царя, попытки «Колокола» противопоставить Александра II окружавшей его придворной камарилье и верхушке дворянского общества, наконец, неоднократные, адресованные «просвещенным» дворянам призывы деятельно трудиться на благо народа — все это как будто бы указывало на то, что Герцен провозглашает некий третий путь — между крепостниками и революционными демократами. Но ни Писемский, ни его единомышленники не понимали того, что это были лишь временные отступления Герцена от демократизма к либерализму, что при всех своих колебаниях издатели «Колокола» находились в одном лагере с Чернышевским и Добролюбовым.

Вот это непонимание подлинной позиции Герцена в общественной борьбе и привело Писемского в Лондон. Он был убежден, что когда в «Записках Салатушки» охарактеризовал «Современник» как журнал, выражающий воззрения высшего чиновничества, то этим только поддержал мнение Герцена, будто своими насмешками над либеральными «обличителями» сотрудники «Современника» могут «досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего, боже сохрани) и до Станислава на шею!» [2]. Но Герцен отказался от своего необоснованного, ошибочного мнения еще в 1859 году, чего Писемский, ослепленный ненавистью к «Современнику», не заметил.

Во время встречи с Герценом и Огаревым Писемскому могла раскрыться еще одна, уже трагикомическая деталь. Дело в том, что в тех самых безрыловских фельетонах, которые он намеревался положить перед издателями «Колокола» как доказательство своего единомыслия с ними, содержалась прямая полемика с Герценом, о которой сам Писемский, по-видимому, и не подозревал. В первом фельетоне он, между прочим, ополчился и против того, чтобы говорить ученикам воскресных школ «вы». Но, оказывается, в этом гонении на «вы» Писемский не был оригинален. Сотрудник «Северной пчелы» за год с лишним до него уже начал поход против этого местоимения, за что и получил от Герцена следующую нахлобучку: «Эй ты, фельето-

---

[1] Письма, стр. 555—556.
[2] А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. X, Пг., 1919, стр. 15.

нист! Мы читали в «Московских ведомостях», что ты в какой-то русской газете упрекал учителей воскресных школ, что они говорят ученикам «вы». Сообщи, братец, нам твою статью, название газеты и твое прозвище,— ты нас этим одолжишь»[1]. Знай Писемский об этом выступлении Герцена, он понял бы, что оно полностью может быть отнесено и к автору фельетонов Безрылова. «С Писемским были сильные и сильно неприятные объяснения»,— писал Герцен Н. А. Огаревой[2]. И в ходе этих объяснений Герцен напомнил незадачливому автору безрыловских фельетонов его выходку против местоимения «вы».

Полтора года спустя после встречи с Писемским, уже после выхода в свет «Взбаламученного моря», Герцен включил в свою статью «Ввоз нечистот в Лондон» маленькую сценку — «Подчиненный и Начальники»,— в которой воспроизведена обстановка во время объяснения Писемского (Подчиненный) с Герценом и Огаревым (Начальники).

«Подчиненный.— Находясь проездом в здешних местах, счел обязанностью явиться к вашему превосходительству.

Начальник А.— Хорошо, братец. Да что-то про тебя ходят дурные слухи?

Подчиненный.— Невинен, ваше превосходительство, все канцелярская молодежь напакостила, а я перед вами, как перед богом, ни в чем-с.

Начальник В.— Вы не маленький, чтобы ссылаться на других. Ступайте...»[3].

В этом диалоге Начальник В., то есть Огарев, говорит Подчиненному «вы», а Начальник А., то есть Герцен,— «ты», причем подчеркнуто в тех же выражениях, что и в обращениях к фельетонисту «Северной пчелы».

В заключение этой пародийной главы, по-видимому, весьма точно было процитировано письмо Писемского к Герцену: «Одна из главнейших целей моей поездки в Лондон состояла в том, чтоб лично узнать вас, чтоб пожать руку человека, которого я так давно привык любить и уважать. Когда вы воротитесь? Пожалуйста, сообщите об этом N. N. (Огареву.— М. Е.), которого я имел счастье знать в R. R. (в России.— М. Е.).

Я прошу вас принять новое издание моих сочинений в знак глубокого... глубокого уважения к вам»[4].

Едва ли можно усомниться в искренности этих строк. Но Писемский уважал, считал даже себя последователем не того Герцена, каким он был на самом деле. Познакомившись с издателями «Колокола», он, наконец, понял, что перед ним не либералы, возвещающие некий третий путь между революционной демократией и крепостнической реакцией, а соратники тех «молодых штурманов будущей бури», признанным вождем которых был Чернышевский. Писемский теперь имел возможность убедиться в том, что третьего пути не существует. Выбор возможен только между лагерем крепостников и лагерем революционеров.

---

[1] А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. X, Пг., 1919, стр. 400. (Разрядка моя.— М. Е.)

[2] Там же, т. XV, Пг., 1920, стр. 220.

[3] Там же, т. XVI, стр. 556. (Разрядка моя.— М. Е.)

[4] Там же.

После встречи с Герценом и Огаревым окончательно оформился замысел нового романа, в котором определилась его новая позиция в общественной борьбе. Это было «Взбаламученное море». Писемский работал над ним с лихорадочной поспешностью. К началу 1863 года роман был вчерне закончен, а в мартовской книжке катковского «Русского вестника» уже начато его печатание.

«Взбаламученное море» — это попытка подвести итог общественно-политического развития России почти за четверть века — с начала 40-х годов до 1862 года включительно.

В бурных событиях 60-х годов Писемский проглядел главное, а именно борьбу двух основных классов русского общества: революционного крестьянства и дворянства, всеми силами охранявшего свои «священные» права. Причиной страшной для него политической «сумятицы» 60-х годов Писемский считал все те же развившиеся до чрезвычайных размеров антинародные «сословные и частные» дворянские притязания, против которых пытался еще в николаевские времена бороться его герой Калинович. Главными «деятелями» либеральной суетни, которая так характерна для этой эпохи, были, по его мнению, падкие на моду дворяне вроде Бакланова. Писемский всячески подчеркивал, что этот центральный герой «Взбаламученного моря» — типичнейшая фигура «либерала» 60-х годов: «Он праздно вырос, недурно поучился, поступил по протекции на службу, благородно и лениво послужил, выгодно женился, совершенно не умел распоряжаться своими делами и больше мечтал как бы пошалить, порезвиться и поприятней провести время. Он представитель того разряда людей, которые до 55 года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения на земле, а потом сейчас же стали с увлечением и верой школьников читать потихоньку «Колокол». Из желания не отстать от моды эти люди охотно посещают социалиста Проскриптского и, будучи в душе крепостниками, «кричат и требуют в России фаланстерии». Вояжируя за границей, они, не зная, куда деваться от праздности и скуки, бывают, между прочим, и у Герцена.

Такие либеральные болтуны, в сущности, мало чем отличались от таких откровенных крепостников, как Иона Циник.

Эту пропитанную ядами паразитизма почву дворянского существования он в новом романе живописал с прежней силой убедительности. Но если раньше он судил дворянско-чиновничью среду главным образом как нравственно растленную, то теперь она ему казалась источником неисчислимых политических бедствий, угрожающих существованию всего общества. Он пытался уверить читателя, что большинство из тех, кто в той или иной мере непосредственно причастен к революционному движению, выросло на той же почве дворянского существования, то есть на почве, враждебной народу, которому совершенно чужды цели революционеров.

Писемский был убежден в том, что революционное движение ни в какой степени не связано с народным недовольством. При всем своем уважении к народу он не видел в нем созидательной политической силы. Народ, по его мнению, был носителем богатых природных задатков. Однако эти задатки, как он

думал, могли развиваться лишь под благодетельным руководством попечительного монархического государства — единственной реальной и полезной силы, призванной к такому руководству. Вот почему всякий, кто покушается на устои государства, действует вопреки подлинным интересам народа. Эта глубоко ошибочная мысль и определяла отношение Писемского к революционерам. Образы этих людей в его новом романе представляют собой, по существу, пасквильные фигуры, сделанные по рецептам реакционера Каткова, размалеванные чучела, выставленные с единственной целью — напугать обывателя. Вор, вымогатель и провокатор Виктор Басардин; уверенные в своей безнаказанности сыновья миллионера-откупщика Галкина, забавляющиеся революцией, как опасной игрой; развращенный дворовый, ставший на путь грабежей и убийств, — таким пытался Писемский представить лагерь революционеров.

Самым главным их свойством Писемский считал полное отсутствие каких-нибудь самостоятельно продуманных идей. Как и либералы баклановского типа, они все будто бы только рабы моды, как правило, даже и возникающей-то не в самой России. Устами Варегина он утверждает, что «нет разницы между Ванюшею в «Бригадире», который, желая корчить из себя француза, беспрестанно говорит: «hélas, c'est affreux!», — и нынешним каким-нибудь господином, болтающим о революции...»

В изображении Писемского не имеют здравых политических понятий даже те из участников революционного движения, которые искренне, как, например, Валерьян Сабакеев, желают добра своей стране и своему народу. Кто же, так сказать, персонально виноват в этих трагических заблуждениях молодежи?

Резонер Варегин, говоря об арестованных и осужденных, замечает: «Очень жаль этих господ в их положении, тем более, что, говоря откровенно, они плоть от плоти нашей, кость от костей наших. То, что мы делали крадучись, чему тихонько симпатизировали, они возвели в принцип, в систему; это наши собственные семена, только распустившиеся в букет». Во «Взбаламученном море» Писемский казнил и самого себя за свои былые либеральные увлечения; в образе Бакланова есть несомненные автобиографические черты.

Стало быть, никакого либерализма, никакой середины, полная верность правительству — таков политический итог романа. Образец в этом отношении — ученый-разночинец Варегин.

Нарушив основу реалистического искусства — правдивое воспроизведение жизни, — Писемский утратил главное качество своего таланта. В его «Взбаламученном море» нет и следа той композиционной и сюжетной собранности, которая так характерна для его повестей и романов 40-х и 50-х годов. Видимо, почувствовав это, он старался возбудить читательский интерес при помощи приемов, заимствованных из арсенала бульварных романистов. Но ни «пикантные» подробности любовных отношений Бакланова и Софи Леневой, ни авантюрная история горничной Иродиады и ее любовника, кучера Михайлы, не помогли. Все это только еще сильнее подчеркивало художественную несостоятельность «Взбаламученного моря».

Роман осудили не только революционные демократы, но даже и либеральные друзья Писемского вроде Анненкова.

Он растерялся окончательно; временами даже подумывал о прекращении всякой литературной деятельности. Но он был, по его собственной характеристике, «органически неизлечимый литератор». Порвав с Катковым (в 1863—1864 годах Писемский был соредактором «Русского вестника»), он стал хлопотать о том, чтобы снова установить связи с либеральной журналистикой — с «Отечественными записками», «Вестником Европы». Наступившая правительственная реакция все более и более раздражает его. «Такая гадость стала,— писал он в декабре 1864 года,— что гораздо хуже прежнего». Правда, он и теперь еще твердил о том, что в этом виновата «революция.. вызвавшая реакцию и давшая возможность всей гадости российской снова поднять голову» [1].

Несколько оправившись от потрясения, Писемский в 1864—1869 годах пережил новый подъем в своем творчестве. За эти годы он написал шесть пьес, оригинальнейший цикл рассказов «Русские лгуны», в которых вновь блеснул безукоризненным знанием помещичьего провинциального быта, смешных, а порою диких нравов этой среды.

Но эти произведения не могли восстановить репутации Писемского. «Взбаламученное море» было слишком свежо в памяти читателей и критиков того времени.

6

К концу 60-х годов, когда Писемский все яснее стал сознавать, как ошибочны были его взгляды, нашедшие свое выражение во «Взбаламученном море», он задумал написать новый роман, решив по-новому осветить в нем те же общественные вопросы, что и во «Взбаламученном море». Это были «Люди сороковых годов».

Здесь также дан широкий обзор русской жизни за четверть века — от начала 40-х годов до эпохи реформы. Если во «Взбаламученном море» Писемский пытался доказать, что идейное движение 40-х годов все в совокупности было лишь мутной пеной на поверхности русской жизни, лишь одним из проявлений дворянского позерства и фанфаронства, то в «Людях сороковых годов» он, как бы в споре с самим собой, исходил из мысли, что именно в этом движении истоки перемен, происшедших в 60-е годы и оказавших при всей их ограниченности все-таки благодетельное воздействие на жизнь общества. Под влиянием этих идей даже Сергей Абреев, тесно связанный с великосветским обществом и бюрократическими верхами, внезапно обрел какие-то положительные качества. Между ним и прежними николаевскими администраторами огромная разница. Илларион Захаревский в отличие от своих родителей полон сознания долга перед государством, для него идея права не отвлеченная идея, он иногда готов ради нее риско-

[1] Письма, стр. 179—180.

вать даже своим служебным положением. Этот ряд поумневших детей как бы завершает фигура магистра прав Марьеновского — наиболее последовательного, как старается уверить Писемский, носителя идей 40-х годов. Теперь он считал, что все, чего достигла Россия в 60-е годы, произошло благодаря соединению прогрессивных идей 40-х годов с идеей надсословного государства. Недаром в заключительной сцене романа Александр II также провозглашается человеком 40-х годов.

Нельзя не отметить, что все эти фигуры детей, идущих по новой дороге, не похожей на дорогу их отцов,— в значительной мере фигуры сочиненные, художественно неубедительные. Как только Писемский подходил к тому пункту их жизни, где должна была проявиться их «идейность», он как бы утрачивал и свою наблюдательность и умение обставить повествование впечатляющими деталями. Здесь проявилась та же закономерность художественного творчества, что и в четвертой части «Тысячи душ» или в образе Варегина: идея, идущая вразрез с основным направлением жизни, не могла стать живой душой этих образов.

Ведь под идеями 40-х годов Писемский разумел вовсе не идеи Белинского, действительно подготовившие великий общественный подъем 60-х годов, а нечто диаметрально противоположное — тот самый либерализм, который был так решительно осужден во «Взбаламученном море» и который возводился им теперь в степень творческого начала русской общественной жизни.

В этом романе на уровне таланта Писемского лишь те части, в которых показана жизнь отцов. Здесь Писемский снова создал целый ряд удивительно рельефных фигур. Отец Вихрова, старый вояка, перенесший все ужасы солдатчины и мучимый воспоминаниями о том, как сам он, уже будучи офицером, засекал солдат; мать Сергея Абреева — вздорная, заносчивая крепостница; стяжатель и лихоимец Захаревский со своей дородной супругой; деспот-губернатор и многие, многие другие образы романа ярко характеризовали дворянское общество, которое было осуждено историей. Многочисленные и в большинстве своем убедительные картины жизни отцов и составляют основную художественную силу этого романа, но эти картины все-таки не могли возместить бледности тех образов, которые были призваны выразить положительные идеи автора.

Может быть, именно поэтому «Люди сороковых годов» и лишены той композиционной целостности, которая отличала произведения Писемского 50-х годов. Здесь нет ни единой интриги, как, например, в «Старческом грехе» или в «Браке по страсти», ни той деловой взаимозависимости, которая сплачивала в один сплошной массив героев «Тысячи душ».

Фигурой, которая была призвана сплотить воедино многочисленные и разнородные элементы повествования, является Павел Вихров. Однако он «не справляется» с этой задачей. Он не столько деятель, сколько наблюдатель, стоящий, в сущности, в стороне от главных интересов подавляющего большинства персонажей. Поэтому многое из того, что случается с Павлом, само по себе интересно (споры с Коптиным, беседы с Макаром Григорьевичем и т. п.), но с судьбой остальных героев романа почти никак не связано. Последовательность повествования дер-

жится едва ли не на одной только истории любовных отношений Павла с Фатеевой и Мари.

Правда, эта линия романа имела для Писемского немаловажное значение. Он теперь пересматривал свои взгляды и на так называемый женский вопрос, впервые поставленный перед русским общественным сознанием также людьми 40-х годов. Если во «Взбаламученном море» идею женской независимости, свободы чувства он в образе Софи Леневой хотел дискредитировать как прикрытие развращенности, то теперь он снова выступает как защитник этой идеи. В метаниях и увлечениях Фатеевой он склонен видеть нечто вроде протеста против господствующей дворянской морали. Здесь он уже не отважился проповедовать те домостроевские добродетели, воплощением которых во «Взбаламученном море» была Евпраксия. Но полного сочувствия Фатеевой у Писемского все-таки нет. Она кончила жизнь почти в такой же душевной опустошенности, как и Софи.

Когда-то Писемский в статье о Гоголе осудил своего учителя за его попытку создать образ идеальной славянки. Но теперь он сам не удержался от этого соблазна. В образе Мари он намеревался высказать свои представления о подлинной поэзии женского существования. Она, как пушкинская Татьяна, в силу сложившихся обстоятельств замужем за старым, недалеким генералом, который только и достоин уважения за то, что пролил кровь под Севастополем. Разумеется, она его не любит. Через всю жизнь она во всей чистоте пронесла свое чувство к Павлу Вихрову и в конце концов отдалась этому чувству. Правда, с мужем она не разошлась. Он «устранен» очень просто: с молчаливого согласия и одобрения Мари он завел себе «даму сердца».

Последние страницы романа повествуют о том, как в дачной местности под Петербургом прогуливаются уже постаревшая Мари и изрядно полинявший Вихров. Их любовь стала, может быть, менее непосредственной, но, по-видимому, не утратила своей романтической возвышенности. Однако в этой идиллии есть изрядная доля горечи. Да, бурные события 40—60-х годов не прошли даром. И все-таки жизнь ненамного улучшилась. Не бескорыстные Марьеновские задают в ней тон, а увертливые карьеристы Плавины или беззастенчивые дельцы вроде Виссариона Захаревского, когда-то обиравшего казну в качестве скромного губернского инженера, а теперь загребающего сотни тысяч на казенных подрядах. Благородному Вихрову, романтически утонченной Мари осталось одно только пристанище — тихая, уже обескрыленная любовь. Они теперь напоминают героев первой части романа: отца Мари Еспера Ивановича Имплева и княгиню Весневу, которые также укрывались от пошлости жизни в возвышенной, немного грустной и немного комичной любви.

Писемский, как и Гоголь, как и большинство русских писателей того времени, никогда не переставал думать о том, кто же на Руси скажет всемогущее слово «вперед». Настойчивые поиски ответа на этот вопрос и во второй половине 60-х годов не дали положительного результата, но они помогли Писемскому отделаться от некоторых иллюзий и заблуждений. В «Людях сороковых годов» нет уже того безоглядного преклонения перед

самодержавной государственной мудростью, которая во «Взбаламученном море» демонстративно восхвалялась, как панацея от всех социальных зол. Высказанная Вихровым утопия о бессословном, «хоровом» государстве с «ласковым» царем во главе недалеко ушла от старой теории просвещенной монархии, но она, тем не менее, была далека от официальных, строго сословных, откровенно деспотических представлений насчет русского государственного устройства.

Изменилось теперь и отношение Писемского к тем, кто активно боролся против самодержавно-крепостнического строя.

В конце 60-х годов движение революционной молодежи не только не прекратилось, но, наоборот, усилилось, приковывая к себе внимание всех, кто имел способность более или менее трезво смотреть фактам в лицо. Героизм и самоотверженность революционеров вынуждены были признать даже те, кого никак нельзя было заподозрить в сочувствии революции. Лишь самые закоренелые охранители вроде Каткова и его единомышленников продолжали твердить, что революционеры — это бессердечные, развращенные люди, не любящие своего народа и действующие по наущению врагов России. Писемский уже не мог удовлетвориться таким злопыхательским объяснением. В «Людях сороковых годов» он устранился от изображения революционеров, хотя действие этого романа, насквозь пронизанного политической злобой дня, и доведено до 60-х годов. Он не хотел повторять здесь ошибок, допущенных во «Взбаламученном море». Он решил, что сперва надо внимательно, без раздражения присмотреться к революционерам, а потом уже писать о них. Это уже было начало работы над новым большим романом, «В водовороте» (1871).

Здесь, как и в подавляющем большинстве произведений Писемского, перед читателем снова проходят картины жизни буржуазно-дворянской России, жизни, разделяющей людей в основном на две категории: благоденствующих, довольных, для которых господствующие нравы не только привычны, но и выгодны, и тех, кто страдает и в конце концов становится жертвой этих нравов. Но если бы дело ограничивалось только этими картинами, то этот роман почти ничего не прибавил бы к тому, что уже было сказано Писемским раньше.

Своеобразие его нового произведения заключается в том, что в центре здесь уже не бессильная жертва, как в «Боярщине» или «Тюфяке», не энергичный себялюбец, как в «Тысяче душ», и не фанфаронствующий пенкосниматель вроде Бакланова, а люди, смело и обдуманно борющиеся против коренных устоев существовавшего в то время общества.

Князь Григоров — это человек, решительно осуждающий ту среду, к которой принадлежал по рождению и богатству. В конце концов он порывает с этой средой, оставляет семью. Но ему ясно, что мало устраниться от зла: необходимо уничтожить самые условия его существования и господства. Потому-то он и ищет союза с теми, кто борется. Многое в поведении этих людей ему кажется странным и даже надуманным, однако он имеет мужество признавать, что в его суждениях такого рода чаще всего сказывается груз привычек, усвоенных им в дво-

рянской среде. Нравственное превосходство тех, кто протестует, над членами «хорошего» общества для него бесспорно. Эти настроения отразились и в сложном, противоречивом, но глубоком и искреннем чувстве, связавшем его с женщиной, всю свою жизнь посвятившей борьбе за национальное и социальное освобождение родины.

«В водовороте», как и в «Людях сороковых годов», есть образы и ситуации, как будто бы преднамеренно написанные так, чтобы заставить читателя вспомнить некоторые образы и ситуации «Взбаламученного моря»,—вспомнить и изменить к ним свое отношение. Наиболее прозрачно эта полемическая связь с злополучным романом выступает в образе Елены Жиглинской.

В шестой части «Взбаламученного моря» в обществе «красных» появляется невеста Валерьяна Сабакеева — Елена Базелейн. Девушка скромная и целомудренная, она усвоила подчеркнуто некрасивые, развязные манеры, часто ведет непристойно-откровенные разговоры об отношениях мужчин и женщин и т. д.— и все это из ложного убеждения, что такой именно и должна быть настоящая революционерка. Этот карикатурный образ, как надеялся тогда Писемский, должен был воочию показать, что любая причастность к революции притупляет чувство красоты, опустошает личность.

На первый взгляд Елена Жиглинская очень похожа на свою тезку из «Взбаламученного моря». Но это сходство при ближайшем рассмотрении оказывается чисто внешним и лишь оттеняет различие между ними. Да, Елена Жиглинская тоже иногда бывает резкой в обращении с людьми, в ее поведении есть некоторая, может быть, подчеркнутая угловатость, но ведь она слишком хорошо понимает, что так называемая тонкость и грациозность женщин дворянского круга (в большинстве жеманниц и бездельниц) — в лучшем случае всего лишь результат вышколенности, часто прикрывающей нечистые поползновения и дела. Она терпеть не может комплиментов по своему адресу, смеется над славословиями женской красоте, потому что знает подлинную цену светской галантности.

Все, что ни делает Елена, она делает убежденно, с предельной искренностью. И убеждения эти не нахватаны с лету, из третьих рук, как у ее предшественницы, а добыты в упорном труде. Это — замечательная умница, много читавшая и много знающая. Сосредоточенная энергия, непреклонная воля, высокоразвитое чувство собственного достоинства — за все это Елену не могут не уважать все, кто ее знает. Чистоту ее помыслов, самоотверженность поступков вынуждены признать даже те, кто не разделяет ее взглядов и не сочувствует ее целям. Это по-настоящему крупная личность. Недаром современники называли ее Базаровым в юбке. Это сравнение интересно не только потому, что сами по себе характеры героев действительно сходны, но также и потому, что сходно отношение к ним их творцов.

Сочувствие Писемского Елене бесспорно. Однако было бы ошибочно думать, что в ее образе он намеревался создать апофеоз революционерки. Усомнившись в истинности некоторых прежних своих верований, он не мог окончательно от них от-

делаться, потому что не знал, чем их заменить. Ему казалось, что тот водоворот обычной жизни, в котором так привольно чувствуют себя плывущие по течению, неодолим: революционеров — единицы, а равнодушных, благоденствующих — подавляющее большинство. Стало быть, думал Писемский, борьба революционеров, как бы ни были благородны и возвышенны их цели, неизбежно обречена на неудачу. Она трагична в самой своей основе. К этому же выводу пришел и его герой князь Григоров. Елена осталась до конца верной тому делу, которому служила. Тем более трагична ее судьба. В своей борьбе, как старается, уже не сообразуясь с фактами жизни, доказать Писемский, Елена была, в сущности, одинока. Организация, которая якобы руководила борьбой за освобождение родины Елены — Польши, оказалась мифом, а человек, называвший себя уполномоченным этой организации, Жуквич, — заурядным проходимцем.

И все-таки вопреки этой ошибочной тенденции, сказавшейся главным образом в финале романа, впечатление от него не безысходно. В конце концов нашелся человек, который стойко и, по существу, победоносно сопротивлялся мертвенному коловращению пошлости. И это не только не сломило его, но, наоборот, обогатило его личность. Героический образ Елены Жиглинской как бы освещает весь роман, цементирует весь его строй.

«В водовороте» имел подлинно художественный успех. «Я... совсем в восторге от романа, — писал Н. С. Лесков, — и в восторге не экзальтационном, а прочном и сознательном. Во-первых, характеры поражают верностью и последовательностью развития; во-вторых, рисовка артистическая; в-третьих, экономия соблюдена с такою строгостию, что роман выходит совсем образцовый... А наипаче всего радуюсь, что... «орлу обновишася крыла и юность его» [1]. Даже Лев Толстой, на которого не так-то просто было угодить, отзывался об этом романе с восхищением: «...я второй раз прочел ваш роман, и второе чтение только усилило то впечатление, о котором я говорил вам. Третья часть, которой я еще не читал тогда, — так же прекрасна, как первые главы, которые меня при первом чтении привели в восторг» [2].

История создания «В водовороте» в высшей степени поучительна. Писемский любил повторять, что главный источник силы и выразительности искусства в правде жизни. Но не всегда и не каждый, хотя бы и очень одаренный художник, может овладеть правдой. Одно и то же явление современной жизни дважды привлекало внимание Писемского-художника. В одном случае он именно как художник потерпел поражение, а в другом одержал победу, хотя в известной мере и ограниченную. Правда ему далась только тогда, когда он сумел несколько утихомирить одолевавшие его страхи и предрассудки и если не с полным сочувствием, то по крайней мере без предубеждения отнестись к тем явлениям, в которых выражалось наиболее живое и прогрессивное течение действительности.

---

[1] Н. С. Лесков. Собр. соч., т. 10, М., 1958, стр. 320.
[2] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 61, М., 1953, стр. 273.

Среди тех сил, которые делали жизнь современного ему общества до крайности уродливой, Писемский давно уже заметил ту, под гнетом которой «люди совершают мерзости и великие дела, страдают и торжествуют»,— силу стяжательства, подминающую под себя все человеческие стремления и страсти. Деньги давали всеобъемлющую власть над людьми, почет и уважение в обществе. Поэтому цинизм стал философией времени, а мошенничество, вымогательство, откровенный грабеж — узаконенными средствами перераспределения богатств. Обличению героев буржуазного хищничества Писемский посвятил в 70-х годах ряд драматических произведений.

В людях, уверовавших в новое божество, Писемский не видел ни тени человечности. Техник-строитель Толоконников, модный врач Самахан, молодая вдова Трехголовова («Ваал»); директор компании по выщипке руна из овец Дарьялов, лошадиный охотник и господин Аматуров, другой директор той же компании, Гайер («Просвещенное время»); коммерции советник Сосипатов, отставной генерал-майор Прокудин, газетный фельетонист Персиков («Финансовый гений») — все эти оголтелые ловцы денег просто не верят в существование совестливых людей и смеются над всяким напоминанием о моральной ответственности.

Своеобразие жизненного материала в значительной мере предопределило и форму этих драм. Характеры большинства действующих лиц в них как бы даны заранее и в процессе сценического действия, как правило, не развиваются. И это понятно: жажда обогащения безобразно упростила их психику. Вполне естественно, что драматический интерес поддерживается в этих драмах не столько углубленным психологическим анализом, сколько развитием внешней интриги. В основе сюжета каждой из этих пьес — финансовый скандал, которых стало так много в 70-х годах. Поэтому современники считали эти его пьесы чем-то вроде драматических памфлетов.

Один из героев «Ваала», Мирович, выразил надежду, что царству буржуазии рано или поздно настанет конец: «Все усилия теперь лучших и честных умов направлены на то, чтобы купцов не было, и чтоб отнять у капитала всякую силу! Для этих господ скоро придет их час, и с ними, вероятно, рассчитаются еще почище, чем некогда рассчитались с феодальными дворянами». Очевидно, эту надежду хотел бы разделить со своим героем и сам Писемский. Но он не видел в современном ему обществе сил, способных противостоять буржуазному хамству. Именно это настроение и отразилось в его «Мещанах» (1878).

В этом романе Писемский как бы подводил итоги своим наблюдениям над теми новыми признаками русской жизни, которые появились вместе с усилением буржуазии. И самый главный итог заключается в том, что теперь, в 70-х годах, делец — это самый могущественный господин жизни. Папушкины и Галкины при всем их богатстве чувствовали себя в обществе еще неуверенно, заискивали перед власть имущими, старались действовать из-за кулис. Герои «Мещан», все эти Янсутские и

Офонькины уже не считают нужным держаться в тени. Они всячески выставляют на вид свою влиятельность, хотят внушить если не уважение, то страх.

Что же принесли миру новые владыки?

Ответ на этот вопрос у Писемского один: ничего, кроме разрушения. Они оскверняют все, к чему ни прикоснутся. А прикоснуться Таганка с Якиманкой, которые были во времена Писемского средоточием купеческого могущества, хотели ко всему. Главный герой «Мещан» Бегушев восклицает по этому поводу: «Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплоатируя эти открытия и обсчитывая при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяким вздором... Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку, или, лучше сказать, механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство».

Но главное преступление служителей нового божества — это преступление против человека. Для них ничего нет заветного в человеке; все лучшие его качества — лишь объект все той же эксплуатации. Друг для этих людей достоин какого-то внимания до тех пор, пока он соучастник в «деле»; любимая женщина нужна или как приманка к тому же «делу», или как подробность комфорта. Ни благодарности, ни великодушия Янсутские не знают. Участь женщины, попавшей в зловещий круговорот их «дела», почти всегда одна и та же — гибель. Так гибнут и слабая Елизавета Николаевна Мерова и энергичная Домна Осиповна Олухова.

Янсутским и Офонькиным, Перехватовым и Гроховым в романе противопоставлен Александр Иванович Бегушев — аристократ по рождению, воспитанию и культуре. Это очень важный для понимания идейной эволюции Писемского образ. В крепостную эпоху в его произведениях не встречалось, в сущности, ни одного положительного персонажа из дворян. Теперь, в пору засилья Таганки, Писемский именно в дворянине-аристократе увидел единственного человека, не пошедшего на поклон к ней. Правда, это дворянин особого склада. Он из тех дворян, которые дорожили памятью о героическом подвиге декабристов. Бегушев не без гордости говорил о себе: «Я дворянский сын-с, мое дело конем воевать, а не торгом торговать». Но после окончания университета он поступил в армию только потому, что там, как он думал, сохранились еще благородные декабристские традиции. Стоило ему убедиться в обратном, как он охладел к военной службе и при первой возможности вышел в отставку.

В молодости Бегушев, как и многие русские люди его поколения, надеялся, что Европа откроет новые пути общественного развития и для России. Но победа мещанина в революции 1848 года разрушила эту надежду. Он решил, что и Россия со временем подпадет под ярмо буржуазии. Ждать от будущего было нечего. Бегушев вернулся на родину лишь затем, чтобы

дожить остаток своих дней. Только одна мечта еще не оставляла его — найти женщину, которую он мог бы полюбить. Но и этому не суждено было осуществиться. Красавица Домна Осиповна в конце концов предпочла ему миллионное состояние своего мужа. Бегушеву ничего не оставалось делать, как уйти на войну и там искать смерти.

«Мещане» — один из самых мрачных по колориту романов Писемского. Погибли все герои романа, в душе которых была хоть капля благородства. Янсутские, Перехватовы и Офонькины торжествуют полную победу. Конечно, сама воспроизведенная в «Мещанах» действительность была мрачной. Но дело не только в этом.

Тема буржуазного хищничества в литературе 70-х годов была одной из самых злободневных. «Чумазый» в те годы привлекал внимание крупнейших писателей: Щедрина, Островского, Некрасова, Достоевского. Но ни у одного из них эта тема не звучала так безысходно, как у Писемского. Жестоки и безнаказанны Кнуровы и Паратовы, трагична судьба Ларисы, однако она хоть и поздно, но поняла, какие люди ее окружали, и в самой ее смерти — победа человечности. Щедринские Колупаевы и Деруновы приобрели огромное влияние и нагло претендуют на роль «столпов общества». Но победоносный смех великого сатирика убеждает читателя, что они ничтожества, что их могущество эфемерно и рассыплется в прах при первом же серьезном сопротивлении разумных сил истории.

Писемский же не верил в самую возможность борьбы против засилья мещанина. Ему казалось, что владычество капитала — это какая-то неотвратимая историческая беда, которая если и будет преодолена, то очень не скоро и такой же слепой силой истории, как слепа сила, накликавшая эту беду. Писемский и ненавидит торжествующего денежного человека и боится его. Недаром он так часто сравнивает власть денег с волей жестокого бога Ваала. Он не знал, в чем главная слабость новых стяжателей. Когда в 50—60-х годах Писемский изображал жизнь дворянства, он оценивал ее по отношению к жизни народа. И в этом был источник силы его критики. Вскрыть антинародный характер буржуазного владычества автор «Мещан» не сумел.

И. С. Тургенев писал по поводу этого романа: «Чтение «Мещан» доставило мне много удовольствия... вы сохранили ту силу, жизненность и правдивость таланта, которые особенно свойственны вам и составляют вашу литературную физиономию. Виден мастер, хоть и несколько усталый, думая о котором все еще хочется повторить: «Вы, нынешние, нут-ка!» [1]. При всем своем дружеском расположении к Писемскому и уважении к его таланту Тургенев не хотел умолчать и о недостатках романа, которые он объяснил усталостью его создателя.

Эта «усталость» проявляется прежде всего в частых нарушениях логики развития характеров — как раз в той сфере творчества, где раньше Писемский чувствовал себя особенно уверенно. Такие нарушения наиболее явно заметны в характере

---

[1] Письма, стр. 760.

Бегушева. Человек высокого полета мысли, противник мещан, так сказать, по принципиальным соображениям, он с полной серьезностью пускается в состязание с ними на поле гастрономии. Это и дало повод Н. К. Михайловскому назвать Бегушева «героем трюфельного фронта». Много перечувствовавший и много утративший, Бегушев иногда разговаривает с Домной Осиповной или пишет ей записки в таком тоне, который был бы под стать какому-нибудь молодому фату из второсортного бульварного романа.

В 1878—1880 годах Писемский работал над последним своим романом, «Масоны». Здесь, в сущности, та же тема, что и в «Мещанах», но решается она на материале прошлого. И этот уход в историю не случаен. Настоящее представлялось Писемскому царством, где люди ничего не хотят знать, кроме своих низменных, меркантильных интересов. Мысль с ее вечными исканиями идеала, чистые переживания прекрасного в жизни и в искусстве, бескорыстная дружба — все это, казалось ему, безвозвратно исчезло из жизни. А между тем все это было, и совсем недавно. каких-нибудь пятьдесят лет тому назад. Конечно, и тогда, в 20—30-х годах, были и заносчивые вельможи, и подобострастные чиновники, и взяточники, и влиятельные денежные тузы вроде откупщика Тулузова. Однако же все эти мерзости, по мнению Писемского, не выставляли тогда себя на вид так нагло и победоносно, как в современной ему жизни, и, что особенно важно, в обществе тех лет было много людей, не только не поддававшихся этим мерзостям, но и энергично сопротивлявшихся им.

В основу сюжета «Масонов» как раз и положен один из эпизодов такого сопротивления — история судебного дела, которое под руководством Егора Егорыча Марфина вели масоны против Тулузова. Эту тяжбу Писемский изображает как борьбу духовного и меркантильного начал. На стороне Тулузова все, кто не может противиться соблазну стяжания,— от мелкого губернского писца до сенатора и министра. Влиятельность Марфина и его соратников на первый взгляд основана на масонских связях. Но это не совсем так. Дело в том, что многие «вольные каменщики» не относились к масонству сколько-нибудь всерьез. Для этих людей оно было чем-то вроде таинственной игры, участники которой привлекают к себе внимание любопытных. Сила Марфина, как старается показать Писемский, не столько в том, что он занимает высокий пост в масонской иерархии, сколько в его безукоризненной добропорядочности, бескорыстии и честности. Эти качества так ярко выражены в нем, что все, кто с ним общается, не могут относиться к нему без уважения.

Процесс масоны проиграли. В официальных сферах деньги Тулузова оказались сильнее рыцарской честности Марфина и Сверстова. Но борьба вокруг этого дела не прошла бесследно. Подвиг Марфина сплотил всех честных людей в обществе, повысил их уважение к духовным ценностям.

В «Масонах» Писемский снова создал целый ряд выразительных, запоминающихся образов и напряженных ситуаций. Но к этому роману с еще большим основанием можно применить тургеневскую мысль об усталости мастера.

Отвечая на отзыв Тургенева о «Мещанах», Писемский признался: «...я действительно устал писать, а еще более того — жить, тем более, что хоть, конечно, старость не радость для всех, но у меня она особенно уж нехороша и исполнена таких мрачных страданий, каких не желал бы я и злейшему врагу своему»[1]. Действительно, последние годы жизни Писемского были безрадостны. После безрыловской истории он не переставал чувствовать свою отверженность от большой литературы, в которой он когда-то занимал такое почетное положение. В личной жизни на него обрушивался удар за ударом. В 1874 году его сын Николай, только что блестяще окончивший Московский университет, по неизвестным причинам застрелился. Старший сын, Павел, талантливый ученый-правовед, в 1880 году заболел тяжелой психической болезнью. Некогда общительный, склонный к шутке собеседник, остроумный рассказчик, Писемский стал в последние годы жизни замкнутым, подозрительным человеком. Здоровье его окончательно ухудшилось. 20 января 1881 года (ст. стиля) он умер.

* * *

В одном из лучших своих произведений, в повести «Старческий грех», Писемский рассказал потрясающую историю бухгалтера Иосафа Ферапонтова, выбившегося «в люди» из страшной бедности, перенесшего в своей жизни бесконечный ряд унижений и обид и все-таки сохранившего в себе любовь к людям и мечту о счастье. Иосаф свято берег эту мечту долгие годы. Однажды ему показалось, что она близка к осуществлению. Но женщина, которую он полюбил и для которой принес самую большую жертву, надругалась над его чувством. Мечта обманула его. Он понял, что счастье не для него, и покончил с собой. Писемский заключил историю Иосафа такими словами: «Мне, признаться, сделалось не на шутку страшно даже за самого себя... Жить в таком обществе, где Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовские — людьми правыми и судьи — вроде полицеймейстера,— чтобы жить в этом обществе, как хотите, надобно иметь большой запас храбрости!»

Эти слова можно отнести ко всему творчеству Писемского. На своем литературном пути он много раз ошибался, многого в окружавшей его действительности не понимал и вследствие этого изображал искаженно. Но в лучших своих произведениях он сказал о современной ему русской жизни именно ту суровую правду, которая и до сих пор не может не волновать. Общество, где самые заветные человеческие стремления поруганы и осквернены, где захребетники и лизоблюды господствуют, а честные люди, труженики угнетены и унижены,— это общество отразилось в наследии Писемского во всей своей неприглядности.

---

[1] Письма, стр. 385.

Глубокий знаток жизни, Писемский создал целую галерею самобытнейших образов, в жизненную достоверность которых нельзя не верить. «Это большой, большой талант! — писал А. П. Чехов.— Люди у Писемского живые, темперамент сильный... Кстати: прочел я и «Космополис» Бурже. У Бурже и Рим, и папа, и Корреджио, и Микель Анжело, и Тициан, и дожи, и красавица в 50 лет, и русские, и поляки — но как все это жидко и натянуто, и слащаво, и фальшиво в сравнении с нашим, хотя бы все тем же грубым и простоватым Писемским».

Творчество Писемского — одно из замечательнейших явлений художественной культуры русского народа.

М. ЕРЕМИН

БОЯРЩИНА

Роман в двух частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В одной из северных губерний, в С... уезде, есть небольшая волость, в которой, по словам ее обитателей, очень большое, а главное, преприятное соседство. Всякий, кому только господь бог соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заметил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случалось проезжать целые уезды, не набредя ни на одно жилое барское поместье, хотя часто ему метался в глаза господский дом, но — увы! — верно, с заколоченными окнами и с красным двором, глухо заросшим крапивою; но никак нельзя было этого сказать про упомянутую волость: усадьбы ее были и в настоящее время преисполнены помещиками; немногие из них заключали по одному владельцу, но в большей части проживали целые семейства. Местечко это еще исстари прозвано было Боярщиной, и даже до сих пор, если приедет к вам владимирец-разносчик и вы его спросите:

— Откуда, плут, пробираешься?

— Из Боярщины, сударь... Около месяца там плутовал,— ответит он вам.

— Там?

— Там-с. Такое уж там для нас место притоманное.

Заседатель земского суда как, бывало, попадет туда на следствие, так месяца два, три и не выедет: все по гостям, а исправник, которого очень все любили, просто

не выезжал оттуда: круглый год ездил от одного помещика к другому. На баллотировках боярщинцы всегда действовали заодно и, надобно сказать, имели там значительный голос, тем более что сам губернский предводитель был из числа их.

На северном краю этой волости есть усадьба Могилки, которая как-то резко отличалась от прочих усадеб тем, что вся обнесена была толстым деревянным забором. Двухэтажный, с небольшими окнами, господский дом был выкрашен серою краскою; от самых почти окон начинал тянуться огромный пруд, берега которого густо были обсажены соснами, разросшимися в огромные деревья, которые вместе с домом, отражаясь в тинистой и непрозрачной воде, делали пруд похожим на пропасть; далее за ним следовал темный и заглохший сад, в котором, кажется, никто и никогда не гулял. Высокие, покрытые острым колпаком флигеля, также с маленькими окнами и посеревшие от времени, тянулись от господского дома по обоим бокам и заключались скотными дворами, тоже серыми, которые были обильно, но неаккуратно покрыты соломою. При самом почти въезде в усадьбу, на правой руке, стояла полуразвалившаяся часовня, около которой возвышалось несколько бугров, напоминавших о некогда бывшем тут кладбище. Одним словом — все как-то было серо и мрачно и наводило на вас грустное и неприятное чувство. Всякий раз, когда я проезжал мимо этой усадьбы, меня поражало необыкновенное ее сходство с раскольничьим кладбищем. Лет двадцать назад в этой усадьбе жил высокий, худощавый старик, Егор Егорыч Задор-Мановский, который один из всех соседних дворян составлял как бы исключение: он ни к кому не ездил, и у него никто не бывал. Про него носились весьма невыгодные слухи: говорили, что будто бы он уморил жену и проклял собственного сына за то, что тот потребовал в свое распоряжение материнское имение. Но это были одни слухи; достоверно же знали только то, что сын лет двенадцать не бывал у отца.

— Нужно бы нам подобраться к Задор-Мановскому,— часто говаривал губернский предводитель.

— Нужно бы, ваше превосходительство,— подхватывал с...кий исправник.

— Да как подберешься? — продолжал предводитель.

— Именно, как подберешься? — заключал исправник.

Между тем, покуда они решали этот вопрос, Задор-Мановский скоропостижно умер, и после него стало совершаться все то, что обыкновенно совершается по смерти одиноких людей: деньги и вещи, сколько возможно, были разворованы домашними, а остальные запечатаны. Некоторые из соседей приехали на похороны, пожалели о покойнике, открыли его несколько редких добродетелей, о которых при жизни и помину не было, и укоряли, наконец, неблагодарного сына, не хотевшего приехать к умирающему отцу. Пять лет после того Могилки пустели. Наконец, в них приехал новый господин — сын покойника, Михайло Егорыч Задор-Мановский, и приехал не один, а с молодою женою. Последнее обстоятельство не понравилось особенно тем из соседей, у которых на руках были взрослые дочери, потому что Мановский, несмотря на невыгодные слухи об отце, был очень выгодный жених. Все знали, что у него триста незаложенных душ, да еще, в придачу, на несколько тысяч ломбардных билетов; сверх того, он был полковник в отставке.

— Я думаю, будет в батюшку и станет жить медведем,— проговорили многие.

Но предсказание это не сбылось. В продолжение двух недель после своего приезда Мановский посетил почти всех соседей и пригласил их к себе. Результатом таких посещений было то, что сам Задор-Мановский понравился всем; скажу более, внушил к себе уважение. Правда, приемы его были несколько угловаты, но вежливы, мысли резки, но основательны. Что касается до его наружности, то он был в полном смысле атлет, в сажень почти ростом и с огромной курчавой головой. По значительному развитию ручных мускулов нетрудно было догадаться, что он имел львиную силу. Впрочем, багровый, изжелта, цвет лица, тусклые, оловянные глаза и осиплый голос ясно давали знать, что не в неге и не совсем скромно провел он первую молодость, но только железная натура его, еще более закаленная в нужде, не поддалась ничему, и он, в сорок лет, остался тем же здоровяком, каким был и в осьмнадцать.

Но совершенно другое впечатление произвела на общество его жена. Посещая, вместе с мужем, соседей, она вела себя как-то странно: после обычных приветствий, которые исполняются при новых знакомствах и которые, надо отдать справедливость, Мановская выска-

зывала довольно ловко и свободно, во все остальное время она молчала или только отвечала на вопросы, которые ей делали, и то весьма коротко. Более тонкий наблюдатель с первого бы взгляда заметил по грустному выражению лица молодой женщины, что молчаливость ее происходила от какого-то тайного горя, которое, будучи постоянным предметом размышлений, отрывало ее от всего окружающего мира и заставляло невольно сосредоточиваться в самой себе. Но не так показалось это соседям. «Она горда»,— сказали победнее из них; «Она глупа»,— решили богатые. Наружность ее тоже не понравилась. Это была блондинка; черты лица ее были правильны, но она была худа; на щеках ее играл болезненный румянец, а тонкие губы были пепельного цвета. Эти признаки органического расстройства и были причиною, что в наружности m-me Мановской соседи и соседки, привыкшие более видеть в своих дочках здоровую красоту, не нашли ничего особенного, за исключением довольно недурных глаз. Мановский в гостях обходился с женой не очень внимательно, дома же, при посторонних, он был с ней повелителен и даже почти груб. Это еще более уронило Мановскую в глазах соседей. «Ее, кажется, и муж-то не любит»,— говорили одни; «И не за что»,— подтверждали другие.

Так прошли два года. Задор-Мановский сделался одним из главных представителей между помещиками Боярщины. Его все уважали, даже поговаривали, что вряд ли он не будет на следующую баллотировку предводителем. Дамам это было очень досадно. «Вот уж нечего сказать, будет у нас предводительша, дает же бог этаким счастье»,— говорили они...

Перенесемся, однако, на несколько времени в Могилки. Гостиная Мановских была самая большая и холодная комната в целом доме. Стены ее были голы; кожаная старинная мебель составляла единственное ее убранство. Она была любимым местопребыванием Михайла Егорыча, который любил простор и свежий воздух. Рядом с гостиной была спальная комната, в которой целые дни просиживала Анна Павловна. Однажды, это было в начале мая, Михайло Егорыч мерными шагами ходил по гостиной. На лице его была видна досада. Он только что откуда-то приехал. Несмотря на то, что в комнате, по причине растворенных окон, был страшный хо-

лод, Мановский был без сюртука, без галстука и без жилета, в одних только широких шальварах с красными лампасами. Молодой, лет двадцати, лакей в сером из домашнего сукна казакине перекладывал со стула на руку барское платье.

— Вы, этта, соколики,— начал Мановский,— ездивши с барыней к обедне, весь задок отворотили у коляски, шельмы этакие? И молчат еще! Как это вам нелегкая помогла?

— Лошади разбили-с. Не то что нас, барыню-то чуть до смерти не убили,— отвечал лакей.

— Прах бы вас взял и с барыней! Чуть их до смерти не убили!.. Сахарные какие!.. А коляску теперь чини!.. Где кузнец-то?.. Свой вон, каналья, гвоздя сковать не умеет; теперь посылай в чужие люди!.. Одолжайся!.. Уроды этакие! И та-то, ведь как же, богу молиться! Богомольщица немудрая, прости господи! Ступай и скажи сейчас Сеньке, чтобы ехал к предводителю и попросил, нельзя ли кузнеца одолжить, дня на два, дескать! Что глаза-то выпучил?

— Семена дома нет-с,— отвечал лакей.

— Это как? Где же он?

— В город на почту уехал; барыня послали.

— Да ведь я говорил,— вскрикнул Мановский,— чтобы ни одна бестия не смела ездить без моего спросу.

— Барыня изволили послать.

— Как барыне не послать? Помещица какая! Хозяйством не занимается, а только письма пишет — писательница! Как же, ведь папеньку надобно поздравить с праздником,— только людей да лошадей гонять! Пошел, скажи кучеру, чтобы съездил за кузнецом.

Лакей ушел. Михайло Егорыч, надевши только картуз и в том же костюме, отправился на конский двор.

Анна Павловна, сидевшая в своей спальне, слышала весь этот разговор; но, кажется, она привыкла к подобным выходкам мужа и только покачала головой с какою-то горькою улыбкой, когда он назвал ее писательницей. Она была очень худа и бледна. Через четверть часа Мановский вернулся и, казалось, был еще более чем-то раздосадован. Он прямо пошел в спальню.

— Что у нас теперь делают? — спросил он, садясь в угол и не глядя на жену.

— Ячмень сеют. Овес вчерашний день кончили,— отвечала та.

— Много ли высеяно ячменя?

— Сегодня я не знаю.

— Да что ж вы знаете? — перебил Мановский.— Я, кажется, говорил вам, чтобы вы сами наведывались в поле, а то опять обсевки пойдут.

— Но я больна, Михайло Егорыч!

— Вечная отговорка: я больна! Надели бы шубу, коли очень знобки. Для чего вы здесь живете? Последняя коровница и та больше пользы делает. Людей рассылать да коляски ломать ваше дело! Будь я подлец, если я не запру все экипажи на замок; вон навозных телег много, на любой извольте кататься! Что это в самом деле, заняться ничем не хочет: столом, что называется, порядочно распорядиться не умеет! Идет бог знает сколько, а толку нет! Куда этта, в два месяца, какие-нибудь вышел пуд крупчатки? Знаете ли вы это? Ведь ничего не понимаете! Что у нас,— балы, что ли? Белоручка какая! Я больна!.. Я нездорова!.. Я не могу!.. Вспомнили бы лучше, много ли приданого-то принесли,— только бабий хвост, с позволения сказать.

— Зачем же вы женились на мне?

— Кто вас знал, что вы аферисты этакие! За меня в Москве купчихи шли, не вам чета, со ста тысячами. Так ведь как же, фу ты, боже мой, какое богатство показывали! Экипаж — не экипаж, лошади — не лошади, по Петербургам да по Москвам разъезжали, миллионеры какие, а на поверку-то вышло — нуль! Этакой подлости мужик порядочный не сделает, как милый родитель ваш, а еще генерал!

Последние слова, кажется, более всего оскорбили и огорчили Анну Павловну: она вся вспыхнула и заплакала.

— Как же, ведь нюни распустить сейчас надобно!.. Ужасно как жалко! Я вот сейчас сам зарыдаю!..

Анна Павловна продолжала плакать.

— За что вы меня мучите,— проговорила, наконец, она грустным голосом,— что я вам сделала? Я просила и прошу вас об одном, чтоб вы не бранили при мне моего отца. Он не виноват, он не знал, что вы женитесь не на мне, а на состоянии.

— Скажите, пожалуйста! Он не знал этого, какой

малолеток! Он думал, что дочку в одной юбке отпустить благородно? Золото какое! Осчастливил!

— Я вас давно просила отпустить меня. Зачем я вам? Вы меня не любите и не уважаете!

— Смею ли я вас не уважать, помилуйте! Глубочайшее почтение должен питать! Как же, ведь такая красавица! Такая образованная! Как мне вас не уважать? Вами только и на свете существую.

Мановский долго еще бранился; но Анна Павловна не говорила уже ни слова; наконец, видно, и ему наскучило: он замолчал и все сидел насупившись.

Молодой лакей вошел и сказал, что обед готов. Михайло Егорыч пошел первый. Он выпил первоначально огромную рюмку водки, сел и, сам наливши себе полную тарелку горячего, начал есть почти с обжорством, как обыкновенно едят желчные люди. Анна Павловна сидела за столом больше для виду, потому что ничего не ела. Между тем выражение лица Мановского в той мере, как он наедался, запивая каждое блюдо неподслащенной наливкой, делалось как будто бы добрее. Вставши из-за стола, он выкурил залпом три трубки крепкого турецкого табаку и лег в гостиной на диван. Анна Павловна прошла в спальню.

Мановский, кажется, думал заснуть, но не мог.

— Анна Павловна! Подите сюда! — крикнул он.

Анна Павловна не отвечала. Михайло Егорыч снова позвал ее, но она не шла и даже не откликалась, а потом, потихоньку вставши, хотела уйти из спальни, но Михайло Егорыч увидел ее в зеркале.

— Куда же вы? Говорят вам, подите сюда! — произнес он.

Анна Павловна остановилась в раздумье.

— Подите сюда,— повторил Мановский.

Анна Павловна вошла и села в некотором отдалении на кресло.

— Сядьте сюда поближе,— сказал Мановский.

Анна Павловна не трогалась. Михайло Егорыч достал ее рукою и посадил к себе на диван. Он, видимо, хотел приласкаться к жене. У Анны Павловны между тем лицо горело, на глазах опять навернулись слезы.

— Оставьте меня,— проговорила она, отодвигаясь на другой конец дивана.

Михайло Егорыч молча придвинул ее к себе.

— Ну, помиримтесь, поцелуйте меня,— проговорил он несколько ласковым голосом.

Анна Павловна поцеловала его. Слезы ручьями текли по ее щекам.

— О чем вы плачете? Что за глупости! — проговорил Мановский и, наклонив голову жены, хотел ее еще поцеловать. Анна Павловна не в состоянии была долее владеть собой: почти силой вырвалась она из рук мужа и, проговорив: «Оставьте меня!» — ушла. Мановский посмотрел ей вслед озлобленным взглядом и по крайней мере около часу просидел на диване нахмуренный и молчаливый, а потом велел себе заложить беговые дрожки и уехал. Одевавший и провожавший его молодой лакей вернулся в прихожую в каком-то раздумье; постояв, он развел что-то руками и лег на залавок.

— Костя! Куда барин уехал? — спросила горничная девушка Анны Павловны, Матрена, заглянувши в лакейскую.

— В Спиридоново, чай,— отвечал тот.

— К Марфе?

— Ну да.

— Ой, господи, согрешили грешные,— проговорила горничная в раздумье.

— Да тебе чего тут жаль? — проговорил лакей.

— Барыню больно жаль, сидит да плачет...

— Что плакать-то. Не сегодня у них согласья нет: все друг дружке наперекор идут. Он-то вишь какой облом, а она хворая.

— Что ж, хворая? — возразила горничная.

— Что хворая! Известно: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую.

— Да уж это так,— отвечала горничная и ушла в девичью.

— Да, так... Знаем тоже и тебя... Пошто вот Марфе попадает, а не мне,— знаем! — произнес сам с собой лакей и, прикорнувши головой на левую руку, задремал.

II

Спустя месяц после описанного нами происшествия вся Боярщина собиралась в доме у губернского предводителя. Это был день именин его жены. Все почти общество было в гостиной. Самой хозяйки, впрочем, не было

дома. Она уже года три жила без выезда в Петербурге, потому что, по ее собственным словам, бывши до безумия страстною матерью, не могла расстаться с детьми; а другие толковали так, что гвардейский улан был тому причиной. Не менее того, именины ее каждогодно справлялись в силу того обычая, что губернские предводители, кажется, и после смерти жен должны давать обеды в день их именин. Сам хозяин, маленький, седенький старичок, с очень добрым лицом, в камлотовом сюртуке, разговаривал с сидевшей с ним рядом на диване толстою барынею Уситковою, которая говорила с таким жаром, что, не замечая сама того, брызгала слюнями во все стороны. Она жаловалась теперь на станового пристава. Все кресла, которые обыкновенно в количестве полутора дюжин расставляются по обеим сторонам дивана, были заняты дамами в ярких шелковых платьях. Некоторые из них были в блондовых чепчиках, а другие просто в гребенках. Лица у всех по большей части были полные и слегка у иных подбеленные. Несколько мужчин, столпившись у дверей, толковали кой о чем. Другие ходили или, заложивши руки назад, стояли и только по временам с каким-то странным выражением в лице переглядывались с своими женами. Соседняя с гостиной комната называлась диванной. В ней также помещалось несколько человек гостей: приходский священник с своей попадьей, которые тихо, но с заметным удовольствием разговаривали между собою, как будто бы для этого им решительно не было дома времени; потом жена станового пристава, которой, кажется, было очень неловко в застегнутом платье; гувернантка Уситковой в терновом капоте и с огромным ридикюлем, собственно, назначенным не для ношения платка, а для собирания на всех праздниках яблок, конфет и других сладких благодатей, съедаемых после в продолжение недели, и, наконец, молодой письмоводитель предводителя, напомаженный и завитой, который с большим вниманием глядел сквозь стекло во внутренность стоявших близ него столовых часов: ему ужасно хотелось открыть: отчего это маятник беспрестанно шевелится. Кроме этих лиц, здесь были еще три собеседника, которые, видимо, удалились из гостиной затем, чтобы свободнее предаваться разговорам, лично для них интересным. Это были: племянница хозяина, довольно богатая, лет тридцати, вдова, Клеопатра Николаевна Маурова. Высокая ростом, с от-

крытой физиономией, она была то, что называют belle femme[1], имея при том какой-то тихий, мелодический голос и манеры довольно хорошие, хотя несколько и жеманные; но главное ее достоинство состояло в замечательной легкости характера и в неподдельной, природной веселости. Сидевшая с нею рядом особа была совершенно противоположна ей: это была худая, желтая, озлобленная девственница, известная в околотке под именем барышни, про которую, впрочем, говорили, что у нее было что-то такое вроде мужа, что дома ее колотило, а когда она выезжала, так стояло на запятках. Третье лицо был молодой человек: он был довольно худ, с густыми, длинными, а ля мужик, и слегка вьющимися волосами; в бледном и выразительном лице его если нельзя было прочесть серьезных страданий, то по крайней мере высказывалась сильная юношеская раздражительность. По модному черному фраку и гладко натянутым французским палевым перчаткам, а главное по стеклышку, которое он по временам вставлял в глаз, нетрудно было догадаться, что он недавно из столицы.

Эти три лица разговаривали о чувствах и страстях.

— Итак, Эльчанинов, вы говорите, что ваш идеал — женщина страдавшая, вот уж не понимаю,— говорила Клеопатра Николаевна, пожимая плечами.

— Что тут непонятного? — отвечал молодой человек.— Горе облагораживает и возвышает душу женщины, как и человека вообще.

— Ах, боже мой! — подхватила вдова.— После этого всякая женщина может быть идеалом, потому что всякая женщина страдает. Полноте, господа! Вы не имеете идеала. Я видела мужчин, влюбленных в таких милых, прекрасных женщин, и что же после? Они влюблялись в уродов, просто в уродов! Как вы это объясните?

— Я могу объяснить только то, что сам перечувствовал,— отвечал молодой человек.

— Клеопатра Николаевна вас спрашивает про наружность вашего идеала,— заметила барышня с ядовитой улыбкой.— Страдает ведь всякая женщина,— прибавила она.

— Про наружность я не могу вам сказать определительно,— отвечал молодой человек.— Впрочем, мне лучше

---

[1] красавица, *(франц.)*

нравятся женщины слабые, немножко с болезненным румянцем и с лихорадочным блеском в глазах.

— Странный вкус! — сказала с усмешкой вдова.— Здесь есть одна такая женщина, только жаль, что несколько глупа.

— А, понимаю, о ком вы говорите,— заметила барышня,— о Зе?

— Конечно, о ком же больше,— отвечала Клеопатра Николаевна.

— Кто такая Зе? — спросил молодой человек.

— Женщина слабая, с болезненным цветом лица, с лихорадочным блеском в глазах и вдобавок еще глупенькая,— отвечала Клеопатра Николаевна.

— Худая и больная женщина вряд ли может быть глупа,— возразил молодой человек.— Все дураки пользуются обыкновенно благом здоровья: у них тело развивается на счет души.

— Желаю вам отыскать поскорее ваш идеал,— сказала вдова, поспешно вставая.— Пойдемте, Nathalie,— прибавила она, взяв за руку свою собеседницу. Обе дамы пошли в гостиную.

Несмотря на старание скрыть, досада промелькнула в лице Клеопатры Николаевны.

Молодой человек с насмешливой гримасой посмотрел им вслед. Это был один из соседних помещиков, некто Валерьян Александрыч Эльчанинов. Мнение соседей об нем было такое, что матушкин баловень, которая возилась с ним, как курица с яйцом, и, ни много ни мало, проучила и прожила на него двести душ. Ну, и выучить, конечно, выучила многому, но проку из того, кажется, вышло мало, потому что молодой человек вряд ли служил где-нибудь и имел ли даже какой-нибудь чин. После смерти матери он жил по столицам, а теперь приехал на житье в свою разоренную усадьбу — на какую-нибудь сотню душ; и вместо того чтобы как-нибудь поустроить именье, только и занимался тем, что ездил по гостям, либо ходил с ружьем да с собакой на охоту. Прекрасное занятие для молодого образованного человека!

Шум в зале возвестил о приезде новых гостей. Хозяин привстал с места. В гостиную вошел Мановский, сопровождаемый женой. Мужчины приветливо и с почтением подавали руку первому.

— Милости просим, дорогой гость,— говорил хозяин, тоже протягивая обе руки Задор-Мановскому.— Как ваше здоровье, Анна Павловна? — прибавил он.

Мановский и жена поздравили предводителя с дорогой именинницей и справились, давно ли от нее получал письма.

— Недавно, очень недавно,— отвечал старик и солгал.

Новоприезжие разошлись; Анна Павловна, поклонившись некоторым дамам, села на отдаленное кресло; Задор-Мановский подошел к мужчинам.

В это время в гостиную вошел Эльчанинов, прислонился к колонне и, стараясь принять несколько изысканное положение, вставил стеклышко в глаз и взором наблюдателя начал оглядывать общество. Вдруг глаза его неподвижно остановились на одном предмете; бледное лицо его вспыхнуло.

— Кто эта дама? — спросил он торопливо и не без волнения, схватив за руку проходившего мимо исправника.

— Которая-с?

— На крайнем кресле, в коричневом платье.

— Это жена Задор-Мановского.

— Что ж, она здешняя?

— Нет, он женился там где-то, далеко.

В это время мимо них прошла Клеопатра Николаевна с своей спутницей.

— Ваш идеал приехал, можете адресоваться,— сказала она Эльчанинову. Тот ей ничего не ответил и вряд ли даже слышал ее замечание. Он, не спуская глаз, глядел на Мановскую.

— Как имя этой мадаме Мановской? — спросил он опять исправника.

— Анна Павловна,— отвечал тот.

— Это она,— почти вслух сказал Эльчанинов и быстро пошел в ту сторону, где сидела Мановская.

Исправник с усмешкою посмотрел ему вслед.

— Ну, теперь пошел,— сказал он, подмигнув стоявшему возле толстому Уситкову и тоже наблюдавшему эту сцену.— Видно, Мановского еще не видал.

— Да,— отвечал тот, усмехнувшись,— тут насчет этого небезопасно! И не такому жиденькому кости переломают.

Между тем Эльчанинов стоял уже перед Мановской.

— Вы ли это, Анна Павловна? — сказал он, все еще в недоумении, глядя на молодую женщину.

Мановская взглянула на него, и судорожный трепет пробежал по ее лицу. Она хотела что-то отвечать, но голос ей изменил.

— Валерьян Александрыч, как вы здесь? — проговорила, наконец, она.

— Я здешний уроженец! Скажите лучше, как вы попали сюда? — сказал Эльчанинов, садясь около нее.

— Я замужем.

— Замужем? За кем? Мне говорили...

— За Мановским.

— Но вы больны, голос ваш слаб, вы не похожи на себя?

Анна Павловна ничего не отвечала.

— Неужели мои пророчества,—продолжал молодой человек,— которые я предсказывал вам в шутку, неужели они сбылись? Неужели вы?..

— Бога ради, не говорите со мною,— прервала шепотом молодая женщина,— на нас смотрят, отойдите от меня.

— Я не отойду от вас, покуда вы мне не скажете, что с вами? Отчего эта перемена? Вспомните, вы называли меня когда-то вашим другом! Вы должны быть со мною откровенны!..

— Только не здесь, бога ради, не здесь,— подхватила Анна Павловна.

— Где же?

— Где хотите: в лесу, в поле, только не при людях!.. Отойдите!

— По крайней мере назначьте время и место.

— Я гуляю в поле, близ Лапинской рощи,— сказала шепотом Анна Павловна,— будьте там в пятницу, в четыре часа!.. Отойдите!

Эльчанинов повиновался ей, и первым его делом было — выйти на балкон. Лицо его горело. Несколько минут простоял он, наклонившись над перилами, и, как бы желая освежиться от внутреннего волнения, вдыхал довольно свежий воздух, потом улыбнулся, встряхнул волосами и весело возвратился в гостиную.

— Вам нечего меня опасаться,— сказал он тихо Мановской, проходя мимо ее.— Здесь всем известно, что я влюблен в madame Маурову.

Молодая женщина взглянула на него и, кажется, поняла этот намек.

Эльчанинов подошел к вдове, которая на этот раз была одна и сидела опять в наугольной, задумчиво перебирая концы своего шарфа.

— Как я рад,— сказал он, усаживаясь около нее,— что, наконец, встретил вас без вашей гувернантки.

— Это что значит? — спросила вдова, внимательно посмотрев на молодого человека.

— Это значит, что я могу с вами, наконец, говорить откровенно.

— Право?.. А я не замечала в вас притворства. Напротив, вы слишком откровенны.

— А мой идеал?

— Что ж ваш идеал?

— Я изобрел его, чтобы скрыть настоящий.

— Или вы тогда хитрили или теперь хитрите,— сказала Клеопатра Николаевна, снова внимательно взглянув на молодого человека.

«Она умнее, нежели я полагал»,— подумал про себя Эльчанинов.

— Позвольте мне с вами рядом сесть за столом,— сказал он вслух.

— Извольте.

Он поцеловал ее руку.

— Еще одна просьба!

— А именно?

— Чтобы не было около вас вашей спутницы.

— Это почему?

— Я ее терпеть не могу: она сплетница, и я должен буду невольно притворяться.

— За что же вы ее не любите? Вот что значит наружность! Ах, господа, господа мужчины!

— Прошу вас!

— Извольте! Впрочем, помните, это жертва!

— Merci,— сказал Эльчанинов и снова поцеловал руку Клеопатры Николаевны.

— Вы мне скажете ваш идеал,— сказала вдова, не отнимая руки.

— Скажу,— отвечал молодой человек с притворным смущением и сжал ей руку.

Они разошлись.

Через полчаса сели за стол. Эльчанинов был рядом с

Клеопатрой Николаевной. Вдова была, говоря без преувеличения, примадонною всех съездов Боярщины. Она была исключительным предметом внимания и любезности со стороны мужчин, хоть сколь-нибудь претендующих еще на любезность. Причина этому, конечно, заключалась в независимости ее положения, в ее живом, развязном характере, а больше всего в кокетстве, к которому она чувствовала чрезмерную наклонность. В числе ее поклонников был, между прочим, и Задор-Мановский, суровый и мрачный Задор-Мановский, и надобно сказать, что до сего времени Клеопатра Николаевна предпочитала его прочим: она часто ездила с ним верхом, принимала его к себе во всякое время, а главное, терпеть не могла его жены, с которой она, несмотря на дружеское знакомство с мужем, почти не кланялась.

Судьба посадила Задор-Мановского напротив вдовы.

— Кто этот молодой человек? — спросил он у своего соседа, указывая на Эльчанинова.

— Это сосед его превосходительства, недавно приехал,— отвечал тот.

— Где же он живет?

— В Коровине.

— В Коровине?.. Что же, он служил, что ли, где-нибудь?

— Бог его знает, неизвестно.

В это время Эльчанинов что-то с жаром начал говорить вдове. Она краснела несколько. Мановский стал прислушиваться, но—увы! — Эльчанинов говорил по-французски. Задор начал кусать губы.

— Клеопатра Николаевна! — сказал он, не вытерпев. Ответа не было.

— Клеопатра Николаевна! — повторил еще раз Мановский. Вдова взглянула на него.

— Когда же мы с вами поедем на охоту? — спросил он.

— Я не буду больше ездить на охоту,— отвечала торопливо Клеопатра Николаевна.— Ну, продолжайте, бога ради, продолжайте; это очень интересно,— прибавила она, обращаясь к Эльчанинову.

— Почему же вы не хотите ездить? — спросил неотвязчиво Мановский.

— Ах, боже мой, почему? Потому что... не хочу.

— А вы ездите на охоту?.. Странное для дамы удовольствие,— заметил с усмешкой Эльчанинов.

— А почему оно страннее удовольствия — беседовать с вами? — заметил дерзко Мановский.

Эльчанинов посмотрел на своего противника.

— А вам это, видно, очень неприятно? — сказал он опять с усмешкой.

Мановский только взглянул на него своими выпуклыми серыми глазами.

— Неужели? — подхватила с громким смехом вдова.— Это очень лестно. Благодарю вас, m-r Эльчанинов, вы открываете мне глаза.

Эльчанинов многозначительно улыбнулся.

Мановский был совершенно уничтожен: его не только не предпочли, но еще и осмеяли.

Есть люди, в душе которых вы никакой любовью, никаким участием, никакой преданностью с вашей стороны не возбудите чувства дружбы, но с которыми довольно сказать два — три слова наперекор, для того, чтобы сделать их себе смертельными врагами. Таков был и Задор. Ревнивый по натуре, он тут же заподозрил вдову в двусмысленных отношениях с молодым человеком и дал себе слово — всеми силами мешать их любви. Таким образом, судьба как бы нарочно направила проницательный взор этого человека совершенно не в ту сторону, куда бы следовало.

— Кто это такой? — спросил Эльчанинов Клеопатру Николаевну,— он, кажется, неравнодушен к вам.

— Не знаю,— отвечала она кокетливо и прибавила: — Это Задор-Мановский.

— Задор-Мановский,— повторил Эльчанинов.

Последнее известие его весьма обеспокоило.

В это время в залу вошел низенький, невзрачный человек, но с огромной, как обыкновенно бывает у карликов, головой. В одежде его видна была страшная борьба опрятности со временем, щегольства с бедностью. На плоском и широком лице его сияло удовольствие. Он быстро проходил залу, едва успевая поклониться некоторым из гостей. Хозяин смотрел, прищурившись, чтобы узнать, кто это был новоприезжий.

— Честь имею, ваше превосходительство,—начал бойко гость,— поздравить с драгоценнейшей именинницей и позвольте узнать, как их здоровье?

— Благодарю, Иван Александрыч, благодарю! Пишет, что здорова,— отвечал с обязательной улыбкой Алексей Михайлыч,— прошу покорно садиться!.. Малый! Поставь прибор.

— Извините, ваше превосходительство,— продолжал Иван Александрыч,— что не имел времени поутру засвидетельствовать моего поздравления: дядюшка изволили прибыть.

— Граф Юрий Петрович приехал! — почти вскрикнул хозяин.

— Граф приехал,— повторилось почти во всех концах стола.

— Вчерашний день,— начал Иван Александрыч,— в двенадцать часов ночи, совершенно неожиданно. Конечно, он мне писал, да все как-то двусмысленно. Знаете, великие люди все любят загадки загадывать. Дом-то, впрочем, всегда ведь готов. Вдруг сегодня из Каменок ночью верховой... «Что такое, братец?..» Перепугался, знаете, со сна.— «Дядюшка, говорит, его сиятельство приехал и желают вас видеть». Я сейчас отправляюсь. Старик немножко болен с дороги, ну, конечно, обрадовался. Так мы и просидели. Приятное родственное свидание!

— А надолго приехал Юрий Петрович? — спросил хозяин.— Да садитесь около меня, Иван Александрыч!.. Эй, переставьте сюда прибор!

Иван Александрыч сел.

— Надо полагать, что на год, если только не соскучится,— начал он, а потом, склонивши головку немного набок, продолжал: — Сегодня за кофеем уморил меня со смеху старик.— «Тесен, говорит, Ваня, у меня здесь дом». Каменской дом тесен, в тридцать комнат!

— Да зачем же ваш дядюшка приехал так надолго? Видно, в Петербурге уж ненадобен? — спросил Мановский.

Иван Александрыч только усмехнулся.

— Дядюшка,— начал он внушительным тоном,— может жить, где захочет и как захочет.

— Будто? — спросил Задор.

Иван Александрыч точно не слыхал этого вопроса.

— Для здоровья, надо полагать, он больше приехал, чтобы здоровье свое поправить, которое точно что потратил от трудов своих,— проговорил он, обращаясь к хозяину.

— Конечно, конечно,— подтвердил тот.

— Враки! — произнес как бы сам с собою, впрочем довольно громко, Мановский.

Известие о приезде графа заняло всех. Во всю остальную часть обеда только и говорили об нем. Граф Юрий Петрович Сапега был совсем большой барин по породе, богатству и своему официальному положению, а по доброте его все почти окружные помещики были или обязаны им, или надеялись быть обязанными. Сверх того, может ли маленький человек не почувствовать живого интереса к лицу важному. Все себе дали слово: на другой же день явиться к графу для засвидетельствования глубочайшего почтения, и только четыре лица не разделяли общего чувства; это были: Задор-Мановский, который, любя управлять чужими мнениями, не любил их принимать от других; Анна Павловна, не замечавшая и не видевшая ничего, что происходило вокруг нее; потом Эльчанинов, которого в это время занимала какая-то мысль,— и, наконец, вдова, любовавшаяся в молчании задумчивым лицом своего собеседника. Что касается до Ивана Александрыча, то он был просто на небе. Все к нему адресовались с вопросами, все желали говорить с ним. О такой минуте он давно и постоянно мечтал. В околотке он был известен не столько под своим собственным именем и фамилией, сколько под именем *графского племянника,* хотя родство это было весьма сомнительно, и снискан некоторым вниманием Сапег он собственно был за то, что еще в детстве рос у них в доме с предназначением быть карликом; но так как вырос более, чем следовало, то и был отправлен обратно в свою усадьбу с назначением пожизненной пенсии. Проживая таким образом лет около двадцати в Боярщине, Иван Александрыч как будто не имел личного существования, а был каким-то телеграфом, который разглашал помещикам все, что делал его дядя в Петербурге или что делается в имении дяди; какой блистательный бал давал его дядя, на котором один ужин стоил сто тысяч, и, наконец, какую к нему самому пламенную любовь питает его дядюшка.— «Да что ж вы не едете в Петербург?» — спрашивали его некоторые из соседей, видя его очень небогатую жизнь, которую он вел в своей деревнюшке.

— А имение-то дяди? — отвечал Иван Александрыч, хотя при имении был особый немец-управитель, который, говорят, даже не пускал и в усадьбу племянника по ка-

ким-то личным неудовольствиям. Но возвращаюсь к рассказу моему: после обеда Эльчанинов тотчас же отошел от вдовы; ему было досадно на себя за несколько колких слов, которые он, по незнанию, сказал Задор-Мановскому. «Мне бы надобно было с ним познакомиться, сойтись, сделаться частым его гостем, а там и приятелем, а теперь. . как теперь поедешь с визитом? Впрочем, нельзя ли как-нибудь еще поправить,— думал он сам с собою,— можно с ним опять заговорить, приласкаться, счесться дальним родством и посмеяться даже над вдовой».

С этим намерением он вошел в гостиную. Первый предмет, представившийся его глазам, был Задор-Мановский с картузом в руках. Он прощался с хозяином, отговариваясь болезнью жены; невдалеке от него стояла Анна Павловна уже в шляпке.

Все надежды рушились... Теперь прошу ожидать, когда удастся встретиться с Мановским где-нибудь в доме. Он посмотрел на Анну Павловну, и ему показалось, что ей тоже не хотелось уезжать. Как она была хороша в эту минуту, и как позавидовал он ее мужу, который поедет вместе с нею вдвоем в коляске, будет ласкать ее, поцелует, тогда как ему нельзя даже проститься с ней; хоть бы еще два слова сказать, хоть бы еще раз условиться в свидании. «Боже мой! К чему эти общественные понятия, которые так стесняют свободу человека!..» Так думал Эльчанинов, и, когда Мановские уехали, ему сделалась страшная скука. Походя без всякой цели из комнаты в комнату, он решился ехать домой. А потому, взявшись за шляпу, простился с хозяином и пошел отыскивать Клеопатру Николаевну.

Вдова сидела в диванной с исправником и еще с некоторыми мужчинами.

— Это что значит? — сказала она, увидев Эльчанинова со шляпою в руках.— Вы едете?

— Я еще поутру говорил вам, что мне после обеда нужно будет ехать,— отвечал он, как бы стараясь оправдаться.

— Полно, так ли? — спросила вдова, устремив проницательный взор на молодого человека.— Полноте, не ездите.

— Нужно-с.

— Когда же вы у меня будете?

— Когда прикажете.

— Приезжайте завтра.
— Хорошо.
— На целый день?
— На целый день... Adieu[1].
— Adieu, ужасный человек.

III

Чтобы объяснить читателю те отношения, в которых находилась Мановская с Эльчаниновым, я должен несколько вернуться назад.

Хорошенький собой и очень умненький Валер перебывал, я думаю, во всех пансионах московских. Мать везде находила, что или дурно кушать ему дают, или строго учат.

Лет восьмнадцати, наконец, оставшись после смерти ее полным распорядителем самого себя, он решился поступить в тамошний университет с твердым намерением трудиться, работать, заниматься и, наконец, образовать из себя ученого человека, во славу современникам и для блага потомства, намерение, которое имеют почти все студенты в начальные месяцы первого курса. Он накупил себе книг, записался во все возможные библиотеки и начал слушать лекции; но все пошло не так, как он ожидал: на лекциях ему была страшная скука; записывать слова профессора он не мог; попробовал читать дома руководства, источники, но это оказалось еще скучнее. А между тем жизнь пахнýла уже на него своим обаянием: он ходил в театры, на гулянья, познакомился с четырехкурсными студентами, пропировал с ними целую ночь в трактире и выучился без ошибки петь «Gaudeamus igitur»[2]. Рядом с ним стояла актриса; он познакомился с актрисой и стал с нею декламировать Шекспира. Время между тем шло· Эльчанинов опомнился только перед экзаменом; в три — четыре дня списал он пропущенные лекции и в один месяц с свойственной только студентам быстротой приготовился к экзамену. Его перевели. Этот успех сделал то, что Эльчанинов в продолжение года решительно перестал думать об университете. Жизнь сделалась главной его целью У него были приятели, были знакомые. Он кутил, танцевал, изъяснялся в любви, играл на домашних театрах и писал в бессонные ночи стихи. Теряя таким образом

[1] Прощайте. *(франц.)*

[2] «Будем веселиться» *(лат.)* — начальные слова старинной студенческой песни.

в отношении образования, Эльчанинов в то же время натирался, что называется, в жизни: он узнал хорошо женщин, или лучше сказать, их слабости, и был с ними смел и даже дерзок. Он умел с первого взгляда разгадывать людей или по крайней мере определить: богат ли человек, или нет, питает ли он к своей личности уважение, или вовсе не дерзает на самолюбие. Бывая в разнородных обществах, Эльчанинов сделался в некоторой степени тонок в обращении с людьми. Он старался подделаться к тем, которые были его выше, и не чужд был давнуть тех, которых считал ниже себя. Но хуже всего Эльчанинов, как и большая часть людей, понимал самого себя. Впечатлительный по характеру, энергический и смелый в своих предприятиях, но слабый при исполнении их, он стал предполагать в себе сильные страсти, а вследствие их глубокие страдания.

Один из приятелей Эльчанинова познакомил его с своей теткой, радушной старухой, у которой была внучка, только что выпущенная из Смольного монастыря. Это была пухленькая брюнетка, с розовыми щечками и с быстрыми, как у дикой серны, глазками. Она очень понравилась Эльчанинову. Он начал ласкаться к старухе, более и более стал учащать свои посещения и через месяц сделался уже совершенно домашним человеком. Все шло как нельзя лучше для студента: старушка его полюбила, маленькая брюнетка час от часу к нему привыкала, и вот в один вечер Эльчанинов, оставшись наедине с Верочкой (так звали брюнетку), долго и высокопарно толковал ей о любви, а потом, как бы невольно схвативши ее пухленькую ручку, покрыл ее страстными поцелуями. Верочка заплакала от стыда. Студент утешал ее, умолял любить его и говорил, что если она сейчас же не скажет, что любит его, так он пойдет и застрелится. Верочка испугалась и сказала, что она действительно его любит, что ей без него страшная скука, и в заключение просила как можно чаще ходить к ним. Эльчанинов был в восторге: он целовал, обнимал тысячу раз свою Лауру (так называл он Веру), а потом, почти не помня себя, убежал домой. Эта минута была пафосом любви его к Вере. В последующее затем время он уже ничего нового не открывал в своей Лауре: она оставалась такой, какой была в первую минуту, то есть хорошенькой девушкой, которую с удовольствием можно целовать, ласкать и которая сама

очень мило ласкалась, но затем больше ничего. Верочка была действительно небогата внутренним содержанием. Эльчанинову начинало становиться скучно у старой немки, и он ходил к ней более уже по привычке. Но вот однажды, это было в воскресенье, он пришел к ним обедать. Верочка выбежала к нему навстречу.

— Валерьян! — сказала она, взявши его за руки,— поздравь меня, Анета приехала. Ах, как нам троим будет весело.— С последними словами Вера потащила студента в гостиную.

— Вот она,— сказала брюнетка, указывая на молодую девушку, сидевшую возле старой немки.

Эльчанинов невольно остановился в смущении, несвязно пробормотал что-то такое старухе и поклонился приятельнице Веры, которая поразила его своей наружностью. Она была блондинка. Никогда еще Эльчанинов не встречал такой нежной красоты, никогда еще не видал такого кроткого и спокойного взгляда, каким взглянула на него девушка своими карими глазами из-под длинных ресниц. Она была так стройна и воздушна, что показалась Эльчанинову одной из тех пери, которые населяют заоблачный мир, и как бы нарочно была одета в белое газовое платье. Это была Анна Павловна, теперь больная, худая Анна Павловна, но тогда счастливая, не знакомая ни с одним из житейских зол, жившая в кругу людей, которые истинно любили и берегли ее. Анна Павловна вместе с Верой вышла из Смольного монастыря и теперь только что воротилась из деревни, где почти целый год прожила с отцом своим. Она, видно, искренне любила приятельницу свою, потому что на другой же день по возвращении приехала навестить ее. Обе девушки, по выходе из учебного заведения, далеко были раскинуты общественным положением. Анна Павловна, как дочь одного из значительных людей, стала принадлежать совершенно иному миру, нежели бедная Вера, которая, бывши не более как дочерью полкового лекаря, поселилась у своей бабушки, с тем, чтобы, проскучав лет пять, тоже выйти за какого-нибудь лекаря.

Эльчанинов поправился и начал разговаривать со старухой, между тем Вера, усевшись возле приятельницы, начала ей что-то шептать.

— Кто эта девица? — спросил студент тихо у старухи.

— Дочь генерала Кронштейна,—отвечала та.—Очень добрая девушка, как любит мою Верочку, дай ей бог здоровья. Они обе ведь смолянки. Эта-то аристократка, богатая,— прибавила старуха. И слова эти еще более подняли Кронштейн в глазах Эльчанинова. Он целое утро проговорил со старухой и не подходил к девушкам, боясь, чтобы Анна Павловна не заметила его отношений с Верочкой, которых он начинал уже стыдиться. Но не так думала Вера.

После обеда старуха ушла в спальню, а студент остался с девушками.

Он сел поодаль.

— Валерьян,— сказала Вера,— поди сюда! Анета знает все, я ей рассказала.

Эльчанинову легче было бы провалиться сквозь землю; впрочем, он совладел с собой.

— Вера Александровна,— начал он, обращаясь к Анне Павловне,— могла быть с вами откровенна; но я не имею на это никакого права.

Анна Павловна опять взглянула на него из-под длинных ресниц своих.

— Я могу желать только одного,— продолжал Эльчанинов,— чтобы вы сами убедились, что я достоин вашего участия. Позвольте мне с вами видеться как можно чаще, бывать перед вами в горькие и отрадные минуты моей жизни.

— Я без вашей просьбы дала себе слово строго наблюдать за вами,— отвечала с легкой улыбкой Анна Павловна.

Таким образом, то, чего боялся Эльчанинов, послужило ему в пользу. Он много рассчитывал на этом дружеском сближении и все остальное время был очень занимателен: он говорил, как говорят обыкновенно студенты, о любви, о дружбе, стараясь всюду выказать благородство чувств и мыслей, и в то же время весьма мало упоминал, по известной ему цели, о своей любви к Вере. Из этой беседы он увидел, что Анна Павловна далеко превосходила свою подругу умом и образованием, несмотря на равенство лет и одинаковость воспитания. Эльчанинов возвратился домой совершенно очарованный своей новой знакомой. План его был таков: сблизившись и подружившись с молодой девушкой, он покажет ей, насколько он выше ее подруги, и вместе с тем даст ей понять, что, при его нравственном развитии, он не может истинно любить

такую девушку, какова была Вера, а потом... потом признаться ей самой в любви, но — увы! — расчет его оказался слишком неверен. Правда, он более и более сближался с Анной Павловной, но в то же время увидел, что она чрезвычайно искренне любит добренькую и пустую Веру, и у него духу даже недоставало хоть бы раз намекнуть ей, что он не любит, а только обманывает ее приятельницу. Он увидел, напротив, что чем более будет обнаруживать любви к Вере, тем выше будет становиться в глазах Анны Павловны, и он принялся за последнее. Благодаря усердному чтению романов, а частью и собственным опытам, Эльчанинов успел утончить свои чувства, знал любовь в малейших ее подробностях и все это высказывал перед молодыми девушками, из которых Вера часто дремала при этом, но совершенно другое было с Анной Павловной: она заслушивалась Эльчанинова до опьянения. Он видел это и постоянно старался держать себя на высоком строю. Впрочем, судьба скоро изменила ход этой маленькой драмы и надолго растолкнула эти три лица, жившие почти в продолжение года в таких тесных между собою отношениях. Вера занемогла. Бабушка, Анна Павловна и Эльчанинов не отходили от больной, но все было тщетно: через две недели она умерла. Эльчанинов обнаружил сильную горесть; Анна Павловна утешала его, хотя сама гораздо более нуждалась в этом. Почти со слезами умолял он ее не прекращать с ним дружбы и позволить ему видеться с ней. Анна Павловна согласилась; она еще раза два приезжала к старой немке, которая почти ослепла, плача день и ночь по своей внучке. Эльчанинов был, конечно, тут же, в оба раза молодая девушка показалась ему несколько странной: она как будто бы остерегалась его, боялась за самое себя и беспрестанно говорила о Вере. «Она любит меня»,— подумал Эльчанинов, и надежда снова зародилась в душе его. Дня через два он пошел к старой немке в надежде встретить там Анну Павловну. Старуха была одна и, по обыкновению, плакала.

— У меня еще горе,— сказала она,— Анна Павловна вчера приезжала ко мне прощаться: она уехала навсегда из Москвы с батюшкой. Вам она велела отдать письмецо.

В глазах потемнело у студента, руки и ноги задрожали. Он проворно схватил записку и проворно пробежал ее строки, как бы стараясь разувериться в том, что он слы-

шал. Письмо было следующее: «Прощайте, добрый и благородный человек! Я с вами расстаюсь и расстаюсь, может быть, навсегда; но где бы я ни была, что бы со мною ни было, я сохраню о вас воспоминание вместе с воспоминанием о моей доброй подруге. Да наградит вас бог счастием, вы его достойны по благородству ваших чувств. Не забудьте меня, я вас очень любила и буду любить всегда. Adieu!»

Эльчанинов почти обеспамятел: он со слезами на глазах начал целовать письмо, а потом, не простясь со старухой, выбежал из дому, в который шел за несколько минут с такими богатыми надеждами, и целую почти ночь бродил по улицам. Москва ему опротивела. Первым его намерением было ехать вслед за Анной Павловной, но где она будет жить и как с нею будет видаться? С отцом он не знаком, тайных свиданий никакого права не имел требовать! И этих мыслей было достаточно, чтобы он отменил свое намерение и остался в Москве; целую неделю после того никуда не выходил из квартиры, не ел, не спал, одним словом, страдал добросовестно, а потом, как бы для рассеяния, пустился во все тяжкие студенческой жизни.

Приближающийся экзамен заставил его, наконец, опомниться, и он принялся готовиться. Необходимость заниматься лекциями, а не собственными своими чувствами, очень ослабила горесть впечатления, которое произвел на него отъезд Анны Павловны. Окончивши курс, он совершенно уж не тосковал, и в нем только осталось бледное воспоминание благородного женского существа, которое рано или поздно должно было улететь в родные небеса, и на тему эту принимался несколько раз писать стихи, а между тем носил в душе более живую и совершенно новую для него мысль: ему надобно было начать службу, и он ее начал, но, как бедняк и без протекции, начал ее слишком неблистательно. Его определили куда-то сверхштатным писцом, обещаясь, впрочем, впоследствии, за прилежание и когда узнает канцелярский порядок, сделать столоначальником,— но не таков был Эльчанинов. В две недели служба опротивела ему насмерть. И мог ли он, никогда постоянно не трудившийся, убивши первую молодость на интриги с женщинами, на пирушки с друзьями, на увлечения искусствами, мог ли он, говорю я, с его подвижным характером, привыкнувши бежать за первым

ощущением, сдружиться с монотонной обязанностью службы и равнодушно выдерживать канцелярские сидения, где еще беспрестанно оскорбляли его самолюбие, безбожно перемарывая сочиненные им бумаги. Эльчанинов начал падать духом; жизнь ему стала казаться несносной. Друзей, этих беззаботных, но умных юношей, около него уже не было: все они или разбрелись, или начали, как выражался он, подлеть в жизни; волочиться ему не хотелось или, лучше сказать, не попадалось на глаза женщины, в выборе которых он сделался строже. Сначала он думал выйти в отставку и жить так в Москве; но расстроенное состояние не давало ему на то никакой возможности. Ехать в деревню и жениться... на этой мысли Эльчанинов остановился; она казалась ему лучшей и единственной: по крайней мере он будет иметь цель, а если достигнет ее, так войдет в совершенно новые обязанности. С таким намерением вышел он в отставку и приехал в деревню, дав себе слово никого из соседей не знакомить с своим формуляром и непременно влюбить в себя какую-нибудь богатую невесту. Клеопатра Николаевна была первая женщина, которую он заметил; но она была вдова, ей было тридцать лет, и, кроме того, несколько провинциальные манеры и легкость победы, которую заметил он в ней, значительно уронили ее в его глазах. Возвести ее на степень своей жены он считал недостойной и волочился за нею от нечего делать, любя иногда подразнить ее, что было весьма нетрудно, потому что вдова заметно им интересовалась и была немного вспыльчива. Появление Мановской показалось Эльчанинову каким-то чудом, совершившимся для того, чтобы вознаградить его за все страдания и несчастия, которых он себе очень много насчитывал. Мысль, что она живет от него в таком близком соседстве, обрадовала его, а так быстро назначенное тайное свидание подало ему полную надежду достигнуть взаимности. В одну минуту забыл он свое намерение жениться. Любить эту женщину, заставить ее полюбить себя, вот на что он решился теперь. У них будет интрига, будут тайные свидания, будут сплетни общества, над которыми они станут смеяться и с помощью Клеопатры Николаевны сбивать всех с толку,— вот о чем он мечтал. Небольшая размолвка с Задор-Мановским стала казаться ему еще в пользу. «Это лучше,— думал он,— мы будем видаться тайно, а при тайных свиданиях скорее можно достигнуть цели».

Возвратившись домой, он совершенно погрузился в мечтания о своей любви и будущих наслаждениях. Он воображал, как эта женщина после долгой борьбы уступит, наконец, его желаниям и предастся ему в полное обладание, а далее затем ее самоотвержение: вот он делается болен, она обманывает мужа, приезжает к нему, просиживает целые ночи у его изголовья... Мечты его и на этом не остановились; ему представлялось, что у них уже есть прекрасный ребенок, к которому впоследствии очень кстати можно будет проговорить стихи Лермонтова:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О! Если б знало ты, как я тебя люблю, и пр.

Этого ребенка надобно будет воспитывать. Он будет его руководителем, наставником. Мечтая и размышляя таким образом, Эльчанинов ни разу не подумал, отчего это так изменилась Анна Павловна и не повредит ли он ей еще более своей любовью? Болезненный и печальный вид Мановской, поразивший его при первой встрече, совершенно изгладился из его воображения, когда он перестал ее видеть. Он мечтал и думал только о себе и о своих будущих наслаждениях.

IV

Но что было после этого свидания с Анной Павловной, о чем думала и мечтала она? Чтобы ответить на эти вопросы, я снова должен вернуться назад.

Анна Павловна действительно была некоторым образом достойна той высоты, на которую возносил ее Эльчанинов. Немка по отцу, она была девушка умненькая, но более того — добрая, чувствительная и страшно мечтательная. В сердце своем она носила самую теплую веру в провидение. Она любила своих подруг, своих наставниц, страстно любила своего отца, и, конечно, если бы судьба послала ей доброго мужа, она сделалась бы доброй женой и нежной матерью, и вся бы жизнь ее протекла в выполнении этого чувства любви, как бы единственной нравственной силы, которая дана была ей с избытком от природы. В Эльчанинова она влюбилась с самого первого свидания, хотя совершенно была уверена, что чувствует к нему только дружбу. Смерть Веры как бы раскрыла ей самое себя. Она сделалась осторожна в обращении с Эльчаниновым, потому что стыдилась его. Расставшись с ним навсегда и

ехавши в Петербург, она всю дорогу обливалась слезами, думая об нем. Ни театры, ни вечера не развлекали ее. Почти с восторгом поехала она с отцом в деревню, рассчитывая мечтать об Эльчанинове целые дни, никем и ничем не развлекаемая, но и тут неудача: с первых же дней к ним нахлынули офицеры близстоящего полка и стали за ней ухаживать. Они ей были противны. Ей могли нравиться только студенты, потому что Эльчанинов был студент. Новый удар окончательно убил ее счастье. Старый генерал объявил дочери о предложении полкового командира Мановского. Анна Павловна сначала и не поняла хорошенько, что ей предстоит, потом плакала, страдала, молилась,— отец убеждал, просил и, наконец, настаивал. Результат был тот, что бедная девушка, как новая Татьяна, полная самоотвержения, чтоб угодить отцу, любя одного, отдала руку другому, впрочем, обрекая себя вперед на полное повиновение и верность своему мужу; и действительно, с первых же дней она начала оказывать ему покорность и возможную внимательность, но не понял и не оценил ничего Мановский. Это был неглупый, но необразованный человек. Упрямый и злой по природе, он был в то же время честолюбив и жаден. Служба польстила первой из его страстей и возвела его на степень полковника и полкового командира; чин генерала был у него почти под рукой; но ему этого было еще мало: он хотел богатства и женитьбой хотел окончательно устроить свою карьеру. Дочь генерала Кронштейна казалась ему выгодной партией: все очень хорошо знали богатые поместья, которыми владел старик. Мановский сделал предложение, не будучи еще сам уверен в успехе своих исканий, но сверх ожидания отец согласился, а вскоре затем и невеста дала слово. Свадьбу назначили через две недели. В продолжение этого времени Анна Павловна так изменилась и так похудела, что когда она стояла под венцом, многие ее не узнавали. Мановский еще ни слова не говорил тестю о приданом и рассчитывал на будущее время, как вдруг неожиданный случай расстроил все его планы: имение Кронштейна, как лопнувшего откупщика, было конфисковано в казну, у него осталось только шестьдесят заложенных душ. При этом известии с Задор-Мановским сделалось что-то вроде удара; но он скрыл это от всех и выздоровел и только с каждым днем начал хуже и хуже обращаться с женой. Никакой

покорностью, никаким вниманием не могла она угодить ему. Он непрестанно сердился, кричал и бранил ее. Анна Павловна, никогда не любившая мужа, начала к нему чувствовать страх и отвращение. Несмотря на все ее старание уничтожить или по крайней мере скрыть это страшное чувство, Мановский заметил, и это был последний удар, который навсегда уничтожил их семейное спокойствие. Мановский вынужденным нашелся выйти в отставку и уехать в свои Могилки. Живши в полку, посреди молодых офицеров, он боялся измены жены, а кроме того, увезя несчастную жертву от родных, он получил более возможности вымещать на ней свою ошибку и нелюбовь к себе. Сцены, которые я вначале описал, повторялись каждодневно. Бедная женщина, не видя ничего в будущем, отторгнутая в настоящем от всего, что ей было дорого, сосредоточилась на прошедшем и с помощью мечтательного характера составила из него целый мирок. Эльчанинов был на первом плане, он был ее брат, друг, покровитель. В своем уединении, посреди хозяйственных забот, даже в минуты брани и укоров мужа, она думала и мечтала об Эльчанинове. Она шептала ему страстные речи, припоминала его голос, его наружность, пробегала в памяти эти долгие беседы, на которых он так много и так прекрасно говорил о дружбе, о любви. В бессонные ночи, которые проводила она постоянно, ей казалось, что ее мечтательный друг стоял близ нее. Она жаловалась ему на судьбу свою, рассказывала свои страдания, просила защиты и участия, и в то же время какое-то тайное предчувствие говорило ей, что она рано или поздно встретит этого человека,— и вдруг это предчувствие сбылось в самом деле. Я уж, конечно, не в состоянии выразить того, что было с Анной Павловной в первые минуты этого свидания. Ей сделалось весело, страшно и стыдно; тоска сдавила ей сердце: ей хотелось плакать, у ней едва достало памяти, чтоб попросить его отойти и прекратить разговор, который мог заставить обнаружить тайну перед обществом, перед ним самим; но он не отходил, он желал говорить, вызывал ее на откровенность. Что было делать? Не помня себя, она назначила ему свидание и во все остальное время как бы лишилась сознания: во всем теле ее был лихорадочный трепет, лицо горело, в глазах было темно, грудь тяжело дышала; но и в этом состоянии она живо чувствовала присутствие милого человека: не глядя на него, она знала, был ли он

в комнате, или нет; не слышавши, она слышала его голос и, как сомнамбула, кажется, чувствовала каждое его движение. По приезде домой мысли ее стали мало-помалу приходить в порядок. Она вспомнила о назначенном свидании и решилась не ходить на него, решилась никуда не выезжать, чтоб только не встретиться с Эльчаниновым: видеться с этим человеком —чего она так давно, так страстно желала, — видеться с ним теперь ей было страшно! Она боялась за самое себя, боялась, что не в состоянии будет скрыть своей тайной любви. Но, боже мой! ей хотелось еще раз видеть его, посмотреть, не изменился ли он, ей хотелось рассказать ему о своем положении, попросить у него совета. Неужели она должна была отказать себе и в этом? Нет, это выше ее сил. «Я пойду, я буду говорить с ним только о Вере... он, верно, любит еще Веру; ему приятно будет говорить со мною об ней, он помнит еще и меня... Он непохож на других людей... Я пойду!..»

V

Село Каменки графа Сапеги, сделавшееся в настоящее время главнейшим пунктом внимания окружных дворян, превосходило все прочие усадьбы красивым местоположением и богатством строений. Огромный каменный дом стоял на самом возвышенном месте. По крутому скату горы, которая начинала склоняться от переднего его фаса, разбит был в виде четвероугольника английский сад, с своими подстриженными деревьями и песчаными дорожками. Весь сад был обхвачен чугунной решеткой. Прочие усадебные строения и службы были тоже каменные. Село это с незапамятных времен находилось во владении Сапег. Несмотря на то, что владельцы никогда не жили в нем, оно постоянно поддерживалось и улучшалось, что было, я думаю, не столько по желанию самих графов, сколько делом немцев-управителей, присылаемых из Петербурга. Настоящий владелец, граф Юрий Петрович Сапега, всего раза три в жизнь свою приезжал в Каменку и проживал в ней обыкновенно лето.

Часов в шесть пополудни, это было в пятницу, граф, принявши от всех соседей визиты, сам никуда еще не выезжал,— и теперь, отобедавши, полулежал на широком канапе в своем кабинете.

В углу, около курильницы, на маленьком табурете, в

почтительном положении сидел Иван Александрыч. Сапега, как видно, был в самом приятном, послеобеденном расположении духа. Это был лет шестидесяти мужчина, с несколько измятым лицом, впрочем, с орлиным носом и со вздернутым кверху подбородком, с прямыми редкими и поседевшими волосами; руки его были хороши, но женоподобны; движения медленны, хотя в то же время серые проницательные глаза, покрывавшиеся светлой влагой, показывали, что страсти еще не совершенно оставили графа и что он не был совсем старик.

— Что, Иван, все уж у меня перебывали здешние помещики? — спросил Сапега, даже не взглянув на того, к кому относились эти слова.

— Все, ваше сиятельство, решительно все,— отвечал, вытянувшись, Иван Александрыч,— или нет... позвольте, не все... Задор-Мановский не был.

— Задор-Мановский? Кто же это Задор-Мановский и почему он не был?

— Я полагаю, ваше сиятельство,— отвечал Иван Александрыч протяжно, придумывая средство оправдать Мановского, которого в эту минуту считал уже погибшим.— Я полагаю, что у него или жена умирает, или сам он при смерти болен.

— Жена умирает! — повторил граф.— А он женат?

— Женат, ваше сиятельство.

— На хорошенькой?

— Нет-с, не очень счастлив партией.

— А на ком он женат? — спросил граф.

— На... на... дай бог память, она не здешняя, на... на... на немке какой-то, на Кронштейн.

— На дочери генерала Кронштейна?—спросил стремительно граф.

— Именно, ваше сиятельство, должно быть, что генерала Кронштейна.

— Анета Кронштейн! — говорил граф, как бы припоминая. Глаза его заблистали.— Помню,— продолжал он,— стройная блондинка, хорошенькая, даже очень хорошенькая. А что, Иван, нравится тебе она?

— Кто, ваше сиятельство?

— Ну, жена этого Задора, что ли?

— Задор-Мановского? Худа очень, ваше сиятельство.

— Да ты знаток, Иван, в женской красоте? — спросил граф.

— Ха-ха-ха, ваше сиятельство! Как вам сказать, конечно-с, больших красавиц не случалось видать.

— А разве ты не видал Анеты Кронштейн?

— То есть Задор-Мановской-с, ваше сиятельство? Как-же-с, сколько раз обедывал, ночевал у них.

— Как же ты говоришь, что не видал красавиц? Вот тебе красавица!

— Красавица, ваше сиятельство? — спросил удивленный Иван Александрыч.

— Трудное, брат, дело понимать женскую красоту; ни ты, да и многие, не понимают ее.

— Конечно, ваше сиятельство, мы люди необразованные.

— Тут не образование, мой милый, а собственное, внутреннее чутье,— возразил граф.— Видал ли ты,— продолжал он, прищуриваясь,— этих женщин с тонкой нежной кожей, подернутой легким розовым отливом, и у которых до того доведена округлость частей, что каждый член почти незаметно переходит в другой?

Иван Александрыч слушал, покраснев и потупившись.

— А замечал ли ты,— продолжал Сапега одушевляясь,— у них эти маленькие уши, сквозь которые как будто бы просвечивает, или эти длинные и как бы без костей пальцы? — Сапега остановился.

Иван Александрыч решительно не знал, что ему отвечать.

— Или эта эластичность тела,— продолжал граф, как бы более сам с собою.— Это не опухлость и не надутость жира; напротив: это полнота мускулов! И, наконец, это влияние свежей, благоухающей женской теплоты? Что, Иван, темна вода во облацех? — заключил Сапега, обратившись к Ивану Александрычу.

— Вы, ваше сиятельство, так говорите, что...— начал было тот.

— Что — что?

— Ничего, ваше сиятельство, я говорю, что вы уж очень хорошо говорите.

— Словами не передашь всех тонкостей! — произнес граф, вздохнув, и замолчал.

— Вот, если осмелюсь доложить,— начал Иван Александрыч, ободренный вниманием дяди,— здесь есть еще красавица.

— Красавица?

— Да, ваше сиятельство, прелесть женщина, только ух какая!

— Какая же?

— Кокетка, ваше сиятельство, ужасная.

— Девушка?

— Вдова, ваше сиятельство.

— Вдова? — произнес граф.— Чем же она красавица?

— Да уж, этак, женщина высокая, белая-с,— начал Иван Александрыч,— глаза карие... нет, позвольте... голубые, зубы тоже белые.

— Купчиха!.. Мерзость какая-нибудь, должно быть! Расскажи лучше, нет ли других? — перебил Сапега.

— Других, ваше сиятельство, лучше этой нет.

— Дрянь же, брат, видно, у вас женщины.

— Известное дело, ваше сиятельство, не в Петербурге!

— Нынче и в Петербурге ничего нет порядочного,—возразил граф,— или толстая, или больная!

— Последние, видно, времена приходят, ваше сиятельство. Народ уж заметно очень мельчает.

— Послушай, Иван,— перебил Сапега,— отчего это у меня не был этот Мановский?

— Болен, должно быть, ваше сиятельство.

— Кто он такой?

— Помещик-с.

— Как бы заставить его приехать ко мне?

— Заставить, ваше сиятельство? Заставить-то трудно: очень упрям...

— Упрям? — сказал граф, подумав.— Стало быть, он не был у меня не потому, что болен, а потому, что не хочет.

Иван Александрыч, пойманный во лжи, побледнел.

— Богат он? — прибавил граф.

— Богат, ваше сиятельство, триста душ да денег куча! Вряд ли не будет на следующую баллотировку губернским.

— Чин его?

— Полковник-с.

— Завтра я поеду к нему,— сказал граф, вставая.

— К Задор-Мановскому, ваше сиятельство? — спросил Иван Александрыч, как бы не веря ушам своим.

— Да,—отвечал отрывисто граф,— ты теперь ступай в их усадьбу и как можно аккуратней узнай: будут ли дома муж и жена? Теперь прощай, я спать хочу!

Граф лег на диван и повернулся к стене, Иван Александрыч на цыпочках вышел из кабинета.

— Иван! — крикнул граф.

Племянник снова появился в дверях.

— Вели к восьми часам приготовить мне карету: я еду к предводителю, а сам сегодня же исполни, что я говорил.

— Будьте покойны, ваше сиятельство,— отвечал Иван Александрыч и вышел.

— Приготовить карету его сиятельству к восьми часам,— сказал он, проходя важно по официантской.

Несколько слуг посмотрели ему вслед с усмешкой.

— Вишь, какой командир! — сказал один из них.

— Видно, граф дал синенькую на бедность, так и куражится, чучело гороховое! — подхватил другой.

VI

В ту самую минуту, как Иван Александрыч вышел с поручением от графа, по небольшой тропинке, идущей с большой дороги к казенной Лапинской роще, верхом на серой заводской лошади пробирался Эльчанинов, завернувшись в широкий черный плащ. Он ехал на тайное свидание с Анной Павловной. Лошадь шла шагом. Герой мой придумывал, как начать ему объяснение в любви: сказать ли, что прежде любил ее, признаться ли ей, что Вера была одним предлогом для того только, чтобы сблизиться с нею?.. Но она знала, что он Веру любил, еще не видавши ее. Гораздо лучше сказать, что теперь она осталась одна для него в целом мире, что он только ее одну может любить; а что она к нему неравнодушна, в этом нет сомнения: он заметил это еще в Москве, и к чему бы, в самом деле, назначать свидание; она теперь дама и, как видно, не любит мужа и несчастлива с ним, а в этом положении женщины очень склонны к любви. Ему только надобно быть решительным. С такими мыслями подъехал он к роще, привязал лошадь к дереву и пошел пешком в ту сторону, которая прилегала к могилковскому полю.

Глубокое молчание царствовало в лесу, только шум его шагов да по временам взмах поднявшегося из-под куста тетерева нарушал тишину. Огромные сосны, поросшие мохом, часто заслоняли ему дорогу своими длинными ветвями, так что он должен был или нагибаться, или отводить руками упругие сучья. С приближением в середину лес ста-

новился чаще и темнее. Под ногами у него хрустели беспрестанно сухие сучья, которые покрывали землю целым пластом. Кроме того, ему часто приходилось перелезать через толстые колоды упавших сухих дерев. Преодоление этих небольших препятствий несколько отвлекало моего героя от главного предмета его мыслей; вместе с физическим утомлением уменьшалась в нем и решительность. Мысли его приняли печальное и несколько боязливое направление. «Что, если мы разойдемся»,— подумал он и посмотрел вдаль. Перед ним расстилалось широкое желтеющее поле, вдали были видны Могилки. «Так здесь-то живет она,— подумал он, глядя на высокий дом, выходящий верхним этажом из-за стенной ограды, которою обнесена была усадьба.— Где-то ее комната, у которого сидит она окна? И где теперь она?» Небольшой шум листьев перервал его размышления. Он обернулся назад: перед ним стояла Анна Павловна, в белом платье и соломенной шляпке. Эльчанинов, ни слова не говоря, бросился к ней и начал целовать ее руку.

— Сядемте,— проговорила Анна Павловна, указывая на сухое дерево. Голос ее дрожал. Видно было, что она делала над собой усилие.— Я хочу с вами поговорить,— продолжала она,— спросить вас, не изменились ли вы? Любите ли вы еще бедную Веру?

Этого вопроса Эльчанинов никак не ожидал.

— Я... Веру?..— пробормотал он и далее ничего не мог придумать.

Анна Павловна, с своей стороны, тоже, казалось, не знала, о чем ей говорить и что начать.

— Вы ее еще любите, вы не забыли ее? — начала, наконец, она.— Вы не забыли и меня?

— Нет, я не забыл вас, я не мог вас забыть,— подхватил Эльчанинов и схватил себя за голову.

Молодые люди замолчали на некоторое время.

— Но, боже мой, как вы переменились! — произнес он, всплеснув руками и всматриваясь в лицо Анны Павловны.— Вы или больны, или несчастливы!

— Я несчастлива! — отвечала она.

— Мужем? Так?..

— Да. Он не любит и не уважает меня. Я беспрестанно должна выслушивать упреки, что я бедна, что его обманом женили на мне.

Эльчанинов сделал движение.

— Он не позволяет мне,— продолжала Анна Павловна,— читать, запретил мне музыку. При всем моем старании угодить ему он ничем не бывает доволен. Он бранит меня.

Эльчанинов встал и начал ходить.

— Я способен убить этого человека! Он с первого раза показался мне ненавистен,— вскричал он задыхающимся голосом и в эту минуту действительно забыл свою любовь, забыл самого себя. Он видел только несчастную жертву, которую надобно было спасти.

— Нет, добрый друг,— возразила Анна Павловна,— убить его нельзя, но вы посоветуйте, что я должна делать... Я думала ехать к батюшке, но это его ужасно огорчит; я думала бежать, скрыться где-нибудь в монастыре...

— Но отчего вам не разойтись просто с ним? — спросил Эльчанинов, несколько пришедши в себя.— Отчего вам не жить врозь?

— Мне нечем жить: я бедна!

— Но ваш батюшка?

— Батюшка мне не дал ничего, потому что все наше имение конфисковано.

— Вы не должны жить с мужем,— начал Эльчанинов решительным тоном.— Уезжайте от него на этих же днях, сегодня, завтра, если хотите... У меня есть небольшое состояние, и с этой минуты оно принадлежит вам.

Слезы показались на глазах Анны Павловны. Она вся вспыхнула.

— Вы меня очень любите?—невольно проговорила она, протягивая ему руку.

Эльчанинов на этот вопрос мог или не отвечать, или открыться во всем.

— Вы удостоиваете меня вашей дружбой,— начал он не без волнения,— вы почтили меня доверием; возьмите все это назад: я не стою того.

Мановская робко взглянула на него.

— Я не могу быть вашим другом, я вас люблю,— произнес Эльчанинов.

Силы совершенно оставили бедную женщину. Она не могла долее притворяться, не могла долее выдерживать заученной роли и зарыдала. Потом, как бы обеспамятев, пристально взглянула на Эльчанинова и схватила его за руку.

— Правду ли вы говорите, не обманываете ли вы меня? Поклянитесь мне в том, что вы сказали.

— Клянусь богом! — вскричал Эльчанинов.

— Хорошо,— продолжала Мановская,— любите меня!.. Я сама вас давно люблю! Но теперь прощайте: отпустите меня, я не могу дольше оставаться.

Эльчанинов обезумел от восторга.

— Человек ты или ангел! — вскричал он, обхватив за талию Анну Павловну и целуя ее в лицо.— Я тебя не пущу, ты моя, хоть бы целый мир тебя отнимал у меня.

— Пустите меня! Я слаба, пощадите меня!

— Но когда я увижу тебя еще? Я с ума сойду, если это будет долго!

— Хорошо, я буду здесь.

— Но когда же?

— В воскресенье.

Раздавшийся в это время невдалеке голос заставил их оглянуться. К ним подходил Иван Александрыч. Эльчанинов, как можно было судить по его движению, хотел бежать, но уж было поздно.

— Наконец-то я вас нашел, Анна Павловна,— начал Иван Александрыч.— Бегал-бегал, обегал все поле,— дело очень важное. Приезжаю, спрашиваю: «Дома господа?»— «Одна, говорят, только барыня, да и та в поле».— «В каком?» — «В оржаном».— Валяй в оржаное. Наше вам почтение, Валерьян Александрыч! Вы как здесь?

— Так же, как и вы,— отвечал Эльчанинов,— приехал,— говорят, Анна Павловна в поле, я и пошел в поле.

— Вот как-с, а я ведь думал, что вы незнакомы с Михайлом Егорычем. Матушка Анна Павловна, первей всего: я ведь к вам с важным поручением. Где супруг-то?

— Он уехал в город,— отвечала Анна Павловна, едва приходя в себя.

— Пошлите за ним, бога ради, нарочного. Завтра вам надобно быть дома обоим. Его сиятельство приедет к вам. Он говорит, что знает вас, и ужасно как хвалит.

— Мы будем дома,— отвечала Анна Павловна.— Пойдемте! Доведите меня, Иван Александрыч.

— А мне позвольте проститься,—сказал Эльчанинов,— я пройду прямо.

— Прощайте.

Эльчанинов ушел в лес; Иван Александрыч подал руку Анне Павловне, и они пошли.

— Отчего это Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу? — спросил будто с простодушным любопытством Иван Александрыч.

— Верно, не хочет.

— А отчего ж он не хочет?

— Он незнаком с мужем; я его прежде знала.

— Прекрасный он молодой человек, умный, образованный,— заметил Иван Александрыч.

Анна Павловна ничего не отвечала, и они молча вошли в усадьбу.

Стало уже смеркаться, когда Иван Александрыч выехал на своих беговых дрожках из Могилок.

— Какова соколена! — начал он рассуждать вслух.— Тихая ведь, кажется, такая; поди ты, узнай бабу. А молодец-то... ловкой малый! Рассказывать или нет? Подожду пока! Кажется, его сиятельство тут того... Слабый старик по этой части.

На этих словах он почувствовал, что его кто-то схватил за воротник шинели. Иван Александрыч обернулся. Это был верхом Эльчанинов.

— Ба! Вы все еще едете,— сказал он,— не тяните, пожалуйста, шинели: сукно тонкое, как раз лопнет.

— Остановите вашу лошадь, мне нужно с вами поговорить,— сказал мрачно Эльчанинов.

Иван Александрыч повиновался.

— Вы никому не должны говорить, что сегодня видели меня в Могилках,— продолжал Эльчанинов, колотя рукой по седлу,— в противном случае я вас убью.

— Да мне-то что за дело? — возразил Иван Александрыч.— Сам бывал в таких переделках.

— Нет, вы должны поклясться.

— Ей-богу, не скажу! Я не из таких: не люблю из избы выносить сору.

— Хорошо, помните же! — проговорил Эльчанинов и, поворотивши свою лошадь, поскакал в галоп.

«Вот оно, какую передрягу наделал,— думал Иван Александрыч,— делать нечего, побожился. Охо-хо-хо! Сам, бывало, в полку жиду в ноги кланялся, чтобы не сказывал! Подсмотрел, проклятый Иуда, как на чердаке целовался. Заехать было к Усситковым, очень просили сказать, если граф к кому-нибудь поедет!» — заключил он и поехал рысцой.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Анна Павловна, совсем забывшая об известии, сообщенном Иваном Александрычем, сидела в гостиной. Она как будто бы была повеселее, как будто бы все изменилось в ее глазах. Эта мрачная и темная гостиная не казалась ей так скучна и печальна; ей думалось, что легче, наконец, будет жить на свете, потому что теперь у ней есть человек, который поучаствует в ней, который разделит с ней ее горе. Муж, общество, да что ей за дело до них! У нее есть друг, который заменит ей все, защитит ее от всех. Он сам говорил это: разве не доказал он своего самоотвержения, когда предложил ей свое состояние для того только, чтобы облегчить ее участь.

Приезд мужа прервал эти мысли. Михайло Егорыч вошел в гостиную и сухо поздоровался с женой.

— Здоровы ли вы? — спросил он.

— Здорова.

— Велите дать мне есть.

Анна Павловна вышла. Мановский осторожно вынул какие-то бумаги из кармана и запер в стоявшую под диваном железную шкатулку.

В это время на дворе раздался шум подъехавшего экипажа. Мановский взглянул в окно: к крыльцу подъезжала запряженная четверней карета.

— Кто это такой? — сказал Мановский, не узнавая гостя по экипажу, и вышел на половину залы.

Через несколько минут вошел граф. Мановский, не двигаясь с места, глядел в глаза новоприбывшему.

— Честь имею рекомендоваться: я граф Сапега,— начал тот, подходя к хозяину,— сосед ваш, и приехал, чтобы начать знакомство с вами, которое тем более интересно для меня, что супруга ваша уже знакома мне. Она дочь моего приятеля.

— Очень вам благодарен, ваше сиятельство, за сделанную мне честь,— вежливо отвечал Мановский,— и прошу извинения, что первый не представился вам, но это единственно потому, что меня не было дома: я только что сейчас вернулся. Прошу пожаловать,— продолжал он, показывая графу с почтением на дверь в гостиную.— Жена сейчас выйдет: ей очень приятно будет встретить старого знакомого. Просите Анну Павловну,— прибавил он стоявшему у дверей лакею.

Гость и хозяин вошли в гостиную. Мановский, очень хорошо знавший, что граф ни к кому еще в губернии первый не приезжал, с первых же слов понял, что тот приехал не для него, а для жены. О сердечных слабостях графа давно уже ходили слухи в Боярщине. Ревность и оскорбленное самолюбие забушевали в душе Мановского. Впрочем, очень хорошо убежденный, что Анна Павловна, полюбя другого, могла изменить ему, он в то же время знал, что никогда ничего не добьется от нее Сапега, и потому решился всеми средствами способствовать намерениям графа, а потом одурачить его и насколько только возможно. Извинившись еще раз, что не представлялся первый, он вышел из гостиной, как бы по хозяйственным распоряжениям, и прошел в комнату жены.

— Граф Сапега приехал, друг вашего отца, будьте с ним полюбезнее, он человек богатый,— сказал он Анне Павловне. Та пошла. Приезд графа ее несколько обрадовал. Она помнила, что отец часто говорил о добром графе, которого он пользовался некоторой дружбой и который даже сам бывал у них в доме.

— Здравствуйте, Анна Павловна,— сказал Сапега, вставая и подходя к ее руке.— Помните ли вы меня?

— Помню, граф,—отвечала Анна Павловна,—мне нельзя забыть вас. Вас так любит мой батюшка.

Граф и хозяйка уселись на диван.

— Я так был удивлен и обрадован,— начал Сапега,— что вы здесь в нашем соседстве, что сейчас же поспешил приехать, чтобы только скорее увидеть мою милую и добрую знакомую, надеясь, что она лично сама заплатит мне визит.

Анна Павловна отвечала ему улыбкой.

Между ними завязался обычный при встрече старых знакомых разговор. Граф расспрашивал ее об отце, давно ли она вышла замуж, давно ли переселилась в эти места.

— Как вы худы и болезненны, Анна Павловна,— сказал, наконец, он, всматриваясь ей в лицо.— Не скучаете ли вы в деревне? Имеете ли вы книги? Есть ли, наконец, у вас рояль? Я помню, вы премило играли, и покойная ваша матушка подозревала в вас решительно музыкальные дарования,— это я очень хорошо помню.

— Рояля у меня нет еще покуда,— отвечала Анна Павловна, сконфузившись.

— Как это не грех, как это не стыдно! Что ж смотрит ваш супруг?

В это время вошел Мановский.

— Вы мало заботитесь, Михайло Егорыч, об удовольствии вашей супруги,— продолжал граф, обращаясь к нему.— Отчего вы не выпишете для них рояль?

— Всего вдруг нельзя, ваше сиятельство,— отвечал Мановский,— и то вот, как видите, живем в пустых стенах и с необитой почти мебелью.

— Слишком ничтожное оправдание,— возразил Сапега.— Мы с вами, Анна Павловна, сделаем вот какой заговор против вашего мужа: у меня в доме есть довольно порядочный рояль, ездите ко мне, старику, как можно чаще, занимайтесь музыкой, а мужа оставляйте дома. Соскучится об вас, да и купит вам рояль. Согласны?

— Благодарю вас, граф,— отвечала Анна Павловна.

— Она и без того должна за честь, которую вы ей сделали, быть у вашего сиятельства,— сказал Мановский,— и так как я нисколько не принимаю ваше посещение на свой счет, то она должна ехать одна, а я уж буду иметь честь представиться после.

— Благодарю,— сказал граф, протягивая Мановскому руку.— Вы очень оригинально хотите отмстить мне за любовь к вашей супруге.

— Она сама вам отмстит за эту любовь,— отвечал с усмешкой Мановский.

— Чем же?

— Тем, что наскучит вам.

— Анна Павловна не наскучит мне! — сказал граф сладким голосом, целуя руку хозяйки.

В зале раздался шум: это были новые гости. В каждый приезд графа между помещиками Боярщины заводился странный обычай. Они приезжали обыкновенно вслед за ним во все дома, которым он делал честь своим посещением, частью для того, чтобы более и более сближаться с знатным туземцем, а частью и для наслаждения его беседой. Новоприбывшие были: толстый Уситков с женой, той самой барыней в блондовом чепце, которую мы видели у предводителя и которая приняла теперь намерение всюду преследовать графа в видах помещения своего седьмого сынишки в корпус. Их сопровождала молодая чета Симановских, недавно женившаяся по страсти. Муж был высокий и необыкновенно худой отстав-

ной уланский корнет, m-me Симановская, несмотря на молодость лет, уже замечательно обнаруживающая в себе практические способности, в силу которых тоже решившаяся искать в графе для определения мужа в какую-нибудь доходную службу, без которой он будто бы ужасно скучает. При входе мужчины отдали почтительный поклон Сапеге, а дамы, присевши ему, поместились на диван с хозяйкой.

Всем им граф слегка кивнул головой, и на лице его заметно отразилось неудовольствие: ему было досадно, что Анна Павловна, кроме него, должна будет заниматься с прочими гостями.

Мановский, все это, кажется, заметивший, сейчас же подошел с разговором к дамам, а мужчины, не осмеливаясь говорить с графом, расселись по уголкам. Таким образом, Сапега опять заговорил с Анной Павловной. Он рассказывал ей о Петербурге, припомнил с нею старых знакомых, описывал успехи в свете ее сверстниц. Так время прошло до обеда. За столом граф поместился возле хозяйки. Мановский продолжал занимать прочих гостей.

— Анна Павловна, верно, прежде была знакома с графом? Она, говорят, ему крестница? — спросила его Уситкова.

— Крестница,— отвечал Мановский.

— Михайло Егорыч,— сказал граф, обращаясь к хозяину,— когда же вы доставите мне удовольствие видеть вас и Анну Павловну у себя в доме?

— Я сегодня ночью должен буду ехать в город, ваше сиятельство,— отвечал Мановский.— Что касается до жены, то она, я полагаю, завтра же должна отплатить вам визит, чтобы тем хоть несколько извинить невольную мою против вас невежливость.

— Браво! — вскричал граф.— А вы что скажете, Анна Павловна?

Мановская побледнела. Она очень хорошо знала, что слово *полагаю* на языке ее мужа значит — она приедет. Но завтра! Завтра был день, назначенный ею для свидания с Эльчаниновым.

— Позвольте мне, граф, приехать к вам в понедельник,— сказала она,— я чувствую себя не так здоровою.

— Зачем же откладывать? — возразил Мановский, не любивший исполнять ни малейшего желания жены.— Приличие заставляет, кажется, поторопиться.

— Но, может быть, Анна Павловна действительно дурно себя чувствует,— сказал граф отеческим голосом, в душе радовавшийся поспешности мужа.

— Она постоянно не так здорова, потому ей все равно. Она приедет завтра,— отвечал Мановский.

Тоска сдавила сердце Анны Павловны. Что ей было делать, на что решиться! Сначала она думала притвориться больной, но в таком случае нельзя будет выйти в поле, тем более, если муж не уедет. Эльчанинов будет ее дожидаться, он подумает, что она не хотела сдержать обещания. Когда она опять с ним увидится и как ему дать знать? Оставалось одно средство: идти и оставить на месте свидания записку, в которой уведомить Эльчанинова о случившемся и назначить ему прийти туда в понедельник. На этом намерении она несколько успокоилась и снова начала говорить с графом.

Обед кончился. Граф не отходил от хозяйки и не давал ей решительно заниматься с дамами.

— О чем это говорит граф с Анной Павловной?— шепнула, обращаясь к мужу, Уситкова, немного тупая на ухо.

— Не знаю,— отвечал тот.

— Николай Николаич, Николай Николаич,— отнеслась Уситкова к Симановскому, смотревшемуся в зеркало.

Симановский подошел.

— Вы отсюда к нам?

— Жена к вам проедет, а мне надобно в Новинское на панихиду.

— К кому, батюшка? — произнесла с испугом Уситкова.

— Бахулов помер.

— Опекун Клеопатры Николаевны? Скажите! Царство небесное! Истинно добрый был человек. Что-то теперь Клеопатра Николаевна? Как она была им довольна! Кого-то ей теперь назначат, потому что, надобно сказать, она порядочно порасстроила дочкино состояние: для нее это очень важно, кого ей назначат.

— Да вряд ли не здешнего.

— Кого? Михайла Егоровича?

Симановский подтвердительно кивнул головой.

— Посмотрите, посмотрите,— продолжала Уситкова, показывая глазами на графа, который целовал руку у Анны Павловны.

— Да-с,— отвечал Симановский и взглянул на жену, которая сидела в заметно щекотливом положении около Анны Павловны.

Вскоре после чая граф уехал, а вслед за ним поднялись и прочие гости, глубоко обиженные невниманием Сапеги и предпочтением, которое оказал он Анне Павловне.

— Завтра, часу в двенадцатом, вы поедете к графу,— сказал Мановский, оставшись один с женой,— а я после.

— Хорошо,— отвечала та,— а я теперь, Михайло Егорович, пойду гулять,—прибавила она с невольной боязнью.

— Ступайте,— отвечал Мановский.

Анна Павловна почти вбежала в свою комнату и написала к Эльчанинову записку: «Простите меня, что я не могла исполнить обещания. Мой муж посылает меня к графу Сапеге, который был сегодня у нас. Вы знаете, могу ли я ему не повиноваться? Не огорчайтесь, добрый друг, этой неудачей: мы будем с вами видеться часто, очень часто. Приходите в понедельник на это место, я буду непременно. Одна только смерть может остановить меня. До свиданья».

Спрятавши эту записку за перчатку, она вышла и через несколько минут была на том месте, где в первый раз встретилась с Эльчаниновым. Записка была положена в трещину дерева таким образом, что часть ее была видна.

Воротившись домой, она не видала уж мужа. Он что-то писал в гостиной.

VIII

В воскресенье, часу в третьем пополудни, Эльчанинов снова ехал на своей серой лошади, погруженный в тихую задумчивость. Он предвкушал, так сказать, наслаждения любви, которые готовила для него эта женщина, предмет его страстных мечтаний. Подъехавши к роще, он уже не пошел на этот раз пешком, а объехал ее кругом и, остановясь невдалеке от назначенного места, посмотрел вокруг себя: по-прежнему перед ним расстилалось широкое поле, вдали были видны Могилки, которые на этот раз показались ему еще мрачнее, еще печальнее. Небо покрыто было серыми тучами, которые, как бы перегоняя одна другую, гигантскими массами плыли от севера. Эльчанинов слез с лошади и, привязав ее, подошел к сухому дереву, на котором сидел с Анной Павловной. Еще раз

окинул он глазами окрестность и сел; при этом движении его записка юркнула в довольно глубокую трещину, и, таким образом, не сбылись надежды Анны Павловны — известие не дошло по назначению. Прошло полчаса, беспокойство и скука начали овладевать Эльчаниновым: напрасно смотрел он на Могилки, напрасно вставал на дерево, садился на лошадь верхом, даже вставал на седло ногами, чтоб таким образом окинуть взором большее пространство,— никого не было видно. Беспокойство и скука все более и более возрастали. «Не больна ли она? — подумал он.—Прошлый раз она могла простудиться, захворать и теперь, может быть, умирает». При этой мысли он решился идти в усадьбу: но если встретится с мужем? «Что же такое! — подумал Эльчанинов.— Я могу сказать, что меня сшибла лошадь и убежала, мог же я ехать невдалеке». С таким намерением он выбрался на большую дорогу, слез с лошади, оборвал поводья, свернул немного набок седло и ударил ее несколько раз арапником. Лошадь понеслась марш-марш по дороге. Эльчанинов, вымарав себе, для большего вероятия, в грязи лицо, платье и руки, отправился в Могилки. Первая представилась ему толстая баба с засученными рукавами, вешавшая на забор белье.

— Эй, любезная,— сказал Эльчанинов, подходя к ней,— нет ли у вас кого-нибудь поймать мою лошадь?

Баба посмотрела на него с любопытством и с удивлением.

— Лошадь!.. А кое место ваша лошадь? — спросила она.

— Должно быть, в здешнем поле. Она меня сшибла и убежала.

— Ишь ты!.. А вы чьи такие?

— Я из Коровина.

— Так, знаем. Барин, что ли?

— Барин, моя милая. Кто бы мне лошадь поймал?

— Ой, батюшка, кого посылать-то, разве ребятишек...: больших-то нет дома. Кучера с барями уехали, а другие на работе.

— С барями уехали? — спросил Эльчанинов.— А куда ваши баря уехали?

— А бог их знает, куда уехали. Неизвестно. Барыня, говорят, в Каменки, а барин неизвестно.

— Куда в Каменки?

— А вон в село Каменки, к енералу. Он вчерася-тко был здесь, так, слышь, барыня и поехала к нему, в карете, шестериком, такая нарядная.

Эльчанинов ничего не мог понять. Он догадался, впрочем, что Анна Павловна уехала к графу Сапеге, о котором он слышал от многих. Но зачем уехала, и как одна, и в тот именно день, когда назначено было свидание? Ему сделалось не на шутку грустно и досадно.

— Ребятишек послать, что ли? — спросила баба, видя, что Эльчанинов стоял, задумавшись.

— Пошли, любезная,— сказал он.

Баба влезла на забор.

— Ванька... Федька... подьте сюда!..—закричала она.— Вот из Коровина барина лошадь сшибла, так пригоньте ее.

На этот зов за ворота выбежали три мальчишки в пестрядинных рубашках, с грязными руками и ногами. Они все трое стали в недоумении: им нужно было снова растолковать, в чем дело.

— Да кое место лошадь-то? — спросил старший из них,— поле-то велико.

— Да, поди, чай, у воротец к Коровину,— отвечала догадливая баба.

— Так туда, что ли, бежать?

— Вестимо, что туда; а может, что и в болоте.

— Пойдемте,— сказал старший, и все вприскочку пустились по дороге.

Эльчанинов стоял в раздумье.

— Барыня-то есть у вас? — спросила словоохотливая баба.

— Нет, я не женат,— отвечал Эльчанинов.— А что, у вас хороша барыня?

— Хороша, добрая такая, только барин-то ее не больно любит; у него есть другая, еще и не одна, пожалуй; да и тем житье не больно хорошо: колотит часто.

Послышался конский топот. Это были мальчишки, которые, усевшись все трое на лошадь Эльчанинова, гнали ее во весь опор.

— Вот и пригнали,— проговорила баба.

— Спасибо, любезные,— сказал Эльчанинов, садясь на лошадь и оделяя мальчишек по пятаку.— Вот и тебе,— прибавил он, давая гривенник женщине.

Все поклонились ему.

Эльчанинов скорой рысью поехал обратно; но, миновав

могилковское поле, остановился. Слезы чуть не брызнули из его глаз, так ему было тошно.

«Вот женщины,— подумал он,— вот любовь их! Забыть обещание, забыть мою нетерпеливую любовь, свою любовь,— забыть все и уехать в гости! Но зачем она поехала к графу и почему одна, без мужа? Может быть, у графа бал? Конечно, бал, а чем женщина не пожертвует для бала? Но как бы узнать, что такое у графа сегодня? Заеду к предводителю: если бал, он должен быть там же».

Принявши такое намерение, Эльчанинов пришпорил лошадь и поворотил на дорогу к предводительской усадьбе. Через полчаса езды он въехал на красный двор и отдал свою лошадь попавшемуся навстречу кучеру.

— Дома Алексей Михайлыч? — спросил он.

— У себя-с,— отвечал тот.

Эльчанинов быстро вбежал на лестницу, сбросил на пол плащ и вошел в гостиную.

Предводитель сидел в вольтеровских креслах и с величайшим старанием сдирал с персика кожицу, которых несколько десятков лежало в серебряной корзинке, стоявшей на круглом столе. Напротив него, на диване, сидела Уситкова, по-прежнему в блондовом чепце; толстый муж ее стоял несколько сбоку и тоже ел персик; на одном из кресел сидел исправник с сигарой в зубах, и, наконец, вдали от прочих помещался, в довольно почтительном положении, на стуле, молодой человек, с открытым, хотя несколько грубоватым и загорелым лицом, в синем из толстого сукна сюртуке; на ногах у него были огромные, прошивные, подбитые на подошве гвоздями сапоги, которые как-то странно было видеть на паркетном полу.

Увидя входившего Эльчанинова, предводитель несколько привстал.

— Здравствуйте, Валерьян Александрыч! — сказал он.— Но, господи, что с вами, вы все в грязи?

Эльчанинов, начавший уже раскланиваться, тут только вспомнил, что был весь испачкан.

— Меня сейчас сшибла лошадь,— отвечал он.

— Скажите, пожалуйста! Ах, молодые, молодые люди,— произнес предводитель.— Долго ли до беды. Не ушиблись ли вы, однако?

— Никак нет-с. Я только, как видите, перепачкался, да и про то забыл,— отвечал Эльчанинов и вышел.

— Ну, матушка Татьяна Григорьевна,—продолжал хозяин, обращаясь к Уситковой,— вы начали, кажется, что-то рассказывать?

— Странные, просто странные вещи,— начала та, пожимая плечами,— сидим мы третьего дня с Карпом Федорычем за ужином, вдруг является Иван Александрыч: захлопотался, говорит, позвольте отдохнуть, сейчас ездил в Могилки с поручением от графа.

На этих словах Эльчанинов вернулся и начал вслушиваться.

— Что такое за поручение? — продолжала Уситкова.— А поручение, говорит, сказать Михайлу Егорычу, чтоб он завтрашний день был дома, потому что граф хочет завтра к нему приехать. «Как, говорит Карп Федорыч, да являлся ли сам Михайло Егорыч к графу?» — «Нет, говорит, да уж его сиятельству по доброте его души так угодно, потому что Анна Павловна ему крестница». Ну, мы,— так я и Карп Федорыч, ну, может быть, и крестница.

— Конечно, что ж тут удивительного? — сказал предводитель.— Очень возможно, что и крестница.

— Ну, да-с, мы и ничего, только я и говорю: «Съездим-ка, говорю, и мы, Карп Федорыч, завтра в Могилки; я же Анны Павловны давно не видала».— «Хорошо», говорит. На другой день поутру к нам приехали Симановские. Мы им говорим, что едем. «Ах, говорят, это и прекрасно, и мы с вами съездим». Поехали. Граф уж тут, и, ах, Алексей Михайлыч! вы представить себе не можете, какие сцены мы видели, и я одному только не могу надивиться, каким образом Михайло Егорыч, человек не глупый бы...

— Что ж такое? Что такое? — спросил с любопытством предводитель.

— Это интересно,— отнесся исправник к Эльчанинову, который, казалось, весь превратился в слух.

— Вспомнить не могу,— продолжала Уситкова,— ну, мы вошли, поздоровались и начали было говорить, но ни граф, ни хозяйка ни на кого никакого внимания не обращают и, как голуби, воркуют между собою, и только уж бледный Михайло Егорыч (ему, видно, и совестно) суется, как угорелый, то к тому, то к другому. «Вот тебе и смиренница»,— подумала я.

— Не может, кажется, быть,— нерешительно возразил предводитель.

— Ах, Алексей Михайлыч, не знаю, может или не может быть,— возразила в свою очередь барыня,— но вы только выслушайте: мало того, что целый день говорили, глазки делали друг другу, целовались; мало этого: условились при всех, что она сегодня приедет к нему одна, и поехала; мы встретили ее. Положим, что крестница, но все-таки — она молодая женщина, а он человек холостой; у него, я думаю, и горничных в доме нет... ну, ей поправить что-нибудь надобно, башмак, чулок, кто ей это сделает,— лакеи?

— Конечно,— подтвердил предводитель и потом шепотом прибавил.— Что граф к этому склонен, то...

— Без всякого сомнения,— подхватила рассказчица.— Господи! До чего нынче доводят себя нынешние женщины. Ну, добро бы молодой человек — влюбилась бы, а то старик: просто разврат, чтоб подарил что-нибудь.

При последних словах Эльчанинов встал.

— Что с вами, Валерьян Александрыч? — спросил предводитель.

— Ничего-с, это, кажется, последствия падения,— проговорил он и вышел.

— Савелий,— сказал предводитель, обращаясь к молодому человеку, тоже, кажется, принимавшему большое участие в их разговоре,— поди к Валерьяну Александрычу, посмотри, что там с ним, да спроси, не хочет ли он прилечь в моем кабинете.

Молодой человек встал и вышел в залу

— Напрасно вы рассказываете при этих дворянишках,— сказал исправник, показывая глазами на ушедшего молодого человека,— как раз перенесут графу.

— Ай, батюшки, что я наделала! — вскричала в испуге Уситкова.

— Ты всегда так неосторожна на язык,— заметил ей муж, махнув рукой.

— Нет, Савелий не такой, я его знаю,— сказал предводитель.

— Вы, пожалуйста, скажите ему, чтобы он не говорил,— сказала Уситкова почти умоляющим голосом.

— Не беспокойтесь, Савелий не болтун.

Молодой человек, которого называли одним только полуименем Савелий, был такой же дворянин, как Эльча-

нинов, как предводитель, как даже сам граф; но у него было только несколько десятин земли и выстроенный на той земле маленький деревянный флигель. Он с трудом умел читать, нигде не служил, но, несмотря на бедность, на отсутствие всякого образования, он был в высшей степени честный, добрый и умный малый. Он никогда и никому не жаловался на свою участь и никогда не позволял себе, подобно другим бедным дворянам, просить помощи у богатых. Он неусыпно пахал, с помощью одного крепостного мужика, свою землю и, таким образом, имел кусок хлеба. Кроме того, он очень был искусен в разных ремеслах: собственными руками выстроил себе мельницу, делал телеги, починивал стенные часы и переплетал, наконец, книги. Ни отца, ни матери не было у него с двенадцатилетнего возраста. Жил он в одной усадьбе со вдовою.

Эльчанинов между тем стоял на задней галерее дома, прислонившись к деревянной колонне, и вовсе не обратил внимания на Савелия, когда тот подошел к нему и внимательно посмотрел на него.

Героя моего мучила в настоящую минуту ревность, и он ревновал Анну Павловну к графу. Раздосадованный и обманутый ожиданием, он поверил всему. Если бы Анна Павловна поехала к графу не в этот день, в который назначено было свидание, то, может быть, он еще усомнился бы в истине слов Уситковой; но она забыла его, забыла свое слово и уехала. Это явно, что если она не любит графа, то все-таки ей приятно его искание; что граф за ней ухаживал, Эльчанинов не имел ни малейшего сомнения в том. «Теперь прошу верить в нравственную высоту женщин,—думал он,—если она, казавшаяся ему столь чистой, столь прекрасной, унизила себя до благосклонности к старому развратнику и предпочла его человеку, который любит ее со всею искренностью, который, мало этого, обожает ее,— забыть все прошедшее и увлечься вниманием Сапеги, который только может ее позорить в глазах совести и людей; бояться со мною переговорить два слова и потом бесстыдно ехать одной к новому обожателю. О женщины! Ничтожество вам имя!—проговорил Эльчанинов мысленно,— все вы равны: не знаю, почему я предпочел это худенькое созданьице, например, перед вдовою. Если уж входить в сношения с женщиной, так уж, конечно, лучше со свободной — меньше труда, а то игра не стоит свеч. Хорошо, Анна Павловна, мы поквитаемся. Вы поеха-

ли любезничать к графу, а я поеду ко вдове». На последней мысли застал его Савелий.

— Алексей Михайлыч приказали мне сказать вам, не хотите ли вы прилечь в его кабинете,— проговорил он.

— Нет-с, благодарю, я сейчас еду,— отвечал сухо Эльчанинов и пошел в гостиную.

— Прощайте, Алексей Михайлыч,— сказал он, берясь за шляпу.

— Куда это вы? Отдохните лучше.

— Благодарю покорно, мне теперь лучше, а воздух меня еще больше освежит.

Он поклонился гостям, вышел и через несколько минут был уж на дороге в усадьбу Ярцово, где жила вдова. Лошадь шла шагом. Несмотря на старание Эльчанинова придать мыслям своим более ветрености и беспечности, ему было грустно. Он ехал ко вдове, потому что был ожесточен против Анны Павловны. Он ей хотел за неверность отплатить тою же монетой. Раздавшийся сзади лошадиный топот заставил, наконец, его обернуться. Его нагонял Савелий, ехавший тоже верхом на маленькой крестьянской лошаденке.

— Как вы тихо едете,— сказал он, кланяясь с доброю улыбкой Эльчанинову.

— Мне некуда торопиться,— отвечал тот рассеянно.

— А куда вы, смею спросить, едете? — спросил Савелий, которому хотелось, видно, завести разговор.

— В Ярцово,— отвечал Эльчанинов.

— И я туда же; позвольте мне ехать вместе с вами.

— Сделайте милость,— отвечал Эльчанинов.

— Вы уж меня, я думаю, не помните, Валерьян Александрыч,— сказал Савелий,— я с вами игрывал и гащивал у вас в Коровине.

— Теперь припоминаю,— отвечал Эльчанинов, вглядываясь в своего спутника и действительно узнавая в нем сына одного бедного дворянина, который часто ездил к ним в усадьбу и привозил с собою мальчика, почти ему ровесника.

— Где ваш батюшка? — спросил он.

— Отец мой умер.

— И вы теперь одни?

— Один,—отвечал Савелий.— Вы много переменились, Валерьян Александрыч! Я вас не узнал было,— прибавил он.

— Не мудрено,— произнес Эльчанинов со вздохом,— переменишься, поживши на свете,— прибавил он.

— Да вы много ли еще нажили; разве горе какое особливое у вас есть, а то что бы, кажись...— возразил Савелий.

— Горе? — повторил Эльчанинов.— Горя нет, а так, скучаю!

— Отчего же вы скучаете?

— От нечего делать.

Савелий улыбнулся.

— Вот как,— проговорил он,— нам работа руки намозолила; а есть на свете люди, которым скучно оттого, что делать нечего.

— И очень много,— подхватил Эльчанинов,— большая часть людей несчастны оттого, что не знают, что им делать. Из них же первый — аз есмь,— заключил он и зевнул.

— Вам, я думаю, надобно служить,—заметил Савелий.

— Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно,—проговорил с усмешкой Эльчанинов.

— Ну, женитесь.

— Жениться? На ком?

— Я не знаю; а думаю, за вас пойдет хорошая невеста.

— Сыщите.

— Я не сват,— сказал с улыбкой Савелий.— Сыщите сами.

— Легко сказать. Сами вы, например, отчего не женитесь?

Савелий при этом вопросе покраснел.

— Какой я жених? За меня девушка, у которой есть кусок хлеба, не пойдет.

— А вы бедны?

— Три души у меня-с, из них одна моя собственная.

— Чем же вы живете?

— Да хлебопашеством больше-с.

— И сами пашете землю?

— Пашу-с.

— Это ужасно! — воскликнул Эльчанинов,— дворянин по рождению...

Молодые люди на некоторое время замолчали.

— Любили ли вы когда-нибудь в жизни? — спросил вдруг Эльчанинов, у которого поступок Анны Павловны не выходил из головы и которому уж начинал нравиться его новый знакомый.

— Любил ли я женщин? — спросил Савелий.— Нет еще.

— И не любите.

— Почему же?

— Потому что они этого не стоят. Слышали ли вы у предводителя, что говорили про Мановскую? Это еще лучшая из всех.

— Это неправда, что про нее говорили!

— Вы ее знаете?

— Как же-с: соседское дело, бываю у них, видал ее; а вы ее знаете?

— Я еще ее в Москве знал. Она недурна.

— Да-с, и очень добрая и не гордая,— сказал Савелий.

Эльчанинову пришло в голову сделать Савелию поручение к Анне Павловне, но он боялся.

— А когда вы будете опять у них? — спросил он.

— Не знаю, как случится. А вы ездите к ним?

— Нет, мне не нравится ее муж.

— Я поклонюсь ей от вас, коли угодно,— сказал Савелий, как бы угадывая намерение своего спутника.

— Ах, сделайте милость,— сказал Эльчанинов, обрадованный этим вызовом,— и скажите ей, что в Москве она лучше держала свое обещание.

— А разве она не сдержала какого-нибудь обещания?

— Да, пустяки, конечно: обещалась у предводителя танцевать со мною кадриль и уехала.

— Ее, может быть, муж увез.

— Очень может быть. Скажете?

— Извольте.

— Только с глазу на глаз.

— Это для чего-с?

— Потому что этот господин муж может подумать бог знает что.

— Так я лучше ничего не буду говорить,— сказал, подумавши, Савелий.

— Нет, нет, бога ради, скажите,— проговорил Эльчанинов, испуганный мыслью, что не догадывается ли Савелий.

— А вам очень хочется? — спросил тот.

— Очень...

— Да тут ничего такого нет?

— Решительно ничего.

— Хорошо, скажу-с.

Разговаривая таким образом, молодые люди подъехали к Ярцову.

— Прощайте! — сказал Савелий.

— Доброй ночи,— проговорил Эльчанинов, протягивая к нему руку,— приезжайте ко мне, мы старые знакомые.

— Хорошо-с,— отвечал тот и поворотил лошадь к своему флигелю, а Эльчанинов подъехал к крыльцу дома Клеопатры Николаевны.

При входе в гостиную он увидел колоссальную фигуру Задор-Мановского, который в широком суконном сюртуке сидел, развалившись в креслах; невдалеке от него на диване сидела хозяйка. По расстроенному виду и беспокойству в беспечном, по обыкновению, лице Клеопатры Николаевны нетрудно было догадаться, что она имела неприятный для нее разговор с своим собеседником: глаза ее были заплаканы. Задор-Мановский, видно, имел необыкновенную способность всех женщин заставлять плакать.

При появлении Эльчанинова хозяйка издала восклицание.

— Боже мой! Monsieur Эльчанинов! — сказала она.— Так-то вы исполняете ваше обещание, прекрасно!

— Извините меня,— начал Эльчанинов, не кланяясь Задор-Мановскому, который в свою очередь не сделал ни малейшего движения.— Я не мог приехать, потому что был болен. Но, кажется, и вы чем-то расстроены?

— Ах, у меня горе, Валерьян Александрыч: мой опекун помер.

— Опекун? Зачем у вас опекун?

— Опекун над имением моей дочери; вы не знаете, с какими это сопряжено хлопотами. Нужно иметь другого; вот Михайло Егорыч, по своей доброте, принимает уж на себя эту трудную обязанность.

— Напротив, я полагаю, приятную,— возразил Эльчанинов.

— Может быть, это вам так кажется; для меня ни то, ни другое... Я назначен опекою,— проговорил Задор-Мановский.

— Что ж тут для вас, Клеопатра Николаевна, за хлопоты? — сказал Эльчанинов.— Все равно, кто бы ни был.

Вдова вздохнула.

— Чем вы были больны? — спросила она, помолчав.

— Я был более расстроен,— отвечал Эльчанинов.

— Нельзя ли узнать, чем?

— Я полагаю, вы знаете.

Эльчанинов нарочно стал говорить намеками, чтобы досадить Мановскому, которого он считал за обожателя вдовы.

— Нет, я не знаю,— сказала вдова.

— Ну, так я вам скажу.

— Когда же?

— Когда будем вдвоем.

Задор-Мановский поворотился в креслах.

— Позвольте мне остаться у вас ночевать,— сказал Эльчанинов,— я боюсь волков ночью ехать домой.

— Даже прошу вас.

— Это не предосудительно по здешним понятиям?

— Нисколько... А вы, Михайло Егорыч?

— Ночую-с,— отвечал тот лаконически.

Разговор прекратился на несколько минут. Веселая и беспечная Клеопатра Николаевна была решительно не в духе. Задор-Мановский сидел, потупя голову. Эльчанинов придумывал средства, чем бы разбесить своего соперника: об Анне Павловне... Увы!.. она не приходила ему в голову, и в Задор-Мановском он уже видел в эту минуту не мужа ее, а искателя вдовы.

— Чем же вы занимались в это время? — спросила Клеопатра Николаевна.

— Думал,— отвечал Эльчанинов.

— О чем?

— О том, что наши северные женщины любят как-то холодно и расчетливо. Они никогда, под влиянием страсти, не принесут ни одной жертвы, если только тысячи обстоятельств не натолкнут их на то.

— Потому что северные женщины знают, как мало ценят их жертвы.

— Да потому жертвы мало и ценятся, что они приходят не от страсти, а от случая.

— Я вас не понимаю.

— Извольте, объясню подробнее,— отвечал Эльчанинов.— Положим, что вы полюбили бы человека; принесли бы вы ему жертву, не пройдя этой обычной колеи вздохов, страданий, объяснений и тому подобного, а просто, непосредственно отдались бы ему в полное обладание?

— Но надобно знать этого человека,— сказала вдова, несколько покрасневши.

— Вы его знаете, как человека, а не знаете только... простите за резкость выражения... не знаете, как любовника.

Задор-Мановский, наблюдавший молчание, при этих словах посмотрел на вдову. Она потупилась и ничего не отвечала. Эльчанинову показалось, что она боится или по крайней мере остерегается Мановского, и он с упорством стал продолжать разговор в том же тоне.

— Что ж вы на это скажете? — повторил он снова.

— Какой вы странный,— начала Клеопатра Николаевна,— надобно знать, какой человек и какие жертвы. К тому же я, ей-богу, не могу судить, потому что никогда не бывала в подобном положении.

«Она отыгрывается»,— подумал Эльчанинов.

— Жертвы обыкновенные,— начал он,— например, решиться на тайное свидание, и пусть это будет сопряжено с опасностью общественной огласки, потому что всегда и везде есть мерзавцы, которые подсматривают.

— Я не знаю,— отвечала вдова,— всего вероятнее, что не решилась бы.

— Не угодно ли вам, Клеопатра Николаевна, поверить со мною описи, так как я завтра уеду чем свет,— сказал, вставая, Мановский и вынул из кармана бумаги.

— Извольте,— отвечала Клеопатра Николаевна.— Извините меня, Валерьян Александрыч,— прибавила она, обращаясь ласково к Эльчанинову,— я должна, по милости моих проклятых дел, уделить несколько минут Михайлу Егорычу.— Они оба вышли.

Эльчанинов чуть не лопнул от досады и удивления.

«Что это значит? — подумал он.— Кажется, сегодня все женщины решились предпочесть мне других: что она будет там с ним делать?» Ему стало досадно и грустно, и он так же страдал от ревности к вдове, как за несколько минут страдал, ревнуя Анну Павловну.

Через полчаса вдова и Мановский возвратились. Клеопатра Николаевна была в окончательно расстроенном состоянии духа и молча села на диван. Мановский спокойно поместился на прежнем месте.

Эльчанинов, не могший подавить в себе досады, не говорил ни слова. На столовых часах пробило двенадцать. Вошел слуга и доложил, что ужин готов. Хозяйка и гости вышли в залу и сели за стол.

Эльчанинов решился наговорить колкостей Клеопатре Николаевне.

— Отчего вы, Клеопатра Николаевна, не выходите замуж? — спросил он.

— Женихов нет,— отвечала та.

— Помилуйте,— возразил Эльчанинов,— мало ли есть любезных, милых, красивых и здоровых помещиков!

— Вот, например, сам господин Эльчанинов,— подхватил Мановский.

— Я не считаю себя достойным этой чести; вот, например, вы, когда овдовеете,— это другое дело.

— Типун бы вам на язык, у меня жена еще не умирает,— сказал Мановский.

— Потому что вы, видно, бережете ее здоровье; это, впрочем, не в тоне русских бар,— заметил Эльчанинов.

— Да, из боязни, чтоб, овдовев, не перебить у вас Клеопатры Николаевны.

— Господа! — сказала она.— Вы, стараясь кольнуть друг друга, колете меня.

— Что ж делать,— отвечал Эльчанинов,— мы не можем при вас и об вас говорить с господином Мановским без колкостей; в этом виноваты вы.

— Не знаю, как вы, а я с вами говорю просто,— проговорил Мановский.

— Прекратите, бога ради, господа, этот неприятный для меня разговор,— сказала Клеопатра Николаевна.

— А мне кажется, он должен приятно щекотать ваше самолюбие. Вам принадлежат нравственно все, а вы — никому! — возразил, с ударением на последние слова, Эльчанинов.

Вдова не на шутку обиделась; но в это время кончился ужин.

— Покойной ночи, господа,— сказала она, вставая из-за стола.— Я прошу вас переночевать вместе, в кабинете моего покойного мужа.

Эльчанинов очень хорошо заметил, что при этих словах Мановский нахмурился. Оба они подошли к руке хозяйки.

— Вы ужасный человек; я на вас сердита,— сказала она шепотом Эльчанинову.

— Что для вас значит этот человек?—спросил он тихо.

— Многое!..

Вдова ушла.

Два гостя, оставшись наедине, ни слова не говорили между собою и молча вошли в назначенный для них кабинет. Задор-Мановский тотчас разделся и лег на свою постель. Эльчанинову не хотелось еще спать, и он, сев, в раздумье стал смотреть на своего товарища, который, вытянувшись во весь свой гигантский рост, лежал, зажмурив глаза, и тяжело дышал. Грубое лицо его, лежавшее на тонкой наволочке подушки и освещенное слабым светом одной свечи, казалось еще грубее. Огромная красная рука, с напряженными жилами, поддерживала голову, другая была свешена. Он показался Эльчанинову страшен и гадок. «Так этому-то морскому чудовищу,— подумал он,—принадлежит нежная и прекрасная Анна Павловна. Когда я, мужчина, не могу без отвращения смотреть на него, что же должна чувствовать она!» Ему хотелось убить Задор-Мановского. «Зачем это она поехала к графу? Видно, женщина при всех несчастиях останется женщиной. Когда и как я ее увижу? Но отчего же мне не приехать к ним? С мужем я уже знаком».

Мановский повернулся.

— А что, вы скоро свечу погасите? — проговорил он.

— Вы, верно, рано любите ложиться спать? — спросил Эльчанинов.

— Гасите, пожалуйста, поскорее,— сказал вместо ответа Мановский.

— Я еще не хочу спать,— возразил Эльчанинов.

Задор-Мановский, не отвечая, повернулся к стене.

«Черта с два, познакомишься с этим медведем»,— подумал Эльчанинов и лег, решившись не гасить свечу, чтобы хоть этим досадить Мановскому. Истерзанный душевным волнением, усталый физически, он задремал. Уже перед ним начинал носиться образ Анны Павловны, который как бы незаметно принимал наружность вдовы. Этот призрак улыбался ему, манил его и потом с громким смехом отталкивал от себя. Голова его закружилась, сердце замерло, он чувствовал, что падает в какую-то пропасть, и проснулся. Окинув глазами комнату, он увидел, что Задор-Мановский, вставший в одной рубашке с постели, брался за свечу.

— Что вы делаете? — спросил он.

Мановский, не отвечая ни слова, погасил свечу и опять лег на постель.

Эльчанинов видел необходимость повиноваться.

«Этакая скотина»,— думал он, и досада и тоска не давали ему спать.

Прошел уже целый час в мучительной бессоннице, как вдруг ему послышалось, что товарищ его начинает приподниматься. Эльчанинов напряг внимание. Задор-Мановский действительно встал с постели, тихими шагами подошел к двери, отпер ее и вышел; потом Эльчанинову послышалось, что замок в дверях щелкнул.

— Что вы делаете? — воскликнул было он. Ответа не было. Эльчанинов встал с постели и подошел к двери: она была действительно заперта снаружи. «Что это значит?» —думал он и, решившись во что бы то ни стало разгадать загадку, подошел к окну, которое было створчатое, и отворил его. До земли было аршина три, следовательно, выпрыгнуть было очень возможно. Одевшись на скорую руку, Эльчанинов соскочил на землю и очутился в саду. Ночь была темная. Почти ощупью пробрался он на главную аллею и вошел на балкон, выход на который был из гостиной, где увидел свечку на столе, Клеопатру Николаевну, сидевшую на диване в спальном капоте, и Мановского, который был в халате и ходил взад и вперед по комнате. Эльчанинов приложил ухо к железной форточке в нижнем стекле и стал прислушиваться.

— Я вас прошу об одном, чтобы вы ушли, потому что он может проснуться и прийти сюда же,— говорила Клеопатра Николаевна умоляющим голосом.

— Не придет: я его запер,— отвечал Мановский.— А мне надобно с вами переговорить.

— Ну, говорите же по крайней мере, я вас слушаю,— отвечала Клеопатра Николаевна и кокетливо завернулась в платок.

Эльчанинову показалось отвратительным это движение.

— А говорить то, что я из-за вас в петлю не полезу. Если вы ко мне так, так и я к вам так. Считать тоже умеем. Свою седьмую часть вы давно продали. Всего семьсот рублей платят за девушку в институт. Прочие доходы должны идти для приращения детского капитала, следовательно...— говорил Мановский.

— Это ужасно! — воскликнула Клеопатра Николаевна, всплеснув руками.

Первым движением Эльчанинова было вступиться за бедную женщину и для того войти в гостиную и раскроить стулом голову ее мучителю. С такого рода намерением он

соскочил с балкона, пробрался садом на крыльцо и вошел в лакейскую; но тут мысли его пришли несколько в порядок, и он остановился: вся сцена между хозяйкой и Мановским показалась ему гадка. Подумав немного, он вынул из кармана клочок бумаги и написал: «Я все видел и могу только пожалеть об вас; вам предстоит очень низко упасть. Удержитесь». Разбудив потом лакея и велев ему отдать письмо барыне, когда она проснется, спросил себе лошадь и через четверть часа скакал уже по дороге к своей усадьбе.

IX

В то же самое воскресенье, в которое, по воле судеб, моему герою назначено было испытать столько разнообразно неприятных ощущений, граф, начавший ждать Анну Павловну еще с десяти часов утра, ходил по своей огромной гостиной. В костюме его была заметна изысканность и претензия на моложавость: на нем был английского тонкого сукна довольно коротенький сюртучок; нежный и мягкий платок, замысловато завязанный, огибал его шею; две брильянтовые пуговицы застегивали батистовую рубашку с хитрейшими складками. Жилет был из тонкого индийского кашемира; редкие волосы графа были слегка и так искусно подвиты, что как будто бы они вились от природы. Пробило двенадцать. Граф начинал ходить более и более беспокойными шагами, посматривая по временам в окно.

Тихими шагами вошел Иван Александрыч, с ног до головы одетый в новое платье, которое подарил ему Сапега, не могший видеть, по его словам, близ себя человека в таком запачканном фраке. Граф молча кивнул племяннику головой и протянул руку, которую тот схватил обеими руками и поцеловал с благоговением. Улыбка презрения промелькнула в лице Сапеги, и он снова начал ходить по комнате. Прошло еще четверть часа в молчании. Граф посмотрел в окно.

— Что, если она не приедет! — сказал он как бы про себя.

— Приедет, ваше сиятельство, непременно приедет,— подхватил Иван Александрыч.

— А ты почему знаешь?

— А уж знаю, ваше сиятельство, непременно приедет.

— Ничего ты не знаешь.

В это время вдали показалась шестериком карета.

— А что, ваше сиятельство, это что? — воскликнул Иван Александрыч, смотревший так же внимательно на дорогу, как и сам граф.

— А что такое? — спросил Сапега, как бы боясь обмануться.

— Это-с карета Задор-Мановского, вот и подседельная пхняя,— я знаю.

— Будто? — сказал граф; глаза его заблистали радостью.— Поди, Иван, скажи, чтобы люди встретили.

Иван Александрыч выбежал.

— Милочка моя, душечка... ах, как она хороша! Глазки какие! О, чудные глазки! — говорил старик, потирая руки, и обыкновенно медленные движения его сделались живее. Он принялся было глядеть в зеркало, но потом, как бы не могши сдержать в себе чувства нетерпения, вышел в залу. Анна Павловна, одетая очень мило и к лицу, была уже на половине залы.

— Милости просим, моя бесценная Анна Павловна,— говорил старик, протягивая к ней руки.

Мановская поклонилась.

— Ручку вашу, ручку... или нет, я старик, меня можно поцеловать... поцелуйте меня!

— Извольте, граф,— отвечала с улыбкой Анна Павловна.

Они поцеловались. Граф под руку ввел ее в гостиную. Иван Александрыч остался в зале (при гостях он не смел входить в гостиную). В этой же зале, у дверей к официантской, стояли три лакея в голубых гербовых ливреях.

— Иван Александрыч, Иван Александрыч! Кто эта барыня? — спросил один из них.

Иван Александрыч ни слова не отвечал: он очень обижался, когда с ним заговаривали графские лакеи.

— Иван Александрыч! Что вы, сердиты, что ли? А еще старый приятель,— продолжал насмешник, и лакеи захохотали.

Сконфуженный и раздраженный, Иван Александрыч глядел в окно.

Между тем граф усадил свою гостью на диван и сам поместился рядом.

— Ах, если б вы знали, с каким нетерпением я вас ждал! — начал он.

— Благодарю, граф.

— И... только-то?

Анна Павловна ничего не отвечала.

— Я вас очень люблю! — продолжал старик, ближе подвигаясь к Анне Павловне.— Дайте мне еще поцеловать вашу ручку: вы все что-то печальны... Скажите мне, любите ли вы вашего мужа?

Анна Павловна вспыхнула.

— Всякая женщина должна любить своего мужа,— сказала она.

— Нет, вы скажите мне откровенно, как другу вашего отца, как человеку, который дорожит вашим счастьем и который готов сделать для вас все.

— Я люблю моего мужа,— отвечала молодая женщина, не решившаяся быть откровенной.

— Нет, вы не любите вашего мужа,— возразил Сапега, внимательно смотря на свою гостью.— Вы не можете любить его, потому что он сам вас не любит и не понимает.

— Кто вам сказал это, граф?

— Мои собственные наблюдения, милая Анна Павловна. Будьте со мною откровенны, признайтесь мне, как бы вы признались вашему отцу, который, помните, любил меня когда-то. Скажите мне, счастливы ли вы?

Анна Павловна начала колебаться: ей казалось, что граф говорил искренне, и слезы невольно навернулись на ее глазах.

— Я вижу, вы не любите мужа, и он вас не любит,— продолжал граф, едва скрывая внутреннее удовольствие.

Анна Павловна не могла долее воздержаться и зарыдала.

— Бедная моя,— говорил граф,— не плачьте, ради бога, не плачьте! Я не могу видеть ваших слез; чем бесполезно грустить, лучше обратиться к вашим друзьям. Хотите ли, я разорву ваш брак? Выхлопочу вам развод, обеспечу ваше состояние, если только вы нуждаетесь в этом.

— Граф,— возразила молодая женщина,— я должна и буду принадлежать моему мужу всегда.

Сапега увидел, что он слишком далеко зашел.

— По крайней мере позвольте мне участвовать в вашей судьбе, облегчать ваше горе, и за все это прошу

у вас ласки, не больше ласки: позвольте целовать мне вашу ручку. Не правда ли, вы будете меня любить? Ах, если бы вы в сотую долю любили меня, как я вас! Дайте мне вашу ручку.— И он почти силой взял ее руку и начал целовать.

Внутреннее волнение графа было слишком явно: глаза его горели, лицо покрывалось красными пятнами, руки и. ноги дрожали.

Анна Павловна заметила это, и неудовольствие промелькнуло по ее лицу. Она встала с дивана и села на кресло.

— О, не убегайте меня! — говорил растерявшийся старик, протягивая к ней руки.— Ласки... одной ничтожной ласки прошу у вас. Позвольте мне любить вас, говорить вам о любви моей: я за это сделаюсь вашим рабом; ваша малейшая прихоть будет для меня законом. Хотите, я выведу вашего мужа в почести, в славу... я выставлю вас на первый план петербургского общества: только позвольте мне любить вас.

Негодование и горесть изобразились на кротком лице Анны Павловны.

— Умоляю вас, граф, не унижайте меня; я несчастлива и без того! — сказала она, заливаясь слезами, и столько глубоких страданий, жалоб и моления, столько чистоты и непорочности сердца послышалось в этих словах, что Сапега, несмотря на свое увлечение, как бы невольно остановился.

В первый почти раз женщина не гневом и презрением, а слезами просила его прекратить свои искания, или, лучше сказать, в первый еще раз женщина отвергнула его, богатого и знатного человека. Он решился притвориться и ожидать до времени. «Ее надобно приучить к мысли любить другого, а не мужа,— подумал он,— а я ей не противен, это видно».

— Простите моему невольному увлечению и останемтесь друзьями,— сказал он, подходя к Анне Павловне и подавая ей руку.

Во весь остальной день граф не возобновлял первого разговора. Он просил Анну Павловну играть на фортепиано, с восторгом хвалил ее игру, показывал ей альбомы с рисунками, водил в свою картинную галерею, отбирал ей книги из библиотеки. Узнавши, что она любит цветы, он сам повел ее в оранжереи, сам вязал для нее из луч-

ших цветов букеты, одним словом, сделался внимательным родственником и больше ничего.

Часу в шестом вечера Анна Павловна начала собираться домой. При прощании граф, как бы не могший выдержать своей роли, долго и долго целовал ее руку, а потом почти умоляющим голосом просил дать ему прощальный поцелуй.

На этот раз Анна Павловна исполнила его желание почти с неудовольствием. Провожая ее до крыльца, граф взял с нее честное слово приехать к нему через неделю и обещался сам у них быть после первого визита Задор-Мановского.

Анна Павловна уехала.

Граф остался один: наружное спокойствие, которое он умел выдержать в присутствии Мановской, пропало.

«Что это значит,— думал он,— она не любит мужа — это видно, почему же она отвергает и даже оскорбляется моими исканиями? Я ей не противен, никакого чувства отвращения я не заметил в ней... напротив! Если я круто повернул и если только это детская мораль, ребяческое предубеждение, то оно должно пройти со временем. Да и что же может быть другое? Уж не любит ли она кого-нибудь?»

На этой мысли граф остановился.

«Отчего я не узнал,— подумал он с досадой,— она начинала быть так откровенна. Но узнать ее любовь к другому от нее самой — значит потерять ее навсегда. Но от кого же узнать? Соседи... их неловко спрашивать». Граф вспомнил об Иване Александрыче и позвонил в колокольчик.

— Позвать Ивана Александрыча,— сказал он вошедшему лакею.

Не прошло секунды, Иван Александрыч был уже в гостиной. Он давно стоял у дверей и боялся только войти.

— Пойдем, Иван, в кабинет,— сказал граф, уходя из гостиной. Оба родственника вошли в знакомый уже нам кабинет. Граф сел на диван. Иван Александрыч стал перед ним, вытянувшись.

— Говори что-нибудь, Иван,— произнес граф.

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Например, сплетни здешние.

— Сплетни, ваше сиятельство?

— Да, сплетни, например, что здесь говорят про эту даму, которая у меня была здесь сейчас?

— Что говорят, ваше сиятельство, да мало ли что говорят! Хвалят-с,— отвечал Иван Александрыч, который, видя внимание, оказанное графом Мановской, счел за лучшее хвалить ее.

— За что же хвалят?

— За красоту, ваше сиятельство,— отвечал племянник, припоминая, что граф называл ее красавицей.

— А каково она живет с мужем?

— Дела семейные трудно судить, ваше сиятельство, кажется, что не очень согласно; впрочем, он-то...

— Он боров!

— Именно боров, ваше сиятельство,— отвечал Иван Александрыч и засмеялся, чтоб угодить графу.

— Так, стало быть, она не любит мужа?

— Не любит, ваше сиятельство, будьте спокойны, не любит.

— А другого кого-нибудь не любит ли?

— Другого-с?

— Да, нет ли слухов?

— Слухов-то нет, ваше сиятельство! — начал Иван Александрыч и остановился. Он вспомнил угрозы Эльчанинова.

— Ну, так что же, если слухов нет? — повторил граф.

— Слухов нет-с, а я кой-что знаю,— ответил Иван Александрыч. Он решительно не в состоянии был скрыть от графа узнанной им про Анну Павловну тайны, которой тот, как казалось ему, интересовался.

— Что же такое ты знаешь? — спросил Сапега с беспокойным любопытством.

— А знаю, ваше сиятельство... только, бога ради, не говорите, что от меня слышали.

— Не торгуйся,— сказал нетерпеливо граф.

— Изволите припомнить, как вы изволили посылать меня в Могилки, чтобы известить о вашем приезде?

— Ну?

— Вот я и приезжаю. Спрашиваю: «Дома господа?» — «Нет, говорят, барин уехал в город, а барыня в оржаном поле прогуливается». Ах, думаю, что делать?.. Пометался по полю туда-сюда; однако думаю: дай-ка пойду к Лапинской роще; там грибы растут,— не за гри-

бами ли ушла Анна Павловна? Только подхожу к опушке, глядь, она как тут, да еще и не одна.

— Как не одна! С кем же?

— С Валерьяном Александрычем Эльчаниновым.

— Кто такой Эльчанинов?

— Помещик-с, молодой человек, образованный, умный. Ба-ба, думаю себе, вот оно что! Подхожу; переконфузились; на обоих лица нет; однако ничего: поздоровались. Я передал приказание вашего сиятельства. Анна Павловна ничего уж и не понимает! Иван Александрыч... Валерьян Александрыч... говорит и сама не знает что.

— Ты не лжешь ли, Иван? — спросил граф.

— Скорее жизни себя лишу, чем солгу вашему сиятельству! — отвечал Иван Александрыч.

— Но, может быть, он как гость приехал, и они гуляли? — спросил Сапега.

— Вот в том-то и штука, ваше сиятельство, что с мужем он незнаком. После, как поздоровались мы: «Пойдемте,— говорит Анна-то Павловна,— в усадьбу», а Эльчанинов говорит: «Прощайте, я не пойду!» — «Ну, прощайте», говорит. Вот мы и пошли с нею вдвоем. «Что это,— говорю я,— Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу?» — «Не хочет, говорит, незнаком с мужем». А сама так и дрожит. Ну, я что ж, и не стал больше расспрашивать; еду потом назад, гляжу: Валерьян Александрыч дожидается и только что не стал передо мной на колени. «Вы, говорит, благородный человек, Иван Александрыч! Не погубите нас, не говорите никому!.. Люди мы молодые».— «Что мне, говорю, за дело, помилуйте».— «Нет, говорит, побожитесь». Я и побожился. Да уж для вашего сиятельства и божба нипочем: вам сказать и бог простит.

Теперь для графа все было ясно: Анна Павловна отвергала его искания, потому что любила другого. Мысль эта, которая, может быть, охладила бы пылкого юношу и заставила бы смиренно отказаться от предмета любви своей, эта мысль еще более раздражила избалованного старика: он дал себе слово во что бы то ни стало обладать Анной Павловной. Первое, что считал он нужным сделать, это прекратить всякое сношение молодой женщины с ее любовником; лучшим для этого средством казалось ему возбудить ревность Мановского, которого, видев один раз, он очень хорошо понял, какого сорта тот

гусь, и потому очень верно рассчитывал, что тот сразу поставит непреоборимую преграду к свиданиям любовников. В деревне это возможно: молодой человек, после тщетных усилий, утомится, будет скучать, начнет искать развлечений и, может быть, даже уедет в другое место. Анна Павловна будет еще хуже жить с мужем; она будет нуждаться в участии, в помощи; все это представит ей граф; а там... На что женщина не решается в горьком и безнадежном положении, когда будут предлагать ей не только избавить от окружающего ее зла, но откроют перед ней перспективу удовольствий, богатства и всех благ, которые так чаруют молодость. Не удивляйтесь, читатель, тому отдаленному и не совсем честному плану, который так быстро построил в голове своей граф. Он не был в сущности злой человек, но принадлежал к числу тех сластолюбивых стариков, для которых женщины — всё и которые, тонко и вечно толкуя о красоте женской, имеют в то же время об них самое грубое и материальное понятие. «Но как дать знать мужу? — продолжал рассуждать граф.— Самому сказать об этом неприлично». Иван Александрыч был избран для того.

— Послушай, Иван,— сказал граф,— ты скверно поступаешь.

— Я, ваше сиятельство? — спросил тот, удивленный и несколько испуганный.

— Да, ты,— продолжал граф.— Ты видел, что жена твоего соседа гибнет, и не предуведомил мужа, чтобы тот мог и себя и ее спасти. Тебе следует сказать, и сказать как можно скорее, Мановскому.

— Сказать!.. Да что такое я скажу, ваше сиятельство?

— Что ты видел его жену на тайном свидании с этим, как его?..

— Нет, ваше сиятельство, не могу, вся ваша воля, не могу; меня тут же убьет Мановский. Я знаю его: он шутить не любит!.. Да и Эльчанинов уж очень обидится!

— Ты страшный болван,— сказал граф сердито.— За что же тебя убьет Мановский? Ты еще сделаешь ему добро!.. А другой не может этого узнать: как он узнает?

— Оно так, ваше сиятельство! Все-таки сами посудите: я человек маленький!.. Меня всякий может раздавить!.. Да и то сказать, бог с ними! Люди молодые... по-божески, конечно, не следует, а по-человечески...

— Поди же вон,— сказал граф.— Я не люблю мерзавцев, которые способствуют разврату!

Иван Александрыч чуть не упал в обморок.

— Помилуйте, ваше сиятельство,— сказал он плачевным голосом,— я не к тому говорю... Извольте, если вам угодно, я скажу.

— Давно бы так! — сказал граф более ласковым голосом.— Ты, по чувству чести, должен сказать, как дворянин, который не хочет видеть бесчестия своего брата.

— Конечно, ваше сиятельство. Я так и скажу; скажу, как дворянин дворянину.

— Так и скажи! Ступай! Но обо мне чтобы и помину не было; я только так говорю.

— Как можно-с!.. Можно ли ваше сиятельство мешать в эти дела?

— Ну, ступай!

Иван Александрыч вышел из кабинета не с такой поспешностью, как делал это прежде, получая от графа какое-либо приказание. В первый раз еще было тягостно ему поручение дяди, в первый раз он почти готов был отказаться от него: он без ужаса не мог представить себе минуты, когда он будет рассказывать Мановскому; ему так и думалось, что тот с первых же слов пришибет его на месте.

X

Теперь прошу читателя вместе со мною перенестись на несколько минут в усадьбу Коровино, принадлежащую Эльчанинову, и посмотреть на домашнюю жизнь моего героя. Он жил в большом, но очень ветхом доме, выстроенном еще его отцом. Гостиная этого дома, как и в доме Задор-Мановского, была, по преимуществу, то место, где хозяин проводил свое время, когда бывал дома. Странный представляла вид эта комната с тех пор, как поселился в ней молодой барин. Вместо церемонности и чистоты, которыми обыкновенно отличаются гостиные в семейных помещичьих домах, она представляла страшный беспорядок: на столе и на диванах валялись разные книги, из которых одни были раскрыты, другие совершенно лишены переплета. По большей части это были прошлогодние журналы, переводные сочинения и несколько французских романов; бóльшим почтением, ка-

залось, пользовались: Шекспир в переводе Кетчера и полные сочинения Гете на немецком языке. Они стояли на стоявшей в углу этажерке и даже были притиснуты мраморной дощечкой с сидящею на ней собакой. На круглом столе стояла матовая лампа; на полу и на окне были целые кучи табачного пепла и валялось несколько недокуренных сигар. На столе, под зеркалом, стоял очень хороший мраморный бюст Вальтер-Скотта. За рамкой портрета отца был заткнут портрет Щепкина. Рядом с портретом матери висела гравюра какой-то полуобнаженной женщины. Словом, тут было все, что бывает обыкновенно в грязных и холодных номерах, занимаемых студентами.

Спустя четыре дня с тех пор, как мы расстались с Эльчаниновым, он в длинном, польского покроя, халате сидел, задумавшись, на среднем диване; на стуле близ окна помещался Савелий, который другой день уж гостил в Коровине. Молодые люди были почти друзья. Случилось это следующим образом: на другой день после приезда от вдовы Эльчанинов проснулся часов в двенадцать. Ему была страшная тоска и скука: он грустил по Анне Павловне. Забыв и ревность и неисполненное обещание, он страстно желал ее видеть. Ехать прямо не было никакой возможности. Задор-Мановский, конечно, не пустит его и на крыльцо. Два раза он подъезжал к Могилкам; два раза приходил на место свидания, обходил кругом поле; но все было напрасно. Он не видал никого...

Грустный и растерзанный, возвратился он домой. «Что мне делать, что мне предпринять? — говорил он сам с собою,— нельзя ли послать человека, но где и как лакей может ее видеть?» Тут он вспомнил о поручении, которое сделал Савелью: может быть, он исполнил его, может быть, он был там и что-нибудь ему скажет.

С этим намерением он послал к Савелью письмо, которым приглашал его приехать к нему и посетить его, больного. Вместе почти с посланным явился и Савелий. После первых же приветствий нетерпеливый Эльчанинов спросил своего гостя: был ли он у Мановского?

— Нет еще,— отвечал тот.

— А скоро ли думаете быть?

— Дня через два.

— Зачем же так долго?

— Я видел Михайла Егорыча. Он велел мне послезавтра побывать у него.

Еще два дня, страшные, мучительные два дня, должен был дожидаться Эльчанинов, один, в скуке; в гости ехать он никуда не мог.

— Не сделаете ли вы мне одолжение? — сказал он, обращаясь к своему гостю.

— Какое?

— Пробудьте эти два дня у меня.

— Работа у нас теперь спешная: сенокос-с.

— Я к вам пошлю двух-трех мужиков, сколько вы хотите,— сказал Эльчанинов.

— Хорошо,— отвечал Савелий и остался.

Молодые люди начали разговаривать. Эльчанинов много говорил о женщинах, об обязанностях человека, о различии состояний, о правах состояний, одним словом — обо всем том, о чем говорит современная молодежь. Савелий слушал со вниманием и только изредка делал небольшие замечания, и — странное дело! — при каждом из этих замечаний, сказанном простым и необразованным человеком, Эльчанинов сбивался с толку, мешался и принужден был иногда переменять предмет разговора. Результатом этой беседы было то, что Эльчанинов начал с полным уважением смотреть на Савелья. Он видел в нем очень умного человека. Целый день друзья проговорили без умолку. Ночью Эльчанинову пришло в голову попросить Савелья передать Анне Павловне письмо. С этой мыслью он проснулся часу в девятом. Савелий, привыкший рано вставать, давно уже сидел, одевшись, у окна.

— Вы поздно встаете,— сказал он хозяину.

— Привычка,— отвечал Эльчанинов.— Впрочем, я вчера долго не спал. Мне было грустно.

— О чем?

— Я много имею причин грустить.

Савелий молча посмотрел на него.

— Например, мне теперь ужасно хочется видеться с одной женщиной,— продолжал Эльчанинов,— и не имею на это никаких средств.

— Что же вам мешает?

— Что обыкновенно мешает в этих случаях... Муж!..

Савелий улыбнулся.

— Вы говорите про Анну Павловну?—проговорил он.

— Однако вы догадливее, нежели я думал,— сказал Эльчанинов, решившийся окончательно посвятить в свою тайну Савелья, в благородство которого он уже верил.

— Да нетрудно и догадаться,— сказал тот.

— Я надеюсь,— сказал Эльчанинов, пожимая руку новому поверенному.

Савелий ничего не отвечал. В лице его видно было какое-то странное выражение.

— Я вас хотел попросить, Савелий Никандрович,— начал Эльчанинов с небольшим волнением,— не передадите ли вы от меня письмо Анне Павловне?

Удивление изобразилось в лице Савелья.

— Письмо! — сказал он.— Разве вы переписываетесь?

— Я знал ее еще в Москве и там уже любил ее. Шесть лет, как я люблю ее одну, шесть лет, как для меня не существует другой женщины.

— Отчего же вы не женились на ней?

— Нас разлучили!.. И притом же она была дочь богатого человека!

— А может, она и пошла бы за вас?

— Может быть, но дело в том, что нас разлучили совершенно нечаянно: отец ее почти в один день собрался и уехал в свое имение.

— Отчего же вы за ними не поехали?

— Я не знал, куда они уехали.

— А разве этого нельзя было узнать?

Эльчанинов смешался.

— Я и сам не знаю, как это случилось,— начал он, поправившись,— но только мы потеряли друг друга из виду. Три года прожил я в адских мучениях, как вдруг услышал, что она здесь; бросил все, бросил службу, все надежды на будущность и приехал сюда, чтоб только жить близ этой женщины, видеться с нею; но и на этот раз удачи нет. Маленькая неприятность, которую я имел недавно с ее мужем, не позволяет мне бывать у них в доме. Переписка осталась единственным утешением; но и та, без вашей помощи, невозможна. Не откажитесь, добрый друг, сделать человека счастливым, дайте возможность хоть несколько вознаградить мои страдания. Вы себе представить не можете, как это ужасно! Желать!.. Стремиться!..

Эльчанинов вздохнул. Савелий слушал его очень внимательно.

— А Анна Павловна вас любит? — спросил он.

— Это очень щекотливый вопрос,— отвечал Эльчанинов,— впрочем, я вам скажу: она любит меня.

— Она очень несчастлива в замужестве! — сказал Савелий.

— Знаю,— отвечал мрачно Эльчанинов.— Я готов был почти убить этого господина; но что из этого — какая может быть польза! Скажите лучше, друг: исполните ли вы мою просьбу?

— Извольте! — отвечал Савелий.

Эльчанинов бросился его обнимать.

Весь остальной день приятели только и говорили, что об Анне Павловне, или, лучше сказать, Эльчанинов один беспрестанно говорил об ней: он описывал редкие качества ее сердца; превозносил ее ум, ее образование и всякий почти раз приходил в ожесточение, когда вспоминал, какому она принадлежит тирану. Ночью он изготовил к ней письмо такого содержания:

«Бог вам судья, что вы не исполнили обещания. Боюсь отыскивать тому причины и заставляю себя думать, что вы не могли поступить иначе. Безнадежность увидеться с вами заставляет меня рисковать: письмо это посылаю с С... Н... Он добрый и благородный человек, в глубоком значении этого слова. Чтобы не умереть от грусти, я должен с вами видеться. Если пройдет несколько дней и я не увижусь с вами, не ручаюсь, что со мной будет... Я не застрелюсь... Нет! Я просто умру с печали... Прощайте, до свиданья».

Савелий ушел поутру, обещаясь в тот же день принести Эльчанинову ответ.

XI

В Могилках между тем шло, по-видимому, прежним порядком. Задор-Мановский только что приехал из города. Анна Павловна не так хорошо себя чувствовала и почти лежала в постели. Прием графа сделал на нее самое неприятное впечатление. Оскорбленная его обращением, она едва в состоянии была скрыть неприятное чувство, которое начал внушать ей этот человек, и свободно вздохнула тогда только, как выехала от него и очутилась одна в своей карете; а потом мысли ее снова устремились к постоянному предмету мечтаний — к Эльчанинову, к честному, доброму и благородному Эльчанинову.

Тотчас по приезде своем, не переменив даже платья, пошла она к Лапинской роще, в нетерпении скорее узнать, взял ли он письмо и нет ли еще его там, потому что было всего восемь часов вечера, но никого не нашла. Со вниманием начала она осматривать то место дерева, где положена была записка,— там ее не было. На сердце Анны Павловны начинало становиться легче; но вдруг она заметила что-то белое, лежавшее на дне трещины, и с помощью прутика вытащила бумажку.— Это была ее записка. Все надежды рушились: она не будет его видеть завтра, может быть, никогда. Он рассердился и оставил ее одну, опять одну, среди ее мук, в то время, когда ей угрожает еще новая опасность от графа. Не помня почти себя, она возвратилась домой и бросилась на кровать. Тысяча средств было придумано, чтобы известить Эльчанинова, но ни одно не было возможно, и, таким образом, прошли три страшные, мучительные дня; от Эльчанинова не было ни весточки. В припадке исступления Анна Павловна решилась идти пешком в усадьбу его, которая, она слыхала, в десяти всего верстах; идти туда, чтобы только видеться с ним и выпросить у него прощение в невольном проступке, и, вероятно бы, решилась на это; но приехал муж, и то сделалось невозможно. Сама не зная, что делать, бедная женщина притворилась больной и легла в постель. Михайло Егорыч возвратился на этот раз в более, казалось, добром и веселом расположении духа, нежели обыкновенно. Узнавши о болезни жены, он вошел в ее спальню и, чего никогда еще не бывало, довольно ласково спросил, чем именно она больна, и потом даже посоветовал ей обтереться вином с перцем, единственным лекарством, которым он сам пользовался и в целительную силу которого верил.

— Уж не сиятельные ли любезности уложили тебя в постель? — сказал он шутя.

Анна Павловна ничего не отвечала.

Постояв еще немного в спальной, Мановский вышел, отобедал и потом, вытянувшись на диване в гостиной и подложив под голову жесткую кожаную подушку, начал дремать; но шум мужских шагов в зале заставил его проснуться.

Это был Савелий.

— Здорово, брат,— сказал хозяин, не поднимаясь с дивана и протягивая свою огромную руку гостю.

Мановский обходился с Савельем ласково, потому что часто нуждался в нем по хозяйству.

— Здравствуйте,— отвечал тот, садясь на ближайшее кресло.

— Что скажешь новенького?

— Вы говорили мне побывать у вас.

— Да, похимости, брат, у меня на мельнице; черт ее знает что сделалось: не промалывает. Мои-то, дурачье, никак в толк взять не могут.

— Камни плохи?

— Новые: с полгода как купил. Посмотри, пожалуйста; сегодня некогда, а завтра.

— Мне до завтра нельзя остаться.

— Ну, полно, Савелий, погости, братец; скажи-ка лучше, здорова ли соседка твоя Клеопатра Николаевна?

— Я ее не видал. А ваша Анна Павловна?

— Больна, братец; должно быть, простудилась. Хилая она ведь такая.

— И очень больна? — спросил Савелий.

— Да, лежит.

«Увижу ли я ее,— подумал Савелий,— придется ночевать. Авось, утром выйдет».

— Кто там? — закричал Мановский, услышавши небольшой шум.

Вместо ответа в комнату вошел Иван Александрыч, бледный, на цыпочках, как бы удерживая дыхание.

— А, ваше сиятельство! — сказал хозяин.— Прошу покорнейше пожаловать. Сколько лет, сколько зим не видались.

Мановский был в очень добром расположении духа.

Но Иван Александрыч вместо ответа только кланялся.

— Что это вы такие пересовращенные? Уж не уехал ли ваш дядюшка?

— Никак нет-с. Его сиятельство еще долго проживут.

— Благодарение господу!.. Садитесь, батюшка Иван Александрыч.

Иван Александрыч сел.

— Расскажите-ка нам, что поделывает ваш сиятельнейший дядюшка, каково поживает, каково кушает?

— То есть каково здоровье его сиятельства?

— Да, хоть каково здоровье?

— Очень хорошо-с.

— Благодарение господу! Да сохранит он его на долгие дни.

Иван Александрыч переминался.

— Я имею вам, Михайло Егорыч, нечто сказать,— проговорил он нетвердым голосом.

— Мне?.. А что бы такое?..

— Я могу сказать только один на один.

— Странно!.. Уж не хотите ли у меня для дядюшки попросить денег взаймы? Вперед говорю: не дам.

— У его сиятельства у самих денег целые горы.

— Так что бы такое это было?

— При людях не могу, Михайло Егорыч, ей-богу, не могу...

— При людях не можете?.. Делать нечего... выдь, брат Савелий, пройди к жене в спальню... Знаешь, где?

— Знаю,— сказал Савелий, обрадованный случаем повидаться с Анной Павловной, и вышел.

— Ну, говорите,— сказал Мановский.

Иван Александрыч медлил; лицо его было бледно, руки и ноги дрожали.

— Да что это с вами? — спросил Задор-Мановский, видя смущение его.

— Михайло Егорыч,— начал, наконец, дрожащим голосом Иван Александрыч,— я дворянин; не богатый, но дворянин; понимаете, в душе дворянин!

— Черт вас знает, что у вас там в душе? — сказал Мановский, которого начинали бесить загадочные речи соседа.

— В душе у меня сердце, Михайло Егорыч,— продолжал тот.— Я дворянин... мне горько, когда другого дворянина обижают.

— Что за околесица: дворянин... дворянина обижают!.. Да что вы такое городите?

— Михайло Егорыч! Вы не знаете, а вас обижают.

— Меня обижают? Кто меня обижает?

— Валерьян Александрыч Эльчанинов,— отвечал Иван Александрыч.

— Эльчанинов... Да вам кой черт на бересте это написал? — сказал, покрасневши, Мановский, думая, что Иван Александрыч хочет говорить про происшествие у вдовы.

— Я сам видел, Михайло Егорыч.

— Сами видели... да где же и что вы видели?

— Видел их вместе.

— Где вместе?

— Здесь, в поле, и, кажется, целовались.

При последних словах досада и беспокойство показались на лице Мановского.

— Да по кой черт в поле-то они сюда зашли? — спросил он.

— Видно, так согласились; я их нашел вдвоем и после с ней пришел сюда в Могилки.

— Сюда? Да сюда зачем же?

— Она меня пригласила к себе.

— Ну, так вы к ней бы и шли.

— Я и пришел к ним.

— Как пришел к ним? Да ведь кто вас пригласил?

— Анна Павловна-с...

— Жена моя? — произнес Мановский.

— Супруга ваша-с,— отвечал Иван Александрыч.

— Да ее-то где вы видели?

— Я вам докладывал, что я их видел в поле с Валерьяном Александрычем.

— Так это жена моя была... Ты ее видел с Эльчаниновым? — начал глухим голосом Мановский, приподнимаясь с дивана, и глаза его налились кровью и страшно взглянули на Ивана Александрыча, который ни жив ни мертв сидел на стуле и не мог даже ничего отвечать.

— А, милостивая государыня,— сказал Мановский, переломивши первое движение гнева,— так вот ты чем больна? Эй! — закричал он.

Явился лакей.

— Пошли сюда барыню, сейчас же... сию секунду.

Иван Александрыч поднялся со стула.

— Прощайте, Михайло Егорыч,— проговорил он тихим голосом.

— Сидите, вы мне нужны,— сказал Мановский повелительным голосом.

Иван Александрыч сел, и после нескольких минут молчания в гостиную вошла Анна Павловна, с довольно веселым лицом: она сейчас получила письмо от Эльчанинова. Вслед за ней вошел и Савелий.

— Поди сюда ближе,— сказал Мановский.— Этот человек,— продолжал он, указывая на Ивана Александрыча,— говорит, что видел тебя с любовником в здешнем поле... уличи его, что он лжет.

Смертная бледность покрыла лицо бедной женщины; дыхание остановилось у ней в груди.

— Вы, Иван Александрыч...— начала она, но голос ее прервался.

— Говорят тебе, оправдывайся, или я тебя убью! — заревел Мановский и схватил ее одной рукой за ворот капота, а другой замахнулся. В первый еще раз поднимал он на жену руку. Негодование и какое-то отчаяние отразилось на бледном ее лице.

— Он не лжет, я люблю того человека и ненавижу вас! — вскричала она почти безумным голосом, и в ту же минуту раздался сильный удар пощечины. Анна Павловна, как пласт, упала на пол. Мановский вскочил и, приподняв свою громадную ногу, хотел, кажется, сразу придавить ее; но Савелий успел несчастную жертву схватить и вытащить из гостиной. Она почти не дышала.

— А! — ревел Мановский.— Так ты так-то!..— и обратился было к Ивану Александрычу, но тот уж скрылся и, что есть силы, гнал на беговых дрожках в Каменки.

— Люди! — произнес Мановский, как бы обеспамятев от гнева и садясь на диван.

В комнату вошел бледный лакей.

— Сейчас выгнать ее из моего дома! — сказал он каким-то страшно спокойным голосом.

В дверях показался Савелий.

— Михайло Егорыч, вспомните, что вы делаете! — сказал он.— Куда пойдет Анна Павловна?

— К черту! Пускай идет к любовнику.

— Бог вас накажет, Михайло Егорыч, вы и себя и ее губите.

Мановский не отвечал.

— Малой! — крикнул он.

В комнату явился прежний лакей.

— Выгнали ли?

— Барыня лежит в обмороке,— произнес робко лакей.

— Вытащить ее на руках! — проревел Мановский.

— Михайло Егорыч,— произнес Савелий.

— Убирайтесь к черту!— продолжал Мановский.

— Михайло Егорыч! Я на вас донесу предводителю!

— Хо-хо-хо! Ах ты, лапотник! Пошел вон!

— Вспомните, Михайло Егорыч, бога! Не раскайтесь! — сказал Савелий и вышел.

Через несколько минут страшная сцена совершилась

на могилковском дворе. Двое лакеев несли бесчувственную Анну Павловну на руках; сзади их шел мальчик с чемоданом. Дворовые женщины и даже мужики, стоя за углами своих изб, навзрыд плакали, провожая барыню. Мановский стоял на крыльце; на лице его видна была бесчувственная холодность. Мщение его было удовлетворено. Он знал, что обрекал жену или на нищету, или на позор. Между тем двое слуг, несших Анну Павловну, прошли могилковское поле и остановились.

— Уж не умерла ли она?

— Боюсь, Сеня, дальше-то идти; положим здесь, авось, опомнится и добредет куда-нибудь...

— Да только бы опомнилась.

— Ну, так класть, что ли? Лучше ночью можно сбегать сюда.

В это время из опушки леса вышел Савелий.

— Оставьте, братцы, ее,— сказал он,— как опомнится, я доведу ее куда-нибудь.

— Доведите, Савелий Никандрович,— сказали лакеи,— мы уж в той надежде будем.

Они сложили свою ношу. Мальчик положил возле небольшой чемодан.

— Прощайте, матушка Анна Павловна,— сказал Сенька, целуя бесчувственную руку госпожи.

Все они отправились в обратный путь. Савелий один остался с Анной Павловной. Что было ему делать? Куда отвести? К кому-нибудь из соседей? Он знал, что все ее не любят и не дадут прибежища, тем более, когда узнают причину ее изгнания. К Эльчанинову? Но это было... Он холостой человек, он любовник ее: скажут, что она убежала к нему. К себе? Не все ли это равно, что к Эльчанинову. Отвести ее к графу и просить его покровительства и защиты? Это казалось ему всего лучше. А что скажет Эльчанинов? Да и куда захочет она сама?

Размышления его были прерваны стоном, вырвавшимся из груди Анны Павловны. Она опомнилась и приподнялась с земли.

— Где я? — проговорила страдалица, обводя вокруг себя мутным взором.

— Здесь, со мной, Анна Павловна,— сказал Савелий.

— Здесь... Где здесь? Мне помнится, он кричал на меня... он хотел убить меня.

— Да-с...— отвечал Савелий; на глазах его наверну-

лись слезы.— Но теперь вы, однако, успокойтесь: вам лучше. Пойдемте.

— Идти — куда? Домой?

Савелий ничего не отвечал.

— Куда же мы пойдем? Я не пойду домой. Мне страшно.

— Мы не пойдем в Могилки,— отвечал Савелий.

— Куда же идти?

— Мы пойдем... куда вы захотите.

— Погодите... Я понимаю... муж меня выгнал, он не убил меня, а только выгнал, и за что? За то, что я сказала, что люблю этого человека... Что же? Ведите меня к нему. Я хочу его видеть, хочу рассказать ему, как меня выгнал муж за него. Ведите меня, я давно его не видала, я обманула его.

— Но, Анна Павловна, как же это?.. Неприлично,— возразил было Савелий.

— Ведите меня к нему: у меня никого, кроме него, нет! Бога ради, ведите! — воскликнула бедная женщина, почти вставая перед Савельем на колени.

— Ну, суди меня бог,— проговорил он, махнув рукою, и потом поднял ее и почти на руках понес в Коровино к Эльчанинову.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло два месяца после того дня, как в Могилках разыгралась страшная драма. Она исключительно была предметом разговоров всех соседей. В настоящее время их удивляло то странное положение, в котором держали себя лица, заинтересованные в этом происшествии, которое рассказывалось следующим образом: Анна Павловна еще до замужества вела себя двусмысленно—причина, по которой Мановский дурно жил с женою. Граф, знавший ее по Петербургу и, может быть, уже бывший с нею в некоторых сношениях, приехав в деревню, захотел возобновить с нею прошедшее, а потому первый приехал к Мановскому. Михайло Егорыч, ничего не подозревая, собственно, насчет графа, отпустил ее в Каменки одну. Но Анна Павловна отвергнула на этот раз искание графа, потому что уж любила другого, молодого, Эльча-

нинова. Граф из ревности велел присматривать за нею Ивану Александрычу, который застал молодых людей в лесу и сказал об этом Мановскому. Михайло Егорыч, очень естественно, вышел из себя и сказал сгоряча жене, чтоб она оставила его дом, и Анна Павловна, воспользовавшись этим, убежала к своему любовнику, захвативши с собою все брильянтовые вещи, с тем чтобы бежать за границу,— самое удобное, как известно, место для убежища незаконных любовников. До сих пор все это было очень понятно; но далее становились в тупик самые проницательные умы. Анна Павловна не уезжала за границу, а жила, к стыду и поношению своего мужа, в усадьбе Эльчанинова. Михайло Егорыч, человек с амбицией, все это терпел и допускал ее жить невдалеке от него. С часу на час ожидали все с его стороны какого-нибудь решительного поступка; но он не предпринимал ничего и никуда не выезжал. К нему же ехать никто не смел. Не менее того удивлял и граф. Вместо того чтоб бросить и забыть изменившую ему Анну Павловну, он везде и всем ее хвалил и совершенно извинял и оправдывал ее поступок и, при всей своей деликатности, называл Мановского мерзавцем.

Между тем как в обществе ожидали с таким нетерпением развязки, менее всего, кажется, думали о своем положении главные действующие лица. Почти целые сутки после страшной катастрофы Анна Павловна находилась в каком-то бесчувственном состоянии. Наконец, к ней возвратилось сознание, и первый человек, которого она увидела и узнала, был бледный и худой Эльчанинов. Она настоятельно просила рассказать ей обо всем случившемся. Эльчанинов повиновался. Выслушав рассказ, она протянула руку к своему покровителю и со слезами благодарила за данное ей убежище.

— Анна! — вскричал в исступлении Эльчанинов.— Сам бог вырвал тебя из рук злодея и отдал мне. Ты навеки моя и должна мне принадлежать, как собственность.

— У меня никого нет, кроме тебя. Я хочу и должна принадлежать тебе! — сказала бедная женщина и без борьбы, без раскаяния бросилась в пропасть, в которую увлекал ее энергический, но слабый и ветреный человек. Но, как бы то ни было, с этой минуты для них началось блаженство. Целые дни проходили незаметно: они гуляли

по полям, с лихорадочным трепетом читали и перечитывали, какие только были у них под рукой романы, которые им напоминали их собственные чувства, и, наконец, целовались и глядели по целым часам друг на друга. Они забыли о толках людей, о двусмысленности своего положения, об опасностях, о будущем. Один только человек стал нарушать счастье Эльчанинова,— это Савелий. С тех пор как выздоровела Анна Павловна, он непрестанно говорил своему приятелю о необходимости куда-нибудь уехать, об опасности со стороны Мановского, который не остановится на этом. Но Эльчанинов никуда не мог тронуться с места: у него не было денег. Сначала он скрывал истинную причину от своего приятеля и старался выдумывать различные предлоги отложить отъезд. Наконец, должен был признаться откровенно. Лицо Савелья нахмурилось. В первый еще раз он увидел для любовников опасность с этой стороны. «При самом начале они нуждаются,— думал он,— но что же будет дальше?»

— Когда же у вас будут деньги? — спросил он Эльчанинова.

— У меня должны быть скоро небольшие... Впрочем, можно заложить имение,— отвечал Эльчанинов и солгал.

Имение было давно заложено. Кроме того, он имел еще долги, о которых, с тех пор как перестал видеть своих кредиторов, почти совершенно забыл.

— Ну, так поезжайте и заложите скорее,— говорил Савелий.

— Да, я поеду скоро,— отвечал Эльчанинов, чтоб что-нибудь сказать.

Анна Павловна не знала этих разговоров, которые происходили между друзьями, и только замечала, что Эльчанинов всякий раз, поговоривши с Савельем, становился скучным, но, впрочем, это проходило очень скоро.

Между тем время шло. Савелий по-прежнему настаивал об отъезде; Эльчанинов по-прежнему отыгрывался. Наконец, он, казалось, начал избегать оставаться вдвоем с своим приятелем, и всякий раз, когда это случалось, он или кликал слугу, или сам выходил из комнаты, или призывал Анну Павловну. Савелий замечал, хмурился и все-таки старался найти случай возобновить свои убеждения; но Эльчанинов был ловчее в этой игре: Савелью ни разу не случалось остаться наедине с ним.

Неожиданное обстоятельство несколько изменило по-

рядок их жизни. Однажды, это было уже спустя два месяца, от графа привезли письмо. На конверте было написано: «Анне Павловне, в собственные руки». Оно было следующее:

«Милая моя Анна Павловна!

С прискорбием и радостью услышал я о постигшей вас участи и о перемене в вашей жизни. Не могу вас судить, потому что в глубине сердца оправдываю ваш поступок. Но за что же вы забыли меня? За что же вы поставили меня наряду с людьми, которые вам сделали много зла и желают еще сделать? Зачем же вы, отторгнувшись от них, отторглись и от меня? Я с этими людьми не разделяю и вообще мнений, а тем более мнения о вас. Я — старый друг вашего отца! Не отвергайте моей отеческой привязанности, которую питаю к вам. Может быть, она послужит вам в пользу, особенно в теперешних обстоятельствах. Приезжайте ко мне и приезжайте с ним! Я хочу видеть, достоин ли он любви вашей. Скажите ему, что я начинаю уже любить его, потому что он любим вами.

Остаюсь преданный вам

Граф Сапега».

Анна Павловна, прочитавши письмо, отдала его Эльчанинову. Оно ей было неприятно. Инстинкт женщины очень ясно говорил, что участие графа было не бескорыстное и не родственное, так что она не хотела было даже отвечать; но совершенно иными глазами взглянул на это Эльчанинов. Несмотря на то, что Анна Павловна пересказала ему еще прежде об объяснениях графа и об его предложениях, он обрадовался покровительству Сапеги, которое могло быть очень полезно в их положении, потому что хоть он и скрывал, но в душе ужасно боялся Задор-Мановского.

— Мне кажется, граф любит тебя просто,— сказал он,— иначе к чему бы ему предлагать при теперешних обстоятельствах свое участие?

Анна Павловна ничего не отвечала.

— Что ж мне написать к нему? — спросила она после минутного молчания.

— Поблагодарить и принять приглашение; я сам

поеду с тобой,— отвечал Эльчанинов, решившийся, впрочем, никогда не отпускать Анну Павловну одну к графу, и тотчас же продиктовал ей ответ:

«Милостивый государь,
граф Юрий Петрович!

Благодарю вас за ваше участие. Бог вам заплатит за него! Я не забывала вас, я не отторгалась от вашей признательной дружбы; я помнила вас всегда, ценила и надеялась на вас, но не обращалась к вам потому, что только теперь еще едва поправляюсь от тяжкой болезни. Принимаю ваше приглашение и буду у вас с *ним,* когда вы прикажете; прошу только, чтобы нам не встретиться в вашем доме с кем-нибудь из соседей, так враждующих теперь против нас. Еще раз повторяя мою благодарность, имею честь пребывать

обязанная вами и проч.»

Письмо это было запечатано и отдано посланному.

Вскоре после того пришел Савелий. Эльчанинов на этот раз не избегал остаться с ним наедине. Савелий тотчас воспользовался удобным случаем.

— Наконец, я вас поймал,— сказал он.— Когда же вы, Валерьян Александрыч, поедете закладывать имение?

— Теперь, Савелий Никандрыч, не нужно ехать; оставаться здесь больше нет опасности.

— Как не нужно? Мановский живехонек; вчера видел: к Клеопатре Николаевне приезжал!

— Он может жить, сколько ему угодно; но дело в том, что сегодня граф прислал к нам письмо и советовал быть спокойными, обещая своим покровительством охранить нас от всего.

— Я не понимаю, каким манером он может охранить вас и особливо Анну Павловну от мужа.

— Ах, Савелий Никандрыч, как вы мало знаете жизнь! — вскричал Эльчанинов.— Богатый и знатный человек... Да чего он не может сделать! Знаете ли, что одного его слова достаточно, чтобы усмирить мужа и заставить его навсегда отказаться от жены.

— Мужа, хоть бы и какого-то ни было, вряд ли кто может заставить отказаться от жены, а уж Мановского и подавно! Вы, ей-богу, Валерьян Александрыч, очень уж как-то беспечны.

— Не беспечен я, а только лучше вас знаю людей и знаю, как они терпеливы к подобным проступкам.

— Так вы и не думаете уехать отсюда?

— Не вижу надобности.

— Валерьян Александрыч, уезжайте! — сказал умоляющим голосом Савелий.— Бога ради, уезжайте! Что такое вас удерживает?.. Неужели вам жаль денег?

При последних словах Эльчанинов вспыхнул.

— Я не дал вам, кажется, повода так думать обо мне. Я рискую для этой женщины, оставаясь здесь, может быть, жизнью; так что тут значат деньги?

— Зачем же рисковать жизнью? Лучше уезжайте!.. Отчего же вы не едете?

— Невозможно!

— Отчего невозможно?

— Во-первых, оттого, что Анна Павловна больна, во-вторых... да я не вижу: какая будет польза, если мы уедем? Мановский, если захочет сделать зло, сделает везде: будем ли мы здесь, в Петербурге или Москве! Там еще более!.. Здесь по крайней мере есть покровитель!..

— Как это можно! В городе большая разница,— возразил Савелий.— Там вы будете у него не на глазах. Вы можете жить по разным домам!.. Будет подозрение, да улики, по крайности, не будет... А покровитель? Помните, что вы сами мне говорили об этом покровителе?

— Что ж такое?.. Это была ошибка с моей стороны. Я сам хорошо вижу, что граф ее любит как друг ее отца, тем больше, что он ей дальний родственник.

При этом слове Савелий только усмехнулся.

— Уезжайте, Валерьян Александрыч,— повторил он,— вы еще, видно, и не знаете, что может быть.

— Что ж может быть? — произнес Эльчанинов с поддельной беспечностью.

— А то может, что Мановский, говорят, хочет выписать тестя, да и приедет сюда с ним!.. Каково это будет для Анны Павловны? А не то, пожалуй, и к правительству обратится... Не скроешь этого дела.

При последних словах Эльчанинов побледнел.

— Я знаю, все знаю,— проговорил он,— но что ж мне делать, если я не имею, с чем мне теперь ехать.

— Поезжайте и заложите имение, а там поступите на службу.

— Но как я поеду? Как ее оставлю одну? Я не могу с нею расстаться. Это выше моих сил.

— Поезжайте вместе.

— Вместе? Но вместе... на это у меня просто не хватит денег,— сказал, совершенно растерявшись, Эльчанинов.

— Граф вам обещал покровительство; попросите у графа,— сказал Савелий.

— У графа? Никогда! Да он и не даст.

— Может, и даст!.. Вы сами говорите: он любит Анну Павловну и родственник ей. Вы объясните ему откровенно.

— Ни за что на свете, чтобы я унизил себя до того, чтобы у подобного господина стал ханжить денег! Ни за что! — произнес решительно Эльчанинов.

— Что ж тут за унижение? — возразил Савелий.— Не хотите только!.. Кабы я знал, я бы лучше отвез Анну Павловну в город к отцу протопопу знакомому... Он, может, подержал бы ее, пока она своему папеньке написала.

— Благодарю вас, что вы так меня понимаете,— сказал обиженным голосом Эльчанинов.

— Что мне вас понимать? Я человек простой, а вы образованный!.. Взял я только на свою душу грех!..

— Очень сожалею, что приняли для меня на свою душу грех,— сказал Эльчанинов, начинавший уже окончательно выходить из терпения.

Приход Анны Павловны прекратил их разговор.

Дня через четыре граф прислал человека с письмом, в котором в тот же день приглашал их к себе и уведомлял, что он весь день будет один. Часу в двенадцатом Анна Павловна, к соблазну всех соседей, выехала с Эльчаниновым, как бы с мужем, в одной коляске.

— Я встретил сейчас новобрачных! — сказал исправник губернскому предводителю, приехавши к нему и повстречавши действительно наших любовников.

— Каких новобрачных? — спросил тот.

— Эльчанинова с Мановской.

— Неужели они обвенчались?

— Нет-с, я шучу,— сказал исправник.— Только едут вдвоем и поворотили в Каменки.

— Господи, твоя воля! — сказал предводитель.— Что это такое делается!.. Этакая бесстыдница!..

— Да, ваше превосходительство, нечего сказать, еще и не бывало такой!.. Что-то Мановский?

— Бог его знает, сидит,— сказал предводитель.

— Да уж он что-нибудь и высидит,— заметил исправник.

— Но мне всех тут страннее граф,— продолжал предводитель,— то он действует так, то иначе.

— Непонятно,— подхватил исправник.

Одно и то же почти говорили во всех домах, с тою только разницею, что мужчины старались больше понять и разгадать, а дамы просто бранили Анну Павловну, объясняя все тем, что она женщина без всяких правил.

Между тем граф часу в первом пополудни был по-прежнему в своей гостиной: хотя туалет его был все так же изыскан, но он, казалось, в этот раз был в более спокойном состоянии духа, чем перед первым визитом Анны Павловны: он не ходил по комнате тревожными шагами, не заглядывал в окно, а спокойно сидел на диване, и перед ним лежала раскрытая книга. Ивана Александрыча не было около него. Граф прогнал его вскоре после того, как он произвел кутерьму у Задор-Мановского, чтобы отклонить от себя всякое подозрение насчет участия в открытии тайны. Бедный племянник скрывал это от всех и притворился больным. Вошедший слуга доложил о приезде Анны Павловны и Эльчанинова.

— Просить! — сказал граф и привстал с дивана.

Анна Павловна вошла первая, а за нею Эльчанинов.

— Здравствуйте, гордая Анна Павловна! — сказал граф.— Нет, я опять за старое, поцелуйте!

Анна Павловна повиновалась.

— Здравствуйте и вы, тоже гордый молодой человек,— прибавил он, протягивая Эльчанинову руку, которую тот принял с некоторым волнением: ему было как-то совестно своего положения.

— Здоровы ли вы?.. Поспокойнее ли? — спросил граф Анну Павловну, усадивши ее на диване.

Эльчанинов сел поодаль.

— Я здорова, граф,— отвечала она.

— Вас я не спрашиваю,— продолжал Сапега, обращаясь к Эльчанинову,— вы должны быть здоровы, потому что счастливы. Сядьте к нам поближе.

Эльчанинов пересел на ближнее кресло.

— Вы давно живете в деревне? — спросил его граф.

— Полгода, ваше сиятельство,—отвечал Эльчанинов.

— Только полгода? — повторил граф, посмотревши на Анну Павловну.— А где вы жили?

— В Москве.

— Служили там?

— Сначала учился в университете, а потом служил.

— А!..— произнес протяжно граф и потом, как бы сам с собою, прибавил.— В Москве собственно службы для молодых людей нет.

— Кажется, или по крайней мере я это на себе очень чувствовал,— подхватил Эльчанинов.— Меня сделали сверхштатным писцом, тогда как я и сносного почерка не имею.

Граф с улыбкой покачал головой.

— Вы, вероятно, не имели никаких связей,— произнес он совершенно равнодушным голосом.

— Решительно никаких, ваше сиятельство, кроме добросовестного желания трудиться,— отвечал Эльчанинов.

— Бог даст, вам и придет это время трудиться, а теперь покуда мы вас не отпустим на службу; живите здесь, в деревне, честолюбие отложите в сторону, вам весело и без службы.

— Мне надобно бы служить, граф, хоть затем, чтобы уехать отсюда.

— Да, я понимаю, что вы хотите сказать,— проговорил Сапега,— но я думаю, что я так люблю Анну Павловну и что покуда я здесь, то зорко буду следить за ее спокойствием; а там, бог даст, переедем и в Петербург, где я тоже имею некоторую возможность устроить вас.

Будь другой человек на месте Эльчанинова, он бы, может, понял, на что бил граф; он бы понял, что Сапега с намерением будил в нем давно уснувшее честолюбие; он бы понял, что тот хочет его удержать при себе, покуда сам будет жить в деревне, а потом увезти вместе с Анной Павловной в Петербург. Но — увы! — Эльчанинову только мелькнула богатая перспектива, которую может открыть ему покровительство такого человека, каков был граф. В первый раз еще мой герой вспомнил о службе, о возможности жить ею в Петербурге вместе с Анной Павловной и привязался к этой мысли.

— Мне очень нужно служить, ваше сиятельство,— сказал он.

— Увидим, увидим,— отвечал граф.— Не помешает ли еще нам Анна Павловна? Мы еще ее не спрашивали, да и не будем спрашивать покуда.

Во весь остальной день Сапега, бывши очень ласков с Анною Павловной, много говорил с Эльчаниновым и говорил о серьезных предметах. Он рассказывал, между прочим, как много в настоящее время молодых людей единственно посредством службы вышло в знать и составляют теперь почти главных деятелей по разным отраслям государственного управления. Так прошел целый день. Молодые люди уехали после ужина.

Граф сделал более, чем предполагал. Услышавши о страшной развязке, которою кончилось объяснение Ивана Александрыча с Мановским, и о бегстве Анны Павловны к Эльчанинову, Сапега, удивленный этим, еще более раздражился. Старческая прихоть превратилась в страсть; но в то же время он видел, что действовать решительно нельзя, а надобно ожидать от времени. Привязать к себе участием молодых людей, гонимых всеми, казалось ему первым шагом, а там возбудить в душе молодого человека другую страсть — честолюбия, которая, по мнению его, должна была вытеснить все другие. Оставленная мужем, забытая любовником, Анна Павловна не могла уйти от него; Мановского он боялся и не боялся, как боятся и не боятся медведей. Но, однако, мы заметим, что граф выждал целый месяц войти в прямые сношения с молодыми людьми и в продолжение этого времени только хвалил и защищал Анну Павловну; но Мановский ни к чему не приступал, и граф начал.

II

Прошло еще три месяца. Действующие лица моего рассказа оставались в прежнем положении. Анна Павловна все так же жила у Эльчанинова; граф приглашал их к себе и сам к ним ездил; Мановский молчал и бывал только у Клеопатры Николаевны, к которой поэтому все и адресовались с вопросами, но вдова говорила, что она не знает ничего. Более любопытные даже приезжали к ней в усадьбу, чтобы посмотреть на оставленного мужа, но им никогда не удавалось встретить Мановского, хотя они и слышали, что в этот самый день он проезжал в Ярцово.

У предводителя назначен был обед. Общество было прежнее, за исключением Мановского и Эльчанинова. Клеопатра Николаевна сидела на диване между Уситковою и Симановскою. Перед ними стоял исправник. Прочие дамы сидели на креслах. Мужчины стояли и ходили. Все ожидали графа.

— Давно ли вы видели вашего несчастного опекуна? — спросил исправник Клеопатру Николаевну.

— Он был вчера у меня,— отвечала Клеопатра Николаевна.— Почему же несчастного? — прибавила она.

— Да как же? Жену отняли! — возразил исправник.

— Он, кажется, забыл об ней и думать; впрочем, я с ним никогда об этом не говорю.

— Я ее встретил,— сказал исправник,— пополнела, такая хорошенькая.

— Желаю ей,— отвечала с презрением вдова,— все подобные ей — хорошенькие, и вам, мужчинам, обыкновенно нравятся.

— Оно лучше; а то что толку, например, в вас, Клеопатра Николаевна? Ни богу, ни людям! — заметил с усмешкою исправник, немного волокита по характеру и некогда тоже ухаживавший за Клеопатрою Николаевною, но не успевший и теперь слегка подсмеивающийся над ней.

— Пожалуйста, избавьте меня от таких сравнений,— отвечала вдова обиженным тоном.

— Я вас не смею и сравнивать,— сказал исправник.

— Граф едет! — произнес громко Уситков, уже давно смотревший в окно.

При этом известии мужчины встали; дамы начали поправляться и сели попрямее; на всех лицах было небольшое волнение. Одна только Клеопатра Николаевна не увлеклась этим общим движением и еще небрежнее развалилась на диване. Хозяин был в наугольной. Услышав о прибытии графа, он проворно пробежал гостиную и, вышедши в залу, остановился невдалеке от дверей из лакейской. За ним последовали почти все мужчины. Граф быстро, но гордо прошел залу, приветствовал хозяина, поклонился на обе стороны мужчинам и вошел в гостиную. Казалось, это был другой человек, а не тот, которого мы видели в его домашнем быту, при посещении Анны Павловны и даже при собственном его визите

Мановскому. На лице его, бывшем тогда приветливым и радушным, написана была теперь важная холодность. Он сделал общий поклон дамам и, сопровождаемый хозяином, подошел к дивану. Две звезды светились на его фраке. Уситкова проворно вскочила, чтоб уступить ему свое место.

— Не беспокойтесь, сударыня,— сказал граф, вежливо поклонившись, и сел на пустое кресло, стоявшее у того конца дивана, где сидела Клеопатра Николаевна.

Вдова сделала движение, чтобы поворотиться к нему лицом; она еще в первый раз видела графа. Хозяин и несколько мужчин стояли на ногах перед Сапегою.

— Как здоровье вашего сиятельства? — спросил хозяин.

— Благодарю вас, я здоров, только скучаю.

— Что мудреного, ваше сиятельство, после Петербурга,— заметил Уситков,— вот наше дело привычное, да и тут...

— Меня не любят здешние дамы! — прибавил граф, искоса взглянув на вдову.— Ни одна из них не посетила меня.

— Дамы, вероятно, боятся обеспокоить вас, граф,— сказала с жеманною улыбкою вдова.

— В том числе и вы, сударыня? — спросил Сапега.

— Я не имею чести быть знакома с вами, граф,— отвечала Клеопатра Николаевна, приподняв с гордостью голову.

Графу, видимо, понравился тон этого ответа.

— Так позвольте же мне завтрашний день устранить это препятствие и сделать вам визит.

— Много обяжете, граф.

— Ваш супруг?

— Я вдова и потому боюсь, что вам скучно будет у меня.

— Вы позволили мне быть у вас? — сказал граф с легким наклонением головы.

Вдова отвечала улыбкою: она торжествовала.

После этого легкого разговора граф встал и пошел к балкону, чтобы рассмотреть окружные виды. Лицо его, одушевившееся несколько при разговоре с Клеопатрою Николаевною, сделалось по-прежнему важно и холодно. Вслед за ним потянулись мужчины; граф начал разговаривать с хозяином.

— Мне говорили, что он совершенный старик! — сказала Клеопатра Николаевна Симановской.

— Какой же старик; я вам говорила,— отвечала та,— теперь еще что? А посмотрели бы вы на него у Мановских.

Вдова сделала гримасу.

— Каждый мужчина с подобными женщинами бывает любезнее, потому что они сами вызывают их на то,— сказала она с презрительною улыбкою.

В это время в гостиную вошел высокий мужчина. Удивление и любопытство показалось на всех лицах. Это был Задор-Мановский. Он прямо подошел к хозяину, отдал вежливый поклон графу, на который Сапега отвечал сухо, потом, поклонившись дамам, подал некоторым мужчинам руку и начал с ними обыкновенный разговор. При его приходе Клеопатра Николаевна несколько изменилась в лице; физиономия графа сделалась еще важнее и серьезнее. Что касается до хозяина и прочих гостей, то они чувствовали некоторый страх и не знали, как себя держать. Оказать внимание Мановскому? Но как покажется это графу, который называл его мерзавцем и покровительствовал его жене. Не замечать Мановского они не могли, потому что чувствовали к нему невольное уважение; кроме того, им хотелось поговорить с ним и, если возможно, выведать, что у него на душе, тем более, что все заметили перемену в лице Мановского. Он как будто бы постарел, обрюзг и похудел. Недоумевая таким образом, все, однакож, были суше обыкновенного с Михайлом Егорычем; но он как бы не замечал этого и, поговоря с мужчинами, подошел к дамам, спросил некоторых о здоровье и сел около Клеопатры Николаевны, которая опять несколько сконфузилась.

— Поздравьте меня, Михайло Егорыч,— сказала она,— ко мне завтра будет граф.

— Зачем? — спросил Мановский, взглянувши пристально на вдову.

— Сам напросился.

— Знаю я, как он напросился,— сказал Михайло Егорыч, насупившись.— Мне бы нужно переговорить с Алексеем Михалычем,— продолжал он, помолчав.

— С дядей?

— Да.

— О чем?

— Черт знает,— говорил Мановский, не отвечая на вопросы Клеопатры Николаевны,— никогда нельзя приехать по делу: вечно полон дом сволочи... Где его кабинет?

— Из коридора первая комната, стеклянные двери.

— Там никого нет?

— Я думаю.

— Я теперь пойду туда, позовите его ко мне; я ему имею кой-что сказать.

Проговоря это, Мановский встал и ушел.

— О чем это с вами говорил Михайло Егорыч? — спросила Клеопатру Николаевну Симановская, давно уже обмиравшая от любопытства.

— Все по этой проклятой опеке,— отвечала вдова.

— А о жене ничего не говорил?

— Отвяжитесь вы, бога ради, с этой женой,— отвечала Клеопатра Николаевна, которая после разговора с Мановским была не в духе.

— Ах, как интересно знать, что он думает о жене,— произнесла Симановская.

— Спросите его сами.

— Сохрани бог!

— Напрасно, я бы советовала...

— Я могу обойтись и без ваших советов! — возразила, вспыхнувши от досады, Симановская, и затем обе дамы замолчали. Клеопатра Николаевна, посидев немного, вышла в диванную и прошла в девичью, где, поздоровавшись с целою дюжиною горничных девушек и справившись, что теперь они работают, объявила им, что она своими горничными очень довольна и что на прошлой неделе купила им всем на платья прехорошенькой холстинки. После того она снова вернулась в гостиную и, подошедши к дяде, который с глубоким вниманием слушал графа, ударила его потихоньку по плечу. Старик обернулся.

— Вас спрашивают, mon oncle! [1].

— Зачем, душа моя?

— Нужно-с.

Старик, извинившись перед графом, пошел было в диванную.

— В кабинет, mon oncle.

---

[1] дядя! (*франц.*)

— Завертела ты меня,— говорил старик, повернувшись.

— Я люблю командовать! — проговорила, как бы ни к кому собственно не обращаясь, Клеопатра Николаевна.

— Право? — спросил граф, весьма хорошо понявший, что эта фраза сказана была собственно для него.

— Очень... Однако я у вас отняла слушателя, позвольте мне занять его место,— сказала Клеопатра Николаевна, вставая на место дяди.

— Вы очень снисходительны, сударыня,— сказал граф с улыбкою,— мы говорили о весьма скучном для молодой дамы предмете.

— О каком же это?

— О хозяйстве.

— Ах, боже мой! Я очень люблю сельское хозяйство, хочу даже у себя сделать эту шестипольную систему. Это очень удобно и выгодно.— Клеопатра Николаевна, видимо, хотела похвастать перед графом своими агрономическими сведениями.

— Ба!.. Да вы большая агрономка,— сказал граф.

— Нет! Я только деревенская жительница.

— У Клеопатры Николаевны всегда родится прекрасный хлеб! — заметил Уситков.

— Это в новом вкусе,— заметил граф,— молодая, прекрасная и — образованная хозяйка.

— Благодарю, граф, за насмешку.

— Почему ж такая недоверчивость к моим словам?

— Недоверчивость?..— повторила с довольно милой гримасой вдова.— Мужчинам нельзя доверять не только в важных вещах, но даже и в пустяках.

— Я принадлежу к старому поколению.

— Это все равно: никому нельзя доверять, и я одному только человеку в жизнь мою верила.

— А именно?

— Моему мужу.

— А теперь?

— А теперь никому не верю, не верила и не буду верить.

— Это ужасно!

— Ничего нет ужасного!.. «Я мертвецу святыней слова обречена!» — произнесла с полунасмешкою Клеопатра Николаевна и хотела еще что-то продолжать, но в это время вошел хозяин с озабоченным и сконфуженным ли-

цом. Он значительно посмотрел на Клеопатру Николаевну и подошел к графу.

— Вы не докончили вашей мысли,— сказал Сапега замолчавшей Клеопатре Николаевне.

— Нет, я все сказала,— отвечала та, взглянув искоса в залу и увидев входящего Мановского.— Теперь мое место опять займет дядюшка.

С этими словами Клеопатра Николаевна отошла, села на прежнее место и начала разговаривать с Уситковой. Михайло Егорыч подошел к толпе мужчин, окружавшей графа, и, казалось, хотел принять участие в разговоре. Но Сапега отошел и сел около дам. Он много шутил, заговаривая по преимуществу с Клеопатрой Николаевной, которая, впрочем, была как-то не в духе. Мановский уехал, поклонясь хозяину и графу и сказав что-то на ухо Клеопатре Николаевне. Вдова, по отъезде его, сделалась гораздо веселее и любезнее и сама начала заговаривать с графом, и вечером, когда уже солнце начало садиться и общество вышло в сад гулять, граф и Клеопатра Николаевна стали ходить вдвоем по одной из отдаленных аллей.

— Отчего вы нам, граф, не дадите бала? — сказала она.

— У меня нет хозяйки! — возразил граф.

— Ах, боже мой! Каждая из нас готова с радостью принять на себя эту обязанность.

— Например, если я вас попрошу?

— С большим удовольствием, только сумею ли? Впрочем, вы меня научите.

— Я буду сам вас слушаться.

— Желала бы хоть ненадолго повелевать вами.

— Скоро соскучитесь; старики, как дети, скоро надоедают.

— Их не надобно дразнить.

— А каким образом вы это сделаете? — спросил граф.

— Очень просто: надобно их, как и детей, то пожурить, то приласкать,— отвечала вдова.

— Вы опасная для стариков женщина! — проговорил Сапега.

— И они для меня опасны!

— Желал бы убедиться в том.

— Испытайте. Но, впрочем, вам невозможно, вы не старик! — объяснила Клеопатра Николаевна.

Граф посмотрел на нее: не совсем скромное и хороше-

го тона кокетство ее, благодаря красивой наружности, начинало ему нравиться. В подобных разговорах день кончился. Граф уехал поздно. Он говорил по большей части со вдовою. Предпочтение, которое оказал Сапега Клеопатре Николаевне, не обидело и не удивило прочих дам, как случилось это после оказанного им внимания Анне Павловне. Все давно привыкли сознавать превосходство вдовы. Она уехала вскоре после графа, мечтая о завтрашнем его визите.

Хозяин после разговора с Мановским был целый день чем-то озабочен. Часа в два гости все разъехались, остался один только исправник.

— Вы, Алексей Михайлыч, изволите сегодня быть как будто расстроены! — сказал он, видя, что предводитель сидел, потупя голову.

— Будешь расстроен,— отвечал старик,— неприятность на неприятности.

— Что такое случилось?

— Как что? Видели, сокол-то приезжал.

— Какой?

— Мановский, господи боже! Что это за человек!

— Да что такое? — повторил исправник, сильно заинтересованный.

— Просит у меня... да вы, пожалуйста, никому не говорите... просит, дай ему удостоверение в дурном поведении жены. Хочет производить формальное следствие и хлопотать о разводе. Вы, говорит, предводитель, должны знать домашнюю жизнь помещиков! А я... бог их знает, что у них там такое!.. Она мне ничего не сделала.

— Как же вы намерены поступить?

— Сам не знаю; теперь покуда отделался, сказал, что даже и не слыхал ничего; так, говорит, сделайте дознание. Что прикажешь делать! Придется дать. Всем известно, что она живет у Эльчанинова; так и напишу, что действительно живет, а в каких отношениях — не знаю.

— Да, так и напишите, что точно живет, а как — неизвестно.

— Оно так, да все кляузы.

— Конечно, кляузы, и кляузы неприятные; а мы вот, ваше превосходительство, земская полиция, век живем на этаких кляузах.

— И не говорите уж лучше! — подтвердил добродушно старик.

III

В Коровине тоже происходили своего рода сцены. Эльчанинов после поездки к графу сделался задумчивее и рассеяннее против прежнего. Казалось, какая-то мысль занимала его. Он не говорил уже беспрестанно с Анной Павловной и часто не отвечал даже на ее ласки. С Савельем он был как-то сух и по-прежнему избегал оставаться с ним наедине. Впрочем, тот однажды нашел случай и спросил его: придумал ли он какое-нибудь средство уехать, но Эльчанинов, рассказав очень подробно весь свой разговор с графом, решительно объявил, что он без воли Сапеги ничего не хочет делать и во всем полагается на его советы. После этого Савелий перестал говорить и только иногда долго и долго смотрел на Анну Павловну каким-то странным взором, потом вдруг опускал глаза и тотчас после того уходил. Посещения его стали реже, но продолжительнее; как будто бы ему было тяжело прийти, а пришедши — трудно уйти.

Анна Павловна начала замечать перемену в Эльчанинове. Сперва она думала, что он болен, и беспрестанно спрашивала, каково он себя чувствует. Эльчанинов клялся, божился, что он здоров, и после того старался быть веселым, но потом вскоре впадал опять в рассеянность. Мой герой думал о службе.

Жизнь в столице,— обширное поле деятельности, наконец, богатство и почти несомненная надежда достигнуть всего этого через покровительство знатного человека,— вот что занимало его теперь. Любовь, не представлявшая ничего рельефного, ничего выпуклого, что обыкновенно действует на характеры впечатлительные, но не глубокие, не могла уже увлекать Эльчанинова; он был слишком еще молод да и по натуре вряд ли способен к семейной жизни. Ему хотелось перемен, новых впечатлений, и он думал, что все это может доставить ему служба, и думал о том беспрестанно. Были даже минуты, когда ему приходило в голову, что как бы было хорошо, если бы он был совершенно свободен — не связан с этой женщиною; как бы мог он воспользоваться покровительством графа, который мог ему доставить место при посольстве; он поехал бы за границу, сделался бы секретарем посольства, и так далее... Увлекшись, он начинал верить, что Сапега оказывает ему ласки и обещает покровительство за личные его достоинства. В этой мысли поддерживал его сам

граф, который, бывши с ним весьма любезен, постоянно и тонко намекал на его необыкновенные способности и жалел только о том, что подобный ему молодой человек не служит и даром губит свой век. Эльчанинов очень часто ездил в Каменки и каждый раз возвращался погруженный в самого себя.

Когда Анна Павловна убедилась, что Эльчанинов здоров, вдруг страшная мысль, что он разлюбил ее, пришла ей в голову. Ей представилось, что он тяготится ею, он, единственный человек, который остался у ней в мире. Это было выше сил. Она хотела молиться, чтобы хоть несколько облегчить свои муки, и не могла. О, как эти страдания далеко превосходили все прежние! Ее опять не любит близкий человек, и какой близкий, которого она сама страстно любила, привязанность к которому наполняла все ее сердце. Он, может быть, не позволит ей любить себя. Ее ласки будут ему в тягость. Он бросит ее одну, без имени, без средств,— и что будет тогда с нею? Целую ночь она прострадала и проплакала и, проснувшись, была так худа и бледна, как бы после тяжкой болезни. Эльчанинов заметил это.

— Что с тобою, Анета? — спросил он.

— Я дурно спала,— отвечала Анна Павловна слабым голосом.

— Ты на себя непохожа,— продолжал Эльчанинов, вглядываясь ей в лицо.— Что с тобою?

— Я ночью думала: что если ты меня разлюбишь, покинешь?..

— К чему эти мысли, ангел мой?.. Я люблю тебя и буду любить! — отвечал довольно холодно Эльчанинов.

Анна Павловна не могла долее скрывать мучительной для нее мысли. В невыносимом волнении упала она головой на колени Эльчанинова и зарыдала.

— О, не покидай меня! — вскричала она.— Я вижу, ты скучаешь со мною?.. Я тебе в тягость?.. Ты разлюбил меня?..

Этого сильного движения отчаяния и мольбы, которые сверх обыкновения обнаружила Анна Павловна, слишком было достаточно, чтобы снова хоть на некоторое время возбудить в Эльчанинове остывающую страсть. Он схватил ее в объятия.

— Мне разлюбить тебя! Когда моя жизнь, мои надежды, вся моя будущность сосредоточены в тебе! От-

толкнуть тебя!.. О господи!.. Скорей я сделаюсь самоубийцею!.. Anette! Anette! И ты могла подумать?.. Это горько и обидно!.. Откуда пришли тебе эти черные мысли?..

— Ты был все это время печален и задумчив! — говорила, несколько успокоившись, молодая женщина.

— Задумчив?.. Да знаешь ли ты, о чем я думал? — начал Эльчанинов.— Я думал о тебе, о твоей будущности; думал, как бы окружить тебя всеми удобствами, всеми благами жизни, думал сделать себя достойным тех надежд, которые ты питаешь ко мне. А ты меня ревнуешь к этим мыслям?.. Это горько и обидно! — И он снова обнял ее и посадил с собою на диван.

— Прости меня,— сказала Анна Павловна,— ты был задумчив, и я подумала...

— Подумала... Вот как вы, женщины, дурно знаете нас. Но ты не должна быть похожа на других. Наша любовь ни с кем ничего не должна иметь общего: из любви ко мне ты должна мне верить и надеяться; из любви к тебе я буду работать, буду трудиться. Вот какова должна быть любовь наша!

Говоря это, Эльчанинов не лгал ни слова, и в эти минуты он действительно так думал; в голосе его было столько неотразимой убедительности, что Анна Павловна сразу ему поверила и успокоилась. Во весь остальной день он не задумывался и говорил с нею. Он рассказывал ей все свои надежды; с восторгом описывал жизнь, которую он намерен был повести с нею в Петербурге. Вечером пришел Савелий. Лицо его было мрачнее обыкновенного; он молча поклонился и сел.

— На меня сегодня поутру рассердилась Анна Павловна,— сказал Эльчанинов.

Савелий посмотрел на Мановскую.

— За что-с? — спросил он.

— За то, что я иногда задумывался.

Савелий ничего на это не сказал.

— Тогда как,— продолжал Эльчанинов, как бы стараясь оправдаться перед приятелем,— я и задумывался о ней самой, об ее будущности.

— Что же вы думали об их будущности? — сказал Савелий и потупился.

Эльчанинов несколько замялся; впрочем, после минутного размышления, он начал:

— Во-первых, я думал о моей службе в Петербурге. Я буду получать две тысячи рублей серебром, это верно,— граф сказал. И если к этому прибавить мои тысячу рублей серебром, значит, я буду иметь три тысячи рублей — сумма весьма достаточная, чтобы жить вдвоем.

Что-то вроде улыбки пробежало по лицу Савелья, но Эльчанинов, увлеченный своею мыслью и потому ничего уже не замечавший, что вокруг него происходило, продолжал.

— Как это будет хорошо! — воскликнул он.— А тут, бог даст,— прибавил он, обращаясь к Савелью,— и вы, мой друг Савелий Никандрыч, переедете к нам в Петербург. Мы вам отведем особую комнату и найдем приличную службу. Что, черт возьми, губить свой век в деревне?.. Дай-ка вам дорогу с вашим умом, как вы далеко уйдете.

Савелий опять ничего не отвечал. Видимо, что ему было даже досадно слушать этот вздор.

— Мне бы с вами надобно переговорить, Валерьян Александрыч! — сказал он после минутного молчания и сам встал.

— Что такое? — спросил Эльчанинов, уже нахмурившись.

— По одному моему делу,— отвечал Савелий, показывая головой на зало.

«Ну, старые песни»,— подумал Эльчанинов, и оба приятеля вышли.

— Вчера я был на почте,— начал Савелий,— и встретил там человека Мановского. Он получил письмо с черною печатью. Я, признаться сказать, попросил мне показать. На конверте написано, что из Кременчуга, а там живет папенька Анны Павловны. Я боюсь, не умер ли он?

— Если он и умер, я в этом совершенно не виноват. Что же мне делать? — отвечал Эльчанинов, пожав плечами.

— Вы прикажите по крайней мере, чтобы оно не дошло как-нибудь до Анны Павловны.

— Дойти до Анны Павловны оно никоим образом не может. Я давно так распорядился, чтобы собаки из Могилок сюда не пускали.

— Да вы ведь так только это говорите! А тут смотришь...— проговорил Савелий и, не докончив фразы, ушел вскоре домой.

— О чем с тобою по секрету говорил Савелий Никандрыч? — спросила Анна Павловна.

— Хлеба у меня взаймы просил; бедняк ведь он ужасный! — отвечал Эльчанинов.

— Он очень добрый и хороший человек,— сказала Анна Павловна.

— О, это идеал честности и благородства! — отвечал Эльчанинов и потом, обняв и прижав к груди Анну Павловну, начал ей снова говорить о службе, о петербургской жизни.

Анна Павловна тоже была счастлива, потому что единственный друг ее любил ее по-прежнему.

Проснувшись на другой день, Эльчанинов совершенно забыл слова Савелья о каком-то письме и поехал в двенадцать часов к графу. Анна Павловна, всегда скучавшая в отсутствие его, напрасно принималась читать книги, ей было грустно. В целом доме она была одна: прислуга благодаря неаккуратности Эльчанинова не имела привычки сидеть в комнатах и преблагополучно проводила время в перебранках и в разговорах по избам. Кашель и шаги в зале вывели Анну Павловну из задумчивости.

— Кто там? — спросила она. Вместо ответа послышались снова шаги. Анна Павловна вышла.

— Здравствуйте, матушка Анна Павловна! Еще привел бог вас видеть,— говорил могилковский Сенька, подходя к руке ее.

Анна Павловна вся побледнела.

— Что тебе надобно? — сказала она испуганным голосом.

— Барин прислал вам письмо,— отвечал Сенька и подал ей большой конверт.

— От кого? — говорила Анна Павловна, принимая дрожащими руками конверт.

— Не знаю, сударыня-матушка, вчерась я барину привез с почты, не знаю.

— Благодарю,— сказала Мановская, стараясь скрыть беспокойство.— Вот тебе,— продолжала она, взяв синенькую бумажку из брошенного бумажника Эльчанинова,— вот тебе.

Сенька взял ассигнацию, поклонился и ушел. Анна Павловна вошла в гостиную. Тайное предчувствие говорило ей, что письмо было для нее роковое. Она едва имела силы разломить печать. Из конверта выпали два пись-

ма. Одно из них было от мужа, другое написано женской рукой. Анна Павловна схватила последнее и быстро пробежала глазами, но болезненный стон прервал ее чтение, и она без чувств упала на пол, и долго ли бы пробыла в этом положении, неизвестно, если бы Эльчанинов не вернулся домой. Увидев Анну Павловну одну без чувств, он сначала не мог сообразить, что такое случилось, и стал кликать людей. Старуха-ключница, прибежавшая на его зов, переложила бесчувственную Анну Павловну на постель и стала на нее брызгать водою с камушка, думая, что барыню кто-нибудь изурочил. Эльчанинов, как полоумный, вошел в гостиную. Ему попались на глаза письма. Вспомнив тут о предостережениях Савелья, он схватил их и прочитал.

— Лев просыпается! — воскликнул он, схватив себя за голову.

Лев действительно начинал просыпаться. Одно письмо было его руки и такого содержания:

«Посылаю вам, милостивая государыня, письмо вашей тетки, извещающее о смерти вашего отца, которая последовала сейчас же по получении им известия о побеге вашем в настоящее местожительство ваше.

Остаюсь известный вам
Задор-Мановский».

Теткино письмо было следующее:

«Почтеннейший Михайло Егорыч!

Ужасное известие ваше о побеге от вас недостойной моей племянницы мы получили, и бедный Павел Петрович, не в состоянии будучи вынести посрамления чести своей фамилии, получил паралич и одночасно скончался. Я и прочие родные навсегда отказываемся от дочери почтенного Павла Петровича, который лежит теперь спокойно в сырой земле. Не могу вам описать, в какую повержена я горесть. Теперь жду из гимназии племянников; за ними я тотчас же послала после смерти их родителя. Похороны справили, как следует, хоть и пришлось занять. После покойного осталось всего 15 руб.; а один покров стоил полтораста. Не забывайте нас и не поможете ли нам чем-нибудь.

Остаюсь с почтением тетка ваша

Марья Кронштейн».

Прошло полчаса. Анна Павловна начинала приходить в чувство, а Эльчанинов все еще продолжал бесноваться. Сидя в гостиной, он рвал на себе волосы, проклинал себя и Мановского, хотел даже разбить себе голову об ручку дивана, потом отложил это намерение до того времени, когда Анна Павловна умрет; затем, несколько успокоившись, заглянул в спальню больной и, видя, что она открыла уже глаза, махнул ей только рукой, чтоб она не тревожилась, а сам воротился в гостиную и лег на диван. Через несколько минут он спросил себе трубку, крикнув при этом довольно громко, и снова начал думать о петербургской жизни и о службе при посольстве.

IV

На другой день после предводительского обеда, часу в первом, Сапега, в богатой венской коляске, шестериком, ехал в Ярцево с визитом к Клеопатре Николаевне. Он был в очень хорошем расположении духа. Он видел прямую возможность приволокнуться за очень милою дамой, в которой заметил важное, по его понятиям, женское достоинство — *эластичность тела.*

Клеопатра Николаевна встретила графа в зале и ввела его в гостиную. На тех же самых широких креслах, как и при посещении Эльчанинова, сидел Задор-Мановский. При входе графа он встал, поклонился и опять сел на прежнее место. Гость и хозяйка уселись на диване. Граф начал разговор о бале, который намерен был дать и на котором Клеопатре Николаевне предстояло быть хозяйкою. Он думал этим вызвать вдову на любезность, но Клеопатра Николаевна конфузилась, мешалась в словах и не отвечала на вопросы, а между тем была очень интересна: полуоткрытые руки ее из-под широких рукавов капота блестели белизной; глаза ее были подернуты какою-то масляною и мягкою влагою; кроме того, полная грудь вдовы, как грудь совершенно развившейся тридцатилетней женщины, покрытая легкими кисейными складками, тоже производила свое впечатление. Граф начинал таять. Задор-Мановский, ни слова не проговоривший, но в то же время, кажется, внимательно следивший за гостем и хозяйкой, вдруг встал и взялся за картуз.

— Куда же? — спросила с живостью Клеопатра Николаевна.

— Домой! — отвечал Мановский.

В лице его было видно что-то вроде улыбки.

— Посидите,— проговорила вдова.

Мановский, не отвечая, поклонился графу и вышел.

Клеопатра Николаевна как будто ожила.

— Слава богу! — сказала она, не могши удержать радостного движения.

— Как я рад, что вы разделяете со мною одно чувство к этому человеку! — заметил Сапега.

— Ах, да...— произнесла Клеопатра Николаевна,— я до того его ненавижу, что не могу ни думать, ни говорить ничего при нем.

— Зачем же вы принимаете его? — сказал граф, взглянув пристально на вдову.

— Он опекун моей дочери,— отвечала Клеопатра Николаевна.

— Обожатель ваш! — прибавил граф с улыбкой.

— Fi donc! [1] — вскричала вдова.— Он не смеет этого и подумать. Забудемте его. Я еще не поблагодарила вас за ваше посещение.

— Готов с вами забыть всех, кроме вас! — отвечал Сапега.

— Не льстите, граф, а то я не стану верить вашим словам.

— Одному слову только поверьте.

— Какому?

— Вы прекрасны.

Вдова жеманно опустила голову.

— Верите? — спросил граф.

— К чему вы это говорите? — сказала Клеопатра Николаевна.

— Сердце заставляет говорить меня.

Вдова сделала кокетливую гримасу.

— Знаете ли, какую горькую истину я скажу вам про ваше сердце? Оно влюбчиво,— проговорила она внушительным тоном.

— Да, это была бы правда, если бы все женщины походили на вас.

— А разве Мановская похожа на меня?

Граф немножко смешался.

— Что ж Мановская? — проговорил он.— Я покровительствую ей, и больше ничего.

---

[1] Фи! *(франц.)*

— А из чего вы ей покровительствуете?

— Боже мой! Она дочь моего старого друга,— сказал граф совершенно невинным голосом.

— Желала бы верить,— проговорила Клеопатра Николаевна после нескольких минут молчания.

— О, верьте, верьте мне во всем! — подхватил Сапега.

— В чем еще? — спросила вдова, как бы удивленная.

— В то, что я вас люблю,— прошептал старик, прижимая руку к сердцу.

Клеопатра Николаевна вздрогнула.

— Меня, граф? — повторила она, как бы совершенно растерявшись.— Что вы это говорите?.. К чему вы это говорите?.. Вы, меня?.. Так скоро?.. Нет, граф, это невозможно!..

— Люблю вас! — воскликнул Сапега и, сразу схватив Клеопатру Николаевну за руки, начал их целовать и прижимать к груди.

— Пустите, граф, пустите! Нет, это ужасно!.. Это невозможно,— говорила Клеопатра Николаевна, слабо вырывая у него руки; но граф за них крепко держался.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в гостиную не вошел вдруг Задор-Мановский. Граф и вдова отскочили в разные стороны. Последняя не могла на этот раз сохранить присутствия духа и выбежала вон.

— Я забыл мои бумаги,— говорил как бы не заметивший ничего Мановский.

Он начал первоначально смотреть по окнам, а потом, будто не сыскав того, что было ему нужно, прошел в спальню вдовы, примыкавшую к гостиной, где осмотрел тоже всю комнату, потом сел, наконец, к маленькому столику, вынул из кармана клочок бумаги и написал что-то карандашом. Оставив эту записочку на столе, он вышел.

Между тем граф сидел в гостиной, совершенно растерявшись.

Не находя, что бы такое предпринять, он вздумал приласкаться к Мановскому и постараться придать всему происшествию вид легкой шутки.

— Как вы нас перепугали! — сказал он.— Я позволил себе маленькую шалость с хозяйкой; она очень милая и веселая дама!.. Вы, я думаю, удивились.

Мановский посмотрел на графа.

— Ни крошки,— отвечал он спокойным голосом.— Я и сам с нею шучивал.

— Право? — спросил граф.

— Да; она ведь уж давно этакая!.. Вчера со мной, сегодня с вами, а завтра с третьим. Уж такая у нее натура,— проговорил Мановский и вышел.

Между тем Клеопатра Николаевна забежала на мезонин и села за небольшие, стоявшие там ширмы. Она, видно, знала, что ее будут искать. Не прошло десяти минут, как стук отъезжавшего экипажа заставил, наконец, ее переменить положение.

Она бросилась к окну и, увидев выезжавшего Мановского, тотчас же сбежала вниз, выглянула из спальни в гостиную, чтобы посмотреть, не уехал ли граф, но Сапега сидел на прежнем месте. Клеопатра Николаевна, несмотря на внутреннее беспокойство, поправила приведенный в беспорядок туалет и хотела войти в гостиную, как вдруг глаза ее остановились на оставленной Мановским записке. Она схватила ее, прочитала и окончательно растерялась.

Мановский ей писал:

«Прошу вас к будущему четвергу приготовить все брильянтовые, хозяйственные и усадебные вещи по составленной после смерти вашего мужа описи. Я намерен принять и приступить к управлению имением, а равным образом прошу вас выехать из усадьбы, в которой не считаю нужным, по случаю отсутствия вашей дочери, освещать, отапливать дом и держать горничную прислугу, чтобы тем прекратить всякие излишние расходы, могущие, при вашей жизни в оной, последовать из имения малолетней, на каковое вы не имеете никакого права.

Задор-Мановский».

Что было делать Клеопатре Николаевне?.. Прибегнуть к графу — казалось ей единственным средством. С этим намерением она, взявши письмо, вошла в гостиную и молча бросилась в отчаянии на диван; горесть ее на этот раз была неподдельная.

— Успокойтесь, успокойтесь,— говорил граф.

— Ах, я погибла! — отвечала вдова и подала ему письмо Мановского.

Граф прочитал письмо.

— Я дурно понимаю,— сказал он.

— Ах! — отвечала вдова.— Он опекун моей дочери,

он выгоняет меня из этой усадьбы; мне нечем будет жить!... Все, что вы видите, все это принадлежит моей дочери!.. Покойный муж мой устранил меня от опекунства!..

Сапега думал. Теперь он понял все: Мановский был опекуном Клеопатры Николаевны и интриговал с нею; но, верно, наскучил вдове, и она хочет отделаться от него,— и это возможно в таком только случае, когда Михайло Егорыч будет устранен от опекунства. Ему легко будет это сделать. И за это одолжение можно будет получить от вдовы все, что только он желал от женщины, особенно если прибавить к тому обещание — взять ее в Петербург с собою. Кроме того, он замаскирует этим себя перед обществом и Мановским, который станет подозревать его в интриге с Клеопатрою Николаевной, а в участии к Анне Павловне будет видеть одно дружеское расположение.

Обдумав все это и очень хорошо понимая, с какою женщиною имеет дело, граф начал прямо:

— Ваши обстоятельства очень неприятны!.. Я могу помочь вам.

— Ах, помогите, помогите, граф! Я буду вам всю жизнь благодарна!

— Благодарна? Этого мало.

— Я вас буду любить,— отвечала вдова, которой обращение графа возвратило веселость и кокетство.

— Вы будете любить? Я сам вас буду любить. Дайте мне вас обнять.

Вдова повиновалась.

Граф обнял ее, и потухший в глазах его огонь снова заблистал.

— Поцелуйте меня! — произнес он.

Вдова поцеловала.

— Вы избавите меня от Задор-Мановского?

— А вы будете любить меня?

— Буду, только избавьте меня поскорее,— до этого я не могу любить вас.

— Нет! Наперед вы полюбите меня, а там и я для вас сделаю все, что только захотите.

— А вы меня будете любить, граф?

— Я вас люблю и буду любить.

— Вы возьмете меня в Петербург? Без вас я не в состоянии буду здесь остаться.

— Я вас никогда не оставлю.

— Вы демон! — сказала Клеопатра Николаевна и склонила голову к себе на грудь.

Граф уехал из Ярцова часу в двенадцатом. Клеопатра Николаевна, оставшись одна, долго и даже очень долго сидела задумавшись; в лице ее показалось даже что-то вроде страданий. Потом взяла она с своего туалетного столика портрет молоденькой девочки, поцеловала и проговорила: «Простишь ли ты когда-нибудь меня?» Это был портрет ее дочери. Поставив его на прежнее место, она вынула из ящика небольшой альбом, развернула его. На одной из страниц приклеено было знакомое нам письмо Эльчанинова, которое он написал ей, уезжая от нее ночью. «Прости и ты меня!» — сказала Клеопатра Николаевна, глядя на записку и целуя ее; потом опустилась на диван и снова задумалась. Нравственный инстинкт женщины говорил в ней как бы помимо ее воли.

Граф тоже возвратился домой в каком-то странном расположении духа. «Однако мне здесь не так скучно, как я ожидал»,— сказал он, усаживаясь на диван. Но потом сделал презрительную гримасу и задумался.

Дня через два после того становой привез Мановскому указ из опеки об устранении его от опекунства над имением малолетней Мауровой.

— Я еще не принимал имения,— сказал Мановский, подавая описи, крепости и другие документы становому,— а получил только бумаги. Вот они, передайте их, кому будет следовать.

— А знаете, кто назначен на ваше место?..

— Нет, не знаю.

— Иван Александрыч Гуликов. Нечего сказать, славный опекун. Я сейчас везу к нему указ.

Мановский ничего не отвечал.

V

Время шло. Анна Павловна очень грустила об отце, считая себя виновницею его смерти; но старалась это скрыть, и, когда слезы одолевали ее, она поспешно уходила и плакала иногда по целым часам не переставая. Положение Эльчанинова, в свою очередь, тоже делалось день ото дня несноснее; он, не скрываясь, хандрил. Анна Павловна начинала окончательно терять в его глазах всякую прелесть, она стала казаться ему и собой нехоро-

ша, и малообразованна, и без всякого характера. Он не находил, что с нею говорить; ему было скучно с нею сидеть и даже глядеть на нее. Уединенная и однообразная жизнь, к которой он вовсе не привык и на которую обречен был обстоятельствами, сделалась ему невыносима. «Хоть бы выехать куда-нибудь к соседям,— думал он,— стыдно... да, пожалуй, встретишься еще с Мановским». Уехать куда-нибудь с Анной Павловной, где бы он мог по крайней мере выезжать из дому, но на это не было никакой возможности, потому что у него ни копейки не было денег. Однажды, это было поутру, Анна Павловна сидела в гостиной на креслах. Савелий стоял и смотрел в окно. Эльчанинов лежал вниз лицом на диване.

— Что ты, Валер, все лежишь? — проговорила Анна Павловна.

— Так,— отвечал Эльчанинов и позевнул.— Кажется, и не дождешься этого счастливого дня,— продолжал он,— когда выберешься отсюда. Мне, наконец, никакого терпения недостает здесь жить.

— Тебе скучно? — проговорила Анна Павловна. Голос ее дрожал.

— Нет, мне не скучно, с тобой я никогда не могу скучать; но это ожидание, эта неопределенность положения — это ужасно!

— Чего же вы ожидаете? — спросил Савелий.

— Места, которое могло бы обеспечить мою и Анны Павловны будущность и которое обещал мне дать граф.

— Отчего же он не дает? — заметил Савелий.

— Ах, господи боже мой, да разве это можно заочно сделать? Это не то, что определить куда-нибудь писцом или становым приставом.

— Но какое же вам хочет дать место граф?

— Какое? Я не знаю, собственно, какое,— отвечал с досадою Эльчанинов, которому начинали уже надоедать допросы приятеля, тем более, что он действительно не знал, потому что граф, обещаясь, никогда и ничего не говорил определительно; а сам он беспрестанно менял в голове своей места: то воображал себя правителем канцелярии графа, которой у того, впрочем, не было, то начальником какого-нибудь отделения, то чиновником особых поручений при министре и даже секретарем посольства.

«БОЯРЩИНА»

«БОЯРЩИНА».

— Я знаю только то,— присовокупил он,— что граф может дать место и выгодное и видное.

Савелий, кажется, хотел что-то возразить ему, но, взглянув в это время в окно, вдруг остановился и проговорил каким-то странным голосом:

— Михайло Егорыч, кажется, сюда едет!

Эльчанинов вскочил и побледнел как мертвец. Анна Павловна задрожала всем телом.

— Эй, люди! Не пускать там, кто приедет!— вскрикнул было Эльчанинов.

— Нельзя не пускать. Ступайте туда и задержите его в зале; говорите, что Анны Павловны у вас нет,— перебил Савелий и, почти вытолкнув приятеля, захлопнул за ним дверь, а сам взял проворно Анну Павловну за руку и увел в задние комнаты. К крыльцу подъехал Мановский, с которым рядом сидел исправник, а на передней скамейке помещался у них стряпчий, корявейшая физиономия, когда-либо существовавшая в мире. Все втроем они вошли в зало. Эльчанинов, бледный, но насколько возможно владея собой, встретил их и спросил, что им угодно.

Исправник начал сконфуженным голосом, показывая на Мановского:

— Мы приехали по поданному прошению Михайло Егорыча, что супруга их проживает в здешней усадьбе.

— Что ж вам, собственно, угодно от меня?— болтнул Эльчанинов, и сам не зная хорошенько, что говорит.

— Приступайте к следствию; что тут разговаривать? — проговорил Мановский и сел.

— Конечно, лучше к следствию,— подтвердил стряпчий и нюхнул, отвернувшись в сторону, табаку, причем одну ноздрю зажал, а в другую втянул всю щепотку, а потом, вынув из бокового кармана бумагу, подал ее исправнику, проговоря: «Вопросные пункты». Исправник некоторое время переминался.

— Не угодно ли вам,— начал он, подавая Эльчанинову бумагу,— ответить на эти вопросы?

Эльчанинов взял. Кровь бросилась у него в голову, он готов был в эти минуты убить всех троих, если бы достало у него на это силы.

— Может быть, вам угодно, чтобы я здесь при вас отвечал? — проговорил он с некоторою гордостью.

— По закону следует здесь, в присутствии господ следователей,— произнес стряпчий и опять нюхнул.

Эльчанинов взял чернильницу, поставил ее на ближайший стол, сел и начал писать. На вопрос: как его зовут, какой он веры и прочее, он ответил сейчас же; но далее его спрашивали: действительно ли Анна Павловна бежала к нему от мужа, живет у него около года и находится с ним в любовном отношении? Эльчанинов остановился. Что было отвечать на это? Припомнив, впрочем, слова Савелья, он поставил одну общую скобку и написал: «Ничего не знаю». Исправник взял у него потом ответы дрожащими руками и начал читать. Стряпчий заглянул ему через плечо.

— Стало быть, госпожа Мановская и теперь проживает не в вашем доме? — спросил он, обращаясь к Эльчанинову.

— Я уже на это ответил и с вами разговаривать больше не желаю,— сказал тот, с презрением взглянувши на стряпчего.

Мановский встал; молча взял ответы у исправника, прочитал их и произнес ровным голосом:

— Я прошу вас, господа, сделать обыск в усадьбе и в доме.

Исправник пожал плечами и обратился к стряпчему, проговоря: «Следует ли?»

— Без сомнения, следует; желание истца на то есть,— отвечал тот и как-то значительно откашлянулся и плюнул в сторону, как бы желая этими движениями намекнуть Мановскому: «Помни же мои услуги».

Следователи и Мановский пошли по дому. Эльчанинов потерялся: он прислонился к косяку окошка и не мог ни говорить, ни двинуться с места.

— Это шаль моей жены! — говорил Мановский, проходя по гостиной и видя лежавший на диване платок Анны Павловны.— Запишите,— отнесся он к стряпчему.

— Помню и так, без записки,— подхватил тот.

Пройдя наугольную и чайную, они вошли в спальню.

— Это женин салоп,— сказал Мановский стряпчему.

— Вижу, вижу,— отвечал тот.

— Женино платье,— заключил Михайло Егорыч, отворив шкаф и вынув оттуда два или три платья Анны Павловны.

Из спальни следователи перешли в другие комнаты.

Михайло Егорыч осматривал каждый угол, заставляя отпирать кладовые, чуланы, лазил в подвал, и все-таки Анны Павловны не нашли.

Осмотрев дом, Мановский пошел по избам, лазил на полати, заглядывал в печи — и все ничего.

— Где моя жена? — спросил он, проходя по двору, попавшуюся ему навстречу бабу.

— В горнице, поди, чай, батюшка,— отвечала та, простодушно и низко кланяясь.

— Записать это надо? — сказал Мановский, обращаясь опять к стряпчему.

— Непременно, непременно,— отвечал тот.

— Куда уехала Анна Павловна? — озадачил Мановский проходившего мимо эльчаниновского кучера.

— Ничего я не знаю-с,— отвечал тот бойко.

— Скотина,— произнес Мановский и пошел далее.

Потом они возвратились в зало, где Эльчанинов стоял все еще на прежнем месте.

— Составьте постановление нашему осмотру,— проговорил Михайло Егорыч.

— Сейчас, сию секунду,— отвечал стряпчий, понюхал табаку, откашлянулся, сел и написал минут в пять лист кругом.

— Прочитайте вслух,— сказал Мановский.

Стряпчий прочитал.

— Подпишите,— проговорил Михайло Егорыч.

Следователи подписались.

— Ну, теперь и вы удостоверьте, что все это справедливо, иначе мы повторим осмотр,— отнесся Задор к Эльчанинову.

— Извольте,— отвечал тот, совершенно уже потерянный, и подписал постановление.

— Ну, пока будет,— сказал Мановский и пошел.

Исправник и стряпчий пошли за ним. Через минуту они все уехали.

— Вы куда теперь? — спросил Михайло Егорыч исправника.

— На минуточку к вам, а тут к графу на бал.

— Черт бы драл их с их балами!.. Смотрите, не болтайте там о деле.

— Чтой-то, господи, не молодой мальчик,— отвечал исправник.

— После поблагодарю,— продолжал Мановский,— а

теперь надо другой еще раз, хоть на той неделе, наехать, чтобы обоих захватить.

— Для видимости в деле непременно надо обоих захватить,— подтвердил стряпчий.

Исправник только вздохнул. Эльчанинов между тем вошел в гостиную, бросился на диван и зарыдал. Это было выше сил его! В настоящую минуту он решительно не думал об Анне Павловне; он думал только, как бы ему спасти самого себя, и мысленно проклинал ту минуту, когда он сошелся с этой женщиной, которая принесла ему крупицу радостей и горы страданий.

Через четверть часа вошел к нему Савелий, который спас Анну Павловну от свидания с мужем тем, что выскочил с нею в окно в сад, провел по захолустной аллее в ржаное поле, где оба они, наклонившись, чтобы не было видно голов, дошли до лугов; Савелий посадил Анну Павловну в стог сена, обложил ее так, что ей только что можно было дышать, а сам опять подполз ржаным полем к усадьбе и стал наблюдать, что там делается. Видя, что Мановский уехал совсем, он сбегал за Анной Павловной и привел ее в усадьбу.

— Что они тут делали? — спросил он Эльчанинова. Тот едва в состоянии был рассказать. Савелий несколько времени думал.

— Поезжайте сейчас же к графу, Валерьян Александрыч, и просите, чтобы он или взял к себе Анну Павловну, либо помог бы вам как-нибудь, как знает, а то Мановский сегодня же ночью, пожалуй, опять приедет.

Эльчанинов всплеснул руками и схватил себя за голову.

— Боже мой, боже мой, что я за несчастный человек! — воскликнул он и зарыдал.

— Да полно вам реветь! Точно женщина какая: хуже Анны Павловны, ей-богу, та смелее вас. Одевайтесь! — проговорил с досадою Савелий.

Эльчанинов как бы механически повиновался ему. Он начал одеваться и велел закладывать лошадей. Савелий прошел к Анне Павловне, которая сидела в гостиной.

— Что Валер? — спросила она.

— Ничего, одевается, хочет сейчас ехать к графу и пожаловаться ему на исправника.

— А я одна останусь? Я боюсь, Савелий Никандрыч,— произнесла бедная женщина.

— Ничего-с; я у вас останусь,— отвечал Савелий.

— Добрый друг,— произнесла Анна Павловна, протягивая ему руку, которую Савелий в первый еще раз взял и поцеловал, покраснев при этом как маков цвет.

Эльчанинов вошел совсем одетый, во фраке и раздушенный, как обыкновенно он ездил к графу.

— Что, Валер? — спросила Анна Павловна, протягивая к нему руку.

— Ничего, вздор,— отвечал он, как-то судорожно поеживаясь и торопливо целуя ее руку, и тотчас же уехал.

VI

В тот самый день, как Эльчанинов ехал к графу, у того назначен был бал, на котором хозяйкою должна была быть Клеопатра Николаевна. Пробило семь часов. Эльчанинов первый подъехал к графскому крыльцу.

— Дома его сиятельство? — спросил он, войдя в официантскую, где стояла целая стая лакеев, одетых в парадные ливрейные фраки и штиблеты.

— У себя-с, в гостиной,— отвечал вежливо один из них. Эльчанинов пошел.

— Ах, monsieur Эльчанинов,—произнес ласково граф, сидевший уже во фраке и завитой на диване, ожидая гостей.— Очень рад вас видеть на моем вечере, хоть и не звал вас по нежеланию вашему встречаться с здешними господами.

— Знаю, ваше сиятельство,— отвечал Эльчанинов,— и приехал, собственно, не на бал, а с просьбой.

— С просьбой? — повторил граф.— Все, что только могу, поверьте, будет исполнено,— прибавил он.

Эльчанинов хотел было начать рассказ, но раздавшийся сзади голос остановил его.

— Я исполнила, граф, ваше желание и нарочно приехала раньше затем, чтобы занять свою должность.

— Je vous remercie, madame, je vous remercie [1],— сказал граф, вставая. Эльчанинов обернулся. Это была Клеопатра Николаевна в дорогом кружевном платье, присланном к ней по последней почте из Петербурга, и,

[1] Благодарю вас, сударыня, благодарю, *(франц.)*

наконец, в цветах и в брильянтах. В этом наряде она была очень представительна и произвела на героя моего самое выгодное впечатление. С некоторого времени все почти женщины стали казаться ему лучше и прекраснее его Анны Павловны.

— Валерьян Александрыч! Вас ли я вижу? — полувскрикнула Клеопатра Николаевна.

— А вы знакомы? — спросил граф.

— Мы были друзья,— отвечала Клеопатра Николаевна,— по крайней мере я могу это сказать про себя, но monsieur Эльчанинов за что-то разлюбил меня.

— Напротив, но...— начал было Эльчанинов.

— Забудемте прошлое, мы еще с вами объяснимся,— перебила Клеопатра Николаевна, подавая ему руку.

— О, да между вами что-то интересное,— заметил с улыбкою граф.

— Что делать? Валерьян Александрыч сам очень интересен для женщин; это не одна я так думаю,— произнесла вдова с кокетливою улыбкою.

Видимо, что она заискивала в Эльчанинове.

«Или эта женщина дьявол, или она невинна»,— подумал тот про себя и обратился к графу:

— Могу ли я с вами переговорить, ваше сиятельство? Мне очень нужно.

— Если очень нужно...— проговорил граф.

— Нужно, ваше сиятельство,— повторил Эльчанинов.

— Извольте,— отвечал Сапега,— pardon, madame [1],— прибавил он, кивнув головой Клеопатре Николаевне, и вышел с Эльчаниновым в кабинет.

Герой мой пересказал ему все, с некоторыми даже прибавлениями, и описал в таких ярких красках, что граф, слушая, пожимал только плечами.

— Для счастья, для спасения этой женщины я должен уехать отсюда! — заключил Эльчанинов.

Граф прошелся несколько раз по кабинету.

— Да, вам надобно уехать, и не мешкая,— произнес он. Эльчанинов замер от восторга.

— Меня одно только беспокоит, ваше сиятельство,— начал он,— как она?

— Да, но это уж ваше дело,— проговорил Сапега.

---

[1] извините, сударыня, *(франц.)*.

— Она не согласится, она будет проситься со мною. Да и как действительно ее оставить?

— Оставить вам ее нет никакой опасности. Мановский ничего не может сделать, когда вас не будет, да к тому же и я здесь. Но вам с собою ее брать не вижу ни малейшей возможности. Этим вы и себя свяжете и ей повредите. Вам надобно по крайней мере на некоторое время разлучиться совершенно, чтобы дать позатихнуть всей этой истории.

— Решительно надобно расстаться,— подхватил Эльчанинов,— но я наперед знаю,— она не будет отпускать.

— Урезоньте.

— Я думаю ее обмануть, ваше сиятельство.

— Ложь позволительна, если служит ко спасению, разрешаю вам. Но чем же вы ее обманете?

— Я скажу, что поеду закладывать имение, чтобы иметь деньги, с чем подняться.

— Хорошо!.. А в самом деле, есть ли у вас деньги? — спросил граф.

Эльчанинов покраснел и не отвечал.

— Нет?.. Что тут за скрытность, fi, mon cher[1]. Позвольте мне вам услужить этой мелочью.

— Граф...

— Без церемонии, друг... Когда же вы думаете выехать?

— Послезавтра.

— Что ж, можно и послезавтра. Заезжайте ко мне, и я снабжу вас рекомендательными письмами и деньгами.

— Граф, чем мне отблагодарить вас? — сказал Эльчанинов.

— Любите меня и слушайтесь,— отвечал старик и хотел было идти, но Эльчанинов переминался и, видно, хотел еще что-то сказать.

— Я даже и теперь, ваше сиятельство,— начал он с принужденною улыбкою,— боюсь ехать домой, потому что сегодня-завтра ожидаю, что господин Мановский посетит меня.

Граф опять прошелся по кабинету.

— Ни сегодня, ни завтра не будет этого, потому что все эти здешние господа власти будут у меня, и я их

[1] Фи, мой дорогой! (*франц.*).

остановлю, а вы подождите, побудьте у меня. Я скажу вам, когда можно будет ехать.

— Слушаю, ваше сиятельство,— отвечал Эльчанинов.

Граф, во всех своих действиях относительно Анны Павловны пока выжидавший, очень обрадовался намерению Эльчанинова уехать. Он очень хорошо видел, что тот не любит уже Мановскую и скучает ею, а приехавши в Петербург, конечно, сейчас же ее забудет, а потом... потом граф составил по обыкновению план, исполнение которого мы увидим в дальнейшем ходе рассказа.

Сопровождаемый Эльчаниновым, он возвратился в гостиную. Там уже были все почти званые гости, приехавшие ровно в восемь часов, как было назначено в пригласительных билетах, и все были разряжены, насколько только могли: даже старуха Уситкова была в корсете, а муж ее напомадился такой пахучей помадою, что даже самому было это неприятно. M-me Симановская приехала с красными и распухшими глазами: она два дня их не осушала, не получив к сроку из губернского города бального платья, которое она заказала на последние деньги. Старая девица-барышня была в легком платье и совершенно обнаживши костлявую шею. Молодых девиц было очень много привезено, и в этом случае, должно отдать справедливость, преобладала порода Марковых, двух братьев, одного вдовца, а другого женатого, у которых было по семи дочерей у каждого. Из кавалеров были лучшими два молоденькие брата, мичманы Жигаловы, только что приехавшие к больной матери в отпуск и бывшие совершенно уверенными, в простоте юношеского сердца, что бал, собственно, и устроился по случаю приезда их. Граф всех и каждого оприветствовал и, открыв потом польским с Клеопатрою Николаевной бал, пригласил молодых людей продолжать танцы, а сам начал ходить то с тем, то с другим из гостей, которые были постарше и попочтеннее. Проходя мимо исправника и других уездных чиновников, которые приехали в мундирах, Сапега произнес:

— О господа, это немножко лишнее, к чему эта церемония в деревне,— а потом тут же, обратившись к исправнику, сказал мимоходом вполголоса: — Потрудитесь прийти через четверть часа в мой кабинет, мне надобно с вами поговорить.

Исправник побледнел; предчувствие говорило ему, что

на него пожаловался Эльчанинов. Желая приласкаться к нему и порасспросить его, он подошел было к моему герою и начал:

— Меня граф зачем-то зовет в кабинет.

Но Эльчанинов в ответ на это отвернулся от него.

Исправник только вздохнул и, проведя потом мучительные четверть часа, отправился, наконец, в кабинет, где увидел, что граф стоит, выпрямившись и опершись одною рукою на спинку кресел, и в этой позе он опять как будто был другой человек, как будто сделался выше ростом; приподнятый подбородок, кажется, еще выше поднялся, ласковое выражение лица переменилось на такое строгое, что как будто лицо это никогда даже не улыбалось.

Исправник окончательно растерялся и стал навытяжку, как говорится руки по швам.

— Извините, что я вас обеспокоил,— начал граф очень серьезным тоном,— я хотел вас спросить, какой вы в усадьбе и в доме господина Эльчанинова делали обыск?

— Ваше сиятельство, так как от господина Мановского поступило прошение о том, что супруга их не живут с ними и имеют местожительство в доме господина Эльчанинова,— отвечал исправник, суя руками туда и сюда.

На весь этот ответ его граф только кивнул головою.

— А вам известны причины, по которым госпожа Мановская не живет с мужем? — спросил он.

Исправник молчал.

— Вы знаете это? — повторил граф и слегка притопнул своей небольшой ногой.

— Как не знать, ваше сиятельство, все знаем-с,— отвечал исправник.

— Как же вы знаете и что делаете? — начал Сапега.— Вы приезжаете в усадьбу, производите обыск, как в доме каких-нибудь делателей фальшивых монет или в вертепе разбойников; вы ходите по кладовым, открываете все шкафы, сундуки, выкидываете оттуда платье, белье, наконец, ходите по усадьбе, как мародеры! Так служить, мой милый, нельзя!

Исправник начинал замирать.

— Если, наконец, эта несчастная женщина и тут, вы должны были только бумагой ее спросить, потому что в

законе прямо сказано: больные и знатные женщины по уголовным даже следствиям не требуются лично, а спрашиваются письменно,— произнес Сапега.

— Ваше сиятельство, я тут ничего... видит бог, ничего...— говорил исправник почти со слезами на глазах,— тут у нас все стряпчий: он все дела этакие делает, хоть кого извольте спросить.

— Слова ваши о стряпчем, мой милый, даже смешны,— возразил Сапега,— вы полицейская власть, вы цензор нравов, а не стряпчий.

— У меня, ваше сиятельство, есть удостоверение господина предводителя дворянства,— отвечал исправник,— как мне было тут делать, а, собственно, я ничего, спросите хоть Валерьяна Александрыча, я бы никогда не позволил себе так сделать. Я третьи выборы служу, и ни один дворянин от меня никакой обиды не видал...

— Попросите сюда Алексея Михайлыча и сами пожалуйте,— перебил его с досадою граф.

Исправник юркнул в двери, и чрез минуту он и предводитель вошли. Граф сейчас же посадил Алексея Михайлыча и сам сел.

— Я хочу вас, ваше превосходительство, просить,— начал Сапега,— нельзя ли как-нибудь затушить это неприятное дело Мановских. Вы как предводитель лучше других знаете, кто тут виноват.

— Знаю, ваше сиятельство, все знаю,— отвечал Алексей Михайлыч,— но что ж мне делать? — продолжал он, разводя руки.— Еще отец этого Мановского был божеское наказание для меня, а сын — просто мое несчастье!

— Именно несчастье, ваше сиятельство,— подхватил исправник,— и теперь вот они с стряпчим сошлись, а от стряпчего мы уж давно все плачем... Алексей Михайлыч это знает: человек он действительно знающий, но ехидный и неблагонамеренный до последнего волоса: ни дня, ни ночи мы не имеем от него покоя, он то и дело пишет на нас доносы.

— Ваш стряпчий, мой любезнейший, может писать доносы сколько ему угодно,— перебил опять с оттенком легкой досады граф,— дело не в том; я вас прошу обоих, чтобы дело Мановских так или иначе, как вы знаете там, было затушено, потому что оно исполнено величайшей несправедливости, и вы за него будете строго отвечать. Оберегитесь.

— Как затушить, я уж не знаю, можно ли теперь? — спросил Алексей Михайлыч, взглянув на исправника.

— Можно,— отвечал тот.

— И прекрасно,— подхватил граф. Потом, обратившись к исправнику, прибавил: — А я вас прошу еще, чтобы нога ваша не была в усадьбе господина Эльчанинова, иначе мы с вами поссоримся.

— Зачем мне ездить! — отвечал исправник.

Граф попросил его возвратиться в гостиную наклонением головы, а Алексея Михайлыча движением руки.

— Как нам делать? — спросил, выходя, старик-предводитель исправника.

— Как делать? Скажу, что первый обыск потерял, а больше не поеду; пускай хоть в Сибирь ссылают.

Пока происходили все эти сцены в кабинете, в зале танцевали уж польку. Бойцами на этом поприще оказались только два мичмана, из коих каждый танцевал по крайней мере с девятой барышнею. Местные кавалеры, по новости этого танца, не умели еще его. Впрочем, длинный Симановский принялся было, но оказалось, что он танцевал одну польку, дама — другую, а музыка играла третью, так что никакого складу не вышло.

Клеопатра Николаевна, как игравшая роль хозяйки дома, не танцевала, но сидела и наблюдала, чтобы никто не скучал.

— Валерьян Александрыч,— сказала она Эльчанинову, одиноко ходившему по зале.

Тот подошел и сел около нее.

— Дайте мне посмотреть на вас,— продолжала Клеопатра Николаевна,— вы еще интереснее стали.

— Право? — спросил небрежно Эльчанинов, но внутренне довольный этим замечанием.

— В лице у вас какая-то грусть,— отвечала Клеопатра Николаевна и сама о чем-то вздохнула.

— Не мудрено, я много страдал,— проговорил Эльчанинов.

— Но были и счастливы.

— Очень редко.

— Зато вполне.

— Конечно.

— Вы на меня сердитесь? Отчего вы тогда уехали? — продолжала Клеопатра Николаевна, почти уже шепотом.

Эльчанинов посмотрел ей в лицо.

— Я не хотел вам мешать,— отвечал он.

Клеопатра Николаевна вспыхнула.

— Чему мешать? — спросила она.

Эльчанинов не отвечал на этот вопрос.

— Довольны ли вы вашим опекуном? — спросил он вдруг.

— Которым?

— Разумеется, Мановским.

— Ах, боже мой, какую вы старину вспомнили! Мой опекун давно уж Иван Александрыч. Вот он, легок на помине. Приблизьтесь ко мне, милый мой Иван Александрыч! — продолжала Клеопатра Николаевна, обращаясь к графскому племяннику, который входил в это время в залу и хотел было уже подойти на этот зов; но вдруг быстро повернулся назад и почти бегом куда-то скрылся.

— Он, верно, вас испугался,— сказала Клеопатра Николаевна Эльчанинову,— скажите, какой мерзавец!

— Здесь много таких господ,— отвечал тот.— Зачем вы сменили вашего опекуна; вы, кажется, с ним начинали так ладить?

— Это с чего пришло вам в голову?

— Припомните хорошенько ту ночь, когда я от вас уехал,— сказал Эльчанинов, устремив на вдову проницательный взгляд.

— Что же такое?

— Он имел с вами тайное свидание.

Клеопатра Николаевна опять несколько покраснела.

— Да вы почему это знаете? — спросила она, впрочем, довольно спокойно.

— Я подсмотрел в окно.

— Что же вы из этого заключили?

— Заключил, что обыкновенно заключают из этого.

— Подите от меня! Я не думала, чтобы вы были обо мне такого мнения,— проговорила Клеопатра Николаевна обиженным голосом.

Эльчанинов посмотрел ей в лицо, в котором не заметил ни малейшего расстройства.

— Однако ж он был у вас? — сказал он.

— Был! Ему нужно было взять у меня бумаги, а вечером он забыл и поутру хотел чем свет уехать. Он послал за мной горничную, чтобы я вышла, и я вышла в гостиную. Вот вам и история вся.

— О чем же вы плакали? — спросил Эльчанинов.

— Плакала о том, что он, человек жадный, скупой и аккуратный, стал усчитывать меня в каждой копейке. Как мне было не плакать, когда я самая дурная, я думаю, в мире хозяйка.

— Желал бы верить,— проговорил Эльчанинов.

Клеопатра Николаевна потупилась.

— Если бы я что-нибудь за собой чувствовала,—начала она,— неужели бы я могла говорить об этом так равнодушно? Ах, как вы меня мало знаете! Бог вам судья за это подозрение.

При этих словах Эльчанинову показалось, что у ней как будто бы навернулись слезы.

— Как вы меня, я думаю, презирали! — продолжала вдова после минутного молчания и взяв себя рукой за лоб.— Получивши вашу записку, я решительно была в недоумении и догадалась только, что вы меня в чем-то подозреваете, и, видит бог, как я страдала. Этот человек, думала, меня презирает, и за что же?

Разговор продолжался в том же тоне. Клеопатра Николаевна на этот раз очень ловко держала себя с Эльчаниновым: она не кокетничала уж с ним, а просто хвалила его, удивляясь его глубокой привязанности к Анне Павловне, говоря, что так чувствовать может только человек с великой душою. Словом, она всеми средствами щекотала самолюбие молодого человека.

Эльчанинов окончательно с ней помирился: он рассказал ей о своей поездке в Петербург, поверил ей отчасти свои надежды, просил ее писать к нему, обещался к ней сам прежде написать. Клеопатра Николаевна благодарила его и дала слово навещать больную Анну Павловну, хоть бы весь свет ее за это проклинал.

В залу вошел граф и прямо подошел к Эльчанинову. Тот встал.

— Ваше дело устроено,— сказал вполголоса Сапега,— вы можете свободно ехать и собираться в путь, а там ко мне заедете.

Эльчанинов глубоким поклоном поблагодарил графа и отошел. Сапега занял его место. Эльчанинов, впрочем, не поехал сейчас домой; он даже протанцевал одну кадриль и перед ужином, проходя в буфет, в одном довольно темном коридоре встретил Клеопатру Николаевну.

— Ах, это вы! —сказала она и протянула Эльчанинову руку, которую тот взял и поцеловал.

Вдова, желая ему ответить обыкновенным поцелуем в голову, как-то второпях поцеловала его довольно искренне в губы.

— Прощайте! — проговорила она.

— Прощайте!..— отвечал он ей с чувством.

В продолжение всего ужина Эльчанинов переглядывался с Клеопатрою Николаевною каким-то грустным и многозначительным взором. Ночевать, по деревенскому обычаю, у графа остались только Алексей Михайлыч, никогда и ниоткуда не ездивший по ночам, и Клеопатра Николаевна, которая хотела было непременно уехать, но граф ее решительно не пустил, убедив ее тем, что он не понимает возможности, как можно по деревенским проселочным дорогам ехать даме одной, без мужчины, надеясь на одних кучеров.

VII

Эльчанинов возвращался домой, волнуемый различными чувствованиями: уехать в Петербург, оставить эти места, где он претерпел столько неприятностей, где столько скучал,— все это приводило его решительно в восторг; но для этого надобно было обмануть Анну Павловну, а главное — обмануть Савелья. «Что ж такое,— ду́мал он,— это ненадолго, я могу тотчас по получении места вызвать ее к себе в Петербург, а оставаться здесь и дожидаться, пока она выздоровеет, нет никакой возможности. Надобно только пролавировать поискусней»,— сказал он сам себе, входя на крыльцо дома.

В гостиной встретил его Савелий.

— Тише,— сказал тот, когда Эльчанинов довольно громко и неосторожно вошел в комнату.

— Что Анна? — спросил уж шепотом Эльчанинов.

— Ничего, порасстроились, а теперь заснули,— отвечал Савелий.

Приятели некоторое время молчали.

— Савелий Никандрыч,— начал Эльчанинов, усаживаясь на диван,— посидимте здесь рядом, мне нужно с вами поговорить.

Савелий сел.

— Я хочу ехать отсюда.

Савелий посмотрел на него.

— Во-первых, все эти дрязги,— продолжал Эльчани-

нов,— граф прекратил сейчас же. У него был бал, был, между прочим, и исправник и такую получил головомойку, что, как сумасшедший, куда-то ускакал, и граф говорит, что оставаться мне так вдвоем с Анною Павловною превышает всякие меры приличия и что мы должны по крайней мере на полгода разойтись, чтобы дать хоть немного позатихнуть всей этой скандальной истории.

— А Анна Павловна, стало быть, останется здесь у вас же в доме? — возразил Савелий.

— Нет, не у меня, а у себя, я это имение ей продал, подарил, оно не мое, а ее.

— Кто ж этому поверит?

— Нет, поверят, потому что я из первого же города пришлю крепость на ее имя: удостоверение, кажется, верное; одной ей здесь ничего не могут сделать, но оставаться и жить таким образом, как мы до сих пор жили, это безумие.

— Не знаю, как хотите, так и делайте, я и сам с вами разума лишился,— возразил Савелий и махнул рукой.

Эльчанинов испугался, что Савелий рассердился.

— Простите меня и ее, мой добрый Савелий Никандрыч,— подхватил он, протягивая приятелю руку,— но что ж делать, если, кроме вас и графа, у нас никого нет в мире. Вас бог наградит за ваше участие. Дело теперь уже не в том: уехать я должен, но каким образом я скажу об этом Анете, на это меня решительно не хватит.

Савелий молчал.

— Савелий Никандрыч, скажите ей, предуведомьте,— продолжал Эльчанинов.

— Что же я ей скажу?

— Ну, скажите... скажите, что я должен ехать непременно, обманите ее, скажите, что я еду закладывать это имение, всего на две недели.

Савелий думал: жить молодым людям вместе действительно было невозможно; совет графа расстаться на несколько времени казался ему весьма благоразумным. Неужели же Эльчанинов такой гнусный человек, что бросит и оставит совершенно эту бедную женщину в ее несчастном положении? Он ветрен, но не подл,— решил Савелий и проговорил:

— Извольте, я скажу.

Эльчанинов бросился обнимать его.

Анна Павловна проснулась на другой день часов в девять. Она была очень слаба.

— Подите, Савелий Никандрыч,— сказал Эльчанинов, почти толкая в спальню приятеля,— подите, поговорите.

Савелий вошел.

— Он приехал, я слышала его голос,— говорила Анна Павловна.

— Валерьян Александрыч приехал, он сейчас придет,— отвечал Савелий.

— А где же он?

— Он вышел.

— Мне хочется видеть его поскорее.

— Он сейчас придет, поговорите лучше со мной. Я скажу вам новость, мы все скоро отсюда уедем.

— Ах, как это хорошо! Мне здесь страшно: что если он опять приедет... Куда же мы уедем?

— В Москву, Анна Павловна.

— А скоро?

— Скоро, только выздоравливайте, а Валерьян Александрыч прежде съездит один и заложит имение,— говорил Савелий.

— А я? — спросила Анна Павловна.

— А мы с вами после.

— Нет, я без Валера не останусь, я умру без него.

— Но как же? Вы больны, вам ехать нельзя.

— Мне теперь лучше; с чего вы это взяли? — говорила Анна Павловна.— Ей-богу, лучше, я могу ехать с ним.

— Как же вам ехать, Анна Павловна?.. Это нехорошо, вы не бережете своего здоровья для Валерьяна Александрыча, ему это будет неприятно.

— Так он хочет оставить меня одну... Что ж он не идет? Я упрошу его взять меня с собою,— произнесла Анна Павловна и залилась горючими слезами.

— Успокойтесь, Анна Павловна, успокойтесь,— говорил Савелий, с глазами, полными слез,— Валерьян Александрыч едут только на две недели.

— На две недели! Нет, я поеду с ним, я пойду за ним пешком, если он не возьмет меня.

— Отпустите, Анна Павловна! Валерьян Александрыч едет всего на две недели, это необходимо для его счастья.

— Ах, как я желаю счастья Валеру! — говорила Анна Павловна.

— Ну вот видите, а не хотите его отпустить на две недели.

— Да я не могу, вы видите, я не могу! — произнесла она раздирающим голосом, прижав руки к груди.

— Укрепитесь, Анна Павловна, вы должны это сделать для счастья и спокойствия Валерьяна Александрыча.

— Когда же он едет?

— Послезавтра.

— Послезавтра?.. Отчего он не идет? Скажите ему, чтоб он пришел по крайней мере. Пошлите его.

Эльчанинов, стоявший у дверей и слушавший весь разговор, вбежал в комнату.

— Анна! Друг мой! — вскричал он, обнимая и целуя ее.

Анна Павловна ничего не могла говорить и только крепко обвила его голову руками и прижала к груди.

— Ты едешь? — проговорила она.

— Еду, мой ангел! Это необходимо, чтобы упрочить общую нашу будущность.

— Поезжай, это необходимо для твоего счастья, я буду молиться за тебя.

— Я поеду ненадолго, мой ангел; скоро увидимся,— сказал Эльчанинов,— мне надо заложить только мое имение, и ты приедешь ко мне.

— Да, чтобы недолго, пожалуйста, недолго! Сядь ко мне поближе, посмотри на меня. Ах, как я люблю тебя! — И она снова обвила голову Эльчанинова своими руками и крепко прижала к груди.— Завтра тебя не будет уже в это время, ты будешь далеко, а я одна... одна...— И она снова залилась слезами.

— С тобой останется Савелий Никандрыч, он будет тебя утешать,— говорил растроганный Эльчанинов, и готовый почти отказаться от своего намерения и опять остаться в деревне и скучать.

Всю ночь просидел он у кровати больной, которая, не в состоянии будучи говорить, только глядела на него — и, боже! — сколько любви, сколько привязанности было видно в этом потухшем взоре. Она скорее похожа была на мать, на страстно любящую мать, чем на любовницу. Во всю ночь, несмотря на убеждения Савелья, на просьбы Эльчанинова, Анна Павловна не заснула.

Начинало уже рассветать.

— Дай мне руку, Валер,— сказала она.

Эльчанинов подал. Она долго держала ее в своих слабых руках, прижимая ее к своей груди, и потом, залившись слезами, произнесла:

— Не оставляй меня, не оставляй, Валер! Мне сердце говорит, что я без тебя умру!

— Анета! Друг мой, успокойся! — говорил Эльчанинов, сам готовый плакать.

— Да, я буду спокойна, ты этого хочешь, и я буду!.. Поезжай с богом. В чем же ты поедешь, велел ли ты приготовить экипаж?

— Я покуда поеду в коляске.

— Непременно же в коляске, тебе будет спокойнее! А кто с тобой поедет?

— Я думаю взять Николая.

— Возьми Николая, он любит тебя. Позовите ко мне Николая, я попрошу, чтоб он тебе хорошо служил.

Эльчанинов вышел и через несколько минут возвратился вместе с лакеем лет сорока, рябым, но добродушным из лица и с серебряною серьгою в ухе.

— Николай, ты поедешь с барином, успокаивай его и береги,— начала больная.

— Будьте покойны, Анна Павловна, все исправим.

— Ах, как ты счастлив, Николай: ты поедешь с Валером, ты будешь видеть его, ты счастливее меня, Николай.

— Не пожалуемся, господа любят,— отвечал тот.

— Ты будешь беречь Валера, если он сделается болен, ты мне сейчас же напиши, и я тотчас приеду.

— Будьте покойны, Анна Павловна!.. Слава богу, нам не в первый раз.

— А готово ли у вас?

— Коляску вытащили, теперь укладываемся. Какую прикажете, Валерьян Александрыч, на пристяжку? Кучера говорят, что каурая очень шибко хромает.

— Какую хотите,— отвечал Эльчанинов. Ему было невыносимо грустно.— Савелий Никандрыч, потрудитесь распорядиться,— прибавил он.

Савелий и Николай вышли.

Анна Павловна обняла Эльчанинова. Он чувствовал, как на лицо его падали горячие ее слезы, как она силилась крепче прижимать его своими слабыми руками.

Прошло несколько минут в глубоком и тяжелом молчании.

Вошел Савелий.

— Уж начали запрягать,— сказал он.

— Пора! — проговорила больная удушливым голосом.— Собирайся и ты, Валер; что ты наденешь? Одевайся теплее.

Эльчанинов вышел; ему хотелось только одного, чтобы как можно поскорее уехать.

— Проворнее,— сказал он попавшемуся навстречу Николаю, одетому уже в дорожную шинель.

— Готово-с, прикажете подавать?

— Подавайте!

— Люди хотят проститься, Валерьян Александрыч,— присовокупил Николай.

— Посылай! — произнес с досадою Эльчанинов.

Николай вышел, и вслед за ним вошло человек двенадцать дворовых баб и мужиков.

— Прощайте, батюшка Валерьян Александрыч! — говорили они, подходя к руке барина.

— Прощайте, прощайте,— повторил торопливо Эльчанинов и забыл даже напомнить им беречь Анну Павловну и слушаться ее. Надев теплый дорожный сюртук, он вошел в спальню больной. Анна Павловна сидела на кровати. Савелий стоял у окна в задумчивости.

— Ты совсем? — сказала больная довольно спокойным голосом.

— Прощай, Анета, до свиданья! — проговорил Эльчанинов, целуя ее руку.

— Прощай! — тихо проговорила она.— Дай мне обнять тебя, я тебя провожу.

— Не делай этого, Анета, ты слаба.

— Позволь мне хоть проводить тебя, дай мне руку.— И она встала, опираясь на руку Эльчанинова.

— Прощайте, Савелий Никандрыч,— говорил тот, подавая свободную руку приятелю.

— Прощайте, Валерьян Александрыч,— отвечал Савелий, крепко сжав руку друга.

Они поцеловались, и все трое вышли в залу.

— Постой,— сказала Анна Павловна, как бы вспомнив что-то,— ты будешь писать ко мне?

— Буду, друг мой!

— А часто ли?

— Часто.

— Пиши два раза в неделю, непременно пиши. Теперь благослови меня.

Эльчанинов перекрестил ее.

— Прощай, Анета, останься здесь, ты слаба.

— Я провожу тебя на крыльцо.— Анна Павловна хотела идти, но силы ее совершенно оставили.

— Не могу... Прощай! — произнесла она и уж в беспамятстве обхватила Эльчанинова за стан.

— Примите ее,— сказал Эльчанинов, разводя ее холодные руки, и, почти бегом выбежав на крыльцо, вскочил в коляску.

— Пошел скорее в Каменки! — крикнул он.

Кучер ударил по лошадям, и коляска с шумом выехала в поле. Эльчанинову стало легче; как бы тяжелое бремя спало у него с души; минута расставанья была скорей досадна ему, чем тяжела.

«Как эти женщины слабы! — думал он.— Я люблю ее не меньше, да что ж такое? Так необходимо, и я повинуюсь». Размышляя таким образом, он мало-помалу погрузился в мечты о будущем. Впрочем, надо отдать справедливость, что он выехал из своей усадьбы с твердым намерением выписать Анну Павловну при первой возможности.

Между тем граф только что еще проснулся и сидел в своем кабинете.

— А! Вы уж совсем! — сказал он, увидя входящего Эльчанинова в дорожном платье.— Исправны. Присядьте. Как здоровье Анны Павловны? Как она вас отпустила?

— Не спрашивайте лучше, ваше сиятельство, одна только неизбежная необходимость заставила меня не отказаться от моего намерения,— отвечал Эльчанинов.

— Честь вашей воле! Это прекрасно в молодом человеке. Поверьте, все к лучшему! Вам надобны теперь письма и деньги.

С этим словом граф подошел к письменному столу и начал писать. Через полчаса он вручил Эльчанинову четыре пакета и 200 рублей серебром.

— Извините, что мало,— сказал он, подавая деньги,— там, по письму, вы можете, в случае нужды, адресоваться к моему поверенному.

Эльчанинов встал и начал раскланиваться.

— Прощайте, милый друг,— говорил граф, обнимая

молодого человека,— не забывайте меня, пишите; могу ли я бывать у Анны Павловны?

— Граф! Я вас хотел просить об этом. Позвольте мне предоставить ее в полное ваше покровительство. Вы один, может быть, в целом мире...

— Все будет хорошо! Все будет хорошо! — говорил старик, еще раз обнимая Эльчанинова, и, когда тот, в последний раз раскланявшись, вышел из кабинета, граф опять сел на свое канапе и задумался. Потом, как бы вспомнив что-то, нехотя позвонил.

В кабинет вошел камердинер в модном синем фраке.

— Какой сегодня день?

— Четверг, ваше сиятельство.

— А когда почта в Петербург?

— Сегодняшний день, ваше сиятельство.

— Вели приготовить верхового в город.

Камердинер вышел. Граф снова подошел к бюро и начал лениво писать:

«Любезный Федор Петрович!

К тебе явится с моими письмами, от 5 сентября, молодой человек Эльчанинов. Он мне здесь мешает, затяни его в Петербурге, и для того, или приищи ему службу повидней и потрудней, но он вряд ли к этому способен, а потому выдавай ему денег понемногу, чтобы было ему на что фланерствовать. Сведи его непременно с Надей. Скажи ей от меня, чтобы она занялась им, я ей заплачу; а главное, чтобы она вызвала его на переписку, и письма его к ней пришли ко мне. Надеюсь, что исполнишь.

Граф Сапега».

Написавши письмо, граф опять позвонил нехотя. Вошел тот же камердинер.

— Отправить страховым! — сказал Сапега и начал ходить скорыми шагами по комнате, вздыхая по временам и хватаясь за левый бок груди. Ему не столько нездоровилось, сколько было совестно своих поступков, потому что, опять повторяю, Сапега был добрый в душе человек,— но женщины!.. Женщин он очень любил и любил, конечно, по-своему.

VIII

Спустя неделю после отъезда Эльчанинова граф приехал в Коровино. Анна Павловна была по большей части в беспамятстве. Савелий встретил графа в гостиной.

— Могу ли, любезный, я видеть больную? — спросил граф, приняв Савелья за лакея.

— Она в беспамятстве теперь, ваше сиятельство,— отвечал почтительно Савелий.

— Все-таки я могу войти?

— Пожалуйте.

Граф вошел в спальню.

— Боже мой! Боже мой! — вскричал он, всплеснув руками.— Ах, как она больна! Она в отчаянном положении! Кто же ее лечит? Кто за ней ходит?

— Я за ней хожу, ваше сиятельство,— отвечал Савелий.

— Но как же ты можешь ходить? Это неприлично даже — ты мужчина.

— Мне поручил ее Валерьян Александрыч,— отвечал Савелий.

— Очень неосмотрительно сделал Валерьян Александрыч; ты можешь любить госпожу, быть ей верен, но никак не ходить за ней больною.

Савелий не отвечал.

— Как сыро, как холодно в комнате! — продолжал граф.— Бедная... бедная моя Анета! Часто ли ездит к ней по крайней мере лекарь?

— Лекарь не ездит, ваше сиятельство,— отвечал Савелий.

— Господи боже мой! — вскричал граф.— Что вы с нею делаете! Вы хотите просто ее уморить! Это ужасно! Сегодня же, сейчас же перевезу ее к себе.

— Нет, ваше сиятельство,— возразил было Савелий.

— Что такое нет? Оставить вам ее здесь уморить? — перебил граф.

— Я не могу отпустить Анны Павловны: она мне поручена,— сказал с твердостью Савелий.

— А я не могу оставить ее здесь,— отвечал граф, несколько удивленный дерзостью Савелья.— Оставить, когда у ней нет ни доктора, ни прислуги даже, которая могла бы ходить за ней.

Слова его были отчасти справедливы. Служанки, ред-

ко бывавшие в комнатах и в бытность Эльчанинова, теперь совершенно поселились в избах. Один только Савелий был безотлучно при больной. Пригласить медика не было никакой возможности; Эльчанинов, уехавши, оставил в доме только десять рублей. Савелий, никак не предполагавший подобной беспечности со стороны приятеля, узнал об этом после. Услышавши намерение графа взять к себе Анну Павловну, он сначала не хотел отпускать ее, не зная, будет ли на это согласна она сама и не рассердится ли за то; но, обдумавши весь ужас положения больной, лишенной всякого пособия, и не зная, что еще будет впереди, он начал колебаться.

— Я не знаю, ваше сиятельство,— начал он не с прежнею твердостью,— захочет ли больная переехать к вам.

— Чего тут больная! Она умирает, а ее спрашивать, хочет ли она помощи. Я сейчас возьму ее.

— Я не могу совсем оставить Анны Павловны; если вам угодно взять ее, то позвольте и мне быть при них.

— Ты можешь наведываться, пожалуй.

— Я должен быть непрестанно при них. Я поклялся в этом Валерьяну Александрычу.

— Это совершенно не нужно; у Анны Павловны и без тебя будет много прислуги.

— Я не слуга, ваше сиятельство,— сказал, наконец, Савелий, вынужденный объявить свое настоящее имя. Граф с удивлением и с любопытством посмотрел на молодого человека.

— Но кто же вы? — спросил он.

— Я знакомый Валерьяна Александрыча,— отвечал Савелий.

— Фамилия ваша?

— Молотов.

— Имя ваше, звание?

— Савелий Никандрыч, а звание — дворянин-с.

— И вы говорите, что Валерьян Александрыч поручил вам Анну Павловну?

— Да, ваше сиятельство.

— Но я полагаю, что это не мешает мне взять к себе в дом Анну Павловну; вы можете быть у меня, сколько вам угодно.

— Нет уж, ваше сиятельство, позвольте, я буду при них неотлучно.

— Как вам угодно,— отвечал Сапега, слегка пожав плечами, и потом прибавил: — Потрудитесь велеть подать карету.

Савелий вышел.

«Что это за человек? — подумал граф.— Он, кажется, очень привязан к больной и пользуется доверием Эльчанинова. Он может повредить мне во многом, но все-таки оттолкнуть его покуда невозможно, а там увидим».

Савелий воротился.

— Карета готова, ваше сиятельство.

— Ну, теперь прикажите положить постель, я полагаю — это необходимо.

— Я уже все сделал, теперь только вынести Анну Павловну.

— Оденьте ее, бога ради, потеплее,— произнес граф.

— Одену-с,— отвечал Савелий и вышел.

Граф еще раз с удивлением посмотрел на молодого человека и вышел в гостиную.

Между тем Анна Павловна, бывшая с открытыми глазами, ничего в то же время не видела и не понимала, что вокруг нее происходило. Савелий позвал двух горничных, приподнял ее, надел на нее все, какое только было, теплое платье, обернул сверх того в ваточное одеяло и вынес на руках. Через несколько минут она была уложена на перине вдоль кареты.

Граф сел с другой стороны.

— Позвольте уж и мне, ваше сиятельство,— сказал Савелий, влезая вслед за графом в экипаж.

Но тот ничего не отвечал и только продолжал с удивлением смотреть на него.

От Коровина до Каменок было не более семи верст, но так как граф, по просьбе Савелья, велел ехать шагом, чтоб не обеспокоить больной, то переезд их продолжался около двух часов. Во всю дорогу Савелий и граф молчали; первый со всей внимательностью следил за больной; что же касается до Сапеги, то его занимала, кажется, какая-то особенная мысль. Часа в два пополудни карета остановилась у крыльца, граф вышел первый и тотчас распорядился, чтоб была приготовлена отдельная комната, близ библиотеки, и велел сию же секунду скакать верховому в город за медиком. Анну Павловну перенесли и уложили в постель, две горничные поставлены были на бессменное дежурство к ней; однако Савелий, несмотря на

это, последовал за ней и поместился на дальнем стуле. Граф прошел в свой кабинет; его беспокоило, что скажет Анна Павловна, пришедши в чувство, и не захочет ли опять вернуться в Коровино. Он придумывал различные средства, которыми мог бы заставить ее остаться у него. Кроме того, его начинал беспокоить Савелий, которого живое участие казалось весьма ему подозрительным. Сапега еще дорогой решился подслушать, что будет говорить больная со своим поверенным, и таким образом узнать, в каких отношениях находятся между собою молодые люди. Он с намерением поместил Анну Павловну рядом с библиотекою, в которую никто почти никогда не входил и в которой над одним из шкафов было сделано круглое окно, весьма удобное для наблюдения, что делалось и говорилось в комнате больной. Теперь Сапега размышлял, кому поручить подслушать. Ему самому невозможно; для этого, может быть, нужно будет просидеть целый день, ночь в библиотеке и влезть, наконец, на шкаф, над которым было окно. Употребить для того кого-нибудь из людей граф не хотел; Иван Александрыч лучше всех оказался удобным исполнить это поручение... За ним был послан гонец, и через полчаса изгнанный племянник, в восторге от возвращенной к нему милости, стоял в кабинете.

— Мне до тебя маленькая надобность, Иван,— сказал граф ласково.— Сядь поближе.

Иван Александрыч сел.

— Какой есть дворянин Молотов, Савелий, кажется, Макарыч, что ли? — продолжал Сапега.

— Савелий, ваше сиятельство, точно так-с,— подхватил Иван Александрыч.

— Что ж он такое за господин? — спросил Сапега.

— Какой господин, ваше сиятельство, бедняк, лет тридцати дубина, нигде еще и не служил. Делает вон телеги,— подхватил Иван Александрыч.

— Он часто бывает у Эльчанинова?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Он теперь у меня, вместе с Мановской, я ее, больную, привез к себе.

— У вас, ваше сиятельство?

— Да, у меня. Я их обоих привез из Коровина; больная в беспамятстве. Хочешь посмотреть?

— Для чего же, ваше сиятельство, не посмотреть!

— Ну так ступай в библиотеку, знаешь, там окно над шкафом, влезь на шкаф и посмотри.

— На шкаф влезть, ваше сиятельство? Нет, бог с ними. Нельзя ли как-нибудь в щелочку?

— Не нарочно же для тебя делать щели.

— Ну так и не надо, ваше сиятельство, я не хочу.

— Ты-то не хочешь, да я хочу. Мне надобно знать, что будет говорить больная, когда придет в себя. Сослужи мне эту службу.

— Помилуйте, ваше сиятельство, если вам угодно, так я сейчас же... Я ведь думал, что вы говорите это так, для меня-с.

— Именно сейчас же, только вот в чем дело: тебе, может быть, придется просидеть целую ночь да и завтрашний день.

— Это ничего, ваше сиятельство, лишь бы вам было угодно.

— Ну, значит, спасибо, только слушай: ты как можно внимательнее должен смотреть, что будут они делать и что говорить. Я нарочно оставил их вдвоем.

— С кем же вдвоем, ваше сиятельство?

— Да я тебе говорил, с этим Молотовым.

— Понимаю-с, понимаю-с теперь, а то никак еще в ум-то хорошенько не мог сразу взять,— подхватил Иван Александрыч.

— Тебе нечего тут в ум и брать,— перебил его граф,— твое дело будет только подслушать и подсмотреть все, что будет делаться в комнате, и мне все передать, хотя бы стали бранить меня. Понимаешь?

— Понимаю, ваше сиятельство.

— Ну так пойдем... я тебя запру в библиотеке.

— Только ночью-то, ваше сиятельство, больно темно там будет.

— Да что ты, чертей, что ли, боишься?

— Маленького нянька напугала, вот теперь, если комната чуть-чуть побольше да темно, так уж ужасно боюсь.

— Полно вздор молоть, пойдем.

Граф и племянник вошли в библиотеку. Начинало уже смеркаться. Невольно пробежала холодная дрожь по всем членам Ивана Александрыча, когда они очутились в огромной и пустой библиотеке, в которой чутко отдались их шаги; но надобно было еще влезть на шкаф. Здесь оказалось немаловажное препятствие: малорослый

Иван Александрыч никак не мог исполнить этого без помощи другого.

— Дай я тебя подсажу,— сказал граф.

— Вы, ваше сиятельство?.. Как это можно вам беспокоиться! Позвольте уж, я лучше сбегаю за стулом.

— Давай сюда ногу.

— Не могу, ваше сиятельство, грязна очень, я, признаться сказать, приехал без калош.

— Говорят тебе давай, несносный человек.

Иван Александрыч вынул из кармана носовой платок, обернул им свой сапог и в таком только виде осмелился поставить свою ногу на руку графа, которую тот протянул. Сапега с небольшим усилием поднял его и посадил на шкаф. Иван Александрыч в этом положении стал очень походить на мартышку.

— Ну, прощай, смотри хорошенько, я побываю у тебя,— сказал граф, вышедши, и запер дверь.

Ивану Александрычу сделалось очень страшно, и он решился все внимание обратить на соседнюю комнату, в которой уже показался огонь.

Сапега вошел в комнату больной.

— Вы здесь? — сказал он, подходя к Савелью и садясь на ближний диван.

— Я попрошу позволения провести здесь всю ночь.

Сапега хотел что-то отвечать, но приехавший медик прервал их разговор. Он объявил, что Анна Павловна в горячке, но кризис болезни уже совершился.

— Когда она придет в себя? — спросил заботливо граф.

— Я полагаю, сегодняшнюю ночь или поутру.

— Сегодняшнюю ночь,— повторил граф.— Послушайте,— прибавил он, обращаясь к Савелью,— мне кажется, вам лучше одному остаться у больной, чтобы вид незнакомых лиц, когда она придет в себя, не испугал ее.

— Это очень хорошо, ваше сиятельство,— отвечал Савелий.

— Мы так и распорядимся... Вы сегодня не будете дежурить,— сказал Сапега горничной.— Впрочем, не нужно ли чего-нибудь сделать? — спросил он медика.

— Теперь ни к чему нельзя приступить, надобно ожидать от природы, я должен остаться до завтрашнего дня,— отвечал медик.

— Благодарю; стало быть, мы можем уйти. До свиданья.

Хозяин, медик и горничная вышли из комнаты.

Савелий, оставшись один в спальне, сейчас пересел ближе к больной. Глаза его, полные слез, с любовью остановились на бледном лице страдалицы, которой, казалось, становилось лучше, потому что она свободнее дышала, на лбу у нее показалась каплями испарина — этот благодетельный признак в тифозном состоянии. Прошло несколько минут. Савелий все еще смотрел на нее и потом, как бы не могши удержать себя, осторожно взял ее худую руку и тихо поцеловал. При этом поступке лицо молодого человека вспыхнуло, как обыкновенно это бывает у людей, почувствовавших тайный стыд. Он проворно опустил руку, встал с своего места и пересел на отдаленное кресло.

Предсказание врача сбылось, больная часа через два пришла в себя; она открыла глаза, но, видно, зрение ее было слабо и она не в состоянии была вдруг осмотреть всей комнаты. Савелий подошел.

— Это вы? — сказала она слабым голосом.

— Я, Анна Павловна, слава богу, вам лучше,— отвечал Савелий.

— Погодите,— начала больная, осматриваясь и водя рукой по лбу, как бы припоминая что-то, и глаза ее заблистали радостью.— Где мы? Верно, в Москве, у Валера,— сказала она с живостью.— Мы приехали к нему, где же он? Бога ради, скажите, где он?

— Мы не у Валерьяна Александрыча, а только скоро к нему поедем.

— Так не у него! Господи, я его не увижу! Где же мы?

— Мы у графа, Анна Павловна.

— У графа! — вскрикнула она.— Зачем же мы у графа? Поедемте, бога ради, поедемте поскорее, я не хочу здесь оставаться.

— Вам здесь покойнее, Анна Павловна,— сказал Савелий.— Граф нарочно перевез вас; он очень заботится, пригласил медика, и вот вам уж лучше.

— Уедемте, бога ради, уедемте,— просила она,— мне здесь нехорошо.

— Если мы поедем в Коровино, вам опять будет хуже, вам нельзя будет ехать к Валерьяну Александрычу, а уж он, я думаю, скоро напишет.

— Мне будет и там лучше, я буду беречь себя, я буду лечиться там.

— Вам нельзя будет лечиться, у вас нет денег; это я виноват, Анна Павловна; мне оставил Валерьян Александрыч двести рублей, а я их потерял.

— Вам Валер оставил двести рублей? Какой он добрый!.. Мы напишем ему, он еще пришлет нам, только уедемте отсюда.

— Куда же мы будем писать, Анна Павловна? Мы не знаем еще, где Валерьян Александрыч. Поживите здесь покуда.

— Здесь? Ах нет, я не могу, не верьте графу, я боюсь его.

— Но чего же вам опасаться, Анна Павловна? Я при вас неотлучно буду.

— Нет, уедемте, бога ради, уедемте, мне сердце говорит. Вы не знаете графа, он дурной человек, он погубит меня.

— Анна Павловна, вспомните, что вы будете здесь жить для Валерьяна Александрыча, чтобы поскорее выздороветь и ехать к нему... Что если он напишет и станет ждать вас, а вы не сможете ехать?

— Ах, как мне тяжело! — сказала бедная женщина и закрыла лицо руками.

— Мы останемся здесь недолго... Бог даст, Валерьян Александрыч напишет, мы и поедем. До тех пор я буду беспрестанно около вас.

— Да, будьте, непременно будьте. Я без вас здесь не останусь, не отходите от меня ни на минуту, граф ужасный человек.

Вся эта сцена, с малейшими подробностями, была Иваном Александрычем передана Сапеге, который вывел из нее три результата: во-первых, Савелий привязан к Анне Павловне не простым чувством, во-вторых, Анна Павловна гораздо более любила Эльчанинова, нежели он предполагал, и, наконец, третье, что его самого боятся и не любят. Все это весьма обеспокоило графа.

IX

О переезде Анны Павловны в Каменки точно ворона на хвосте разнесла в тот же почти день по всей Боярщине. «Ай да соколена,— говорили многие, по преимуществу дамы,— не успел еще бросить один, а она уж

нашла другого...» — «Да ведь она больна,— осмеливались возражать некоторые подобрее,— говорят, просто есть было нечего, граф взял из человеколюбия...» — «Сделайте милость, знаем мы это человеколюбие!» — восклицали им на это. «Что-то Михайло-то Егорыч, батюшки мои, что он-то ничего не предпринимает!..» — «Как не предпринимает, он и с полицией приезжал было»,— и затем следовал рассказ, как Мановский наезжал с полицией и как исправника распек за это граф, так что тот теперь лежит больнехонек, и при этом рассказе большая же часть восклицали: «Прах знает что такое делается на свете, не поймешь ничего!» Впрочем, переезд Мановской к графу чувствительнее всех поразил Клеопатру Николаевну. Помирившись со своей совестью и испытавши удовольствие быть любимою богатым стариком, она решительно испугалась пребывания в доме графа Мановской, которую она считала своей соперницей. Очень естественно, что она навсегда утратит покровительство Сапеги, который оставит и не возьмет ее с собою в Петербург, чего ужасно ей хотелось,— и оставит, наконец, в жертву Мановскому, о котором одна мысль приводила ее в ужас. Под влиянием этих опасений она решилась объясниться с графом и написала к нему письмо, которым умоляла его приехать к ней, но получила холодный ответ, извещающий ее, что граф занят делами и не может быть впредь до свободного времени. Она послала еще письмо, на которое ничего уж ей не отвечали. Видя тщетность писем, что еще более усилило ее опасения, она сама решилась ехать к графу и узнать причину его невнимания.

Между тем, как все это происходило, один только Задор-Мановский, к которому никто не ездил, ничего не знал.

В воздвиженьев день бывает праздник в Могилковском приходе. Михайло Егорыч, впрочем, был дома и обходил свои поля, потом он пришел в комнаты и лег, по обыкновению, в гостиной на диване. Вошла тихими шагами лет двадцати пяти горничная девка в китайчатом капоте и в шелковой косынке, повязанной маленькой головкой, как обыкновенно повязываются купчихи. Это была уже знакомая нам горничная Анны Павловны, Матрена, возведенная в степень ключницы и называемая теперь от дворни Матреною Григорьевною, хотя барин

по-прежнему продолжал называть ее Матрешкой. Постоявши немного и видя, что Михайло Егорыч не замечает ее, она кашлянула.

— Кто там? — спросил Мановский.

— Я, батюшка,— отвечала Матрена.

— Ты? — повторил Михайло Егорыч.

— Я-с, —отвечала ключница.— Благодарим покорно за лошадку,— прибавила она, подходя и целуя руку барина.

— Ну, что там?

— Ничего, батюшка, молились, таково было много народу! Соседи были,— отвечала ключница. Она была, кажется, немного навеселе и, чувствуя желание поговорить, продолжала: — Николай Николаич Симановский с барыней был, Надежда Петровна Карина да еще какой-то барин, я уж и не знаю, в апалетах.

— Да что вы долго? Поди, чай, по деревням ездили?

— Ой, полноте, батюшка,— возразила Матрена,— как это можно, тихо ехали-с, да я и не люблю. Что? Бог с ними. Только и зашли, по совести сказать, к предводительскому вольноотпущенному, к Иринарху Алексеичу, изволите знать? Рыбой еще торгует. Он, признаться сказать, увидел меня в окошко да и закликал: «Матрена Григорьевна, говорит, сделайте ваше одолжение, пожалуйте...» Тут только, батюшка, и посидела.

— Только?

— Только-с. Да я бы ведь и тут бы не засиделась,— нечего сказать, дом гребтит,— да разговор такой уж зашел, что нельзя было...

— Какой же?

— Про нашу Анну Павловну, батюшка.

— Про жену?

— Да-с.

— Что ж такое?

— Да изволите видеть,— начала Матрена, вздохнув и приложивши руку к щеке,— тут был графский староста, простой такой, из мужиков. Они, сказать так, с Иринархом Алексеичем приятели большие, так по секрету и сказал ему, а Иринарх Алексеич, как тот уехал, после мне и говорит: «Матрена Григорьевна, где у вас барыня?» А я вот, признаться сказать, перед вами, как перед богом, и говорю: «Что, говорю, не скроешь этого, в Коровине

живет».— «Нет, говорит, коровинского барина и дома нет, уехал в Москву».

— Как в Москву? — проговорил Мановский, приподымаясь с дивана.

— Да, батюшка, в Москву, а барыня наша уж другой день переехала в Каменки.

Мановский, как бы не могший еще прийти в себя, посмотрел на ключницу каким-то странным взглядом.

— Как в Москву? Как в Каменки? — повторял он, более и более краснея.

— Да, в Москву,— отвечала Матрена, побледнев в свою очередь.

— Так что ж ты мне, бестия, прежде этого не сказала? — заревел вдруг Мановский, вскочивши с дивана и опрокинувши при этом круглый стол.

— Батюшка, Михайло Егорыч, лопни мои глаза, сегодня только узнала.

— Заговор! Мошенничество! — кричал Мановский.— По праздникам только ездить пьянствовать!..

— Отец мой, Михайло Егорыч, успокойтесь, может, и неправда.

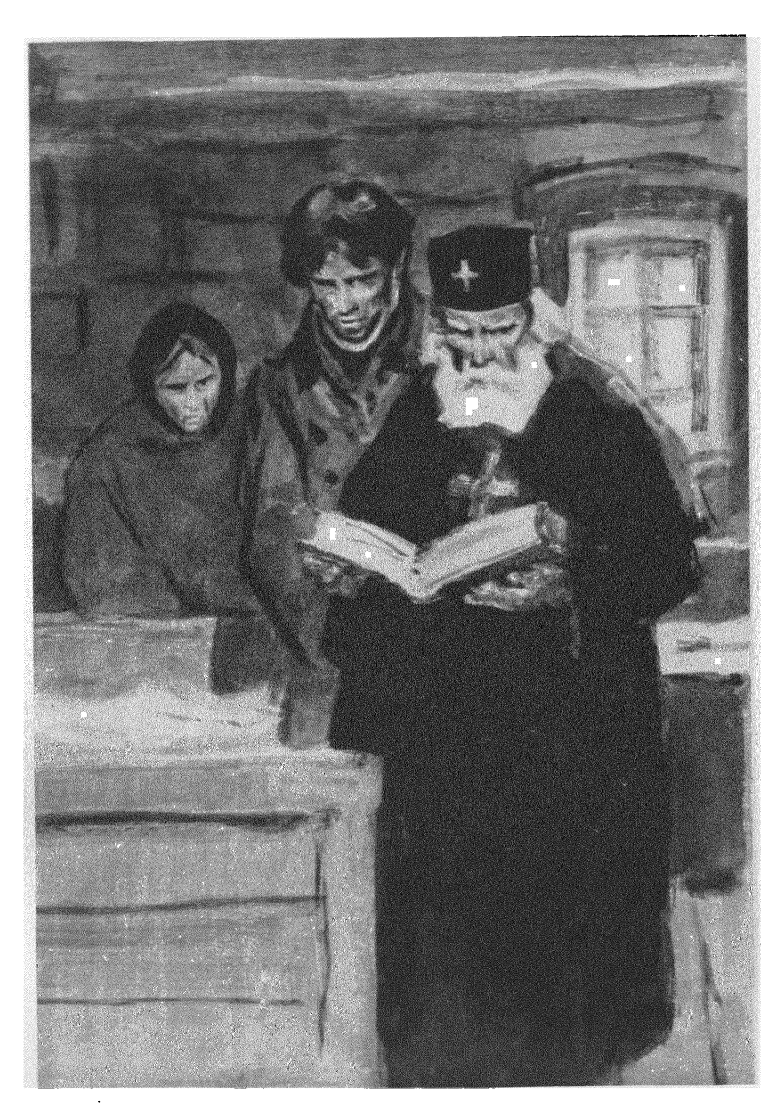
— Пошла вон!.. Уехал! Переехала!.. Старая-то крыса эта! А!.. Это его штуки... его проделки. Уехал!.. Врешь, нагоню, уморю в тюрьме! — говорил Мановский, ходя взад и вперед по комнате, потом вдруг вошел в спальню, там попались ему на глаза приданые ширмы Анны Павловны: одним пинком повалил он их на пол, в несколько минут исщипал на куски, а вслед за этим начал бить окна, не колотя по стеклам, а ударяя по переплету, так что от одного удара разлеталась вся рама. После трех — четырех приемов в спальне не осталось ни одного стекла, и Мановский, видно уже обессилевший, упал на постель. Холодный ветер, пахнувший в разбитые стекла, а может быть, и физическое утомление затушили его горячку. Почти целый час пролежал он, не изменив положения, и, казалось, что-то обдумывал, потом крикнул:

— Эй, кто там!

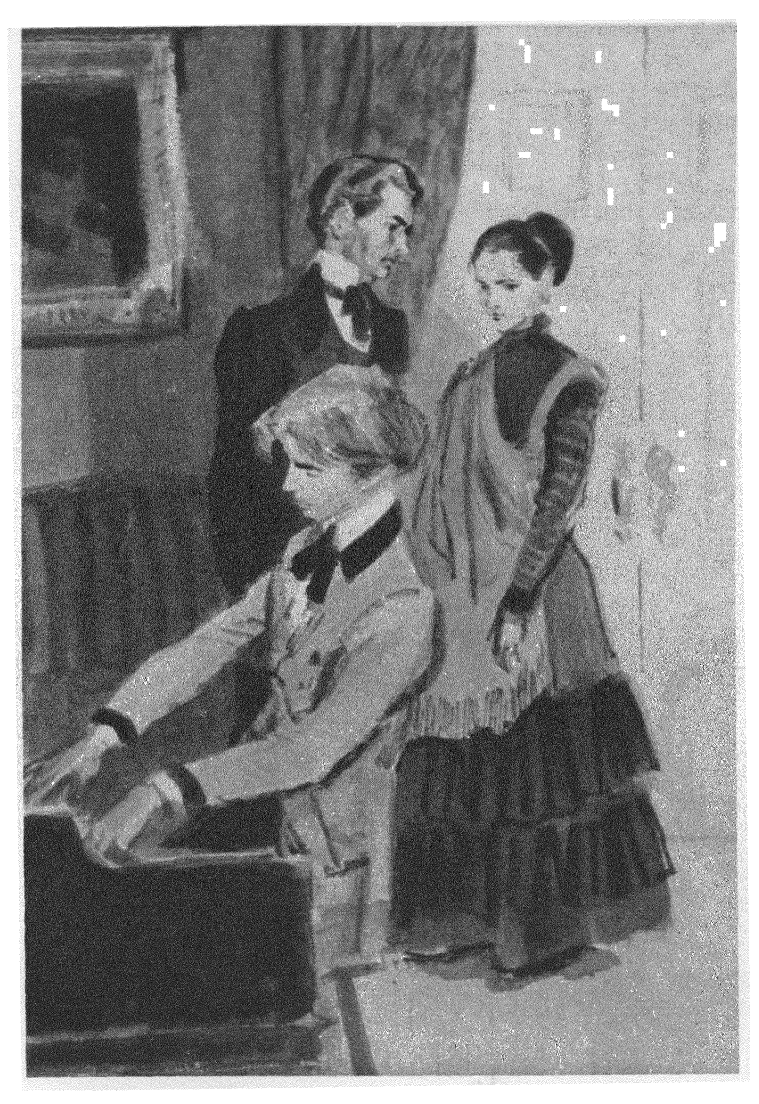
Вошла опять та же Матрена.

— Вели сейчас лошадей готовить,— проговорил он. Матрена ушла.

Часу в двенадцатом ночи Михайло Егорыч был уже в уездном городе, взял там почтовых лошадей и поскакал в губернский город.



«БОЯРЩИНА».



«ВИНОВАТА ЛИ ОНА?»

В этот же самый день граф Сапега сидел в своей гостиной и был в очень дурном расположении духа. У него не выходила из головы сцена, происходившая между Савельем и Анной Павловной и пересказанная ему Иваном Александрычем. «Как она любит его!»,— думал он и невольно оглянулся на свое прошедшее; ему сделалось горько и как-то совестно за самого себя. Любила ли его хоть раз женщина таким образом! Все было наемное, купленное. Вот теперь он старый холостяк, ему около шестидесяти лет; он, может быть, скоро умрет... Умрет!.. Как это страшно! Да, он чувствует, что силы его час от часу слабеют, и что же он делает? Интригует с одной женщиной и хочет соблазнить другую. На этих печальных мыслях доложили ему о приезде Клеопатры Николаевны.

Граф сделал гримасу, и, когда вдова вошла и подала ему по обыкновению руку, он едва привстал с места.

Клеопатра Николаевна села.

— Извините меня, граф,— начала она,— что я не могла себе отказать в желании видеть вас, хоть вам это и неприятно.

— Напротив, я всегда радуюсь вашему посещению,— возразил Сапега.

— Вы не хотели, однако, исполнить моей просьбы и приехать ко мне, вы даже не хотели отвечать мне, бог с вами! — проговорила вдова.

— Я не имел времени,— ответил граф, и оба они замолчали на некоторое время.

— Опасения мои, кажется, сбываются,— начала Клеопатра Николаевна.

— Какие опасения? — спросил Сапега.

— В вашем доме,— продолжала Клеопатра Николаевна, как бы отвечая на вопрос,— живет женщина, которую вы любите и для которой забудете многое.

— Не обижайте этой женщины,— перебил ее строго граф,— она дочь моего старого друга и полумертвая живет в моем доме. В любовницы выбирают здоровых.

Клеопатра Николаевна вспыхнула, она поняла намек графа.

— Простите мою ревность,— начала она, скрывая досаду,— но что же делать, вы мне дороги.

— И вы мне дороги,— сказал двусмысленно граф.

Клеопатра Николаевна поняла тоже и этот каламбур. Она ясно видела, что граф хочет от нее отделаться, и решилась на последнее средство — притвориться страстно влюбленною и поразить старика драматическими эффектами.

— Теперь я понимаю, граф,— сказала она,— я забыта... презрена... вы смеетесь надо мной!.. За что же вы погубили меня, за что же вы отняли у меня спокойную совесть? Зачем же вы старались внушить к себе доверие, любовь, которая довела меня до забвения самой себя, своего долга, заставила забыть меня, что я мать.

— Отчего вы не адресовались с подобными вопросами к Мановскому? — спросил насмешливо граф. Это превышало всякое терпение. Клеопатра Николаевна сначала думала упасть в обморок, но ей хотелось еще поговорить, оправдаться и снова возбудить любовь в старике.

— Это клевета, граф, обидная, безбожная клевета,— отвечала она,— я Мановского всегда ненавидела, вы сами это знаете.

— Тем хуже для вас,— возразил Сапега.

— Граф! Я вижу, вы хотите обижать меня, но это ужасно! Если вы разлюбили меня, то скажите лучше прямо.

— А вы меня любили? — спросил немилосердно Сапега.

— И вы, граф, имеете духу меня об этом спрашивать, когда я принесла вам в жертву свою совесть, утратила свое имя. Со временем меня будет проклинать за вас дочь моя.

— Что ж вам, собственно, от меня угодно? — спросил Сапега.

— Я хочу вашей любви, граф,— продолжала Клеопатра Николаевна,— хочу, чтоб вы позволили любить вас, видеть вас иногда, слышать ваш голос. О, не покидайте меня! — воскликнула она и упала перед графом на колени.

Презрение и досада выразились на лице Сапеги.

— Встаньте, сударыня,— начал он строго,— не заставляйте меня думать, что вы к вашим качествам прибавляете еще и притворство! К чему эти сцены?

— Ах! — вскрикнула вдова и упала в обморок, чтобы доказать графу непритворность своей горести.

Сапега только посмотрел на нее и вышел в кабинет, решившись не посылать никого на помощь, а сам между тем сел против зеркала, в котором видна была та часть гостиной, где лежала Клеопатра Николаевна, и стал наблюдать, что предпримет она, ожидая тщетно пособия.

Прошло несколько минут. Клеопатра Николаевна лежала с закрытыми глазами. Граф начинал уже думать, не в самом ли деле она в обмороке, как вдруг глаза ее открылись. Осмотревши всю комнату и видя, что никого нет, она поправила немного левую руку, на которую, видно, неловко легла, и расстегнула верхнюю пуговицу капота, открыв таким образом верхнюю часть своей роскошной груди, и снова, закрывши глаза, притворилась бесчувственною. Все эти проделки начинали тешить графа, и он решился еще ожидать, что будет дальше. Прошло около четверти часа, терпения не стало более у Клеопатры Николаевны.

— Где я? — произнесла она, приподымаясь с полу, как приподымаются после обморока в театрах актрисы, но, увидя, что по-прежнему никого не было, она проворно встала и начала подходить к зеркалу.

Граф, не ожидавший этого движения, не успел отвернуться, и глаза их встретились в зеркале. Сапега, не могший удержаться, покатился со смеху. Клеопатра Николаевна вышла из себя и с раздраженным видом почти вбежала в кабинет.

— Что это вы со мной делаете! Подлый человек! Развратный старичишка! Мало того, что обесчестил, еще насмехается! — кричала она, забывши всякое приличие и задыхаясь от слез.

— Тише! Тише, сумасшедшая женщина! — говорил граф.

— Нет, я не сумасшедшая, ты сумасшедший, низкий человек!

— Тише, говорят, не кричите.

— Нет, я буду кричать на весь дом, чтобы слышала твоя новая любовница.— Последние слова она произнесла еще громче.

— Поди же вон! — сказал, в свою очередь, взбесившийся Сапега и, взявши вдову за плечи, повернул к дверям в гостиную и вытолкнул из кабинета, замкнувши тотчас дверь.

X

На тех же самых днях, поутру, начальник губернии сидел, по обыкновению, таинственно в своем кабинете. Это уже был старик и, как по большей части водится, плешивый. Смолоду, говорят, он известен был как масон, а теперь сильно страдал ипохондрией. Слывя за человека неглупого и дальновидного, особенно в сношениях с сильными лицами, он вообще был из хитрецов меланхолических, самых, как известно, непроходимых.

Часов около двенадцати дежурный чиновник доложил:

— Полковник Мановский.

— Просите,— сказал губернатор с некоторою даже строгостью.

Задор вошел.

— Здравствуйте, полковник,— произнес губернатор, ласково указывая ему на стул. Тот сел и, видимо, был чем-то встревожен. Губернатор между тем устремил грустный взор на видневшуюся перед ним реку, тоже как-то мрачно взъерошенную осенним ветром.

— Какая погода скверная,— произнес он.

— Нехороша,— отвечал Мановский.— И меня вот третий день так ломает, черт знает что такое и отчего.

— Погода, поверьте,— решил губернатор.

Мановский на это вздохнул и, помолчавши, начал официальным тоном:

— Я к вам с просьбой, ваше превосходительство.

— Что такое? — спросил губернатор, несмотря на свою меланхолию, не совсем равнодушным тоном. Он давно уже слышал об ужасных неприятностях Мановского в семейной жизни.

— У меня жена убежала,— отвечал Михайло Егорыч с свойственной ему твердостью и резкостью, хотя в то же время все лицо его покрылось красными пятнами.— Целый год уже,— продолжал он,— она не только что не живет со мной в супружеском сожитии, но даже мы не видались с ней.

Губернатор грустно посмотрел на него.

— Несмотря на это,— снова продолжал Мановский,— я известился, что она находится в беременном состоянии, а потому просил бы ваше превосходительство об освидетельствовании ее через кого следует и выдать

мне на то документ, так как я именем своим не хочу покрывать этой распутной женщины и желаю иметь с ней развод.

Губернатор думал.

— А где же ваша супруга теперь проживает? — спросил он вдруг, и вопрос этот озадачил немного Мановского.

— Она живет теперь в усадьбе графа Сапеги,— отвечал он.

— Живет уж? — повторил губернатор и позвонил. Вошел дежурный чиновник.

— Потрудитесь, любезный, принести мне от правителя конфиденциальное письмо графа Сапеги, запечатанное в пакете,— проговорил он кротчайшим голосом. Чиновник поклонился и вышел.

— А от графа есть письмо по моему делу? — спросил Мановский.

— Есть,— отвечал значительно губернатор и, чтобы не распространить далее разговора, начал опять грустно смотреть в окно. Чиновник принес дело. Губернатор, взяв от него, выслал его из кабинета и приказал поплотней притворить дверь.

— Это самое письмо и есть, собственной рукой графа написанное,— продолжал губернатор таинственным голосом.— Позвольте прочесть вам? — прибавил он.

Мановский кивком головы изъявил согласие.

Губернатор начал: — «Сверх чаяния, зажившись в губернии, вверенной управлению вашего превосходительства, я сделался довольно близким свидетелем одной неприятной семейной истории. Сосед мой, г. Мановский, в продолжение нескольких лет до того мучил и тиранил свою жену, женщину весьма милую и образованную, что та вынуждена была бежать от него и скрылась в усадьбе другого моего соседа, Эльчанинова, молодого человека, который, если и справедливы слухи, что влюблен в нее, то во всяком случае смело могу заверить, что между ними нет еще такой связи, которая могла бы положить пятно на имя госпожи Мановской. Несмотря на это, местная полиция, подкупаемая варваром-мужем, производила совершенно выходящие из пределов их власти в усадьбе господина Эльчанинова обыски, пугая несчастную женщину и производя отвратительный беспорядок в доме. Прекратив все эти незаконные действия, я вместе с тем

поставляю себе долгом уведомить о том и ваше превосходительство для надлежащего с вашей стороны распоряжения, которым вы удержите полицию от дальнейших ее притязаний и примете под непосредственное ваше покровительство несчастную женщину, в пользу которой все сделанное с вашей стороны я приму за бесконечное и собственно для меня сделанное одолжение».

При чтении этих строчек Мановский только бледнел.

— Что ж мне делать после того, ваше превосходительство? — проговорил он.

— А мне-то тоже что делать? — спросил губернатор.

— Поеду теперь, значит, в Петербург,— проговорил Мановский,— и буду там ходатайствовать. Двадцать пять лет, ваше превосходительство, я служил честно. Я на груди своей ношу знаки отличия и надеюсь, что не позволят и воспретят марать какой-нибудь позорной женщине мундир и кресты офицера.— При последних словах у Михайла Егорыча навернулись даже слезы.

Губернатор развел руками и потупил голову.

— Самый лучший и единственный путь,— проговорил он.

— Я и на вас, ваше превосходительство, буду жаловаться, извините меня,— продолжал Мановский, уже вставая,— так как вы выдаете хоть бы нас, дворян, допуская в домах наших делать разврат кому угодно, оставляя нас беззащитными. Перед законом, полагаю, должны быть все равны: что я, что граф какой-нибудь. Принимая присягу, мы не то говорим перед крестом.

— Ваше дело будет жаловаться, а мое будет отвечать,— возразил на это губернатор с заметною сухостью, и Мановский, поклонившись ему гордо, вышел. Несмотря на свою свирепую запальчивость, он на этот раз себя сдержал, насколько мог, понимая, что губернатор не захочет да и не может даже ничего сделать тут. Выйдя из губернаторского дома и проходя бульваром, он, как бы желая освежиться, шел без шапки и все что-то хватался за голову.

Остановился он на этот раз на квартире, как и всегда, у одного бедного приказного, который уже несколько десятков лет ко всему ихнему роду чувствовал какую-то рабскую преданность, за которую вознаграждаем был каждогодно несколькими пудами муки и еще кой-чем из домашнего запаса. Пришедши на квартиру, Мановский

спросил себе обедать, впрочем, ничего почти не ел и все пил воду; потом прилег как бы соснуть, но не прошло и полчаса, как знакомый наш Сенька, вместо обычного барского крика: *«Эй, малый!»* — услышал какое-то мычание и, вошедши в спальню, увидел, что Михайло Егорыч лежал вверх лицом. При входе его он хотел, видно, встать, но вместо того упал на правую руку.

Сенька постоял немного, поглядел и, видя, что ничего ему не приказывают, опять ушел в свою маленькую прихожую.

— Хмелен, видно!.. Ловко, знать, где-то попало!.. Привстать-то даже не сможет,— решил он, мотнув головой.

Так прошло время до трех часов; хозяин-чиновник, возвратясь из должности, зашел, как делал он это каждодневно, на половину Михайла Егорыча, ради того, чтобы изъявить ему свое почтение, а другое, может быть, и для того, что не удастся ли рюмочку-другую выпить водочки, которая у Мановского была всегда отличная.

— А что, их милость дома или нет? — спросил он у Сеньки.

— Дома-то, дома, хмелен только,— отвечал тот.

— Ну, вот на здоровье; почивать, значит, теперь изволит.

— Бог его знает, спит не спит, а лежит да глазами только хлопает. Слышите, вон замычал.

— Ай, батенька, царица небесная! Да чтой-то это такое, поглядеть надо,— проговорил добряк и заглянул в спальню. Михайло Егорыч лежал вверх лицом сначала неподвижно, потом приподнял левой рукой правую, подержал ее в воздухе и отпустил; она, как плеть, упала на постель.

— Отцы мои! Да у него владения, знать, нет,— вскрикнул приказный, всплеснувши руками.— Отец мой! Михайло Егорыч! — произнес он, подходя к постели.

— Хмы! Хмы! Хмы! — мычал Мановский.

— Не сходить ли за доктором, Михайло Егорыч?

Мановский мотнул головой.

— Сейчас, батюшка,— сказал добряк и выбежал.— Поди к барину-то,— произнес он Сеньке, пробегая лакейскую.

Вскоре приехавший с ним лекарь осмотрел Манов-

ского и велел ему пустить кровь и растирать правую сторону щетками.

— Что это такое, батюшка, что такое с благодетелем-то случилось? — спросил приказный, когда они вышли из спальни.

— Ничего, паралич,— отвечал мрачно и лаконически доктор и потом, севши на дрожки, проговорил сам с собою: — Скоты этакие, зовут и не платят.

Положение графа, в свою очередь, тоже становилось час от часу неприятнее. Конечно, ему писали из Петербурга, что Эльчанинов приехал туда и с первых же дней начал пользоваться петербургскою жизнью, а о деревне, кажется, забыл и думать, тем более что познакомился с Наденькой и целые вечера просиживал у ней; кроме того, Сапега знал уже, что и Мановский, главный враг его, разбит параличом и полумертвый привезен в деревню. Несмотря на все эти благоприятные извне обстоятельства, Сапега более и более терял надежду склонить Анну Павловну на свои искания. Горесть ее была так велика, так непритворна, что он даже никогда не решался намекнуть ей о любви своей, чему еще, надобно сказать, мешал и Савелий, оттолкнуть которого не было никакой возможности, а между тем Иван Александрыч пересказывал дяде всевозможные сплетни, которые сочинялись в Боярщине насчет его отношений к Анне Павловне. Терпение Сапеги начинало ослабевать, роль бескорыстного покровителя решительно была не в его духе. Он начинал не на шутку скучать и досадовать. Он даже жалел, что расстался с Клеопатрой Николаевной, и решился было снова возобновить с ней прежние отношения, но вновь полученные письма из Петербурга изменили его планы. Ему писали, что, по приказанию его, Эльчанинов был познакомлен, между прочим, с домом Неворского и понравился там всем дамам до бесконечности своими рассказами об ужасной провинции и о смешных помещиках, посреди которых он жил и живет теперь граф, и всем этим заинтересовал даже самого старика в такой мере, что тот велел его зачислить к себе чиновником особых поручений и пригласил его каждый день ходить к нему обедать и что, наконец, на днях приезжал сам Эльчанинов, сначала очень расстроенный, а потом откровенно признавшийся, что не может и не считает почти себя обязанным ехать в деревню или вызывать к себе известную даму, перед

которой просил даже солгать и сказать ей, что он умер, и в доказательство чего отдал послать ей кольцо его и локон волос. Прочитав эти известия, даже граф удивился.

— Ах, какой дрянной и ветреный мальчишка! — проговорил он.

Чтоб оправдать хоть сколько-нибудь моего героя, я должен упомянуть здесь об одном обстоятельстве. Вскоре после его приезда в Петербург Клеопатра Николаевна писала ему:

«Добрый друг!

Не могу удержаться, чтобы не известить вас об одном, конечно, неприятном для вашего сердца случае, но призовите, добрый друг, на помощь религию, ваш рассудок и будьте благоразумны. Женщина, которую вы любите, не стоит того. Ах! Если б вы знали, как мне тяжело это сказать! Она на другой же день переехала к графу и теперь очень спокойно живет у него. Нужно ли говорить, в каких они отношениях? Теперь очень понятно поведение этого ужасного старика. Как можно теперь верить женщинам! Мы еще иногда обвиняем мужчин, но они против нас просто ангелы. Услышавши, что эта особа переехала в Каменки и еще кой-что, я решилась сама убедиться в том и поехала к графу, но жестоко была наказана за мое любопытство. Когда я вошла в гостиную, то увидела совершенно аркадскую сцену, от которой ужас овладел мною, и я тотчас уехала. Не огорчайтесь и не отчаивайтесь, добрый друг! Вы мужчина, должны быть тверды, должны забыть недостойную. Я очень боюсь, чтобы вы не предприняли чего-нибудь решительного и не захотели бы кровью отмстить коварному вашему покровителю. Конечно, он стоит смерти, но поберегите себя хоть для меня, если по-прежнему считаете меня вашим другом.

Любившая и любящая вас *Cléopatre*».

Эльчанинов, получивший это письмо и желавший в душе, чтобы это было так, поверил всему безусловно. Считая потом себя вправе окончательно отказаться от этой женщины, налгал при этом случае, сколько только возможно налгать. Граф между тем рассуждал сам с собой: «Что делать?.. Объявить ли Анне Павловне о мнимой смерти Эльчанинова, раскрыть перед нею страшную перспективу бедности, унижения и обещать ей все это испра-

вить при известных условиях? Неужели же эта женщина скорее решится умереть с голоду, чем приневолить себя полюбить его? Конечно, благоразумие требовало бы некоторой постепенности, надобно, чтоб она привыкла к мысли, что для нее более не существует любимый человек; но, может быть, это продолжится еще долго»,— заключил граф и принял намерение действовать, не отлагая времени и решительно. Следующая же ночь была избрана для того, потому что Савелий только на это время и оставлял Анну Павловну одну и уходил спать в отдаленную комнату.

С приближением решительной минуты графом начало живей и живей овладевать беспокойство. Рассудок говорил о безрассудной его дерзости, советовал повыждать для более верного успеха; но известен закон, что самые запальчивые и безрассудные люди в любви — это старики и молодые юноши. Когда пробило на часах двенадцать и все в доме, казалось, улеглось и заснуло, Сапега вышел из кабинета, почти бегом пробежал коридор и тихонько отворил дверь в спальню Анны Павловны. Ночная лампада слабо освещала комнату, и только ярко блестел золотой оклад старинной иконы. Граф невольно отвернул глаза от образа и взглянул на кровать: Анна Павловна крепко спала; на бледном лице ее видна была улыбка, как будто бы ей снились приятные грезы; из-под белого одеяла выставлялась почти до плеча голая рука, несколько прядей волос выбивались из-под ночного чепчика. Этого было достаточно, чтобы графа остановило всякое другое чувство. Он быстро подошел к кровати и поцеловал спящую Анну Павловну в лоб. Она открыла глаза и болезненно вскрикнула.

— Тише, бога ради, тише,— начал граф,— я пришел к вам говорить, я буду говорить о Валерьяне Александрыче, я о нем вам скажу.

Анна Павловна не могла еще опомниться.

— Я сейчас получил о Валерьяне Александрыче известие, я хочу с вами говорить,— продолжал торопливо Сапега.

— О Валере?.. Вы от Валера получили письмо? Он меня, верно, зовет,— сказала Анна Павловна, приподымаясь.— Покажите мне письмо, дайте мне поскорее. Боже! Неужели это правда? Дайте, где оно у вас? — И она хватала графа за руки.

— Позвольте мне сесть около вас,— сказал тот, садясь на кровать.

— Дайте мне письмо! Здоров ли Валер? Дайте поскорее.

— Хорошо, хорошо,— отвечал Сапега,— только вы прежде скажите мне, за что вы его так любите?

— Граф! — воскликнула уже со слезами бедная женщина.— Вы терзаете меня, вы злой человек, я не хочу с вами говорить.

— Нет, Анна Павловна, я должен с вами говорить,— произнес с твердостью Сапега, уже овладевши собою.

— Покажите мне письмо Валера.

— Покажу, но прежде позвольте мне сказать вам хоть несколько слов о себе. Знаете ли, как я вас люблю, как я страдал за вас; вы ничего этого не видите, вы не чувствуете даже ко мне благодарности.

— Я благодарна вам.

— Нет, и этого нет: вы только опасаетесь и почти ненавидите меня. Вы не понимаете, чего мне стоило покровительство вашему любимцу, когда я сам в вас влюблен. Поставьте себя хоть на минуту в мое положение.

— Граф!..

— Дайте мне договорить: я целые полгода скрывал себя, я обрек себя на полное самоотвержение. Любя вас, я покровительствовал вашей любви к другому человеку, потому что думал, что в этой любви ваше счастье.

— Я буду вам вечно признательна, граф,— покажите мне письмо.

— Еще два слова: я думал, что если она и не любит меня, то по крайней мере благословит когда-нибудь мою память, но бог не дал мне и этого: я не сделал вас счастливою, я обманулся, как обманулись и вы. В этой любви ваша погибель, если только вы сами не будете благоразумны.

— Граф, выйдите вон! — сказала Анна Павловна с какой-то несвойственной твердостью.— Вы нарочно сюда пришли, выйдите, иначе я закричу, вы обманываете меня, вы не получили письма.

— Извольте, я уйду, но только я получил письмо,— отвечал хладнокровно Сапега и встал.

— Постойте! — вскричала Анна Павловна, останавли-

вая его рукою.— Покажите мне письмо, бога ради, покажите!

— Поцелуйте меня за это, так и покажу,— проговорил Сапега как бы с отеческою улыбкою.

— Извольте, я буду целовать, сколько хотите,— отвечала Анна Павловна и сама, обняв его шею руками, начала торопливо целовать.

У графа опять кровь бросилась в голову, он обхватил ее за талию, целовал ее шею, глаза... Анна Павловна поняла опасность своего положения. Чувство стыда и самосохранения, овладевшее ею, заставило забыть главную мысль. Она сильно толкнула графа, но тот держал ее крепко.

— Помогите! — вскрикнула бедная женщина.

— Не кричите или вы погибли,— начал шепотом Сапега.— Я вас оставлю одну, на нищету, на позор, забуду мою любовь и предам вас мужу. Любовник ваш умер, вот известие о его смерти,— прибавил он и выбросил из кармана особо присланное письмо поверенного, извещавшее о смерти Эльчанинова. Все забывшая, Анна Павловна схватила его, развернула, и при этом выпали кольцо и волосы Эльчанинова. Прочитав первые же строки, бедная женщина что-то приостановилась. Граф с невольным удивлением взглянул ей в лицо, на котором как бы мгновенно изгладилось всякое присутствие мысли и чувства: ни горя, ни испуга, ни удивления — ничего не было видно в ее чертах; глаза ее, взглянув на икону, неподвижно остановились, рот полураскрылся, опустившиеся руки вытянулись.

— Анна Павловна, что с вами? — спросил Сапега, взяв ее за руку.

Ответа не было.

— Господи! Что с вами? Анна Павловна, придите в себя, перекреститесь! — продолжал он испуганным тоном, поднимая ее руку и складывая пальцы в крест.

— Дайте мне письмо, дайте,— проговорила больная каким-то странным голосом.

— Письмо у вас, но вы ему не верьте, это все ложь. Эльчанинов жив, он только изменил вам, но я заставлю его силой полюбить вас, если вы этого хотите! Но только теперь, бога ради, прилягте, успокойтесь,— говорил окончательно растерявшийся старик, взяв Анну Павловну за плечи и стараясь уложить ее.

— Прочь! — закричала она раздирающим голосом, сильно толкнув Сапегу в грудь.— Мне душно! Жарко! — кричала она. Граф тут только догадался, что Анна Павловна помешалась.

— Душно! Жарко! — продолжала она кричать, метаясь по кровати.— Ох, душно!

Граф дрожал всем телом, ужас, совесть и жалость почти обезумели его самого. Он выбежал из комнаты, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но вместо того прошел в свой кабинет и в изнеможении упал на диван. Ему все еще слышалось, как несчастная кричала: «Душно! Жарко!» Сапега зажал себе уши. Прошло несколько минут, в продолжение которых криков не было слышно.

— Она умерла! — проговорил он и, вскочивши с дивана, что есть силы начал звонить в колокольчик; вбежал полусонный камердинер.

— Вели... беги... постой... Я слышал в комнате Анны Павловны крик, поди, попроси Савелия Никандрыча сюда. Нет,— говорил Сапега, но в это время снова раздался крик, и он опять упал на диван и зажал уши. Ничего не понимавший камердинер не трогался с места.

— Пошли, говорят тебе, Савелия Никандрыча,— произнес взбешенным голосом граф.

Камердинер вышел и скоро возвратился со свечою.

— Савелий Никандрыч у Анны Павловны,— проговорил он.

— Что с ней, что она? — спросил дрожащим голосом Сапега.

— Не могу доложить, ваше сиятельство, должно быть, хуже, Савелий Никандрыч укладывают их в постель.

Крики снова раздались.

— Господи, сохрани ее! — воскликнул граф.— Послушай, теперь можно ехать.

— Куда, ваше сиятельство?

— В Петербург; вели приготовлять лошадей, я сейчас еду в Петербург.

Камердинер стоял в недоумении.

— Сейчас еду,— повторил граф,— вы приедете после. Вели готовить лошадей.

Камердинер вышел.

Оставшись один, граф подошел к рабочему бюро

и взял было сначала письменный портфель, видно, с намерением писать; но потом, как бы что-то вспомнив, вынул из шкатулки пук ассигнаций и начал их считать. Руки его дрожали, он беспрестанно ошибался. Вошел камердинер, и граф, как пойманный школьник, поспешно бросил отсчитанную пачку опять назад в шкатулку.

— Вам угодно переодеться? — спросил тот.

— Приготовь.

Камердинер вышел.

Сапега вынул из портфеля лист почтовой бумаги и написал скорей какими-то каракулями, чем буквами:

«Мой любезный Савелий Никандрыч! Нечаянное известие заставляет меня сию минуту ехать в Петербург. Я слышал, что Анне Павловне хуже, посылаю вам две тысячи рублей. Бога ради, сейчас поезжайте в город и пользуйте ее; возьмите мой экипаж, но только не теряйте времени. Я не хочу больную обеспокоить прощаньем и не хочу отвлекать вас. Прощайте, не оставляйте больную, теперь она по преимуществу нуждается в вашей помощи. Эльчанинов оказался очень низким человеком.

Сапега».

Граф торопливо свернул письмо, вложил в конверт и запечатал.

— Лошади готовы-с,— сказал вошедший камердинер.

Сапега проворно переоделся в дорожное платье.

— Отдай это письмо Савелию Никандрычу,— сказал он, подавая ему пакет,— и вели управителю дать ему мой экипаж, он с больной скоро уедет. Вы соберитесь послезавтра.

Эти слова граф говорил, уже проходя залу и последуемый камердинером, который нес за ним шкатулку и портфель. Лестницу Сапега пробежал бегом.

— Постойте, ваше сиятельство,— раздался голос сверху.— Скажите, жив или нет Валерьян Александрыч?

— Жив,— отвечал граф.— Пошел! — крикнул он, и экипаж помчался.

На крыльце остался бледный Савелий, в руках у него было письмо Эльчанинова, найденное им на постели больной.

— Его сиятельство приказали вам отдать письмо! — сказал камердинер, подавая ему письмо графа.

— Куда уехал граф?

— В Петербург.

— Анна Павловна очень тоскует,— послышался голос горничной.

Савелий бросился в комнаты.

XI

Савелий снова поселился в своем домике. Вместе с ним жила больная и помешанная Анна Павловна. Граф, растерявшийся, как мы видели, вконец, написал к Савелью письмо, в котором упоминал о деньгах, но самые деньги забыл вложить. Савелий, пораженный припадком безумия Анны Павловны, потом известием о смерти Эльчанинова, нечаянным отъездом самого графа и, наконец, новым известием, что Эльчанинов жив, только на другой день прочитал это письмо и остался в окончательном недоумении. Он начал было спрашивать людей, не оставил ли кому-нибудь граф, но те отвечали, что его сиятельство приказали только приготовить экипаж для отъезда Анны Павловны, куда ей будет угодно. Поступок графа крайне удивил его. «Он, верно, был ночью у Анны Павловны и показал письмо о смерти Эльчанинова, а теперь, когда она помешалась, он бежал, будучи не в состоянии выгнать ее при себе из дома; но как же в деньгах-то, при его состоянии сподличать, это уж невероятно!..» Подумав, Савелий в тот же день потребовал экипаж и перевез больную к себе в Ярцово.

Флигелек его разделялся на две половины, в одной из них жил его мужик с семейством и пускались по зимам коровы и овцы, а другую занимал он сам. Последняя была, в свою очередь, разгорожена на две комнатки — на прихожую и спаленку, в которой он поместил больную.

Прошла неделя, Анне Павловне было все хуже. Савелий сидел, облокотясь на деревянный некрашеный стол и понурив голову. Боже! Как изменился он с тех пор, как мы в первый раз с ним встретились: здоровый и свежий цвет лица его был бледен, густые волосы, которые он прежде держал всегда в порядке, теперь безобразными клочками лежали на голове; одет он был во что попало; занятый, как видно, тяжелыми размышлениями, он, впрочем, не переставал прислушиваться, что делалось в соседней комнате. Наконец, двери оттуда тихо отво-

рились: вышла баба в нагольном тулупе и ситцевом повойнике.

— Что, Аксинья? — спросил Савелий.

— Мечется, сердечная, больно,— отвечала та.

— Что-то Кузьма, скоро ли приедет? — проговорил Савелий.

— Ну, где еще скоро, поди, чай, дешево дают. Только мне жаль больно, Савелий Никандрыч, кобылу-то: корова пускай, нешто, плоха была к молоку, кобылы-то больно жаль, славная была и жереба еще к тому.

— Ну, что тут вздор жалеть, лекарь бы только приехал.

— Ох, уж вы с вашими лекарями-то: ну, что ономнясь: постоял, да и уехал, а еще красненькую дали.

— Холодной водой хотел попробовать обливать,— проговорил Савелий как бы сам с собою.

— Вон еще, холодной водой обливать, словно пьяного мужика,— подхватила баба.— Послушались бы меня, отслужили бы учетный молебен: ей вчерась, после причастья, словно полегче стало. Отец Василий больно вон горазд служить. Я спосылаю парнишку.

— Спосылай! — отвечал Савелий.

Баба ушла, воротилась и опять прошла в спальню. Савелий все сидел, не переменяя своего положения; наконец, Аксинья снова вышла.

— Батюшка, Савелий Никандрыч,— начала она,— голубушка-то наша что-то больно уж тяжко дышит и ручки вытянула, уж не кончается ли она?

Савелий вскочил и торопливо вошел в спаленку. Аксинья последовала за ним.

Больная лежала вверх лицом, глаза ее были закрыты, безжизненное выражение лица безумной заменилось каким-то спокойствием. Она действительно тяжело дышала. Савелий приблизился и взял ее за руку, больная взмахнула глазами: Савелий едва не вскрикнул от радости, в глазах ее не было прежнего безумия.

— Анна Павловна! Узнали ли меня? — спросил он.

Но она только ласково улыбнулась и, ничего не ответив, снова закрыла глаза. Бог судил ей в последний раз прийти в себя и посмотреть на истинно любящего ее человека. Дыхание ее стало учащаться, лицо более и более бледнело.

Приехал священник и вместо учетного молебна начал

читать отходную. Через несколько минут она скончалась. Аксинья завыла во весь голос, священник, несмотря на привычку, прослезился. Окончив отходную, он отер глаза бумажным платком и в каком-то раздумье сел на стул. Савелий стоял, прислонясь к косяку, и глядел на покойницу.

— Умерла она, батюшка? — спросил он священника.

— Померла, сударь, прияла успокоение,— отвечал священник.— Сном праведника почила, на редкость у младенцев такая тихая кончина.

— Холоднешенька, моя родная,— говорила Аксинья, щупая руки умершей и заливаясь слезами.

Савелий вышел в другую комнату и сел на прежнее место. Аксинья ушла позвать на помощь соседок, обряжать покойницу. Священник зажег несколько восковых свечей и начал кадить ладаном.

Вошел воротившийся Кузьма.

— Лекарю-то некогда, к нему какой-то генерал приехал, так, слышь, все и сидит у него,— сказал он после минутного молчания, видя, что барин ничего его не спрашивает.

— А продал ли, что я велел? — спросил, наконец, Савелий.

— Продал, Савелий Никандрыч, да только дешево дали, за обеих-то семьдесят пять рублей.— С этими словами он положил деньги на стол.

— Довольно на похороны? — спросил Савелий священника.

— Да ведь как повернете? Надо полагать, что довольно.

Савелий вздохнул.

В Могилках тоже были слезы. В той же самой гостиной, в которой мы в первый раз встретили несокрушимого, казалось, физически и нравственно Михайла Егорыча, молодцевато и сурово ходившего по комнате, он уже полулежал в креслах на колесах; правая рука его висела, как плеть, правая сторона щеки и губ отвисла. Матрена, еще более пополневшая, поила барина чаем с блюдечка, подносся его, видно, не совсем простывшим, так что больной, хлебнув, только морщился и тряс головою.

— Что поп?.. Помолится,— проговорил намеками Михайло Егорыч.

— Послали, батюшка... не замешкают, приедут,— отвечала Матрена.— Похороны, слышь, у них сегодня! — прибавила она, вздохнув.

— Чьи? — намекнул Михайло Егорыч.

Матрена некоторое время медлила.

— Нашей Анны Павловны, батюшка,— ответила, наконец, она.

Мановский вдруг заревел на весь дом.

— Батюшка! Да о чем это? Что это, полноте...

— Мне жаль ее,— промычал явственно Мановский и продолжал рыдать.

Пришли священники и стали служить всенощную. Михайло Егорыч крестился левой рукой и все что-то шептал губами, а когда служба кончилась, он подозвал к себе Матрену, показал ей рукой на что-то под диван. Та, видно, знавшая, вынула оттуда железную шкатулку.

— Топри, топри,— бормотал Михайло Егорыч.

Матрена отперла ключом, навязанным на носовом платке барина. Мановский вынул левой рукой пук ассигнаций и подал священнику.

— Ради чего это? — спросил тот Матрену.

— За покой души! Памятник!..— намекнул Мановский.

— Чьей, сударь, души? — спросил священник.

— Аннушки! Мне жаль ее,— промычал Михайло Егорыч и опять заревел.

XII

Прошел год после смерти Анны Павловны. Предводительша возвратилась из Петербурга; Боярщина еще чаще стала ездить в Кочарево. Возвратившаяся хозяйка принимала гостей по большей части в диванной, которую она в последнее время полюбила перед прочими комнатами, потому что меблировала ее привезенною из Петербурга премиленькой мебелью.

Однажды вечером она полулежала на маленьком диване; это была очень еще нестарая дама, искренне или притворно чувствительная и вечно страдавшая нервами, в доказательство чего, даже в настоящую минуту, она держала флакон с одеколоном в руках. Около ее ног на креслах помещался старый ее супруг, с какой-то собачьей преданностью смотревший ей в глаза. Из гостей были са-

мые частые их гости: Симановская с мужем, Уситкова в своем бессменном блондовом чепце и, наконец, сам Уситков, по загорелому и красному цвету лица которого можно было догадаться, что он недавно возвратился из дальней дороги.

— Наконец, вы поместили вашего ребенка,— сказала хозяйка, обращаясь к нему, и он разинул уже было рот, чтобы отвечать, но жена перебила его.

— Ничего бы ему не поместить, кабы не граф и не мои к нему просьбы,— проговорила она.

— А вы видели графа? — спросила предводительша Уситкова.

— Видел-с, как же: постарел очень, узнать нельзя, говорит, что, как приехал из деревни, все хворает: простудился.

— А еще кого-нибудь из наших знакомых не видали ли? — спросила молоденькая Симановская, имевшая наклонность по известному свойству характера знать как можно больше и больше.

— Да кого еще из знакомых-то,— отвечал с расстановкою Уситков.— Эльчанинова видел,— прибавил он.

— Что ж он там делает? — спросил хозяин.

— Сочинителем сделался, сочинения, говорит, пишет... только в тонких, кажется, обстоятельствах: после третьего же слова денег попросил взаймы...— отвечал Уситков.

— Эльчанинова? — повторила хозяйка, прищурив глаза и обращаясь к мужу.— Не о нем ли, папаша, ты писал ко мне, еще какое-то *романическое приключение,* что-то такое, он увез кого-то, женился, что ли?

— Да, у Задор-Мановского жену увез.

Предводительша произнесла: «А!» — и с каким-то особым выражением сжала губы.

— Что, господа, не видали ли кто Михайло Егорыча? — продолжал старик, обращаясь к гостям.

— Я на днях заезжал и видел,— отвечал Симановский,— жалко смотреть-то стало: из этакого сильного мужчины сделался какой-то малый ребенок.

— Бог знает, что делает! — произнесла Уситкова, качнув головой.— Хотя, конечно,— прибавила она,— по милости женушки в таком положении.

— Что ж ему женушка сделала? — спросила предводительша.

— Как, Софья Михайловна, помилуйте, что сделала? —

возразила Уситкова почти обиженным голосом.— Осрамила на весь мир; ну, человек с амбицией — не вынес этого и свалился, хотя опять-таки скажу: бог знает, что делает.

— Где ж теперь она? — спросила хозяйка.

— Она и сама, бедненькая, умерла,— отвечала грустным голосом Симановская.

— Очень бедненькая! Как этаких бедненьких жалеть, так жалости недостанет. Была в связи с Эльчаниновым, тот бросил, подделалась к графу, а тут и к лапотнику перешла! — произнесла Уситкова.

— Нет, нет,— перебила Симановская,— что у графа и у Савелия она жила, лишившись рассудка, это я наверное знаю.

— Да ведь и я тоже знаю, не моложе вас и, может быть, поопытней,— возразила Уситкова.

— У вас никто и не перебивает вашего права,— возразила Симановская.

— Она тут, у этого бедняка Савелия, и умерла? — перебила их хозяйка, обращаясь к Симановской.

— Тут и умерла,— отвечала та.

Предводительша вздохнула.

— Незадолго до моего отъезда из Петербурга одна девушка умерла решительно от любви,— произнесла она, и разговор на некоторое время прекратился.

— Про графа, кажется, тут пустяки говорили...— начал было хозяин.

— Неужели еще он думает нравиться женщинам? — перебила его стремительно и с некоторым негодованием предводительша.

— Как же,— отвечал старик,— он и за нашей Клеопашей ухаживал.

— Неужели? Ах, это мило! Что ж она?

— Конечно, мазала по губам.

— Ах да, она ужасная шалунья в этих случаях, не все имеют такие легкие характеры,— произнесла хозяйка и опять вздохнула.

— Клеопатра Николаевна, при всей своей веселости, женщина с правилами,— начала Уситкова, имевшая привычку и хвалить и бранить человечество резко, где, по ее расчетам, было это нужно.— Я недавно была у нее целый день и не могла налюбоваться, как она обращается с своей дочерью: что называется и строго и ласково, как

следует матери,— прибавила она, чтоб угодить хозяевам, но предводительша не обратила никакого внимания на ее слова, потому что терпеть ее не могла, испытав на собственном имени остроту ее зубов.

— Меня все занимает это романическое приключение,— начала она.— Где ж этот Савелий? Я у тебя, Alexis, его не вижу, отчего он не ходит к тебе?

— В службу, милушка, ушел, на Кавказ,— отвечал предводитель,— едва и дворянство-то ему выхлопотали.

— Славный будет служака,— заметил Уситков.

— Малый здоровый, пешком ушел на Кавказ-то,— произнес Симановский, поежившись от беспрерывной ревматической ломоты в сухих своих ногах.

— Пешком? Ах, бедненький, ему, верно, не на что было ехать,— произнесла предводительша и покачала головой.

ВИНОВАТА ЛИ ОНА?

Записки

I

Мне было двадцать два года. Я перешел на четвертый курс математического отделения [1]. Освоившись с факультетом, мне очень легко стало заниматься, свободного времени начало у меня оставаться очень довольно, но куда его девать и чем наполнить даже в многолюдной Москве небогатому и одинокому студенту? Я жил один, знакомых не имел никого, и единственным моим развлечением было часа по два, по три ходить по Тверскому бульвару и бог знает чего не передумать. Однажды я встретил молодого человека, который прямо обратился ко мне с вопросом:

— Не знаете ли кого-нибудь из ваших товарищей, кто бы приготовил меня в университет?

Я посмотрел на него пристально; на вид ему было лет осьмнадцать, одет он был небрежно, в приемах его видна была беспечность. Лицо выразительно и с глубоким оттенком меланхолии.

— Если вам угодно, я могу это взять на себя,— отвечал я.

— Пожалуйста, мне надобно приготовиться из математики. Вы какого факультета?

— Математик.

— Это хорошо, а вы почем возьмете за урок?

---

[1] Московского университета. *(Прим. автора.)*

Этот прямой вопрос меня сконфузил.

— Обыкновенную цену — рубль серебром,— отвечал я.

Молодой человек подумал.

— Хорошо, это я могу дать. Ваша фамилия? — проговорил он.

Я сказал, он мне назвал свою, дал адрес квартиры и просил прийти на другой день в семь часов вечера.

— Вы живете одни или с семейством? — спросил я.

— С матерью, есть и сестры,— отвечал он.

Мы расстались.

Я возвратился домой очень довольный этой встречей, мне давно хотелось иметь урок — не для денег, которых хотя было у меня и немного, но доставало на мои умеренные желания, но мне желалось учить, хотелось иметь право передавать другому свои знания, убеждения, а того и другого было в моей голове довольно в запасе.

На другой день я отправился еще за полчаса до назначенного срока. Дом, который отыскал по адресу, был барской; стоял он на дворе, по бокам тянулись огромные каменные прислуги, кругом почти целый квартал обхватывала железная решетка. Я долго путался в огромных сенях, наконец вошел в бельэтаже в главные двери. Лакей в ливрее на вопрос мой: «Здесь ли живет Леонид Николаич Ваньковский?» — отвечал довольно грубо: «Ступайте на самый верх, направо». Наверху в передней я никого не нашел, в зале тоже; из соседней комнаты слышался разговор, я начал кашлять, выглянула молодая девушка. Я поклонился ей.

— Вам, верно, брата Леонида нужно? — проговорила она и ушла назад.

Чрез несколько минут вышел мой ученик.

— Bon soir[1], пойдемте в кабинет,— проговорил он, подавая мне руку.

Мы вошли в довольно большую комнату, которая, видно, действительно была некогда богатым кабинетом, но в настоящее время представляла страшный беспорядок: стены под мрамор в некоторых местах были безбожно исколочены гвоздями, в углу стоял красивый, но с изломанною переднею решеткою камин, на картине масляной работы висела шинель. Хозяин спал на кушетке, на кото-

---

[1] Добрый вечер, (*франц.*)

рой еще лежали неубранные простыня и подушки. Мягкая мебель, обитая бархатом, была переломана и изорвана. На огромном красного дерева столе лежали кипами бумаги, книги и ноты. Мы сели около этого стола.

— С чего же мы начнем? — заговорил я серьезным тоном наставника.

— С чего хотите,— отвечал ученик небрежно.

— Я желал бы,— продолжал я в том же тоне,— прежде испытать, в какой мере вы знакомы с математикою, и просил бы позволить мне проэкзаменовать вас.

— Хорошо.

— Первую часть арифметики, вероятно, вы знаете?

— Знаю.

— А вторую?

— Кажется, знаю; впрочем, может быть, и забыл.

Я взял лист бумаги и хотел написать задачу, но оказалось, что из дюжины торчавших в чернильнице перьев ни одно не писало, да и чернил почти не было.

— У вас перья не совсем в порядке,— заметил я.

— Да; я сам не умею чинить; вот вам карандаш,— отвечал ученик, поднимая с полу карандаш и подавая мне его.

Для первого испытания я задал ему сложение десятичных дробей; он взял и положил с какою-то насмешливою улыбкою лист перед собою, подумал немного, провел несколько линий карандашом по бумаге и, отодвинув ее от себя, проговорил:

— Нет, не знаю, позабыл.

Я задал ему сложение простых дробей, но он и в тех спутался; потом об алгебре признался, что совсем ее не знает, а геометрии немного. Я принялся экзаменовать его в геометрии, на поверку вышло, что и в геометрии нуль. Я нахмурился.

— Вы очень слабы в математике; с вами надобно проходить с начала,— сказал я.

— Лучше с начала, а то я все перезабыл.

— Стало быть, мы начнем со второй части арифметики,— решил я.

Ваньковский в знак согласия кивнул головой. Я был убежден, что с ним следовало бы начать с первой части арифметики, но высказать ему это мне на первый раз было совестно.

В продолжение часа я толковал с увлечением, и в то

время, как окончательно хотел объяснить прием деления дробей, ученик мой во все горло зевнул и спросил меня:

— Вы курите?

Мне сделалось стыдно за себя и досадно на него.

— Курю,— отвечал я.

— Хотите трубку или сигару?

— Позвольте трубку.

Леонид встал, наложил мне сам трубку, а себе закурил сигару, и когда я хотел снова обратиться к толкованию, он сказал:

— Будет, больше часа прошло, не хочется что-то сегодня.

Я пожал плечами.

— Вам надобно очень много заниматься, чтобы выдержать экзамен,— произнес я с ударением.

— Займусь,— я хочу на юридический.

— Все равно; надобно выдержать экзамен из всех предметов,— отвечал я.

— Что тебе, Лида? — спросил Леонид, обращаясь к дверям.

— Вы здесь будете пить чай или туда придете? — раздался женский голос.

Я обернулся; это была прежняя девушка.

— Туда придем,— отвечал Леонид.

Девушка скрылась. Я взялся за фуражку.

— Куда же вы? Посидите, пойдемте, я познакомлю вас с нашими.

Я положил фуражку; он провел меня в гостиную. В больших креслах сидела высокая худощавая дама лет сорока пяти, рядом с нею помещался, должно быть, какой-нибудь помещик, маленький, толстенький, совсем белокурый, с жиденькими, сильно нафабренными усами, закрученными вверх, с лицом одутловатым и подозрительно красным. Лидия разливала чай, около нее сидели чопорно на высоких детских креслах две маленькие девочки.

Ученик мой подвел меня к даме и отрекомендовал. «Матушка моя»,— отнесся он ко мне.

Госпожа Ваньковская кивнула мне слегка головою и, проговоря с обязательною улыбкою: «Очень приятно познакомиться», указала мне глазами на ближайший стул.

Я сел.

— Вы давно в университете? — спросила она меня.

— Четвертый год.

— Имеете батюшку, матушку?

— Имею-с мать.

— Как, я думаю, ей приятно, что вы в университете, я это сужу по себе: мне очень хочется, чтобы Леонид поступил поскорей в студенты,— проговорила г-жа Ваньковская.— Он, я думаю, ничего не знает,— прибавила она, взглянув на сына.

Леонид ничего на это не возражал, а только нахмурился и сел за чайный стол около сестры.

— Это не так трудно: если займется, так скоро приготовится,— отвечал я.

— Вы, пожалуйста, будьте с ним построже; у него прекрасные способности, только он очень ленив: это говорили все его учителя,— сказала г-жа Ваньковская и, найдя, конечно, что достаточно обласкала меня, обратилась к помещику:

— Какие у вас прекрасные лошадки, Иван Кузьмич, я всегда ими любуюсь.

— Очень приятно слышать,— отвечал тот.

— Премиленькие, небольшие, а очень красивенькие.

— Вятки-с.

— А, так это вятки! Я и не знала.

— Вятки-с. Они у меня возят воду и воеводу. Я на них в город езжу и в дорогах верст по семидесяти делаю, не кормя.

— Как это много! Они, я думаю, очень устают?

— Нет-с, ничего. Эта порода снослива, им часа два дайте вздохнуть и опять ступай смело на семьдесят верст; только чтоб горячих не напоить.

— Зачем же вы в городе всегда шагом ездите? — сказал вдруг Леонид, взглянув насмешливо на Ивана Кузьмича.

— Здесь нельзя шибко ездить, Леонид Николаич,— возразил тот.— На мостовой снег хуже песку; здесь один Кузнецкий проехать на рысях, так лошадь надорвешь.

— Другие же ездят?

— От других и мы не отстанем, давайте ваших коурых, потягаемся!

— Стану я с вами тягаться; я вас на одной версте обгоню на две версты.

— Шутите, а я бы с вами поспорил.

— Что тут спорить, все знают, что у вас лошади дрянь и вы жалеете их больше себя.

— Ну уж это, Леонид Николаич, вы ошибаетесь; у меня хоть лошади не дорогие, а не дрянь, и я не жалею их и езжу, где можно.

Этот спор Леонида, кажется, был очень неприятен матери.

— Лида! Что же чаю? — отнеслась она к дочери.

— Сейчас,— отвечала Лидия и сама подала матери чашку.

Та прихлебнула, сделала гримасу и проговорила:

— Опять сладко; никак ты не можешь примениться к моему вкусу.

— Позвольте, я разбавлю.

— Оставь уж,— возразила Ваньковская; в голосе ее слышалась досада.

Лидия немного сконфузилась и пошла к чайному столу.

— А Ивану Кузьмичу чаю? — сказала мать.

— Он готов,— отвечала дочь, указывая глазами на стакан чаю, стоявший на краю стола.

— Виноват-с,— перебил Иван Кузьмич, быстро вставая и беря стакан, и, как-то особенно расшаркавшись перед Лидой, пробормотал ей что-то. Она, с своей стороны, ничего не отвечала.

Мне и Леониду подал чай лакей. Леонид закурил себе сигару и подал другую мне. Я отказался.

— Что же ты, Леонид, Ивану Кузьмичу не предложишь трубку? — сказала мать.

Леонид нахмурился.

— Хотите? — спросил он Ивана Кузьмича.

— Прошу вас,— отвечал тот.

— Подай сюда трубку,— сказал Леонид человеку.

Я между тем стал внимательно смотреть на молодую девушку, которая поила маленьких сестер чаем. Чем более я в нее вглядывался, тем более она мне нравилась. Она была далеко не красавица, но в то же время в ней было что-то необыкновенно милое и доброе, что невольно влекло к ней с первого раза. Чайный стол, наконец, был убран, разговор как-то не клеился: мать говорила вполголоса с Иваном Кузьмичом; Лидия Николаевна села за работу; мой ученик молчал и курил. Я хотел было уйти домой, но Леонид встал, раскрыл стоявшую тут рояль и, не обращая ни на кого внимания, сел и начал играть. Я невольно стал вслушиваться; в игре его, кроме мастерского приема, слышалось что-то энергическое, за-

душевное. Молодая девушка, умышленно или нет, не знаю, пересела рядом со мною. Леонида слушали внимательно все: Иван Кузьмич придал лицу грустное выражение, мать потупилась, даже маленькие девочки перестали между собою болтать.

— Как брат хорошо играет,— сказала мне Лидия Николаевна.

— А вы любите музыку?

— Очень.

— А сами музыкантша?

— Да... но нет, я гораздо хуже его играю.

Леонид вдруг на половине пьесы остановился, встал, сел около меня и опять нахмурился.

В остальную часть вечера Иван Кузьмич принимался несколько раз любезничать с Лидиею Николаевною; она более отмалчивалась. Леонид беспрестанно говорил ему колкости, на которые он не только не отвечал тем же, но как будто бы даже не понимал их.

Возвратившись домой, я все думал о моих новых знакомых; более всех мне понравились Лидия Николаевна и Леонид. Старшая Ваньковская, Марья Виссарионовна, как назвал мне ее Леонид, произвела на меня какое-то неопределенное впечатление, а этот Иван Кузьмич плоховат. И что он такое тут? Родня, знакомый, жених?

II

С тех пор как я познакомился с Ваньковскими, жизнь моя сделалась как-то полнее. Все вечера после уроков я проводил у них. Говоря откровенно, я, сам того не замечая, влюбился в Лидию Николаевну. Каждый день я более и более с мучительным нетерпением начал ожидать шести часов, чтобы отправиться в заветный дом на Смоленском рынке, и всю дорогу меня занимала одна мысль: дома ли Лидия или куда-нибудь уехала? Увижу я ее или нет? Проходил я обыкновенно прямо к Леониду в кабинет и в продолжение часа, занимаясь с ним, все прислушивался: не долетит ли до меня звук ее голоса. Я знал ее походку, чувствовал шелест ее платья, и потом, когда мы, кончив занятия, входили в гостиную,— если не было ее там, мной овладевала невыносимая тоска: я садился, задумывался и ни слова не говорил; но она входила, и я оживал, делался вдруг весел, болтлив. Не знаю, заме-

чал ли это кто-нибудь, но только Лида была ко мне очень ласкова: вообще молчаливая, со мной всегда заговаривала первая и всякий раз, когда я сбирался уходить домой, говорила мне вполголоса: «Куда вы? Посидите, еще рано!»

Марья Виссарионовна добрая женщина, но решительно не умеет держать себя с детьми: Леонида она любит более всех, хотя и спорит с ним постоянно, и надобно сказать, что в этих спорах он всегда правее; с маленькими девочками она ни то ни се, или почти ими не занимается, но с Лидиею Николаевною обращается в высшей степени дурно. Бедная девушка поставлена в такое положение, что скорее походит на приживалку, чем на дочь. Она занимается всем хозяйством, учит и нянчит маленьких сестер и, несмотря на все это, получает от матери беспрерывные замечания за всевозможные пустяки. Ко мне Марья Виссарионовна привыкла. Иван Кузьмич отрекомендовался мне, сказав, что он калужский помещик Марасеев, и просил обязать его приятным моим знакомством. Он очень недалек и, кажется, к Лидии Николаевне неравнодушен, Марью Виссарионовну уважает, а Леонида боится. Что касается до сего последнего, то он попрежнему ничего не делает, но, сблизившись с ним, я увидел в нем очень умного человека, в высшей степени честного по своим убеждениям и далеко не по летам развитого. Я день ото дня более к нему привязывался, и он, с своей стороны, высказал мне, что полюбил меня.

К Ваньковским ездила еще одна дама, некто Лизавета Николаевна Пионова, и ездила почти каждый день, рыжая, рябая, с огромным ртом, влажными серыми глазами и, по-видимому, очень хитрая: к Марье Виссарионовне она обнаруживала пламенную дружбу, а от Ивана Кузьмича приходила в восторг и всегда про него говорила: «Чудный человек! Превосходный человек!». За Леонидом она, кажется, приволакивалась, а он говорил ей на каждом шагу дерзости и показывал явное пренебрежение. Раз она, не зная, о чем бы с ним заговорить, попросила его дать ей какую-нибудь книгу читать. Сначала он ей отвечал: «У меня никаких нет книг». Она не отставала. «Да какую вам надобно книгу?» — наконец, спросил он. «Какую-нибудь поинтереснее». Он пошел и принес ей календарь. Она надулась. Когда она обращалась к нему с просьбою сыграть на фортепьяно, он садился и

начинал казачка. Досаднее всего, что эта госпожа обходилась с Лидиею Николаевною свысока и едва ее замечала.

Однажды я пришел на урок. Леонида дома не было: это с ним часто случалось. Я прошел в кабинет. Мимо растворенных дверей промелькнула горничная, потом другой раз, третий — и, наконец, вошла в кабинет.

— Что вы изволите сидеть одни-с, барышня дома,— сказала она.

— Где же Лидия Николаевна? — спросил я не совсем спокойным голосом.

— В гостиной, пожалуйте туда-с; я докладывала об вас.

Я прошел в гостиную. Лидия Николаевна сидела за пяльцами.

— Брат сейчас приедет, он поехал с маменькою,— сказала она.

Я сел. Говорить с Лидиею Николаевною было для меня величайшим наслаждением, но мне это редко удавалось. Я решился воспользоваться настоящим случаем.

— Какую вы огромную картину вышиваете,— сказал я.

Приличнее этого мне ничего не пришло в голову.

— Эта еще не так велика... Посмотрите, какое славное лицо у старика,— отвечала Лидия Николаевна, показывая узор, на котором был изображен старик с седою бородою, с арфою в руках, возле его сидел курчавый мальчик и лежала собака; вдали был известный ландшафт с деревцами, горами и облаками.

— Надобно иметь истинно женское терпение, чтобы все это вышить,— продолжал я, рассматривая узор.

— Нет, это не терпение, а так... от нечего делать...— отвечала Лидия Николаевна.— Хорошо, если бы женщины должны были иметь терпение только вышивать подушки, которые потом запачкаются и бросятся,— прибавила она, вздохнув.

— А где же им оно еще нужно? — спросил я с ударением.

— В жизни.

— Это, я полагаю, нужно мужчинам и женщинам.

— Мужчинам? О, нет! Они гораздо свободнее; они могут быть тем, чем хотят, а мы бываем тем, чем нам велят.

«Милая девушка, как она умна»,— подумал я.

— Мне кажется,— начал я вслух,— что женщины в наше время довольно свободны...

— Чем же свободны? Может ли, например, женщина выйти или не выйти замуж?

— Конечно, может.

— Нет, не может, потому что над ней сейчас станут смеяться, назовут старою девушкою, скажут, что она зла; родные будут сердиться, тяготиться: на это недостанет никакого терпения.

— Необходимость выйти замуж для каждой девушки сделается приятною: стоит только выйти за того, кого полюбишь.

— А если никого не любишь?

— Надобно дожидаться: для всякой женщины придет пора, когда она полюбит.

— Не думаю, я первая никогда и никого не полюблю.

— Это почему вы думаете?

— Так... Полюбишь одного, а выдадут за другого: лучше уж никого не любить.

Интересный разговор наш был прерван на этом месте приездом Леонида с матерью.

Мы ушли с ним в кабинет.

В этот раз я не совсем добросовестно исполнял обязанность наставника. Теорию неопределенных уравнений растолковал так неопределенно, что это даже заметил мой воспитанник, хотя и слушал меня по обыкновению очень невнимательно.

— Вы что-то сегодня совсем непонятно рассказываете,— сказал он с обыкновенною своею откровенностию.

— Мне нездоровится,— отвечал я.

— Ну так оставьте, и мне надоело.— Пойдемте в гостиную.

Я только того и ждал и дал себе слово во что бы то ни стало возобновить с Лидиею Николаевною прежний разговор, но на беду мою несносный Иван Кузьмич был уже тут и сидел рядом с нею. Марья Виссарионовна рассказывала какую-то длинную историю про одну свою родственницу, которой предстояла прекрасная партия и которую она сначала не хотела принять, но потом, желая исполнить волю родителей, вышла, и теперь счастливы так, как никто; что, наконец, дети, которые слушаются

своих родителей, бывают всегда благополучнее тех, которые делают по-своему. Говоря это, она переглядывалась с Иваном Кузьмичом, который ей поддакивал, и взглядывала на дочь; та сидела, потупившись, и ни слова не говорила. Леонид слушал мать с насмешливою улыбкою. Мне бы, вероятно, целый вечер не удалось переговорить с Лидиею Николаевною, но приехала Пионова. С нежностию поздоровалась она с Марьею Виссарионовною, издала радостное восклицание при виде Ивана Кузьмича, который у ней поцеловал руку, и тотчас же начала болтать, а потом, прищурившись, взглянула в ту сторону, где сидел Леонид, и проговорила сладким голосом:

— Вы здесь, Леонид Николаич, я вас и не вижу... Здравствуйте!

Тот не пошевелился и ни слова не сказал; меня и Лидию Николаевну она по обыкновению не заметила. Лида вышла, наконец, в залу, я тоже последовал за нею, благословляя в душе приезд Пионовой. Когда я вошел, Лидия сидела на небольшом диване, задумавшись. Увидев меня, она улыбнулась и проговорила:

— Я ушла, там очень жарко, посидимте здесь.

Я стал около нее.

— Вы будете у нас завтра? — спросила она.

— Буду.

— А послезавтра?

— Послезавтра воскресенье, урока у меня нет.

— Ничего, приходите обедать и на целый день.

Я обмер от радости.

— Завтра я не буду целый день дома,— прибавила Лидия.

— Где ж вы будете? — спросил я.

— В пансионе у madame Жарве. Там завтра акт и вечером бал.

— Стало быть, вы завтра будете веселиться?

— Какое веселье!.. Я не люблю балов, но я там училась; начальница меня очень любила; сама приезжала и просила, чтоб мамаша меня отпустила; она очень добрая!

— Я знал одну из воспитанниц madame Жарве; та не похожа на вас и, кажется, очень любит балы.

— Кто такая?

— Вера Базаева, которая мне еще как-то кузиной приходится.

— Верочку Базаеву? Она вам кузина! Эта наша пансионская красавица. Скажите, где она и что делает?

— Я думаю, танцует и кокетничает.

— Право? Она, впрочем, всегда была немного кокетка, а какая хорошенькая! Сначала я была с ней дружна, а потом расстались холодно; она тогда зиму жила здесь, очень много выезжала, и мы почти не видались.

— У меня с нею почти были такие же отношения: на первых порах мы с ней очень скоро подружились, или по крайней мере она уверяла меня, что ей очень ловко танцевать со мною вальс, а я находил, что она очень хороша собою.

— Вы не были в нее влюблены?

— Нет.

— Не может быть.

— Отчего же не может быть?

— Оттого, что она так мила, что нравится всем.

— На первый взгляд, может быть, а потом, вглядевшись, увидишь, что красоте ее многого недостает.

— Чего ж недостает?

— Мысли, чувства, души.

Лида не возражала.

— Вы напрасно думаете,— продолжал я,— чтоб я мог быть влюблен в Базаеву; по моим понятиям, женщина должна иметь совершенно другого рода достоинства.

— А именно?

— Вы желаете знать?

— Очень.

— Женщина должна быть не суетна, а семьянинка, кротка, но не слабохарактерна, умна без педантства, великодушна без рисовки, не сентиментальна, но способна к привязанности искренней и глубокой,— отвечал я.

В голове моей давно уже приготовлен был для Лидии Николаевны этот очерк идеала женщины.

— А наружность? — спросила она.

— Наружности я и определять не хочу. Эти нравственные качества, которые я перечислил, так одушевят даже неправильные черты лица, что она лучше покажется первой красавицы в мире.

— Таких женщин нет.

— Нет, есть.

— Вы, стало быть, встречали?

— Может быть.

— Желала бы я посмотреть на такую женщину.

Я ничего не отвечал. Дело в том, что под этим идеалом я разумел ее самое. Несколько времени мы молчали.

— Вы, Лидия Николаевна, говорили, что никогда и никого не полюбите? — начал я.

— Да.

— Стало быть, вы никогда и замуж не пойдете?

— Нет, пойду.

— По расчету?

— Да, по расчету,— отвечала она.

И мне показалось, что, говоря это, она горько улыбнулась.

— Я не ожидал от вас этого слышать.

— Отчего ж не ожидали; это очень покойно; по крайней мере, если муж разлюбит, то не так будет обидно.

— Перестаньте так говорить, я вам не верю.

— Нет, правда.

— Правда?..— начал было я.

— Постойте,— вдруг перебила меня Лидия Николаевна,— там, кажется, говорят про меня.

— Что такое вас встревожило? — спросил я.

— Так, ничего,— отвечала Лидия Николаевна.

— Ах, какая эта Пионова несносная! — прибавила она как бы про себя.

— Lydie, où êtes vous? [1] — раздался голос Марьи Виссарионовны из гостиной.

— Ici, maman [2],— отвечала Лидия.

— Venez chez nous [3].

— Посидите тут, я скоро возвращусь,— это ужасно! — проговорила она и ушла.

По крайней мере, с полчаса сидел я, напрягая слух, чтобы услышать, что говорится в гостиной; но тщетно; подойти к дверям и подслушивать мне было совестно. Наконец, послышались шаги, я думал, что это Лидия Николаевна, но вошел Леонид, нахмуренный и чем-то сильно рассерженный.

---

[1] Лидия, где вы? *(франц.)*
[2] Здесь, мама, *(франц.)*
[3] Идите к нам. *(франц.)*

— Что вы тут сидите; пойдемте в кабинет,— сказал он.

Я пошел за ним в надежде, не узнаю ли чего-нибудь.

— Пионова сегодня что-то много говорит,— начал я.

— Мерзавка!.. Черт знает, как все эти женщины нелепы.

— А что же?

Леонид ничего не отвечал; расспрашивать его, я знал, было бесполезно.

— А математика идет плохо,— начал я с другого.

— Скверно. Как мне хочется на воздух! Поедемте прокатиться; я вас довезу до дому; у меня лошадь давно заложена.

— Хорошо. Можно проститься с вашими?

— Ступайте; а я покуда оденусь.

В гостиной я застал странную сцену: у Марьи Виссарионовны были на глазах слезы; Пионова, только что переставшая говорить, обмахивала себя платком; Иван Кузьмич был краснее, чем всегда; Лидия Николаевна сидела вдали и как будто похудела в несколько минут. Я раскланялся. Леонид подвез меня к моей квартире. Во всю дорогу он ни слова не проговорил и только, когда я вышел из саней, спросил меня:

— Вы будете завтра дома?

— Буду.

— Я завтра приду к вам.

— Приходите.

III

На другой день, только что я встал, Леонид пришел ко мне и по обыкновению закурил трубку, разлегся на диване и молчал; он не любил скоро начинать говорить.

— Ваши здоровы? — спросил я.

Меня заботило, что такое у них вчера было.

— Не знаю хорошенько; матери не видал, а сестра больна.

— Чем?

— Голова болит.

— Вы вчера поздно воротились?

— Нет, прокатился только.

— А гости еще у вас долго сидели?

— Не знаю; я не входил туда. Кажется, что долго,— отвечал нехотя Леонид.

Он был очень не в духе.

— Скажите, пожалуйста, Леонид Николаич,— начал я после нескольких минут молчания,— что это за человек Иван Кузьмич?

— Что за человек он, я не знаю, и даже сомневаюсь, человек ли он? А что глуп, как бревно, так это верно.

— Однако он принят у вас, как свой?

— Не отвяжешься от него, хотя я и давно об этом стараюсь.

— Почему ж?

— Он главный кредитор наш.

— А разве у вас долги есть?

Леонид усмехнулся.

— Есть немного.

— Сколько же?

— Тысяч триста серебром.

— Триста тысяч!.. А состояние велико ли?

— Около тысячи душ.

— Состояние прекрасное.

— Хорошо, только в итоге ставь нуль.

— Отчего же это?

— Дела расстроены. Отец у меня был очень умный человек, и, когда женился на матери, у него ничего не было, а у нее промотанных двести душ, но в пять лет он составил тысячу, а умер — и пошло все кривым колесом: сначала фабрика сгорела, потом взяты были подряды, не выполнили, залоги лопнули! А потом стряпчие появились и остальное доконали.

— Каким же образом Иван Кузьмич попал в число кредиторов?

— Получил от родного брата по наследству, с которым отец имел дела.

— А велик его вексель?

— Тысяч в тридцать серебром.

— Кто ж теперь управляет всем этим: и делами и имением вашим?

— Судьба.

— А матушка ваша предпринимает же что-нибудь?

— Едва ли. Она то плачет и говорит, что несчастнейшая в мире женщина, а потом, побеседовавши с Пионовою, уверяет всех, что ничего, что все прекрасно устроилось. Я ничего не понимаю.

— Во всяком случае она, мне кажется, женщина умная.

— Умна, только прежде была очень избалована жизнию. При дедушке жила в богатом доме и знала только на балы выезжать, при отце тоже: он ей в глаза глядел и окружал ее всевозможною роскошью. Вы бывали у нас в бельэтаже?

— Нет.

— Жаль. Я вам покажу когда-нибудь. Там есть кабинет, нарочно для нее отделанный; он один стоит десять тысяч серебром, а теперь и нет ничего, да еще хлопоты по делам, и растерялась.

— Поэтому теперь лежит обязанность на вас устроить как-нибудь дела.

— А что я такое? Мальчишка, да и по характеру один из тех пустейших людей, которые ни на что не годны. Я от лени по целым дням хожу, не умывшись и не обедавши; у меня во всю мою жизнь недоставало еще терпения дочитать ни одной книги.

— Однако вы музыкант, и музыкант замечательный.

— Музыка и дела — две вещи разные; музыку я люблю,— отвечал Леонид.

Несмотря на то, что он все это говорил, по-видимому, равнодушно, но видно было, что семейное расстройство его сильно беспокоило. Мне было более всего досадно, что Марасеев был в числе кредиторов.

— Вероятно, Иван Кузьмич по хорошему знакомству не беспокоит вас своим векселем? — сказал я.

— Напротив, несноснее всех,— отвечал Леонид.

— Неужели же он так неделикатен?

— Не очень. Все сватается к сестре и говорит, что если она выйдет за него, так он сейчас же изорвет вексель.

Сердце у меня замерло.

— А Лидии Николаевне он нравится? — спросил я.

— Еще бы ей нравился! Она не совсем еще с ума сошла.

— А Марья Виссарионовна желает этого брака?

— Очень.

— Неужели же Марья Виссарионовна не видит в нем ни разницы лет, ни разницы воспитания с Лидиею Николаевною, неужели, наконец, не понимает личных его недостатков? Я уверен, что ей самой будет неловко иметь

такого зятя: у него ничего нет общего с вашим семейством.

Леонид молчал.

— И как вы думаете, брак этот состоится? — прибавил я, желая вызвать его на разговор.

— Я думаю. Матушка желает и говорит, что от этого зависит участь всей семьи.

— Какая же участь? Тридцать тысяч не все ваше состояние.

— Кажется, а Лида верит.

— Но как же это?

— А так же — верит. Вы не знаете этой девушки: она олицетворенная доброта. Матушке стоит только выразить малейшую ласку, и она не знаю на что не решится. Досаднее всего, что я ее ужасно люблю, не оттого, что она мне сестра; это бог бы с ней, а именно потому, что она чудная девушка.

— Мне самому Лидия Николаевна чрезвычайно нравятся, даже в наружности их есть что-то особенно привлекательное.

— Нет, наружность что? Она собою не хороша, но у ней чудный характер, кроткий, ровный.

Эти слова Леонид говорил с бо́льшим против обыкновенного своего тона одушевлением.

— Я без ужаса вообразить не могу,— продолжал он, вставая и ходя взад и вперед по комнате,— что такая славная женщина достанется в жены какому-нибудь Марасееву.

— Тем более, Леонид Николаич, вы должны этому противодействовать всеми средствами.

— Ничего не сделаешь. Неужели вы думаете, что я не действовал? Я несколько раз затевал с ним историю и почти в глаза называл дураком, чтобы только рассердить его и заставить перестать к нам ездить; говорил, наконец, матери и самой Лиде — и все ничего.

— Но они возражали же что-нибудь вам?

— Ничего не возражали; мать сердится и говорит, что я еще мальчишка и ничего не понимаю, а Лида плачет.

— Во всяком случае, это слабость характера со стороны Лидии Николаевны.

— Вовсе не слабость, когда она два года борется и в продолжение этих двух лет ей говорят беспрестанно одно и то же, беспрестанно толкуют, что этот человек

влюблен в нее, что лучшего жениха ей ожидать нельзя, потому что не хороша собою, что она неблагодарная, капризная и что хочет собою только отягощать мать. Я бы на ее месте давно убежал из дома и нанялся бы где-нибудь в ключницы, чем стал бы жить в таком положении.

— А Иван Кузьмич богат?

— В том все и дело, что хочет уничтожить наш вексель, а кроме того, Пионова уверяет, что у него триста душ и что за невестою он ничего не просит и даже приданое хочет сделать на свой счет и, наконец, по всем делам матери берется хлопотать. Я вам говорю, что тут такие подлые основания, по которым выдают эту несчастную девушку, что вообразить трудно.

— Я, право, все еще не верю, чтобы Марья Виссарионовна могла иметь такие побуждения в таком важном деле, как брак дочери.

— У ней никаких нет побуждений, потому что нет никаких убеждений. В этом случае ее решительно поддувает Пионова; не будь этой советчицы, мать бы задумала... опять передумала... потом, может быть, опять бы задумала, и так бы время шло, покуда не нашелся бы другой жених, за которого Лида сама бы пожелала выйти.

— Неужели же влияние этой пустой женщины так сильно, что вы не можете ее отстранить, и, наконец, на чем основано это влияние?

— На том, что она унижается пред матерью, восхищается ее умом, уверяет ее, что она до сих пор еще красавица; клянется ей в беспредельной дружбе, вот и основания все, а та очень самолюбива. Прежде, когда она была богата и молода, ей льстили многие, а теперь все оставили; Пионова же держит себя по-прежнему и, значит, неизменный друг.

— Но та какую цель имеет?

— Может быть, деньги взяла за сватанье, и вероятно, да и Лиду ей уничтожить хочется: она ее ненавидит.

— За что же?

— За то, за что мерзавцы вообще ненавидят хороших людей, которые для них живое обличение.

— Мне кажется, что Пионова неравнодушна к вам.

— Как же! Влюблена в меня; сама признавалась мне, что она дорожит нашим семейством только для меня.

— Вот бы вы это и сказали матушке.

— Говорил.

— Что ж она?

— Смеется.

Таким образом, Леонид раскрыл предо мною всю семейную драму. Мы долго еще с ним толковали, придумывали различные способы, как бы поправить дело, и ничего не придумали. Он ушел. Я остался в грустном раздумье. Начинавшаяся в сердце моем любовь к Лидии Николаевне была сильно поражена мыслию, что она должна выйти замуж, и выйти скоро. Мне сделалось грустно и досадно на Лиду.

В первые минуты я написал к ней письмо, которое вышло у меня такого содержания:

«Я, может быть, слишком много беру себе права, что осмеливаюсь писать к вам, но разубеждение, которое мне суждено в вас испытать, так болезненно отозвалось в моем сердце, что я не в состоянии совладеть с собою. Я некогда, если вы только это помните, говорил вам об идеале женщины, и нужно ли говорить, что все его прекрасные качества я видел в вас, но—боже мой!—как много вы спустились с высоты того пьедестала, на котором я, ослепленный безумец, до сих пор держал вас в своем воображении. Вы выходите замуж, я это знаю, и знаю также, что ваш ум и ваше сердце и свободу вы приносите двум — тремстам душам мужнина состояния. Не говорите тут о необходимости, о самоотвержении. Подобное пренебрежение, чтоб не сказать неряшество, в собственном счастии, я убежден, выше сил женщины и служит признаком, знаете ли чего? Страшно сказать — бездушия, бесстрастности, что признать в вас мне все-таки не хочется, и я все-таки еще желаю оставить вам настолько нравственных качеств, что наперед вам предсказываю много горя и страданий, если вы только сделаете этот неосторожный шаг».

Написав все это, я предполагал в тот же день снести Лиде сам мое письмо, но, вспомнив, что говорил Леонид, мне стало жаль ее.

«Нет, она не так виновна,— подумал я,— бог с ней: пускай она выходит замуж, я останусь ей предан и по возможности дружен и близок с нею».

Решившись таким образом из пламенного обожателя преобразовать себя в смиренного и нетребовательного друга, я задал себе вопрос: что за человек Марасеев?

Может быть, Леонид сильно против него предубежден; может быть, он только не очень умен, но добрый в душе человек; может быть, он точно любит Лидию Николаевну, доказательство этому отчасти есть: он жертвует для нее тысячами. Из него, может быть, выйдет хороший семьянин, и он в состоянии будет, если не сделать Лидию Николаевну вполне счастливою, то по крайней мере станет покоить ее.

Мое намерение было: на другой же день съездить к Марасееву и посмотреть на него в домашней жизни; это было мне и кстати сделать, потому что он был у меня недели две тому назад, а я ему еще не заплатил визита.

IV

Иван Кузьмич жил в Грузинах. Я ехал к нему часа два с половиною, потому что должен был проехать около пяти верст большими улицами и изъездить по крайней мере десяток маленьких переулков, прежде чем нашел его квартиру: это был полуразвалившийся дом, ход со двора; я завяз почти в грязи, покуда шел по этому двору, на котором, впрочем, стояли новые конюшни и сарай. Я сейчас догадался, что Иван Кузьмич выбирал квартиру с бо́льшими удобствами для лошадей, чем для себя. В маленькой темной передней встретил меня лакей и, проворно захлопнув дверь в залу, стал передо мною, как бы желая загородить мне дорогу.

— Дома Иван Кузьмич? — спросил я.

Лакей замялся.

— Я не знаю-с: они дома, да не почивают ли? Позвольте я доложу-с,— отвечал он и ушел в залу, опять притворив дверь. Через несколько минут он возвратился, неся в руках поднос с пустым графином и объедками пирога. Поставив все это, бегом побежал в сени и возвратился оттуда с умывальником и полотенцем и прошел в залу. Положение мое становилось несносно; я стоял, не снимая ни шинели, ни калош, в полутемноте и посреди удушливого запаха, который происходил от висевших тут хомутов, смазанных недавно ворванью. Лакей еще несколько раз прибегал за сапогами, сюртуком, головною щеткою, которые хранились тут же в передней, и, наконец, разрешил мне вход. Иван Кузьмич встретил меня

с распростертыми объятиями, обнял и крепко поцеловал. Не ожидая такой нежности, я попятился и с удивлением взглянул ему в лицо: оно не только было красно, но пылало, и глаза были уже совсем бессмысленные. Вместе с ним вышел толстейший и высочайший мужчина, каких когда-либо я видал, с усищами до ушей, с хохлом, с огромным животом, так что довольно толстый Иван Кузьмич и я, не совсем маленький, казались против него ребятами, одним словом, на первый взгляд страшно было смотреть. Он мне расшаркался, и при этом закачался весь пол. Иван Кузьмич поздоровался со мною и облокотился на печку.

— Очень рад,— начал он, едва переминая язык,— прошу познакомиться,— прибавил он, указывая на огромного господина: — мой приятель, Сергей Николаич, а они учитель Марьи Виссарионовны, очень рад... извините, пожалуйста, я не ожидал вас: недавно проснулся, будьте великодушны, извините... Сделайте милость, господа, пожалуйте в гостиную. Сергей Николаич! Что ж ты церемонишься? Мы с тобою не сегодня знакомы; ты свинтус после этого... Сделайте милость, простите великодушно; мы с ним по-приятельски,— болтал хозяин и, наконец, пошел в гостиную, шатаясь из стороны в сторону. Не оставалось никакого сомнения, что он был мертвецки пьян. Мы пошли за ним, громадный господин был тоже сильно выпивши, только ему было это ничего: у него все выходило испариною, которая крупными каплями выступила на лбу и которую он беспрестанно обтирал, но она снова появлялась.

В так названной гостиной, в которой был какой-то деревянный диван и несколько стульев, сидел молодой офицер и курил трубку. Он мне особенно бросился в глаза тем, что имел чрезвычайно худощавое лицо, покрытое всплошь желчными пятнами.

Иван Кузьмич опять принялся за рекомендацию.

— Позвольте вас познакомить: поручик Данович — учитель Марьи Виссарионовны; прошу полюбить друг друга.

Зачем он нас просил, чтобы мы полюбили друг друга, неизвестно.

Я потупился, поручик усмехнулся, однако мы раскланялись.

— Очень, право, рад, ко мне вот сегодня приехал Сер-

гей Николаич, потом господин Данович пришел... потом вы пожаловали: благодарю... только извините, пожалуйста; я такой человек, что всем рад, извините...— проговорил Иван Кузьмич и потупил голову. Поручик качал головою; толстый господин не спускал с меня глаз. Мне сделалось неприятно и неловко.

— Вы кого у Марьи Виссарионовны учите? Леонида или маленьких девочек? — спросил он меня необыкновенно густым басом.

— Леонида,— отвечал я.

Сергей Николаич откашлялся.

— Славный малый Леонид,— продолжал он,— только ко мне не ездит, да и сам я давно не бывал у них: с год!.. Все нездоровится.

«Ему нездоровится»,— подумал я и внутренне рассмеялся; скорее в молодом слоне можно было предположить какую-нибудь болезнь, чем в нем.

— Жена моя часто у них бывает; видали там мою жену? — отнесся опять ко мне Сергей Николаич.

— Вашу супругу? — спросил я, не отгадывая еще, кто этот господин.

— Да, Пионову; я имею честь быть господином Пионовым, а госпожа Пионова — моя нежнейшая супруга, верная жена и подруга дней моих печальных.

— Видал-с,— отвечал я.

Так вот кто был супруг Пионовой; недаром она не возит его к Ваньковским и говорит, что он домосед.

— Хорошо, что я вспомнил об жене,— продолжал Пионов, обращаясь к хозяину.— Она меня поедом ест за твоего бурку; говорит: зачем купил, не нравится. Да полно, что ты нахмурился?

— Бурку?..— отозвался Иван Кузьмич.— Бурка, брат, славная лошадь; если бы мне такая попалась, я сейчас дам тысячу целковых.

— Возьми назад, я за полтысячи уступлю.

— Давай, возьму!.. Что ж, разве не возьму?

— Бери, мне самому жаль. Как бы не барыня, я бы с ней не расстался.

Поручик взглянул на меня и усмехнулся.

— Барыня... барыня,— говорил Иван Кузьмич,— твоя барыня, брат, милая; я у ней ручку поцелую, а ты в лошадях ничего не смыслишь; ты что говорил про белогривого жеребца?

— Что говорил?

— Что говорил! Не помнишь? Ты говорил, выкормок, вот он тебе и показал себя! Зачем же ты его на завод ладил? Выкормки, брат, на завод нейдут; что ты мне говоришь!

Пионов ничего не возражал. Я встал с тем, чтобы уехать.

— Прощайте, Иван Кузьмич,— сказал я, раскланиваясь.

— Сделайте милость, прошу вас покорнейше, посидите,— возразил он, разведя руками,— извините меня великодушно, вам, может быть, скучно у меня, а я душевно рад. Позвольте мне хоть трубку вам предложить; будьте так добры, выкурите хоть трубку.

— Позвольте,— отвечал я и сел.

— Фомка! — крикнул Иван Кузьмич.— Трубку подай!

— Очень рад, что вы пожаловали, только извините меня; я сегодня нездоров что-то: насморк, что ли?

Между тем Пионов встал, как-то особенно кашлянул и вышел в другую комнату, впрочем, он не совсем ушел, как видел я в зеркале, а остановился в дверях и начал делать Ивану Кузьмичу знаки и манить его рукою, но тот не замечал.

— Вас зовут, Иван Кузьмич,— сказал поручик.

Иван Кузьмич поднял голову и, заметив приятеля, встал и едва попал в дверь; тот начал ему шептать что-то на ухо, а он только мотал головою, и, наконец, оба ушли.

— Как наклюкались,— проговорил им вслед поручик, обращаясь ко мне.

— Что такое у них сегодня? — спросил я.

— Не знаю-с, я пришел, они уж были готовы; у них, впрочем, часто это бывает. Вы давно знакомы с Иваном Кузьмичом?

— Нет, я у него сегодня только в первый раз; скажите, пожалуйста, хороший он человек?

— Человек он добрый, только слаб ужасно. В одном полку со мной служил; полковник прямо ему предложил, чтобы он по своей слабости оставил службу. Товарищи стали обижаться, ремарку делает на весь полк.

Холодный пот выступил у меня, слушая поручика; хотя по желчному лицу его и можно было подозревать, что он о себе подобных не любит отзываться с хорошей стороны, но в этом случае говорил, видимо, правду.

— Что же он здесь делает в Москве? — спросил я.

— Да ничего не делает, кутит. Говорят: жениться хочет. Не знаю, какая идет за него девушка, а большой рыск с ее стороны.

— Если он добрый человек и будет любить жену, то, может быть, и перестанет кутить,— заметил я.

— Вряд ли-с! Привычку сделал большую,— возразил поручик.

— Но еще скажите мне, сделайте милость, богат он или нет?

— Состояние есть; ему после брата много досталось, безалаберно только живет очень. Один этот толстый Пионов его лошадьми да картами в год тысячи на две серебром надует.

— А они приятели?

— Как же-с, друзья по графину.

Вот почему Пионова так хлопочет за Ивана Кузьмича. Боже мой! Неужели мы с Леонидом не успеем разбить их козней? Я было хотел еще расспросить поручика, но Иван Кузьмич и Пионов возвратились. Они, вероятно, еще клюкнули. Сил моих не было оставаться долее. Я опять начал прощаться, Иван Кузьмич не отпускал.

— Обяжите меня, сделайте милость, посидите; я вас, кажется, ничем не обидел, а что если... извините меня, выкушайте по крайней мере шампанского, что же такое; я имел честь познакомиться с вами у Марьи Виссарионовны, которую люблю и уважаю. Вот Сергей Николаич знает, как я ее уважаю, а что если... так виноват. Кто богу не грешен, царю не виноват.

— Мне надобно, Иван Кузьмич, ехать на лекции.

— Вы и поезжайте, Христос с вами, дай вам бог доброго здоровья, а шампанского выпьем: извините, это уже нельзя.

— Благодарю вас, я не пью. Позвольте мне уехать,— сказал я решительно.

Иван Кузьмич обиделся.

— Бог с вами, поезжайте, что ж! Вы человек ученый, а мы люди простые, что ж? Бог с вами, а что если...—
Я не дождался конца его речи и пошел.

— Позвольте хотя проводить, что же такое?..— говорил он и пошел за мною.

Как я ни торопился надеть шинель, он, однакож, успел меня на крыльце нагнать и, желая подать мне руку, пошатнулся и, конечно, хлопнулся бы в грязь, если бы не подхватил его под руку лакей.

Я возвратился домой, возмущенный донельзя. Леонид прав! Говорят, он добр; но что же из этого, когда он пьяница, и пьяница безобразный и глупый. Вечером я поехал к Леониду, чтобы передать ему все, что видел, и застал его в любимом положении, то есть лежащим на кушетке.

— Я сегодня был у Ивана Кузьмича,— начал я.

— Зачем?

— Так, мне хотелось узнать его хорошенько.

— Что же вы узнали?

Я рассказал ему, чему был свидетелем и что говорил мне поручик.

Леонид слушал молча, и только выступившие на лице его красные пятна заставляли догадываться, каково ему было все это слышать. Мне сделалось даже жаль, зачем я ему рассказал.

— Во всяком случае,— заключил я,— мы всё это должны передать вашей матушке и Лидии Николаевне.

— Теперь уж поздно, вчера дали слово ему, Лида согласилась.

— Леонид Николаич! — воскликнул я.— Это будет с нашей стороны жестоко и бесчестно скрыть подобные вещи.

— Лиде нечего теперь говорить, а матери, пожалуй, скажем.

— Когда же?

— Да хоть теперь пойдемте.

— Мне говорить?

— Нет, я буду от себя.

В передней нам сказали, что приехала Пионова.

— Ловко ли будет? — заметил я.

— Ничего, еще лучше,— решил Леонид.

Мы вошли. Марья Виссарионовна, должно быть, о чем-нибудь совещалась с своею приятельницею. При нашем входе они обе замолчали. Пионова, увидев Леонида, закатила глаза и бросила на него такой взгляд, что мне сделалось стыдно за нее.

— Вот он сейчас был у Ивана Кузьмича,— начал тот прямо, показывая на меня.

Обе дамы переглянулись с удивлением, не понимая, к чему он это говорит.

— Ваш муж был тоже там,— прибавил он Пионовой.

— Вы видели мужа? — отнеслась она ко мне.

— Видел-с.

— Познакомились с ним?

— Познакомился.

— Очень рада. Он чрезвычайно любит молодых людей — это его страсть.

— А теперь он дома? — спросил Леонид.

— Дома.

— Я думал, что он еще у Ивана Кузьмича; они там пьют с утра; Иван Кузьмич так напился, что на ногах не стоит,— отрезал он.

Марья Виссарионовна побледнела. Пионова вспыхнула.

— Перестаньте, Леонид, врать,— начала мать строгим голосом.— Я тебе давно приказывала, чтобы ты не смел так говорить о человеке, которого я давно знаю и уважаю.

— Напился пьян... на ногах не стоит... я не понимаю даже этого и не знаю, что такое было у Ивана Кузьмича; может быть, какой-нибудь завтрак, а муж приехал вовсе не пьяный. Мне слышать подобную клевету даже смешно,— проговорила Пионова.

Я хотел было отвечать ей, но Леонид перебил меня:

— Говорят не о вашем муже, а об Иване Кузьмиче, который у нас рюмки сладкой водки не пьет, а дома тянет по целому штофу. Что вам говорил про него прежний его товарищ? — отнесся он ко мне.

— Я вам передавал,— отвечал я.

— Из прежних его товарищей никто ничего про него не скажет дурного; его все товарищи обожали в полку; мой муж служил с ним с юнкеров, так нам лучше знать Ивана Кузьмича, чем кому-нибудь другому.

— Вы всегда его хвалите, а за что же его из службы выгнали?

— Как выгнали?

— Так, выгнали.

Пионова засмеялась принужденным смехом.

— Ах, боже мой, боже мой! Чего не выдумают! Ивана Кузьмича выгнали! Ивана Кузьмича!..— воскликнула она таким тоном, как будто бы это было так же невозможно, как самому себе сесть на колена.— Слышите, Марья Вис-

сарионовна, что еще сочинили? Вы хорошо знаете причину, по которой Иван Кузьмич оставил службу, и его будто бы выгнали! Ха, ха, ха...

— Сочиняете более всех вы! — возразил Леонид.

Пионова только пожала плечами.

— Леонид Николаич какое-то особенное удовольствие находит говорить мне дерзости. Не знаю, чем подала я повод,— сказала она, покачав грустно головою.

— Ты выводишь, наконец, меня из терпения, Леонид! — проговорила грозно Марья Виссарионовна.— Царь небесный! Что я за несчастная женщина, всю жизнь должна от всех страдать,— прибавила она и начала плакать.

— Успокойтесь, Марья Виссарионовна, умоляю вас, пощадите вы себя для маленьких ваших детей. Леонид Николаич так только сказал, он не будет более вас расстраивать.

— Расстраиваете вы, а не я,— перебил тот.

— Перестань, Леонид! — воскликнула опять Марья Виссарионовна.— Душечка Лизавета Николаевна, скажите ему, чтоб он ушел; он меня в гроб положит.

— Cher Lèonide, ayez pitié de votre mère[1], — произнесла Пионова своим отвратительным голосом, которому старалась придать умоляющее выражение.

Леонид встал и, хлопнув дверьми, ушел, оставив меня в самом щекотливом положении. Марья Виссарионовна продолжала плакать. Пионова ее утешала. Я так растерялся, что решительно не находился, оставаться ли мне или уйти. Вдруг дверь отворилась, явился Иван Кузьмич, и явился как ни в чем не бывало: кроме красноты глаз и небольшой опухлости в лице, и следа не оставалось утренней попойки. Пионова сначала сконфузилась, но, увидев, что Марасеев в обыкновенном состоянии, насмешливо взглянула на меня. Марья Виссарионовна отерла слезы и ласково поклонилась гостю. Иван Кузьмич, раскланявшись с дамами, подал мне дружески руку. Не помню, как я просидел еще несколько времени, как поклонился всем и пошел к Леониду, которого застал сидящим за столом. Он схватил себя за голову и, кажется, плакал. Я не хотел его еще более волновать и потому молча простился с ним и уехал.

---

[1] Дорогой Леонид, пожалейте свою мать, (*франц.*)

V

Наступил май месяц, мне предстоял выпускной экзамен; скоро я должен был проститься и с университетом, и с Москвою, и с моими Ваньковскими. Судьба Лидии Николаевны решена окончательно: она помолвлена за Марасеева, хотя об этом и не объявляют. Свадьба, вероятно, будет скоро, потому что готовят уже приданое. Пионова торжествует и приезжает раз по семи в день.

Марья Виссарионовна еще более подчинилась приятельнице; как проснется, так и посылает за нею. Марасеев, говорят, нанял щегольскую квартиру; он решительно цветет и целые дни у Ваньковских. Лицо его сделалось менее опухло и красно. Лидия Николаевна не принимает никакого участия в хлопотах о своей свадьбе, но с женихом ласкова. Иногда мне досадно на нее, а чаще жаль, мы с ней почти не видимся, хоть я и бываю у них почти каждый день; она как будто бы избегает меня... Леонид по наружности спокоен. Меня очень радует, что он начал заниматься, и тут только я увидел, какими блестящими способностями он наделен был от природы. В две недели он прошел с самыми легкими от меня пособиями весь гимназический курс математики и знал его весьма удовлетворительно. О свадьбе сестры он говорил мало. Я раз его спросил, передавал ли он Лидии Николаевне, что мы узнали о ее женихе, он отвечал, что нет, и просил меня не проговориться; а потом рассказал мне, что Иван Кузьмич знает от Пионовой весь наш разговор об нем и по этому случаю объяснялся с Марьею Виссарионовною, признался ей, что действительно был тогда навеселе; но дал ей клятву во всю жизнь не брать капли вина в рот, и что один из их знакомых, по просьбе матери, ездил к бывшему его полковому командиру и спрашивал об нем, и тот будто бы уверял, что Иван Кузьмич — добрейший в мире человек. Все бы это было хорошо, только, кажется, Леонид мало этому верил, да и у меня лежало на сердце тяжелое предчувствие; внутренний голос говорил мне: быть худу, быть бедам!

Марья Виссарионовна, сердившаяся на сына, сердилась и на меня. Во все это время она со мною не кланялась и не говорила; но вдруг однажды, когда я сидел у Леонида, она прислала за мною и просила, если я свободен, прийти к ней. Леонид усмехнулся. Я пошел. Она

приняла меня с необыкновенным радушием и, чего прежде никогда не бывало, сама предложила мне курить.

— Я вас давно хотела спросить,— начала она,— что́, Леонид, видно, совсем от меня хочет отторгнуться?

— Почему же вы это думаете? — спросил я ее, наоборот.

— Потому что я его совсем не вижу: что он этим хочет показать?

— Он думает, что вы сердитесь на него за последнее объяснение, в котором и я участвовал.

— Я не могла тогда не рассердиться: он слишком забылся.

— Чем же он забылся? Он говорил только по искреннему желанию добра Лидии Николаевне.

— По искреннему желанию добра Лидии Николаевне? Да чем же вы, господа, после этого меня считаете? Неужели же я менее Леонида и вас желаю счастия моей дочери, или я так глупа, что ничего не могу обсудить? Никто из моих детей не может меня обвинить, чтобы я для благополучия их не забывала самой себя,— проговорила Марья Виссарионовна с важностию.

Я уверен, что этот монолог сочинила ей Пионова, и все эти мысли подобного материнского самодовольства она ей внушила.

— Я удивляюсь,— продолжала Марья Виссарионовна,— я прежде никогда в поступках Леонида не замечала ничего подобного и не знаю, откуда он приобрел такие правила.

Я понял, что это было сказано на мой счет.

— Вы с ним дружны,— отнеслась она потом ко мне прямо,— растолкуйте ему, что так поступать с матерью грешно.

— Леонид Николаич и без моих наставлений вас любит и уважает,— возразил я.

— Отчего ж он убегает меня? Вы сами имеете матушку, каково бы ей было, если бы вы не захотели видеть ее? И что это за фарсы? Сидит в своем кабинете, как запертый, более месяца не выходит сюда. Мне совестно всех своих знакомых. Все спрашивают: что это значит, что его не видать? И что же я могу на это сказать?

«Не все знакомые, а только Пионова спрашивает тебя об этом, потому что ей скучно без Леонида»,— подумал я.

— Леонид Николаич придет сейчас, если вы ему прикажете,— сказал я вслух.

— А если не придет?

— Придет-с.

— Нет, я вижу, вы его не знаете: он очень упрям. Поспоримте, что не придет.

— Извольте.

— Сходите сами, и увидите.

Я пошел, сказал Леониду, и он, как я ожидал, тотчас же пришел со мною. Марье Виссарионовне было это приятно, отчасти потому, что, любя сына, ей тяжело было с ним ссориться, а более, думаю, и потому, что она исполнила желание своего друга Пионовой и помирилась с Леонидом. Однако удовольствие свое она старалась скрыть и придала своему лицу насмешливое выражение.

— Я сейчас об тебе спорила,— начала она.

Леонид молчал.

— Я говорила, что ты не придешь.

— Нет-с, я пришел,— отвечал Леонид.

— Отчего же ты такой нахмуренный; все еще изволишь на меня гневаться?

— Я не гневаюсь, а вступался только за сестру. За что надобно на меня сердиться — вы ничего, а где я не виноват — сердитесь.

— Я ни за что на тебя не могу сердиться. Тебе стыдно быть в отношении меня таким неблагодарным.

Леонид молчал.

— Я не могу понять,— продолжала Марья Виссарионовна,— с чего ты взял так об Лиде беспокоиться; она сама выбрала эту партию.

— Никогда бы она не выбрала, если бы вы два года не настаивали и не требовали бы от нее этой жертвы.

— Оставим, Леонид, этот разговор; если ты пришел сердить меня, так лучше было бы тебе не приходить.

— Я вас и не думаю сердить, а только говорю и всегда скажу, что выдать Лиду за этого человека — значит погубить ее.

Марья Виссарионовна усмехнулась.

— Он глуп... пьян,— продолжал Леонид,— состояние у него никто не знает какое... пугает нас своим векселем, который при наших делах ничего не значит; а если, наконец, нужно с ним расплатиться, так пусть лучше продадут все, только бы с ним развязаться.

Желая поддержать Леонида, я тоже вмешался.

— За Ивана Кузьмича выдать не только Лидию Николаевну, но и всякую девушку есть риск; это мнение об нем общее — мнение, которое мне высказал его товарищ, в первый раз меня увидевший.

Марья Виссарионовна молчала. Наши представления начинали ее колебать, инстинкт матери говорил за нас, и, может быть, мы много бы успели переделать, но Пионова подоспела вовремя. Марья Виссарионовна еще издали услышала ее походку и сразу изменилась: ничего нам не ответила и, когда та вошла, тотчас же увела ее в спальню, боясь, конечно, чтобы мы не возобновили нашего разговора.

На другой день я спросил Леонида, нет ли каких последствий нашего объяснения.

— Никаких; со мною мать ласкова,— отвечал он.

— А об Лидии Николаевне что говорит?

— Поет старые песни; ничего тут не сделаешь.

Я с своей стороны тоже убедился, что действовать на Марью Виссарионовну было совершенно бесполезно; но что же, наконец, сама Лидия Николаевна, что она думает и чувствует? Хотя Леонид просил меня не говорить с нею об женихе, но я решился при первом удобном случае если не расспросить ее, то по крайней мере заговорить и подметить, с каким чувством она относится к предстоящему ей браку; наружному спокойствию ее я не верил, тем более что она худела с каждым днем.

Экзамен кончился, оставалась всего неделя до моего отъезда из Москвы. Я пришел к Леониду с раннего утра и обедал у него. Часу в седьмом Марья Виссарионовна с женихом уехала на Кузнецкий мост. Леонид пошел в гостиную, я за ним; он сел за рояль и начал одну из сонат Бетховена. Я часто слыхал его игру и вообще любил ее, но никогда еще она не производила на меня такого глубокого впечатления: Леонид играл в этот раз с необыкновенным одушевлением, как будто бы наболевшее сердце его хотело все излиться в звуках. Вошла Лидия Николаевна.

— Я пришла послушать брата,— сказала она и села около меня.

Леонид продолжал играть и не обращал на нас внимания.

— Вы скоро едете? — спросила меня Лидия Николаевна вполголоса.

— Чрез неделю.

— Не забывайте нас: мне жаль брата, он очень вас любит и станет скучать без вас.

— Что делать, будем хотя изредка переписываться,— сказал я.

Несколько минут мы молчали.

— Вы слышали, я замуж выхожу? — начала Лидия Николаевна совсем тихим голосом.

— Слышал.

— Вам нравится мой выбор?

Я молчал.

— Он очень хороший человек.

Я молчал.

— Я ему давно нравлюсь.

— Еще бы вы ему не нравились,— сказал я, наконец. В голосе моем против воли слышалась досада.

— Скоро свадьба? — прибавил я.

— Не знаю.

— Где вы будете постоянно жить?

— Тоже не знаю, ничего не знаю... За что маменька сердится на брата?

— За вас.

— Ах, боже мой! Я это предчувствовала. Уговорите его, пожалуйста, чтобы он ее не сердил: у нее горя много и без нас.

— Он ни в чем не виноват; я на его месте сделал бы больше,— возразил я.

— Что же бы вы сделали?

— Я бы на вас стал действовать.

— А если бы я вас не послушалась?

— Не думаю.

— Нет, не послушалась бы; я бы, может быть, согласилась с вами, но не послушалась, потому что не могу собой располагать.

Мы опять молчали.

— Сколько я предан вашему семейству,— начал я,— как искренне люблю вашего брата и как желаю вам счастия: это видит бог!.. И уверен, что из вас выйдет кроткая, прекрасная семьянинка, но будущего вашего мужа не знаю.

— Он любит меня.

— Уверены ли вы в этом? И, наконец, любите ли вы сами его?

— Я привыкла к мысли быть его женою и уважаю его за постоянную дружбу к нам.

— Лидия Николаевна, не обманываете ли вы себя? Иван Кузьмич вам не пара; когда-то вы мне сказали, что выйдете замуж по расчету, потому что это удобнее, тогда я не поверил вашим словам.

— Как вы все помните!

— Это нетрудно, потому что вижу подтверждение ваших слов, хотя все-таки не могу допустить той мысли, чтобы вами руководствовало столь ничтожное чувство.

— Отчего же?

— Оттого, что оно прилично только самым пустым женщинам, которые сами не способны любить, да и их никто не полюбит.

— А если я именно такая женщина?

— Если вы такая женщина, то смотрите остерегитесь и не ошибитесь в расчете.

— Нет, я не такая: не обвиняйте меня, вы многого не знаете.

— Все знаю,— возразил я,— и все-таки вас обвиняю...— хотел было я добавить, но, взглянув на Лидию Николаевну, остановился: у ней были полные слез глаза. Леонид тоже взглянул на нас, перестал играть, встал и увел меня к себе в кабинет.

— Что вы такое говорили с Лидой? — спросил он.

Я рассказал ему от слова до слова: ему было неприятно.

— Зачем? Не говорите ей более: будет с нее и без наших слов,— сказал он и вздохнул.

VI

Я видел после этого Лидию Николаевну всего один раз, и то на парадном вечере, который хотя и косвенно, но идет к главному сюжету моего рассказа. Получив приглашение, я сначала не хотел ехать, но меня уговорил Леонид, от которого мать требовала, чтобы он непременно был там.

Мы приехали с ним вместе и застали довольное число гостей. Квартиру Иван Кузьмич нанял действительно щегольскую и прекрасно ее меблировал. Надобно ска-

зать, что я, человек вовсе не щепетильный, бывал в самых отдаленных уголках провинций, живал в столице в нумерах, посещал очень незавидные трактиры, но таких странных гостей, каких созвал Иван Кузьмич, я редко встречал. Дамы были какие-то особенного свойства, не говоря уже о предметах их разговоров, о способе выражения, самая наружность их и костюмы были удивительные: у одной, например, дамы средних лет, на лице было до восьми бородавок, другая, должно быть, девица, была до того худа, что у ней между собственною ее спиною и спинкою платья имелся необыкновенной величины промежуток, как будто бы спина была выдолблена. Третья, по-видимому, ее приятельница, высокая, набеленная, нарумяненная, дама или девица, трудно догадаться, сидела молча, вытянувшись, как будто бы проглотила аршин, и только обводила всех большими серыми глазами. Мужчины тоже не лучше; особенно обратил на себя мое внимание один господин, гладко причесанный, с закругленными висками и сильно надушенный пачулями. Он переходил из комнаты в комнату и чрезвычайно внимательно рассматривал столовые бронзовые часы, карманные часы, стоявшие в футляре на столике, горку с серебром, поставленную в гостиной, даже оглядывал бронзовый замок у двери и пробовал рукою доброту материй на драпировке и, кроме того, беспрестанно пил лимонад, как бы желая успокоить взволнованную созерцанием ценных вещей кровь. «Что такое и для чего он это делает?» — подумал я, и мне пришло в голову смешное подозрение, что он рассматривает с целью украсть что-нибудь. В числе гостей имелся и купец, как можно было это заключить по длиннополому сюртуку, бороде и прическе в скобку, но купец не русский, потому что его черные курчавые волосы и черное лицо напоминали цыганский тип. С ним толковал вполголоса маленький, плешивый, в потертом фраке господин, и толковал с большим одушевлением; он то шептал ему на ухо, то высчитывал по пальцам, то взмахивал руками и становился фертом, но купец, видно, мало сдавался на его убеждения; физиономия его как будто бы говорила: охота тебе, барин, надсажаться, меня не своротишь, я свое знаю и без тебя.

Большая часть этих гостей обращалась с хозяином без всякой церемонии и даже называла его разными

родственными именами: дама с бородавками именовала его племянником, худощавая девица — кузеном, нарумяненная дама или девица — кумом, чиновник — сватом, господин, осматривающий ценные вещи,— братом.

Я начал расспрашивать об всех этих господах бывшего тут же желтолицего поручика, который по-прежнему курил и по-прежнему ядовито на всех посматривал. Он, впрочем, знал только троих и объяснил мне, что купец — лошадиный барышник, высокая дама или девица, называющая Ивана Кузьмича кумом, будто бы многим кума, и удивился, почему я ее не знаю, тогда как у ней есть шляпный магазин. Посреди этого общества Пионова была решительно лучше всех. Разряженная, как на бал, она, должно быть, никак не ожидала, что Иван Кузьмич назовет таких неинтересных гостей; сначала она всех оглядывала, делала гримасы и, наконец, заключила тем, что не стала обращать ни на кого внимания и уставила, не отводя глаз, томный взор на сидевшего в углу Леонида. Муж ее, как колосс родосский, возвышался над всеми в соседней комнате; он играл там в карты. Ваньковская с дочерью приехала довольно поздно. Иван Кузьмич ввел их в гостиную с торжеством. Марья Виссарионовна, как и Пионова, осмотрела всех, переглянулась с приятельницею и уселась рядом с нею. Затем последовала смешная и досадная сцена: дама с бородавками, худощавая девица и господин во фраке вдруг вздумали рекомендоваться Ваньковским, и не Марье Виссарионовне, а Лидии Николаевне, с просьбою, чтобы она их полюбила и не оставила на будущее время своим знакомством и расположением. Бедная девушка переконфузилась и не знала, что ей отвечать и куда глядеть.

Вскоре за Ваньковскими Иван Кузьмич привел еще нового гостя — но этот был совсем другого рода: мужчина лет тридцати, прекрасно сложенный, с матовым цветом лица, брюнет, но с голубыми глазами, одетый франтом, одним словом, совсем красавец.

— Петр Михайлыч,— проговорила при входе его Лидия.

— Ах, monsieur Курдюмов! Давно ли вы здесь? — воскликнула Марья Виссарионовна.

— Не более двух часов, как въехал в заставу, был сейчас у вас,— отвечал гость, садясь около Лидии Николаевны.

— И там, вероятно, вам сказали, что Марья Виссарионовна у меня,— вмешался Иван Кузьмич.

— Да,— отвечал гость и отнесся к Леониду: — Bon soir, cher Léonide![1]

Леонид кивнул ему головой.

— Вы теперь откуда? — спросила его Марья Виссарионовна.

— Теперь из Петербурга.

— Долго там изволили быть? — вмешался опять Иван Кузьмич.

— Нет, несколько дней.

— Где ж вы были этот год? — сказала Марья Виссарионовна.

— В деревне.

— И не скучали? — спросила Лидия.

— Я скучал в том отношении, что мои милые соседи не жили в деревне.

— Нам нынче хотелось, очень хотелось пожить в ваших местах, но никак невозможно было по моим несносным делам,— подхватила Марья Виссарионовна.

— У вас так много занятий, что вам, я думаю, и без соседей не скучно,— заметила Лидия.

— Нет, я скучал,— отвечал Курдюмов.

«Так это сосед Ваньковских»,— подумал я, а на первый взгляд он мне показался иностранцем. Я ожидал, что это какой-нибудь итальянский певец, музыкант или француз-путешественник, потому что в произношении его и в самых оборотах речи слышалось что-то нерусское, как будто бы он думал на каком-то иностранном языке, а на русский только переводил.

Затем пошло все обыкновенным порядком. Пионова, должно быть, видела Курдюмова в первый раз и, желая его заинтересовать собою, начала к нему беспрестанно обращаться с различными фразами и вопросами на французском языке, делая страшные ошибки и несносно произнося. Курдюмов отвечал ей вежливо, но коротко и все заговаривал или с Лидиею или с Марьею Виссарионовною. Иван Кузьмич был тоже очень смешон в обращении с Курдюмовым: он беспрестанно его угощал то чаем, то конфектами, то сигарами, и тот от всего отказывался.

[1] Добрый вечер, дорогой Леонид! (*франц.*)

Ужин был накрыт на маленьких столиках: я с Леонидом случайно очутился за одним столом с Пионовым, его партнерами и желтолицым поручиком. Здесь я в первый раз в жизнь мою видел на Пионове, сколько один человек может выпить без всяких признаков опьянения. В продолжение вечера, находясь, по его выражению, под дирекциею супруги, он постничал и выпил только рюмок пять доппелькюмеля, но за ужином вознаградил себя сторицею. Насмешливый поручик заметил ему, что на столе мало вина, которого стояло четыре бутылки.

— Мало, сам вижу, что мало. Благодарю вас, молодой человек, что вы меня понимаете. В старые годы не так бывало: мы выпивали, что глазом окинешь, а нынче подадут, что одною рукою поднимешь, да и думают, что угостили хорошо. Это, как я вижу, все конфекты; ну, конфектами мы после займемся,— отвечал Сергей Николаич.— Эй ты, севильский цирюльник,— отнесся он к официанту,— подай-ка сюда господина квартирмейстера — ромашки,— и затем, объяснив, что ром он называет квартирмейстером, потому что он в желудке приготовляет квартиру к восприятию дальнейшего, выпил залпом стакан квартирмейстера, крякнул и съел кусок хлеба.

— Теперь хорошо: испаринка началась, теперь можно и поесть,— продолжал он и, отвалив себе на тарелку три звена белорыбицы, съел все это в минуту, как яйцо всмятку.

Леонид начал угощать Сергея Николаича и налил ему стакан хереса; это он делал, как я уверен, в досаду Пионовой.

— Разве уж для тебя, душа?.. Изволь, не могу отказать, ты малый отличный, я тебе пророчу, что из тебя выйдет со временем превосходный пьяница,— отвечал Пионов и выпил херес.

Поручик и партнеры Пионова просили его выпить и для них.

— И для вас? Извольте, я готов услужить каждому, а себе в особенности,— порешил Сергей Николаич и еще выпил от каждого по стакану и начал есть.

— Вы, господа,— говорил он,— сами не пейте: вы люди молодые; это может войти в привычку, в обществе это не принято; я сам тоже терпеть не могу вина и, ко-

гда увижу его, тотчас стараюсь уничтожить, что я и сделаю с этим шато-марго.

И действительно сделал: бутылки как не бывало. Вошел Иван Кузьмич.

— Господа, пожалуйста, кушайте! Что ты, Сергей Николаич, выпил бы чего-нибудь,— сказал он.

— Да что, брат, пить? Пить-то у тебя нечего: вот на столе поставлены были четыре бутылки; молодые люди все выпили, а мне, старику, ничего и не досталось.

— Я велю сейчас подать.

— Да, да, вели; не щади меня, душа моя, я не стою твоего сожаления. А сам-то что?.. Хоть бы понюхал, братец. На! Понюхай, славно ведь пахнет.

— Не могу, братец, нынче,— отвечал Иван Кузьмич и ушел, чтобы приказать еще подать вина.

Пионов продолжал пить и есть, толкуя в то же время, что рюмками не следует пить, так как это сосуд для женщин, потому что они с тоненькими талиями и женского рода.

Его никто уже не слушал. Мы переглянулись с Леонидом и вышли в залу, где ужинали дамы. Курдюмов сидел рядом с Лидиею Николаевною и что-то ей рассказывал; Иван Кузьмич стоял у них за стульями. После ужина Пионова вдруг села рядом с Леонидом.

— Леонид Николаич, довезите меня домой; Серж, вероятно, останется в карты играть, а я ужасно устала.

— Я с ним приехал,— отвечал Леонид, указывая на меня.

— Он, вероятно, будет так добр, что доедет с кем-нибудь.

— Нет, нельзя, я к нему еду.

— Вы всё по-прежнему нелюбезны, неисправимый человек,— проговорила она и задумалась.

Леонид отошел от нее.

Ваньковские вскоре уехали; их провожал Иван Кузьмич и Курдюмов; последний пожал дружески руку Лидии Николаевны и застегнул ей манто.

— Курдюмов, видно, хорошо знаком с вашими? — сказал я Леониду, когда мы сели в экипаж.

— Знаком: в деревне часто к нам ездил... Не люблю я его.

— А что?

— Антипатичен, а поет недурно.

— Поет недурно?

— Да...

Леонид у меня ночевал. На другой день я совсем уехал из Москвы; он меня провожал до заставы; мы братски с ним обнялись и расстались.

VII

Человек предполагает, а бог располагает. Я думал уехать из Москвы навсегда, а лет через пять случилось опять в нее вернуться, и вернуться на житье. В продолжение этого времени я переписывался с Леонидом; он меня уведомлял, что желание Пионовой исполнилось: Лида вышла за Марасеева, что дела их по долгам поправляются плохо, что он поступил в университет, но ничего не делает; вообще тон его писем, а особенно последних, был грустен, в одном из них была даже следующая фраза: «Опасения наши сбываются, Лиде нехорошо!»

Приехав в Москву, я не застал его: он с Марьею Виссарионовною и с маленькими сестрами уехал в деревню, а Лидия с мужем жила в Сокольниках; я тотчас же к ним отправился. Они нанимали маленький флигель; в первой же после передней комнате я увидел Лидию Николаевну, она стояла, задумавшись, у окна и при моем приходе обернулась и вскрикнула. Я хотел взять у ней ручку, чтобы поцеловать; она мне подала обе; ей хотелось говорить, но у ней захватывало дыхание; я тоже был неспокоен.

— Сейчас заезжал к Леониду, но его нет в Москве,— начал я.

— Да, он уехал с маменькою в деревню. Ах, боже мой, я все еще не верю глазам своим!.. Что же мы стоим?.. Садитесь!.. Не хотите ли чего-нибудь: чаю, кофею?

— Ничего покуда, хочу только насмотреться на вас... Иван Кузьмич?

— Его нет дома; он очень будет вам рад, мы почти каждый день вспоминаем вас, а над Леонидом даже смеемся, что он в вас влюблен.

— Как влюблен?

— Решительно влюблен; он слышать не может, если кто-нибудь скажет об вас дурно.

— Кто же это говорит обо мне дурно?

— Конечно, Пионова.

— Она все еще знакома с вами?

— Да, у маменьки бывает часто, а ко мне не ездит; Иван Кузьмич, впрочем, бывает у них... Она меня, вы знаете, не любит,— отвечала Лидия. И снова взяла меня за руку и крепко пожала. На глазах у нее навернулись слезы.

— Скажите же что-нибудь про себя,— продолжала она: — где вы были, что вы делали? Я несколько раз спрашивала Леонида, он мне ничего подробно не рассказывал, такой досадный!

— Я был во многих местах и служил.

— Я думала, что вы уж женились?

— Это почему вы думали?

— Так, мне казалось, что вы непременно женитесь на Верочке Базаевой.

— Это с чего пришло вам в голову?

— Сама не знаю, а часто об этом думала.

— Ошибались, я ни на Вере Базаевой и ни на ком не женился, а вы вот вышли замуж, и потому не вам бы меня, а мне вас следовало спрашивать.

— Разве я не при вас вышла замуж?

— Кажется.

— Ах да, я и забыла, это уже было так давно, вы, однако, знали, что я выхожу за Ивана Кузьмича?

— Догадывался.

— Нет, вы знали, вы даже говорили мне об этом, и я никогда не забуду ваших слов.

— Я уехал до вашей свадьбы.

— Теперь вспомнила: вы уехали на другой день после вечера у Ивана Кузьмича. Как я была тогда сердита на себя; я никак не думала, что вы уедете, не простясь с нами, я хотела вам сказать многое после этого вечера.

— Скажите теперь.

— Теперь уже нечего говорить.

— Стало быть, теперь для вас бури промчались, гроза миновалась?

— Не совсем: бури, кажется, еще только начинаются; вы где живете?

— На Тверской.

— Нет, зачем? Переезжайте в Сокольники.

— У меня дела есть в Москве.

— Ну, что дела!.. Отсюда можно ездить, переезжайте. Бог даст, приедет Леонид, нам будет очень весело. Переезжайте.

Я согласился.

— А сегодня у нас отобедаете?

— Если вам угодно.

— Да, непременно, я вас познакомлю с моею belle-soeur[1], сестрою Ивана Кузьмича.

— Она не вроде тех, которых я видел у него на вечере?

— О нет, то родня его с отцовской стороны, а это совсем другая; очень умная девушка, она вам понравится.

Так говорила Лидия Николаевна, и я не спускал с нее глаз. Она мне очень обрадовалась, но в то же время видно было, что к этой радости примешивалось какое-то беспокойство. В ее, по-видимому, беспечном разговоре было что-то лихорадочное, как будто бы она хотела заговорить меня и скрыть то, что у ней лежало на сердце. Подозрения мои еще более подтвердились, когда она потом вдруг задумалась, и как-то мрачно задумалась, так что тяжело и грустно было видеть ее в этом положении. Я начал между тем осматривать комнату, в которой сидел. Квартира была слишком небогатая, несмотря на то, что, по-видимому, были употреблены все усилия, чтоб скрыть ее недостатки и хоть сколько-нибудь принарядить бедное помещение. На грязных и невысоких окнах стояли прекрасные цветы; мебель, вряд ли обитую чем-нибудь, покрывали из толстого коленкора белые чехлы; некрашеный пол был вымыт, как стеклышко.

Вошла белокурая девушка в локонах, собою нехороша и немолода, но в белом кисейном платье, в голубом поясе и с книгою в руках. Я тотчас же догадался, что это m-lle Марасеева, и не ошибся. Лидия Николаевна познакомила нас и сказала, что я друг Леонида и был с нею очень дружен, когда она была еще в девушках. М-lle Марасеева жеманно поклонилась мне, села и развернула книгу.

— У нас никто не был? — спросила она.

— Нет, никто,— отвечала Лидия Николаевна.

— Ужасная тоска; я вчера от скуки принималась несколько раз хохотать и плакать.

— Сейчас кто-то подъехал,— сказал я, увидев, что на двор въехал красивый фаэтон.

М-lle Марасеева вскочила и взглянула в окно.

— Петр Михайлыч,— проговорила она — голос ее дрожал.

---

[1] золовкой, (*франц.*)

Я взглянул на Лидию Николаевну: она тоже вспыхнула.

— Курдюмов? — спросил я ее.

— Да, ах, какая досада! Я не одета.

— А он разве здесь же живет?

— Да, в Сокольниках. Прими его, Надина, я уйду. Как рано ездит,— проговорила Лидия Николаевна и ушла.

Курдюмов вошел из противуположных дверей; он был в легоньком пальто, в галстуке болотного цвета, в пестрых невыразимых и превосходном белье. Еще более стал походить на иностранца.

— Bonjour, mademoiselle Nadine [1],— проговорил он, подавая ей руку.

— Bonjour,— отвечала та, пожимая его руку с заметным удовольствием.

— Madame est à la maison? [2] — спросил он.

— Elle va venir à l'instant [3].

Усевшись, Курдюмов начал оглядывать свое пальто, сапоги, которые точно удивительно блестели; потом натянул еще плотнее на правой руке перчатку и, наконец, прищурившись, начал внимательно рассматривать висевший на стене рисунок, изображающий травлю тигров.

— Comme il fait beau aujourd'hui [4],— сказала Надина.

— Oui [5],— отвечал Курдюмов, не изменяя своего положения.

«Зачем этот господин живет в Сокольниках и ездит, как видно, довольно часто к Ивану Кузьмичу? — думал я.— Не может быть, чтобы он находил удовольствие в сообществе с хозяином; но если предположить, что он это делает по старому знакомству или просто от некуда деваться, то вряд ли старое знакомство может иметь цену в глазах его, а чтобы ему некуда было деваться в Москве, тоже невозможно. Обе дамы ожидали его приезда, и обе, каждая по-своему, встревожились».

— Вы вчера не были на гулянье? — сказала Надина.

— Non [6],— отвечал Курдюмов.

---

[1] Здравствуйте, мадмуазель Надина, *(франц.)*

[2] Мадам дома? *(франц.)*

[3] Она сию минуту придет. *(франц.)*

[4] Какая сегодня прекрасная погода, *(франц.)*

[5] Да, *(франц.)*

[6] Нет, *(франц.)*

— А зачем же третьего дня вы обещали?

— Que faire donc? J'avais des lettres à écrire pour la campagne[1]... Вас тоже не было, вы ездили в Москву!

— Одна только Лида, а я целый день была дома и ужасно скучала, на гулянье пошла злая-презлая... К счастию, попался Занатский, и мы с ним пересмеяли всех. Он очень милый молодой человек, и я начинаю его с каждым днем более и более любить.

— О!.. Любить!.. Это немножко досадно,— проговорил Курдюмов, в голосе его слышалась скрытная насмешка.

— Вам досадно? Не верю, для вас не может быть это досадно,— возразила Надина.

— Отчего же не может быть? — спросил Курдюмов с ударением и протяжно.

— А!.. Если это так, так это очень лестно,— воскликнула m-lle Марасеева,— вы знаете, я очень самолюбива и начинаю думать, что вы завидуете Занатскому, который имеет счастье мне нравиться.

— Может быть.

— Ваши *может быть* несносны; я ненавижу ничего неопределенного; для меня *может быть* хуже, чем *нет*.

— Какой вы имеете решительный характер!

— О! да; и не я одна; мы все, женщины, гораздо решительнее вас, господ мужчин, присвоивших себе, не знаю к чему, имя героев, характер твердый, волю непреклонную; мы лучше вас, мы способны глубже чувствовать, постояннее любить и даже храбрее вас.

Курдюмов ничего не отвечал и продолжал рассматривать картину.

— Вопрос, кто лучше — мужчины или женщины, довольно старый,— вмешался я.

— Однако он еще не решен,— отозвалась Надина.

— Всякий решает его по-своему,— отвечал я.

— Вы думаете! Ах, позвольте! Мне это напомнило очень смешной анекдот: когда я жила в Калуге, мы с одним молодым человеком целый вечер спорили об этом до того, что начали сердиться друг на друга. Вдруг приезжает доктор: чудо, какой умный человек, и ужасный остряк. Я обращаюсь к нему почти со слезами на глазах и говорю: «Иван Васильевич! Бога ради, скажите нам ско-

---

[1] Что же делать? Мне надо было написать письма в деревню... *(франц.)*

рее, кто хуже: мужчины или женщины?» Он вдруг, не задумавшись и очень серьезно, отвечает: «Оба хуже!» Я покатилась со смеху, молодой человек тоже, а за нами все, и целый вечер повторяли: «Оба хуже!»

M-lle Марасеева из этой маленькой сцены сделалась для меня совершенно понятна. Многим, конечно, случалось встречать в некоторых домах гувернанток, по-своему неглупых, очень бойких и чрезвычайно самолюбивых, которые любят говорить, спорить, острить; ездят всегда в маскарады, ловко интригуют и вообще с мужчинами обращаются чрезвычайно свободно и сверх того имеют три резкие признака: не совсем приятную наружность, достаточное число лет и необыкновенное желание составить себе партию; та быстрота и та энергия, с которою они стремятся завоевать сердце избранного героя, напоминает полет орла, стремящегося на добычу, но, увы! эта энергия, кроме редких случаев, почти всегда истрачивается бесполезно. Золовка Лидии Николаевны на первый взгляд показалась мне в этом же роде. Я видел, что она преследует Курдюмова, но неужели и он ею интересуется? Странно! Лидия Николаевна наконец вышла; она оделась очень к лицу, так что я никогда не видал ее столь интересною. Курдюмов поклонился ей с улыбкою, в лице его отразилось удовольствие. Кланяясь с гостем, Лидия опять как будто вспыхнула и села около меня.

— Мне все не верится, что вы приехали,— начала она.— Аннушка моя вам так обрадовалась, точно сумасшедшая, ничего даже мне не приготовила; я вовсе не знала, что она вас так любит.

Эта Аннушка была та самая горничная, которая некогда пригласила меня из кабинета Леонида в гостиную к барышне.

— Мы с Петром Михайлычем сейчас поссорились,— заговорила Надина.— Он меня просто выводит из терпения своими двусмысленными ответами, а ты знаешь, как я не люблю таинственности.

— Вы часто ссоритесь,— отвечала Лидия Николаевна.

— Mademoiselle Nadine на меня сердится, а я нет,— сказал Курдюмов.

— Я сержусь, но я и прощаю, а кто прощает, тот искупает все, потому что раскаивается,— возразила Надина,— в этой книге я нашла одну прекрасную мысль, она мне очень понравилась. По-французски теперь не

помню, а по-русски: легче снести брань и побои грубого простолюдина, чем холодный эгоизм светского человека. Это справедливо.

— Et vous, madame, avez vous lu le petit ouvrage, que je vous ai recommandé? [1] — отнесся Курдюмов к Лидии Николаевне.

— Pas encore [2],— отвечала та.

— C'est dommage, car il est plein d'esprit et de sentiment [3].

— Не верьте ей — прочла, она взяла его у меня и вчера вечером все читала.

— Где же читала? Я так, только развернула,— возразила Лидия.

— Не скрывай, читала; а если ты не читаешь, так я у тебя опять возьму. Я видела, тут есть отметки? Это ваши отметки?

— Мои,— отвечал Курдюмов.

— Очень рада; непременно изучу их. По отметкам в книгах можно судить о характере человека, а мне очень хочется разгадать ваш характер.

Подали завтрак, и завтрак довольно прихотливый. Курдюмов начал есть с большим аппетитом. Лидия Николаевна предложила мне, но я отказался: мне кусок не шел в горло! Вся обстановка, посреди которой я ее встретил, мне очень не нравилась: тут что-нибудь да скрывается.

Надина вышла в залу, села за фортепьяно и начала брать аккорды.

— Иван Кузьмич рано уехал в город? — спросил Курдюмов, уставив глаза на Лидию Николаевну.

— Да, рано,— отвечала она, потупившись.

— А приедет домой сегодня?

— Я думаю.

— Вы здоровы?

— Нет, не совсем; мало спала.

— У вас прекрасный цвет лица.

— Не знаю,— отвечала Лида,— я поутру чувствовала себя нехорошо, но вот он — мой старый друг — приехал,— прибавила она, беря меня за руку,— и я так обрадовалась, что все забыла.

---

[1] А вы, мадам, прочитали то маленькое произведение, которое я вам рекомендовал? *(франц.)*

[2] Нет еще, *(франц.)*

[3] Жаль, потому что оно полно ума и чувства *(франц.)*.

Курдюмов покачнул головой.

— Петр Михайлыч, угодно вам петь? — проговорила из залы Надина.

— Je mange, mademoiselle [1],— отвечал Курдюмов.

— Спойте,— сказала Лидия Николаевна.

— Я, думаю, наскучил вам своим пением; я так много пою у вас, что нигде столько не пел.

— Вы так хорошо поете, вас так приятно слушать, что никогда не наскучит... Спойте!

— A l'instant [2],— отвечал Курдюмов и пошел в залу.

Лидия тоже встала и пошла, я последовал за нею.

— Вы по-прежнему, Лидия Николаевна, любите музыку?

— Да, очень; мне легче на душе, когда я слышу хорошую музыку: Петр Михайлыч прекрасно поет.

Курдюмов подошел и сел за рояль.

Надина кокетливо ему улыбнулась и встала у него за стулом. Лидия Николаевна села на дальний стул; я не вышел из гостиной, а встал у косяка, так что видел Лидию Николаевну, а она меня нет. Курдюмов запел: «Зачем сидишь ты до полночи у растворенного окна!» Он действительно имел довольно сильный и приятный баритон, хорошую методу и некоторую страстность, но в то же время в его пении недоставало ощутительно того, чего так много было в игре Леонида,— задушевности!

Надина приняла театральную позу, глаза подняла вверх и руки вытянула, как бы желая представить из себя олицетворенный восторг, Лидия Николаевна сидела, задумавшись, и слушала с большим чувством. Как хотите, это недаром; пение Курдюмова вовсе не было так уж увлекательно, откуда же такая симпатия?

— Как мил этот романс,— заговорила Надина,— это твой любимый, Лидия, и я даже знаю, почему, ты сама так любишь сидеть у окна по вечерам.

— С чего ты взяла? Я никогда не сижу.

— Ax, mon Dieu! [3] Никогда! Каждый вечер.

Курдюмов запел какую-то трудную итальянскую арию, но вдруг остановился.

— Иван Кузьмич приехал,— проговорил он и встал.

Лидия проворно пошла в лакейскую навстречу мужу,

---

[1] Я ем, мадмуазель, *(франц.)*
[2] Сию минуту, *(франц.)*
[3] мой бог! *(франц.)*

где и говорила с ним довольно тихо в продолжение нескольких минут. Курдюмов нахмурился. Надина смотрела с беспокойством на дверь в прихожую. Наконец, Лидия Николаевна возвратилась, а за нею и Иван Кузьмич, одетый в какую-то венгерку, с взъерошенными волосами и весь в пыли. Он прямо подошел ко мне и поцеловал меня.

— Здравствуйте! Вот уж, ей-богу, неожиданный гость... совсем нечаянный... сначала не поверил, ей-богу, не поверил, какими, думаю, судьбами? А если... очень рад, прошу покорнейше садиться,— говорил Иван Кузьмич, садясь.

— Здравствуйте! — отнесся он к Курдюмову; тот молча подал ему руку.

— Здоровы ли вы? — спросил Иван Кузьмич.

— Благодарю, здоров,— отвечал Курдюмов.

— А вы здоровы? — отнесся Иван Кузьмич с насмешливою улыбкою к сестре.

— Здорова,— отвечала Надина, а потом с гримасою прибавила:— Посмотрите, как вы запылились, хоть бы велели себя почистить.

— Запылился! Что делать?.. Извините; пыли много, я не виноват; пыль не сало, потер, так и отстало: а уж чего оттереть нельзя, скверно. Старого молодым нельзя сделать,— отвечал Иван Кузьмич и засмеялся.— Я очень рад, что вы здоровы; Петр Михайлыч тоже здоров .. Очень рад,— продолжал он и потом вдруг отнесся ко мне:

— Как проводили время в деревне?

Я ему объяснил, что в деревне я не жил, потому что служил.

— А! вы служили? Я и не знал; по статской или военной изволили продолжать службу?

— По статской.

— Это, то есть, выходит по гражданской части: я сам хочу идти по гражданской, в военной бы следовало, и привык, да устарел; ноги вот пухнут, не могу. Как здоровье вашего батюшки и матушки?

Я снова объяснил ему, что у меня только мать, а отец умер, что ему и прежде было известно. Иван Кузьмич посмотрел на меня с некоторым удивлением; он был если не так пьян, как я видел его некогда, то по крайней мере очень навеселе.

— Запамятовал, совсем запамятовал; а очень рад,— говорил он,— вот только у нас Марья Виссарионовна

уехала с Леонидом; они вам будут очень рады, и Лидия Николаевна вам рада; она вас очень любит. Лидия Николаевна! Вы их любите?

— Я тебе это говорила,— отвечала она.

— Говорила, и я не ревную; я не ревнив,— заключил Иван Кузьмич и взглянул на жену исподлобья.

Лидия Николаевна распорядилась об обеде и беспрестанно торопила слугу, чтобы накрывал скорее на стол. Иван Кузьмич отправился было в буфет; я догадался, что он хотел еще выпить, но Лидия Николаевна пошла за ним и помешала ему, потому что он возвратился оттуда нахмуренный, а она встревоженная. Чрез четверть часа мы сидели за столом. Иван Кузьмич был очень неприятен. В продолжение всего обеда он глупо и неблагопристойно шутил с женою и подтрунивал над сестрою и Курдюмовым. Из слов его можно было понять, что он намекает на их взаимную любовь. После обеда он извинился передо мною и отправился спать. Между Курдюмовым, Надиною и Лидиею Николаевною завязалось какое-то совещание. Надина говорила настойчиво, Курдюмов ее поддерживал, а Лидия полуотговаривалась. Дело объяснилось тем, что они затевали кататься, и Лидия просила меня не уходить, говоря, что они очень скоро вернутся; но я отозвался надобностию быть в Москве, впрочем, проводил их. Мне желалось видеть: какого рода их катанье. Оказалось, что Лидия Николаевна села с Курдюмовым в тильбюри, а Надина верхом.

VIII

Я переехал в Сокольники и первое время бывал у Лидии Николаевны довольно часто, но потом реже; мне тяжело было ее видеть. Иван Кузьмич дурит: дня по два, по три он совсем пропадает из дома и где бывает — неизвестно. Лидия Николаевна грустит и страдает, но со мною неоткровенна, а у меня недостает духу заговорить с нею об этом щекотливом предмете. Надина неутомимо преследует Курдюмова; он почти каждый день бывает у них. Понять не могу этого господина, точно он влюблен в свои длинные ногти и лакированные сапоги; целые дни, кажется, способен ими любоваться. Поет по просьбе дам он довольно часто и этим их очень интересует, а впрочем, скучнейший, по-моему, человек, говорит вообще мало, но зато очень любит насвистывать различные арии и де-

лает это довольно нецеремонно, когда только ему вздумается.

Однажды утром пришел ко мне от имени Ивана Кузьмича человек и просил вечером приехать. Я пошел и, не входя еще в дом, услышал из открытых окон говор нескольких голосов. Вхожу; полна зала гостей, и всё старые знакомые: лошадиный барышник, гладко причесанный брат и еще двое каких-то господ, очень дурно одетых. Все играли в карты; сильный запах ромом давал знать, что пили пунш; Иван Кузьмич был уже пьян и сильно встревожен; он играл с Пионовым, который, увидев меня, выразил большое удовольствие и тут же остроумно объяснил об вновь изобретенном напитке, состоящем в том, что он сначала выпьет рюмку рому, потом захлебнет чаем, потом встряхнет желудок, а там и сделается пунш.

Лидия Николаевна сидела одна в гостиной. Я прошел к ней. На глазах ее видны были заметные следы недавних слез.

— Что вы у нас так давно не были? Бог с вами,— сказала она.

— Я был не так здоров,— отвечал я.

Вошел лакей.

— Водку прикажете подавать? — спросил он Лидию Николаевну.

— Еще девятый час,— возразила она.

— Спрашивают-с.

— Всего девятого половина.

Лакей ушел.

— Я тоже больна,— продолжала Лидия Николаевна, обратившись ко мне,— голова все болит, хочу пройтись, да не с кем; Надина уехала к знакомым. Пойдемте!

— Очень рад,— отвечал я.

Лидия Николаевна надела шляпку, бурнус, и мы никем не замеченные вышли задним крыльцом. Она попросила мою руку и оперлась на нее. Дойдя до большой дорожки, Лидия Николаевна остановилась, и мы сели на ближайшую скамейку.

— Что это у вас за вечер сегодня? — начал я.

— Муж затеял! Так мне это неприятно!.. Ничего меня не слушает,— отвечала Лидия Николаевна.

— А давно ли у вас такие вечеринки? — спросил я.

— С нынешнего лета. Он гораздо хуже стал, как уехал брат и маменька. Если бы вы знали, что я переношу!

— Знаю и даже ожидал этого, когда вы еще выходили замуж.

Лидия Николаевна закрыла лицо руками и несколько времени пробыла в таком положении, потом вдруг взяла мою руку.

— Вам жаль меня? — спросила она.

— Неужели же вы сомневаетесь?

— Нет, я верю вам. Скажите мне, научите меня, что делать? Я так поглупела, так растерялась, что ничего не могу сообразить.

— Что мне вам посоветовать? — возразил я.— Советовать или очень легко, если хочешь отделаться одною фразою, или уж очень трудно... Как можно было выходить за подобного человека?

— Нет, я должна была выйти за него. Послушайте, теперь я с вами могу говорить откровенно. Знаете ли, что мы ему до свадьбы были должны сто тысяч, и если бы ему отказали, он хотел этот долг передать одному своему знакомому, а тот обещал посадить мать в тюрьму. Неужели же я не должна была пожертвовать для этого своею судьбою? Я бы стала после этого презирать себя.

— Но кто же вам говорил об этом долге и обо всем?

— Мне говорила это Пионова.

— И вам не совестно было верить этой женщине?

— Этому нельзя было не верить... Она ко мне точно не расположена, но мать она любит и говорила мне об этом с горькими слезами; наконец, сама мать говорила об этом.

Я только пожал плечами.

— Об этом что уж говорить,— продолжала Лидия Николаевна,— теперь уж этого изменить нельзя, все кончено.

«Конечно, уж кончено»,— согласился я мысленно.

— Добр ли по крайней мере Иван Кузьмич по характеру? И любит ли вас? — спросил я, помолчав.

— Добр и любит, когда этого мерзкого вина не пьет, а как закутит, совсем другой человек. Ко мне теряет всякое уважение, начинает за все сердиться... особенно последнее время, приезжая из Москвы... там кто-нибудь его против меня вооружает.

— Я думаю, те же Пионовы.

— Да, и Пионовы, но они не столько: тут есть, говорят, другая дрянная женщина — старинная его привязан-

ность. Я бы и не знала, да мне Аннушка показала ее раз здесь на гулянье.

— Кто же она такая?

— Не знаю, магазинщица какая-то.

— Высокая, прямая?

— Да.

Это была не кто иная, как названная кума, которая у Ивана Кузьмича была на вечере. Лидия Николаевна это забыла, а напоминать ей я не счел за нужное.

— Самое лучшее: не давайте ему пить,— сказал я.

— Дома я ему не даю, так старается как-нибудь потихоньку; наскучит быть вечно на страже, а не то уедет в Москву.

— Не отпускайте.

— Как его не отпустишь, не маленький ребенок. Я и то стараюсь всегда с ним ездить, так не берет. Говорит, что ему надобно в присутственные места. Как же удержать человека, когда он хочет что-нибудь сделать! Сначала я тосковала, плакала, а теперь и слез недостает. Я его очень боюсь пьяного, особенно когда он ночью приезжает, начнет шуметь, кричать на людей, на меня: ревнив и жаден делается до невероятности. Теперь все укоряет, что потерял для меня сто тысяч.

— Злой и низкий человек, больше ничего.

— Нет, когда не пьян, совсем другой; просит, чтобы все забыла, целует руки, часа по два на коленях стоит, так что неприятно видеть.

— Вы бы его больше бранили, что делать? Против подобных людей надобно употреблять грубые средства.

— Я не в состоянии. Сестра Надина в этом случае мне помогает. Она читает ему нотации по целым дням. Первое время это была решительно моя спасительница; он ее как-то побаивался, а теперь и на ту не смотрит; как попадет в голову, сейчас начнет смеяться и бранить ее почти в глаза; она, бедная, все терпит.

— А вы с нею дружны?

— Да, я люблю ее. Она меня тоже очень полюбила. Прежде она никогда не жила с братом вместе, а теперь живет для меня.

— Полно, так ли, Лидия Николаевна?.. Вы слишком доверчивы! Вы готовы верить в любовь каждого, кто хоть немного вас приласкает. Я думаю, Надина имеет другую, более эгоистическую цель.

— Может быть, ей хочется и в Москве пожить!

— Именно в Москве жить, и жить затем, чтобы победить сердце Курдюмова.

— А вы разве уж заметили?

— Еще бы! Для этого надобно иметь не большую проницательность.

— Странная, я ее не понимаю; она очень умная девушка, но в этом отношении смешна: она влюбилась в него на другой же день, как увидела его.

— Это не мудрено; он так хорош собою и имеет столько других достоинств, что может и не Надину увлечь.

— Но как бы ни был хорош мужчина, все-таки надобно узнать его сколько-нибудь, чтобы полюбить.

— А вы сами лично знаете Курдюмова?

— Да, я его знаю; он человек очень благородный, и у него прекрасное сердце.

— Вот как! Даже и сердце прекрасное! Кто же об этом вам сказал? Не сам ли он?

— Ну, нет; что вы смеетесь! Он, право, хороший человек, немного светский, но не похож на других. Посмотрите, сколько у него души в пении!

— Нисколько; счастливый голос и рутина.

— Полноте, вы несправедливы к нему! За что вы его не любите?

— Я его не люблю за то, что его не любит ваш брат, и я в этом случае Леониду верю безусловно.

— Нет, Леониду нельзя верить; он чудный человек, но капризный. Из всех знакомых он любит только одного вас, а прочих никого.

— Если Леонид Николаич чересчур исключителен в своих привязанностях, то вы совершенно противоположны ему в этом отношении. Любить и быть дружным надобно осторожно, особенно женщинам, чтобы не испытать потом позднего и тяжелого разочарования.

— Но зачем же видеть людей в таком черном цвете, и без того в жизни много горького, а что ж будет, если никому не станешь верить и никого не будешь любить? Это ужасно! — отвечала Лида, встала и подала мне руку.

Мы пошли; я видел, что ей не хотелось продолжать наш разговор.

У женщин мыслящих и чувствующих есть своего рода ложные сердечные убеждения, изменить которые так же трудно, как и изменить натуру их сердца, и противоречия

которым горьки и обидны для них. Так было и с Лидою; но я не стеснился этим и решился высказать ей самую горькую правду.

— Не знаю, Лидия Николаевна,— начал я,— с чего вы предполагаете в Курдюмове прекрасное сердце! По-моему, он человек светский, то есть человек внешних достоинств. Приезжая к вам, он насилует себя; ему нужен иной круг, ему неловко в вашей маленькой гостиной, и всем этим, вы, конечно, понимаете, он жертвует не для Ивана Кузьмича, на которого не обращает никакого внимания, и не для Надины, от которой отыгрывается словами, а для вас.

Когда я говорил последние слова, то чувствовал, что рука Лидии дрожала, но я не остановился и продолжал:

— Вы в самом удобном положении, чтобы за вами ухаживать; вы женщина умная, вы несчастливы, быть вашим утешителем приятно, и незаметно можно достигнуть своей цели.

— Довольно, будет,— перебила Лидия Николаевна,— вы безжалостны и несправедливы. Я к нему чувствую только дружбу и была бы очень довольна, если бы он женился на Надине.

— Вы знаете, что этого никогда не случится. Будьте к себе строже, Лидия Николаевна, поверьте свои чувства и остерегитесь, когда еще можно.

— Нужели же вы обвиняете меня и за дружбу? Я и с вами дружна, но не влюблена же в вас,— возразила она с достоинством.

Мне это сравнение показалось несколько обидно.

— Дай бог, чтобы вы питали к этому человеку то же чувство, как и ко мне, но что наши чувствования в отношении вас совершенно различны, в том я готов дать клятву. Не скрою, что первое время нашего знакомства и я смотрел на вас иными глазами, но с той минуты, когда узнал, что вы выходите замуж, я овладел собою, с той минуты вы сделались для меня родною сестрою, и только. Курдюмов действовал, кажется, совершенно иначе: на вас — девушку, он вряд ли обращал какое-нибудь внимание, а заинтересовался вами, когда вы сделались дамою.

— Довольно, кончимте этот разговор. Вы безжалостны, с вами иногда страшно говорить; вы способны убить в женщине веру и в самое себя и в других.

— Я сказал только правду, как я ее понимаю.

Говоря это, мы подошли к дому и опять с заднего крыльца прошли в гостиную, там нашли Курдюмова. Лидия взглянула на меня и потупилась.

— Vous vous êtes promenée? [1].

Лидия кивнула головою и села. Я взглянул в залу; там была возмутительная сцена: игроки перестали играть и закусывали. Все они были навеселе и страшно шумели и спорили. Иван Кузьмич и Пионов еще играли. У первого лицо было совершенно искажено, он, верно, проигрался. Пионов хохотал своим громадным голосом на целый дом.

— Ну, дама так дама!.. Извините, сударыня, и вас пришибем. А валет? Эх, брат Иван, говорил, не надейся на валета. Ну, туз твой, твой!.. Али нет! Десяточка-касаточка, не выдай — не выдала! Баста! — проговорил Пионов, встал и подошел к столу с закускою.

— Эге, господа, вы тут ловко распорядились: все чисто. Эй ты, кравчий! Выдай, брат, за ту же цену подливки, а мы покуда мадеркой займемся. Вы, господа, на мадерку-то и внимания не обратили, да она и не стоит — дрянь; я уж так, от нечего делать, по смиренству своему, займусь ею. Эй, Иван Кузьмич! Позабавься хоть мадеркою, раскуражь себя. Это ведь ничего, виноградное, оно не действует.

Иван Кузьмич встал и подошел к столу. Пионов налил ему полный стакан; он выпил, закурил трубку, прошелся по зале нетвердыми шагами, вошел в гостиную, посмотрел на всех нас, сел на стул и начал кусать губы, потом взглянул сердито на жену.

— Отчего вы не велели давать нам закуски? — спросил он ее, ероша себе волосы.

Лидия Николаевна не отвечала.

— Вы не велели, а я велел,— извините! — продолжал он.— Где моя сестрица?

Лидия Николаевна молчала.

— Отчего же вы со мною не хотите говорить! Я вас спрашиваю: где моя сестрица?

— Она уехала,— отвечала Лидия.

— А! Уехала, очень жаль... Петр Михайлович! Ваша mademoiselle Надина уехала,— сказал Иван Кузьмич и замолчал на несколько минут.

---

[1] Вы гуляли? *(франц.)*

— Отчего ж вы не велели подавать закуску? — отнесся он опять к жене.

— Я ничего не говорила, меня дома не было... я гуляла.

— А! Вы гуляли! Вы всё гуляете, и я гуляю... что же такое?

Курдюмов бледнел; я не в состоянии был взглянуть на Лидию, так мне было ее жаль.

— Вы проиграли или выиграли? — отнесся я к Ивану Кузьмичу, желая хоть как-нибудь переменить разговор.

— Проиграл-с,— отвечал Иван Кузьмич,— тысячу целковых проиграл; ничего-с, я свое проигрываю... я ни у кого ничего не беру.

Лидия встала и пошла.

— Куда же вы? Посидите с нами, мы сейчас будем ужинать,— сказал ей Иван Кузьмич.

— Я не хочу,— отвечала Лидия и проворно ушла.

— Это значит, дамы не ужинают. Покойной ночи, а мы будем ужинать и пить; а вы тоже не ужинаете? — отнесся он насмешливо к Курдюмову.

— Не ужинаю,— отвечал тот, встал и, поклонившись, ушел.

— Ну, так и вам покойной ночи,— сказал хозяин,— вы тоже дама, у вас беленькие ручки. Прощайте; я ведь глуп, я ничего не понимаю, в вас mademoiselle Надина влюблена. Знаю, я хоть и дурак, а знаю, кто в вас влюблен; я только молчу, а у меня все тут — на сердце... Мне все наплевать. Я ведь дурак, у меня жена очень умна.

Я встал и тоже хотел уйти, Иван Кузьмич тут только заметил мое присутствие.

— Нет, вы, пожалуйста, не ходите, я вас люблю; сам не знаю, а люблю; а этот Курдюмов — вот он у меня где — тут, на сердце, я его когда-нибудь поколочу. Вы останьтесь, поужинайте, я вас люблю; мне и об вас тоже говорят, я не верю.

— Что ты тут сидишь? Пора, братец, ужинать,— сказал Пионов, войдя.

— Не смею: мне жена не велит ужинать... говорит: вредно... Она боится, что я умру. Ха... ха... ха...— засмеялся Иван Кузьмич.— А я не боюсь... я хоть сейчас — умру; не хочу я жить, а хочу умереть. Поцелуй меня, толстой.

— Изволь! — проревел Пионов и, прижав голову

Ивана Кузьмича к своей груди, произнес: — «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина!»

Я воспользовался этою минутою и ушел. Господи, что такое тут происходит и чем все это кончится!

IX

Как хотите, Лидия Николаевна более чем дружна с Курдюмовым. Она непременно передала ему последний мой разговор с нею о нем, потому что прежде он со мною почти не говорил ни слова, а тут вдруг начал во мне заискивать.

— У вас свободен вечер? — сказал он мне однажды, когда мы вместе с ним выходили от Ивана Кузьмича.

— Свободен,— отвечал я.

— Заедемте ко мне.

Я согласился. Мне самому хотелось хотя сколько-нибудь с ним сблизиться. Он нанимал небольшую, но очень красивую по наружности дачу; внутреннее же убранство превзошло все мои ожидания. Пять комнат, которые он занимал, по одной уж чистоте походили скорей на модный магазин изящных вещей, чем на жилую квартиру: драпировка, мраморные статуйки, пейзажи масляной работы, портреты, бронзовые вещи, мебель, ковры, всего этого было пропасть, и все это, кажется, было расставлено с величайшей предусмотрительностию: так что, может быть, несколько дней обдумывалось, под каким углом повесить такую-то картинку, чтобы сохранить освещение, каким образом поставить китайскую вазу так, чтобы каждый посетитель мог ее тотчас же заметить, и где расположить какой-нибудь угловой диван, чтобы он представлял полный уют. Видеть столько лишних пустяков, расставленных с таким глубоким вниманием, в квартире мужчины, как хотите, признак мелочности. Кто не знает, как неприятно бывать в гостях, когда знаешь, что хозяин тебя в душе не любит и не уважает, но по наружности для своих видов, насилуя себя, старается в тебе заискивать. Точно в таком положении я очутился у Курдюмова. Более часу сидели мы с ним или молча, или переговаривали избитые фразы о погоде, о местоположении, наконец он, как бы желая хоть чем-нибудь занять меня, начал показывать различные свои занятия. Прежде я ду-

мал, что он только певец, но оказалось, что он и рисует, и лепит, и гальванопластикою занимается, и даже точит из дерева, кости, серебра, и точит очень хорошо. Все его работы я, разумеется, насколько доставало во мне притворства, хвалил, наконец и эти предметы истощились, и мы снова замолчали. К концу вечера, впрочем, я решился затронуть за его чувствительную, как полагал, струну и заговорил о семействе Марьи Виссарионовны. Курдюмов отвечал слегка и так же слегка спросил меня: давно ли я знаком с ними? И когда я сказал, что еще учил Леонида, и похвалил его, он проговорил покровительственным тоном:

— Oui, il a beaucoup de talent pour la musique [1].

В отношении Лидии Николаевны больше отмалчивался и только назвал ее милою дамою, а Надину умною девушкою; говоря же об Иване Кузьмиче, сделал гримасу.

Возвратившись домой, я застал у себя нечаянного гостя. Леонид возвратился в Москву и уже часа два дожидался меня на моей квартире. Он приехал ко мне тотчас, как вышел из дорожного экипажа, не заходя даже домой, но, здороваясь со мною, не обнаружил большой радости, а только проговорил:

— Хорошо, что приехали, а то все это время была такая скука.

— Кончили курс? — спросил я

— Да.

— Кандидатом?

— Да.

— Много занимаетесь?

— Нет; все было не до того... У сестры бываете?

— Как же.

— Что она, здорова?

— Не совсем, кажется.

— А что благоверный ее?

— Тоже прихварывает, только своего рода болезнию.

— Опять разрешил,— проговорил Леонид и потом, помолчав, прибавил: — Курдюмов часто там бывает?

— Каждый день,— отвечал я.

Он нахмурился.

[1] Да, у него большой музыкальный талант *(франц.)*.

— Я познакомился там еще с новым лицом, с сестрою Ивана Кузьмича,— сказал я.

— Она еще все гостит?— проговорил Леонид.

— Гостит и не думает уезжать.

— Что ж она тут делает?

— Ничего: пламенеет страстию к Курдюмову.

Леонид ничего не отвечал, но еще более нахмурился и несколько времени ходил взад и вперед по комнате.

— Вы говорили с сестрою? — спросил он вдруг меня.

Я догадался, о чем он спрашивает.

— Говорил один раз.

— А что именно?

Я передал ему слово в слово разговор мой с Лидиею Николаевною: спор наш об Курдюмове и визит к сему последнему.

— Курдюмов какой-то всеобщий художник! — заметил я.

Леонид вышел из себя.

— О черт, художник! — воскликнул он.— У человека недостает душонки, чтобы с толком спеть романс, а вы называете его художником... Токарь он, может быть, хороший, но никак не художник.

Я не возражал Леониду, потому что был совершенно согласен с ним. Он у меня ночевал, а на другой день мы оба пошли обедать к Лидии Николаевне. Она только что приехала от матери и очень обрадовалась брату, бросилась к нему на шею и разрыдалась. Иван Кузьмич болен. Сначала я думал, что это последствия похмелья, но оказалось, что он болен серьезнее. Вместе почти с нами приехал к нему доктор, которого я знал еще по университету, старик добрый и простой. Когда он вышел от больного, я нагнал его в передней и спросил:

— Какого рода болезнь у Ивана Кузьмича?

— А что, батенька,— отвечал старик,— подагрица разыгралась и завалы в печени нажил. Алкоголю много глотал.

— И в сильном развитии?

— Будет с него, если нашего снадобья не покушает да диеты не подержит, так на осень, пожалуй, и водянка разыграется.

— У меня есть к вам просьба, Семен Матвеич,— начал я,— семейство здешнее я очень люблю и хорошо знаю.

— Ну, что же такое?

— И потому я просил бы вас Лидии Николаевне ничего не говорить о состоянии болезни Ивана Кузьмича, а ему скажите и объясните, какие могут быть последствия, если он не будет воздерживаться.

— Напугаешь, батенька; ты сам, может, знаешь, в чем вся наша медицина состоит: нож, теплецо, голодок и душевное спокойствие.

— Напугать необходимо; иначе он не будет ни лечиться, ни воздерживаться.

— Эко какой человек-то; спасибо, что сказал. Я его мало знаю, вижу, что пьяница. Ох, уж эти мне желудочные болезни, хуже грудных; те хотя от бога, а эти от себя,— проговорил доктор и уехал.

Обед и время после обеда прошли у нас невесело: Леонид был скучен, Лидия Николаевна, как и при первой встрече со мною, старалась притворяться веселою и беспечною, но не выдерживала роли, часто задумывалась и уходила по временам к мужу. Надина переходила от окна к окну; я догадался, кого она ждет.

В шесть часов вечера приехала Марья Виссарионовна с двумя младшими дочерьми и с Пионовою, которая у Лиды не бывала более года, но, поздоровавшись, сейчас объяснила:

— Ах, chère[1] Лидия Николаевна! Я давным-давно сбиралась быть у вас, да все это время была нездорова. Несколько раз просила Сережу взять меня с собою, не берет. Полно, говорит, mon ange[2], ты едва ноги таскаешь, где тебе ехать в Сокольники за такую даль. Так скучала, так скучала все это время. Сегодня говорят: Марья Виссарионовна приехала, а я и не верю; раза три переспрашивала человека, правду ли он говорит. Сейчас собралась и поехала; думаю, насмотрюсь на мою милую Марью Виссарионовну и повидаюсь с Лидиею Николаевною.

«Что это за бесстыдная женщина,— подумал я,— как ей не совестно говорить, что едва бродит, когда у ней здоровье брызжет из лица и она вдвое растолстела с тех пор, как я ее видел. Видно уж, у ней общая с мужем привычка ссылаться на болезнь». Страсть ее к Леониду еще не угасла, потому что, когда тот вошел в гостиную

---

[1] дорогая *(франц.)*

[2] мой ангел, *(франц.)*

из другой комнаты, она, поздоровавшись с ним, завернулась в шаль и придала своему лицу грустное и сентиментальное выражение.

Ожидания Надины сбылись: Курдюмов часов в восемь явился. Войдя в гостиную, он немного оторопел, увидя гостей, но скоро поправился и начал говорить с Марьею Виссарионовною, относился потом несколько раз к Пионовой и разговаривал с Леонидом. Лидии Николаевне он едва поклонился, но с Надиною был более обыкновенного любезен; та в свою очередь пришла в какое-то восторженное состояние. Я не могу слово в слово передать теперь их разговор, потому что занят был более Лидою, но сколько припоминаю, то Надина вдруг, совсем некстати, спросила Курдюмова: был ли он влюблен? По прежней тактике я думал, что он не ответит ей, но он ответил:

— Был.

— А теперь?

— И теперь влюблен.

— Вы должны сказать: в кого?

— Подобных вещей не говорят.

— Говорят, особенно друзьям; ведь мы друзья?

— Если позволите.

— С восторгом разрешаю, и потому говорите.

— Вы сами наперед посвятите меня в вашу тайну.

— Ох, какие вы требовательные! Вы хотите, чтобы с вами были откровенны прежде, чем вы сами откровенны, и у вас недостает даже великодушия оставить нам, женщинам, право скромности. Вы сами не рискуете шагу сделать, но ожидаете, сидя спокойно в креслах, чтобы к вам подошла бедная женщина и рассказала все свои тайные помыслы,— проговорила Надина и пошла в том же роде.

Надобно сказать, что когда разговор касался любви и вообще чувств, то она заговаривалась. Вначале в ее словах был еще некоторый смысл, но потом, чем более хотела она высказаться, чем более желала выразить свои мысли, тем больше начинала нести вздор, так что уж и сама себя, вероятно, переставала понимать.

В этот раз повторилось то же: более получаса она говорила совершенную галиматью и потом вдруг переменила разговор и начала Курдюмова просить спеть что-

нибудь; он сейчас согласился и пошел в залу. Надина последовала за ним; она, вероятно, с тою целью и вызвала его в залу, чтобы остаться с ним наедине. Это очень не понравилось Марье Виссарионовне.

— Что это за обращение! — отнеслась она к Пионовой.

Та покачала головой.

— И зачем она живет здесь? Мне очень неприятно, что у тебя подобная компаньонка,— прибавила Марья Виссарионовна дочери.

Лида потупилась.

Вообще Марья Виссарионовна в эти два года постарела, похудела и сделалась очень раздражительна, так что с нею говорить было невозможно; она все спорит или принимает на свой счет; на детей беспрестанно сердится. В продолжение этого вечера она сказала несколько самых обидных колкостей Лиде; на двух младших дочерей, которые вышли погулять и погуляли не более получаса, крикнула, зачем они смели так долго гулять, и даже Леониду, которому она всегда более других уступала и который обыкновенно спорил с нею очень смело, в одном пустом разговоре велела замолчать.

X

Я не бывал у Лидии Николаевны несколько дней. Леонида тоже не видал, он живет по делам в Москве. В четверг или в пятницу, теперь уж не помню, в Сокольниках бывает общее гулянье. Я пришел на это гулянье с единственною целью встретить Лидию Николаевну; но ее не было. Надина была тут. Это несколько меня удивило: они обыкновенно всегда гуляли вместе, но еще более показалось мне странным, что Надина, встретившись со мной, отвернулась. Сама она была в необыкновенно тревожном состоянии: соломенная шляпка была у ней совсем набоку, локоны распустились и падали в беспорядке длинными прядями; она брала всех попадавших ей навстречу знакомых под руку, говорила им что-то такое с большим жаром, потом оставляла их, переходила к другим и, наконец, совсем скрылась.

Кто живал в Сокольниках, тот знает, что к концу ле-

та они делаются очень похожими на маленький уездный городок. Все узнают друг об друге до малейших подробностей: узнают, кто какого характера, с кем знаком и на каком основании знаком, кто что делает и, наконец, кто что ест. Маленький комераж, у кого-нибудь случившийся, делается предметом толков и вырастает в один день до огромных размеров. Начавшиеся здесь новые знакомства, особенно между дамами, часто развиваются к первому сентября в тесную дружбу, и наоборот. Хорошо знакомы семейства, переселившиеся вместе на дачу с единственною целью, чтобы чаще видаться, уезжая отсюда, совсем уж не видятся.

Пройдя раза два по главной аллее, я сел рядом на скамейку с одним господином из Ярославля, тоже дачным жителем, который был мне несколько знаком и которого прозвали в Сокольниках *воздушным,* не потому, чтобы в наружности его было что-нибудь воздушное,— нисколько: он был мужчина плотный и коренастый, а потому, что он, какая бы ни была погода, целые дни был на воздухе: часов в пять утра он пил уж чай в беседке, до обеда переходил со скамейки на скамейку, развлекая себя или чтением «Северной пчелы», к которой чувствовал особенную симпатию, или просто оставался в созерцательном положении, обедал тоже на воздухе, а после обеда ложился где-нибудь в тени на ковре, а часов в семь опять усаживался на скамейку и наблюдал гуляющих. Услышать новость, самому рассказать таковую же и вообще поговорить был большой охотник. Всем почти проходящим мимо его знакомым он говорил:

— Что вы ходите? Присядьте! Нет ли чего новенького? Поведайте.

Когда я сел около него, он остался этим очень доволен и ласково кивнул мне головой.

— Что, и вы пришли воздухом подышать? Здесь славно! Чувствуете ли, как смолой пахнет? Самый здоровый запах.

Я хоть ничего не чувствовал, но согласился, что пахнет смолой.

— А, да, кстати! — продолжал воздушный ярославец.— Вы знакомы с Ваньковскими или, как его, забыл фамилию, с зятем ее?

— Знаком,— отвечал я.

— Скажите на милость, что у них такое наделалось?

— Я ничего не слыхал.

— Будто? А тут рассказывают целую историю. У этого зятя живет, говорят, сестра... живет ведь?

— Живет,— отвечал я.

— Сухощавая этакая девица, сейчас была здесь.

— Что ж из этого?

— А я вот давеча после обеда, видите вон этот бугорок под большой сосной, я вот давеча лежал тут и заснул почти, а тут подходит, как его, забыл фамилию, почтамтский чиновник, что ли, знаете, я думаю?

— Нет, не знаю.

— Э, как не знаете, верно, знаете, в самый жар еще гуляет; говорит, что декохт пьет, непременно знаете.

— Уверяю вас, что нет,— отвечал я и просил рассказать, что такое случилось у Ваньковских.

— Я думал, что вы знаете; он тут мне и рассказал, сначала попросил у меня огня и рассказал... с ним был еще какой-то молодой человек... того уж не знаю. Они мне и рассказали.

— Да что ж такое они вам рассказали? — перебил я с досадой.

— Рассказали, что сестра у них живет, ну, и к ним часто ездил Курдюмов. Курдюмова, конечно, знаете? Он мне старый знакомый, наш ярославец... богатые люди прежде были, теперь не знаю.

Никакого терпения у меня недоставало; несносный болтун точно с умыслом пытал меня.

— Я вас решительно не понимаю; что же из этого следует? — сказал я ему.

— Следует, что он к ним ездил, ну, и здесь был слух, что он на этой сестре женится, а вышло вздор. Она была, знаете, только, как я придумал, громовой отвод, а интригу-то он вел с этой молодой барыней, дочерью Ваньковской: я ее не знаю, должна быть хорошенькая, а с отцом хорошо был по клубу знаком: человек был умный, оборотливый; мать тоже знаю, видал в одном доме.

То, что я предполагал, была действительно правда, и молва об этом огласилась уже на все Сокольники. «Что бы там ни было,— подумал я,— но я должен хоть сколько-нибудь поколебать правдоподобность этих слухов». Собеседник мой показался удобным для этого сред-

ством: он станет встречному и поперечному толковать pro и contra [1], как его направишь; я решился его разубедить.

— Это нелепые сплетни,— начал я,— я бываю в этом доме каждый день и очень хорошо знаю, что Курдюмсв бывал тут без всякой цели.

— Говорят...

— Мало ли что говорят; нельзя всему верить. Эта молодая женщина слишком далека от подобных отношений, и каким же образом могло это открыться вдруг, тогда как он знаком с ними более шести лет?

— Видно, как-то открылось, я не знаю хорошенько. Я вас хотел спросить, не знаете ли вы? Вот посижу еще здесь: может быть, пройдет кто-нибудь, кто знает. Любопытно, очень любопытно узнать.

— Все это вздор!

— Не спорьте; сестра от них переехала, не захотела с ними жить, стало, не вздор,— возразил ярославец.— Эй, Николай Лукич, а Николай Лукич? Куда вы бежите? Присядьте,— крикнул он к проходящему мимо его господину в сером пальто.— Вот мы спросим Николая Лукича, он все знает.

Но Николай Лукич только обернулся, сделал ручкой и, проговорив: «В минуточку вернусь», побежал далее.

— Погодите, он придет и все нам расскажет,— отнесся ко мне мой собеседник, но я не хотел ждать дальнейших разъяснений и отошел.

Против Лидии Николаевны я почувствовал решительную ненависть. «Неужели эта женщина,— думал я,— всю жизнь будет меня обманывать: в то время, как я считал ее чистою и невинною, в которой видел несчастную жертву судьбы, она, выходит, самая коварная интриганка; но положим, что она могла полюбить Курдюмова, я ей это прощаю, но зачем скрыла от меня, своего друга, который бог знает как ей предан и с которым, не могу скрыть этого, как замечал по многим данным, она кокетничала; и, наконец, как неблагородно поступила с бедною Надиною. Сама, вероятно, завлекла и сделала из нее ширмы своей интриги». Я решился идти к ней и сорвать с нее маску. Я застал ее в маленьком кабинете; она сидела в креслах, опустивши голову на руки. Увидев меня, она вздрогнула и проговорила:

---

[1] за и против. (*лат.*)

— Это вы?

— Да, я,— ответил я сурово.

Лида посмотрела на меня таким грустным и печальным взором, что решимость моя быть строгим очень поколебалась.

— Где Леонид? — спросила она.

— Он в Москве, а вы одне дома?

— Одна.

— А ваш больной Иван Кузьмич?

— Ему лучше; он уехал; у нас много перемен наделалось.

— Я слышал.

— Уж слышали? Что же такое вы слышали?

— Слышал, что Надина от вас переехала, потому что надежды ее на Курдюмова лопнули; он, говорят, ухаживал за вами.

— И это уж говорят?

— Да, говорят, и говорят на гулянье.

— Что ж: пускай говорят! Это правда.

— Не дай бог, чтоб все была правда; говорят не только, что он за вами ухаживал, но что у вас была интрига и Надина была громовым отводом, который обеспечивал ваши отношения. Неужели и это правда?

— Ну да, правда; вы этому верите, что ж еще спрашиваете?

— За что же вы сердитесь на меня? Если вам неприятно мое участие...

— Мне ничьего не нужно участия; участь моя решена,— возразила Лида.

— Но чем же решена? Вы напрасно так отчаиваетесь.

— Я не отчаиваюсь, а смеюсь. Я потерянная женщина, муж меня бросил, тут отчаяние не поможет.

— Конечно, не поможет. Лучше хладнокровно обдумать, и тогда еще можно найти какое-нибудь средство продолжить обман на год, на два.

Лида посмотрела на меня.

— Какой обман? — спросила она.

— Вроде громового отвода, которым была сделана Надина. Курдюмов, при всем своем тупоумии, на эти вещи изобретателен. Он приищет еще другой какой-нибудь способ, чтоб погубить вас окончательно.

— Не он меня губит, а другие. Он прекрасный чело-

век и предан мне так, как, может быть, никто,— возразила Лида.

Я пожал плечами.

— Вам это странно слышать,— продолжала она,— а вы не знаете, что когда меня, глупую, выдали замуж, так все кинули, все позабыли: мать и слышать не хотела, что я страдаю день и ночь, Леонид только хмурился, вы куда-то уехали, никому до меня не стало дела, один только он, у которого тысячи развлечений, пренебрег всем, сидел со мной целые дни, как с больным ребенком; еще бы мне не верить в него!

— К чему тут тратить много слов, Лидия Николаевна; вы влюблены в него, и этого довольно,— проговорил я с досадой.

— Я не влюблена в него, а люблю его, это вы можете сказать моему мужу, матери, брату, целому свету: мы не вольны в наших чувствах.

— Только этого недоставало, чтоб вы меня понимали так,— возразил я, берясь за шляпу.

Лида молчала.

— Не мало, но, может быть, слишком много, и без всяких прав, претендовал я на участие к вам,— продолжал я почти со слезами на глазах,— извиняюсь же вашим выражением: мы не вольны в наших чувствах.

Лида отвернулась от меня. Я снова продолжал:

— Искренно желаю, чтобы вы не ошиблись в ваших надеждах на избранного вами человека и чтобы не страдали впоследствии раскаянием. Изменить своему долгу, на каком бы то ни было основании, проступок для женщин, за который их осудит и общественное мнение и собственная совесть.

Проговоря эти слова, я вышел из кабинета, решившись совсем уйти, но сделать этого был не в состоянии, а прошел в гостиную и сел, ожидая, что Лида меня вернет. Прошло несколько минут; я превратился весь в слух. Лида меня не звала, но я слышал, что она рыдала. Я не выдержал и снова вошел в кабинет.

— О чем же вы плачете? — спросил я, садясь против нее.

— Простите меня,— отвечала Лида, протягивая мне руку,— я оскорбила вас, я сама не знаю, что говорю... Если бы вы знали, как я страдаю... Не верьте мне, я многое вам говорила неправду.

Я вздохнул свободнее.

— Дай бог,— возразил я,— но все-таки вы держали себя неосторожно с Курдюмовым.

— Неосторожно,— повторила Лида грустным голосом,— еще надобно быть осторожней, я уж и не знаю.

— Да, следовало бы,— заметил я.

— Может быть, но что ж мне делать, если я такая глупенькая, если я так слабохарактерна, вы это и прежде мне говорили,— проговорила Лида и залилась горькими слезами.

Мне стало от души ее жаль. Будь она, кажется, во сто раз виновнее, я не в состоянии быть строгим ее судьею и буду участвовать и помогать ей, насколько во мне достанет сил и возможности.

— Что же у вас такое вышло теперь? — спросил я.

Лида несколько времени не отвечала.

— Третьего дня,— начала она, с трудом переводя дыхание,— Курдюмов говорил мне разные разности. Надина подслушала, потом он прислал мне письмо, она перехватила его и показала мужу, в этом все и произошло.

— Что ж Иван Кузьмич?

Лида глубоко вздохнула.

— Сначала он хотел меня убить, потом гнал, чтобы я шла к Курдюмову, потом плакал — это ужаснее всего, а теперь уехал и не хочет со мной жить. Если бы вы только слышали, что он мне говорил! Надина тоже так рассердилась, что я думала, что она с ума сойдет; вдвоем на меня и напали, я даже теперь не могу вспомнить об этом равнодушно. Посмотрите, как я дрожу, а первое время у меня даже голова тряслась.

Сердце кровью облилось у меня, слушая рассказ Лиды.

— Что вы теперь думаете делать? — спросил я ее.

— Сама не знаю; я очень боюсь Леонида и маменьки, что, если они услышат, а оправдываться я не могу. Они бог знает что подумают.

— За Леонида я вам ручаюсь, он вас очень любит, я ему расскажу все.

— Пожалуйста; впрочем, господи! Я сделала еще одну глупость: после этой сцены, когда Иван Кузьмич и Надина так меня разобидели, я с отчаяния написала к Курдюмову письмо, все ему рассказала и написала, что он один остался у меня на свете и что вся моя надежда на него.

— Что ж он вам отвечал на это письмо?

— Умолял, чтоб я с ним бежала, хотел увезти меня за границу. Мне так после этого сделалось досадно и стыдно за себя. Неужели я такая потерянная женщина, что в состоянии бросить мужа? Иван Кузьмич ко мне был очень нехорош, но пусть он будет в тысячу раз хуже, пусть будет каждый день меня терзать, я все-таки хочу с ним жить.

— Другого вам нечего и делать! Крест ваш тяжел, но вы его взяли и несите.

— Я знаю... Послушайте: съездите, пожалуйста, к мужу, упросите его, чтобы он не делал этих глупостей и приехал бы домой, и, бога ради, успокойте его об Курдюмове.

При последних словах я нарочно смотрел Лиде в глаза, но и тени притворства не было в кротком выражении ее лица.

— Где ж я могу найти Ивана Кузьмича? — спросил я.

— Он или у Пионовых, или у той магазинщицы. Они все и вооружают его; если он дольше еще у них останется, то совсем меня бросит.

Я хотел было тотчас же ехать, но Лида меня остановила и просила остаток вечера провести у ней. Она боялась, что приедет Курдюмов, и он в самом деле приезжал, но его, по общему нашему распоряжению, не приняли.

XI

На другой день я чем свет написал к Леониду письмо и отправил его по городской почте. Я подробно ему описал все, что случилось с Лидией Николаевной, мое свидание с ней и поручение, которое она мне сделала. Ивана Кузьмича я поехал отыскивать часу в десятом. У Пионовых его не было; я дал их лакею полтинник, чтобы вызвать его на откровенность, и стал расспрашивать; он мне сказал, что Иван Кузьмич заезжал к ним накануне поутру и разговаривал очень долго с господами, запершись в кабинете, а потом уехал вместе с барином, который возвратился домой уже утром и очень пьяный, а барыня чем свет сегодня поехала к Марье Виссарионовне.

От Пионовых я отправился в магазин, о котором мне некогда говорил желтолицый поручик, и отыскал его очень скоро по вывеске, на которой было написано: «Махазин лучих французких цвитов, Анны Ивановой». Я вошел по грязной лестнице и отворил дверь прямо в большую комнату. В ней был шкаф и стол, за которым, впрочем, никто не работал. Маленькая запачканная девочка мела пол; у открытого окна сидели две, как я полагаю, старшие мастерицы, из которых одна была худая и белокурая, а другая толстая, маленькая, черноволосая и с одутловатым лицом. При входе моем они переглянулись и засмеялись.

— Что вам надобно? — спросила белокурая.

— Здесь мой хороший знакомый Иван Кузьмич! Я желал бы его видеть,— отвечал я.

— А вы чьи такие? — спросила черноволосая.

— Я знакомый его,— повторил я.

— Да кто такие! Мы ихних знакомых очень хорошо знаем.

— Тебе что за беспокойство? Суешься не в свое дело,— перебила ее белокурая.

— Что мне за беспокойство, так спрашиваю.

— Где я могу видеть Ивана Кузьмича? — отнесся я к белокурой.

— Он там — вон в этой комнате... Матреша! — спросила она девочку.— Иван Кузьмич встал?

— Встал-с.

— Позвать, что ли, вам его?

— Нет, я сам пойду,— отвечал я и, боясь, что Иван Кузьмич ко мне не выйдет, отворил дверь, на которую белокурая мне показывала, и вошел.

Он лежал на диване; перед ним стоял графин водки и морс. Комната была разгорожена ширмами с дверцами, которые при моем появлении захлопнулись. Увидев меня, Иван Кузьмич ужасно смешался, привстал, говорить ничего не мог и весь дрожал. Он был очень истощен и болезнью и, вероятно, недавнею попойкою. Я начал прямо:

— Я приехал к вам, Иван Кузьмич, от Лидии Николаевны, она просит вас возвратиться домой.

— Нет-с, благодарю вас покорно, не беспокойтесь, сделайте одолжение... я стар — мной играть... я не игрушка. Домой мне незачем ехать, я здесь живу... что ж

такое, я всем скажу, что здесь живу, я квартиру здесь нанимаю, и кончено...

— Вы этим компрометируете Лидию Николаевну; неужели вас совесть не упрекает за нее?

Иван Кузьмич сделал нетерпеливый жест.

— Вы сердитесь на нее, и сами не знаете за что,— продолжал я.— Мне все известно: письмо Курдюмова никак не может служить обвинением для Лидии Николаевны. Ни одна в мире женщина не поручится, чтобы какой-нибудь господин не решился ей написать подобного письма. Между вами или одно недоразумение, или вы хотите только сделать зло вашей жене, и за что же, наконец! Неужели за то, что она в продолжение пяти лет терпела все ваши недостатки, скрывала их от знакомых, от родных, а вы пустую записку обращаете ей в преступление.

— Я не за то-с, мне это что... я не за это.

— Так за что же?

— Так, ничего-с: мимо ехали,— отвечал Иван Кузьмич, выпил стакан водки и начал ходить взад и вперед по комнате.

— Коли так больна и не любит меня, так зачем же замуж выходила, шла бы в кого влюблена; а я ведь дурак... я ничего не понимаю,— говорил он как бы сам с собой.

— Она сначала вас уважала, но после вы сами ее вооружили против себя! — возразил я.

— Я вооружил, да-с, я же виноват, коли муж к жене, а она в сторону... может быть, по-вашему, образованному, ничего, очень хорошо... а мы люди простые. Что ж такое? Я прямо скажу, я мужчина, за неволю сделаешь что-нибудь... У них рюмку водки выпьешь, так сейчас и пьяница; ну, пьяница, так пьяница, будь по-ихнему. Теперь меня всего обобрали... я нищий стал... у меня тут тридцать тысяч серебром ухнуло,— ну и виноват, значит! Мы ведь дураки, ничего не понимаем, учились на медные деньги, в университетах не были.

— Не совестно ли вам, Иван Кузьмич, говорить это? Не вы ли сами предложили как доказательство любви вашей уничтожить этот вексель!

— Я не корю. Дай им бог счастья, а мне проживать на них нечего, я все прожил.

Видя, что Иван Кузьмич был так настроен против Лидии Николаевны, что невозможно было ни оправдать ее пред ним, ни возбудить в нем чувство сострадания к ней, я решился по крайней мере попугать его и намекнул ему, что у ней есть родные: мать и брат, которые не допустят его бесславить несчастную жертву, но и то не подействовало. Он сделал презрительную гримасу.

— Ничего я не боюсь; плевать я на всех хочу, что они мне сделают?

Тем мое свидание и кончилось.

Я уехал.

«Нет, Лида не должна жить с этим человеком, он совсем потерялся,— подумал я.— Это еще и лучше, что он сам ее оставил. Пусть она живет с матерью: расскажу все Леониду, и мы вместе как-нибудь это устроим». Больше всех я ожидал сопротивления от самой Лиды: вряд ли она на это решится.

Я заехал к ней, чтобы передать ей малоуспешность своей поездки и сообщить новое мое предположение насчет дальнейшей ее участи, но не застал ее дома: она была у матери, которая присылала за ней. Что-то там происходит? От Леонида не было никакого известия. Возвратившись домой, я целое утро провел в раздумье, ездил потом к Курдюмову, чтобы растолковать, какое зло принес он любимой им женщине, и прямо просить его уехать из Москвы, заезжал к Надине растолковать ее ошибку, но обоих не застал дома, или меня не приняли, а между тем судьба готовила новый удар бедной Лиде.

Поздно вечером, когда уж я улегся в постель, вдруг вошел ко мне Леонид во фраке и в белых перчатках.

— Откуда это? — спросил я его.

— В воксале был и приехал к вам ночевать.

— Очень рад.

— Вы меня положите в кабинет.

— Отчего же не в спальне — со мной?

— Так, я завтра рано уеду.

Я предложил было ему ужинать, но он отказался и просил только дать ему вина.

— Мне хочется сегодня хорошенько выспаться; от какого вина лучше спишь?

— От всякого крепкого: хересу, портвейну.

— Дайте, какое у вас есть.

Я велел подать ему хересу, он выпил целый стакан,

чего с ним прежде никогда не бывало, поцеловал меня, ушел в кабинет, заперся там и тотчас же погасил огонь.

Вообще он был как-то странен и чрезвычайно грустен. Об Лидии Николаевне не сказал ни слова, как будто бы не получал моего письма, а я не успел и не решился заговорить об ней. Мне не спалось, из кабинета слышался легкий шум, я встал потихоньку и заглянул в замочную скважину. Ночь была лунная. Леонид сидел у стола и что-то такое, кажется, писал впотьмах карандашом.

XII

Понять не могу, что такое делается: Леонид, кажется, всю ночь не спал. Я сам заснул почти на утре, но когда проснулся, его уж не было у меня: в шесть часов утра, как сказал мне мой человек, за ним заезжал молодой человек в карете, в которой они вместе и уехали. Тяжелое предчувствие сдавило мне сердце. Я решился, не теряя минуты, ехать к Леониду в Москву, ожидая или найти его дома, или узнать по крайней мере там, куда и зачем он мог уехать. Проезжая Мясницкую, я услышал, что меня кто-то зовет по имени; я обернулся: это был человек Ваньковских, который кричал мне во все горло и махал фуражкой. Я остановился. Он подбежал ко мне.

— Что такое? — спросил я.

— К вам, сударь, бежал; у вас несчастье приключилось: Леонид Николаич очень нездоровы.

— Как, чем нездоров? — спросил я, сажая его к себе на пролетки и велев извозчику ехать как можно скорее.

— Сами не можем знать хорошенько; ночевать они дома не изволили, а сегодня на утре привезли в беспамятстве, все в крови; надобно полагать так, что из пистолета, видно, ранены.

«Только этого недоставало»,— подумал я и очень хорошо все понял. Вчера он получил мое письмо о Лиде, а сегодня у него была, верно, дуэль с Курдюмовым. И как мне, тупоумному, было не догадаться еще вчера, что он замышляет что-то недоброе. Остановить его я имел тысячу средств: я бы его не пустил, уговорил, наконец, помирил бы их.

— Куда он ранен и опасно ли? — спросил я человека.

— Бог их, батюшка, знает; слышал, что кровь-то больно одолевает, доктор при них, не знаем, что будет. Они, как немного поочувствовались, сейчас приказали, чтоб за вами шли, я и побежал. Этакое на нас божеское посещение — барин-то какой! Этакого, кажись, и не нажить другого. Ну, как что случится, сохрани бог, старая барыня не снесет этого: кричит теперь как полоумная на весь дом.

Приехав, я встретил в зале молодого человека, товарища Леонида — некоего Гарновского, которого видел у него несколько раз и которого, как я заметил, он держал в полном у себя подчинении. Я догадался, что это был секундант.

— Жив ли? — спросил я его.

— Жив еще-с,— отвечал он.

— Не стыдно ли было вам участвовать в подобном деле, не предуведомив ни родных, ни меня,— сказал я ему.

— Что ж мне было делать, он взял с меня клятву; в этаких случаях нельзя отказываться,— отвечал он со слезами на глазах.

— Очень можно. Это была не дуэль, а подлое убийство. Леонид во всю жизнь пистолета не брал в руки, вы это знали,— так друзья не делают.

Молодой человек заплакал.

Я прошел в кабинет. Леонид лежал на своей кушетке вверх лицом, уже бледный, как мертвец, но в памяти. Увидев меня, он улыбнулся.

— Здравствуйте! Я вас давно жду,— сказал он, протягивая мне руку.

Я взял и незаметно пощупал пульс, который был неровен, но довольно еще силен. У изголовья стоял растерявшийся полковой медик, которого пригласили из ближайших казарм. Я спросил его потихоньку о состоянии больного; он отвечал, что рана в верхней части груди, пуля вышла, но кровотечение необыкновенно сильно, и вряд ли не повреждена сонная артерия. Я просил его съездить к университетским врачам, чтобы составить консилиум. Из дальних комнат слышались стоны и рыдания Марьи Виссарионовны. Ее, по распоряжению врача, не пускали к сыну.

— Сядьте около меня,— сказал Леонид, когда мы остались одни. Я сел.

— Я скрыл от вас мою проделку,— начал он слабым голосом,— вы бы мне помешали... а мне очень хотелось проучить этого негодяя... Не думал, что так кончится серьезно...

Я просил его не говорить и успокоиться.

— Ничего... часом раньше... часом позже... все равно... Не послали ли Лиде сказать; я этого не хочу... не сказывайте ей дольше... как можно дольше... Вы не оставьте ее... я на вас больше всех надеюсь... Мать тоже не оставьте... ой, зачем это она так громко рыдает, мне тошно и без того.

Я не в состоянии был владеть собой и заплакал.

— И вы туда же! Стыдно быть таким малодушным,— продолжал Леонид.— Теперь мать будет за меня проклинать Лиду; вразумите ее и растолкуйте, что та ни в чем не виновата. Она вчера, говорят, так ее бранила, что ту полумертвую увезли домой. Там, в моей шкатулке, найдете вы записку, в которой я написал, чтобы Лиде отдали всю следующую мне часть из имения; настойте, чтобы это было сделано, а то она, пожалуй, без куска хлеба останется. Ой! Что-то хуже, слаб очень становлюсь... попросите ко мне мать.

Я пошел к Марье Виссарионовне; она лежала на диване, металась, рвала на себе волосы, платье; глаза у ней бегали, как у сумасшедшей, в лице были судороги. Около нее сидела Пионова, тоже вся в слезах.

— Леонид Николаич вас просит к себе,— сказал я.

— Что он — умер?.. умер?..— спросила Марья Виссарионовна, вскочив.

— Напротив, им лучше, они желают только вас видеть.

Она быстро пошла, Пионова последовала за ней.

— Позвольте и мне; мне нельзя ее оставить в таком положении,— отнеслась она ко мне.

Я ей ничего не отвечал. Мы все вместе вошли в кабинет. Марья Виссарионовна бросилась было к сыну на шею, но он ее тихо отвел.

— Нет, тут кровь, замараетесь,— сказал он.

— Кровь!.. Да, тут кровь,— проговорила она безумным голосом и, упав к нему на ноги, начала их целовать.

На лице Леонида изобразилась тоска.

— Марья Виссарионовна! Вы их беспокоите,— сказал я, подходя к ней.

— Chère amie![1] Да вы сядьте,— произнесла Пионова.

— Да... да... я ничего... я сяду,— отвечала она и села.

Я и Пионова стали около нее; Леонид закрыл глаза. Прошло около четверти часа убийственного молчания, Марья Виссарионовна рыдала потихоньку.

Вдруг... во всю жизнь мою не забуду я этой сцены: умирающий открыл глаза, двинулся всем корпусом, сел и начал пристально глядеть на мать. Выражение лица его было какое-то торжественно-спокойное.

— Не плачьте, а простите меня: я много против вас виноват,— начал он,— моею смертию вас бог наказывает за Лиду... вы погубили ее замужеством... За что?.. Это нехорошо. Родители должны быть равны к детям.

Марья Виссарионовна упала на руки Пионовой; в лице Леонида промелькнула как бы улыбка.

— Вы женщина умная, добрая, благородная; отец, умирая, просил вас об одном: не предаваться дружбе и любить всех детей одинаково. Он хорошо знал ваши недостатки; вы ни того, ни другого не исполнили.

Марья Виссарионовна начала сильнее рыдать.

— Загладьте хоть теперь,—начал опять Леонид, голос у него прерывался,— устройте Лиду... с мужем ей нельзя жить, он ее замучит... отдайте ей все мое состояние, я этого непременно хочу... А вы тоже оставьте ее в покое,— отнесся он к Пионовой,— будет вам ее преследовать... Она вам ничего не сделала... Матери тоже жёнихов не сватайте; ей поздно уж выходить замуж.

Пионова обратила к нему умоляющий взор; Леонид грустно покачал головой.

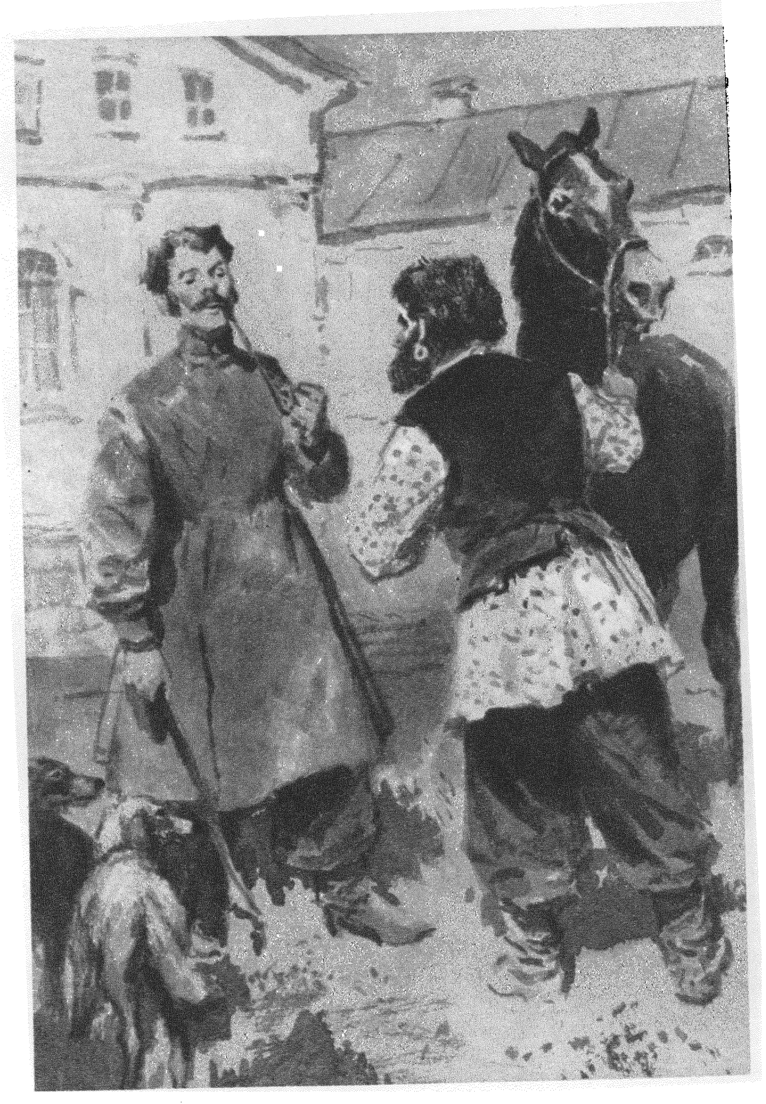
— Я все знаю,— продолжал он.— Как вам покажется,— обратился он ко мне,— Лизавета Николаевна сватала матери своего родного брата, мальчишку двадцати двух лет, и уверяла, что он влюблен в нее, в пятидесятилетнюю женщину; влюблен! Какое дружеское ослепление!

С Марьей Виссарионовной сделался настоящий обморок, Пионова тоже опустилась в кресла. Леонид замолчал, лег и обернулся к стене.

---

[1] Дорогой друг! *(франц.)*

«ВИНОВАТА ЛИ ОНА?»



«ТЮФЯК».

— Пора мне и с собой рассчитаться... Священника!— проговорил он глухим голосом.

Я позвал горничных женщин и с помощью их вынес бесчувственную Марью Виссарионовну; Пионову тоже вывели в двои руки. Пришел священник, Леонид очень долго исповедывался, причастился и ни слова уже потом не говорил. Приехали медики, но было бесполезно: он умер.

Печальные хлопоты о похоронах я принял на себя и пригласил в них участвовать Гарновского, который все сидел в зале и обливался горькими слезами. Он мне рассказал подробности дуэли: накануне приехал к нему Леонид и повез его с собой в воксал; когда приехали, то Леонид все кого-то искал. Встретившись с Курдюмовым, он остановил того, и они вместе ушли в дальние комнаты. Возвратившись, Леонид отвел Гарновского в сторону и, предварительно обязав его клятвою не говорить того, что он ему откроет, сказал, что у него дуэль, и просил его быть секундантом; он согласился, и на другой день Леонид назначил ему заехать за ним ко мне в шесть часов утра. Когда приехали к назначенному месту, Курдюмов уже был там. Он или боялся, или не желал дуэли: с ним даже не было секунданта; он несколько раз просил у Леонида прощения, но тот отвечал, что он обижен не лично и потому простить не может. Когда противники были поставлены, то Курдюмов хотел выстрелить на воздух, но Леонид, заметив это, требовал, чтобы он стрелял как следует, а в противном случае обещал продолжать дуэль целый день. Курдюмов повиновался, раздался выстрел, Леонид пошатнулся, сам тоже выстрелил, но на воздух, и упал. Увидев, что он ранен, Курдюмов бросился к нему, высасывал у него пулю, перевязывал рану и беспрестанно спрашивал, что он чувствует? Когда бесчувственного Леонида повезли домой, он просил позволения проводить его и всю дорогу рыдал, как ребенок, и когда того привезли, он не вышел из экипажа и велел себя прямо везти к коменданту.

«Да будет святая воля бога»,— подумал я. Как знать, что бы принесла Леониду жизнь, особенно если взять в расчет его прекрасную, но все-таки странную натуру.

Я очень боялся за Лиду; мне казалось, что ниспо-

сланное ей испытание свыше сил ее. Приказание Леонида — скрыть от нее случившееся — не исполнили. Кто-то из людей отправился к ней в то же утро и все рассказал до малейших подробностей; она приехала, но Леонид лежал уже на столе. Тут только я увидел, какими огромными нравственными силами обладала эта, по-видимому слабая, женщина. Как должна была огорчить ее смерть брата, которого она страстно любила и который умер за нее, об этом и говорить нечего; но она не рыдала, не рвалась, как Марья Виссарионовна, а тихо и спокойно подошла и поцеловала усопшего; потом пошла было к матери, но скоро возвратилась: та с ней не хотела говорить.

В продолжение трех дней и трех ночей она не отходила от тела, провожала его в церковь, выстояла всю службу, хотя, конечно, видела и понимала, что была предметом неприличного любопытства. Одни называли ее по имени, другие указывали на нее, третьи рассказывали историю дуэли, но никто ее не пожалел, никто в ней не поучаствовал; зато Марья Виссарионовна, как говорится, надсадила всех. Ее внесли рыдающую на креслах, за ней шла, тоже рыдая, Пионова, а при конце службы с ними обеими сделалось дурно. Я и Лида подошли первые и простились с покойником. Иван Кузьмич тоже явился на похороны истерзанный и больной; за панихидой он разрыдался, подошел потом к Марье Виссарионовне, утешал ее, а жене даже не поклонился и как будто бы не заметил ее. Он, как мне сказывали, отобрал от нее все вещи, экипажи, людей, и Лида осталась с одной своей горничной Аннушкой.

Курдюмов содержится на гауптвахте и очень, говорят, тоскует. Все это передавал мне Гарновский, который неимоверно ласкается ко мне и каждый почти день бывает у меня. Он, кажется, очень боится, чтобы ему не досталось чего-нибудь за дуэль.

XIII

Иван Кузьмич доконал себя. Вскоре после смерти Леонида он тяжко заболел и сошелся с женою. Лида все ему простила и в продолжение трех месяцев была его сиделкой, в полном значении этого слова. Старик доктор не ошибся: водяная действовала быстро. Груст-

но и отрадно было его видеть в этот предсмертный период жизни: разум его просветлел, самосознание и чувство совести к нему возвратились; он оценил, наконец, достоинство Лиды и привязался к ней, как малый ребенок, никуда ее не отпускал от себя, целовал у нее беспрестанно руки и все просил прощения за прошедшую жизнь. Пионовых решительно не хотел видеть, они приезжали несколько раз, и как Лида ни просила, чтобы принять их, хоть для приличия, он не соглашался; родных своих также не велел пускать, да они и сами не приезжали, за исключением Надины, которая была один раз и с которой он ни слова не сказал, зато Анна Ивановна ездила каждый день, но ее, это уж по приказанию Лиды, тоже не пускали. Впрочем, она раз сказала об ее посещении Ивану Кузьмичу, он вдруг закричал: «Вон ее, вон ее!» Говорят, он дал ей значительный вексель, который она и подала ко взысканию. Умер он тихо. Лидия Николаевна осталась решительно без всяких средств к жизни, и даже во время его болезни она жила только тем, что продавала кой-какие свои брильянтовые вещи. Марья Виссарионовна не только не обеспечила, по завещанию Леонида, дочери, несмотря на все мои настояния, но даже не принимала ее и называла ее при всех убийцею сына. От меня Лида тщательно скрывала свою бедность, но я знал, что она начала жить только своей работой, и потому подсылал к ней различных торговок и закупал все по возможно дорогой цене.

Однажды, это было месяцев шесть спустя после смерти Ивана Кузьмича, я познакомился с одним довольно богатым домом. Меня пригласили, между прочим, бывать по субботам вечером; в одну из них я поехал и когда вошел в гостиную, там сидело небольшое общество: старик серьезной наружности; муж хозяйки — огромного роста блондин; дама-старуха в очках; дама очень молоденькая и, наконец, сама хозяйка. Между всеми этими лицами шел довольно одушевленный разговор. Я сел и начал прислушиваться.

— Мне очень жаль, очень жаль Курдюмова,— говорил старик,— человек он умный, образованный, хорошего круга, влюбился в эту интриганку, выдержал за нее дуэль и, наконец, погубил себя теперь таким образом.

— Ее мать с малолетства боялась, с малолетства видела в ней дурные наклонности; эта женщина, как я

слышу об ней, совершенная Лафарж,— говорила отрывисто старуха в очках.

— Я без грусти не могу вообразить ее брата. Говорят, еще очень молоденький мальчик, и умереть в такие лета, это ужасно! Как должна ее самое мучить совесть? Я удивляюсь, как она до сих пор еще жива? — вмешалась молоденькая дама и покраснела от неуверенности, не сказала ли чего-нибудь глупого.

— О! Ей ничего: подобным женщинам ничего не бывает. Скажите лучше, как мать жива! Вот этой несчастной жертве я удивляюсь,— возразила старуха.

— Очень хорошо тут дурачили эту старую деву, сестру мужа,— сказал хозяин,— они ее уверяли, что Курдюмов влюблен в нее. Я тогда жил в Сокольниках и очень хорошо помню, что о ней кто-то сказал: «Это громовой отвод, или новое средство скрывать любовь».

Старик пожал плечами.

— Одно, что может ее извинить, что она вышла за человека, которого не любила. Будь она к нему привязана, так на многое бы не решилась,— заметила хозяйка и взглянула с нежностью на мужа, который отвечал ей улыбкою.

— Ничто не может служить ей оправданием,— начал старик диктаторским голосом.— Она была дурная дочь, как говорила Алена Александровна. Она вышла замуж точно за дрянного человека, я его знаю, он у меня служил под начальством, но это ее нисколько не оправдывает, а, напротив, еще хуже рекомендует ее сердце. Для чего она это делала? Или по расчету, или по нестерпимому желанию выйти за кого-нибудь, и, наконец, уж если вышла, так должна была исправить недостатки мужа, а не доводить его до того, что он с кругу спился и помер оттого; потом она завлекла молодого человека, отторгнула его совершенно от общества: последнее время его нигде не было видно, и, чтобы скрыть свою интригу, сделала из родной сестры своего мужа, как говорит Алексей Иваныч, громовой отвод, или средство скрывать любовь. Поведением своим была причиной смерти брата и в заключение всего вошла в связь с каким-то еще господином, который у ней бывает каждодневно, чтоб не сказать больше. Неужели после всего этого ее можно оправдать?

В продолжение этих слов старуха кивала утверди-

тельно головой, да и прочие, кажется, все безусловно соглашались. Я не вытерпел.

— Историю об этой даме рассказывают совсем не так, как она была,— начал я в тоне же старика, вставая,— она точно вышла не по любви, но по усиленным настояниям матери. Муж ее несчастному пороку пьянства был предан еще холостой, остановить его не было никакой возможности. Курдюмов в отношении ее был только навязчивый искатель. Сестру мужа ей и в голову не приходило делать умышленно громовым отводом, но та сама влюбилась в Курдюмова. С господином, который бывает у ней ежедневно, существуют только самые святые, чистые, дружественные отношения, это я могу утвердительно сказать, потому что господин этот я сам.

Все сконфузились, старик нахмурился, я скоро уехал.

Надобно сказать, что у меня с Лидой в последнее время были какие-то неопределенные отношения. Что я любил ее, что я желал сделаться ее мужем, в этом, конечно, нечего было и сомневаться, но не решался еще, будучи, с одной стороны, не уверен, любит ли она меня, а с другой — боясь оскорбить в ней чувство горести о потере брата и мужа. Ездил к ней я действительно очень часто, она была и рада моим посещениям и отчасти стеснялась ими. Последний случай окончательно утвердил меня в моем намерении. Лида одна, оставлена всеми, без денег, порицаема общественным мнением: медлить нечего, что будет — то и будет, подумал я и написал ей письмо, в котором признался ей в любви, откровенно высказал ей, каким образом толкуют наши отношения, и молил ее согласиться быть моей женой; в противном случае мы должны расстаться, чего, уверен я, и она не желает.

Лида не отвечала мне целые два дни; нетерпение меня мучило. Я сам было хотел ехать к ней, но мне принесли от нее письмо. Передаю его в подлиннике.

«Прости меня, что я так долго не отвечала на твое письмо, мой добрый и единственный друг, позволь мне назвать тебя этим именем хоть за дружбу к тебе моего бесценного Леонида. Ты пишешь, что любишь меня давно. Я давно это знаю, но у меня недостало присутствия духа сказать тебе, просить тебя, чтобы ты не любил ме-

ня; видишь, какая я кокетка и какая коварная! Ты возмутился за обвинения, которыми карают меня в обществе, но как ты ошибался, писавши эти строки; это общество гораздо лучше меня знает, чем ты: разве я так любила мужа, как должно? Разве я, видевши безрассудство Надины, предостерегла ее? А брат мой, бедный брат! Разве не за меня он помер и разве Курдюмов... Я все тебя, мой друг, обманывала об нем... Я любила его... Я принадлежала ему всем сердцем, всей душой моей... Я для него забыла бога, совесть — видишь, какая я падшая женщина, и только твое строгое присутствие и тень брата, ставшая между нами, дала мне и теперь силу отторгнуться от этого человека. Быть женой твоей я не *хочу* и не *могу*. Я не достойна того! Мать меня простила и позволила быть при ней. Она больна. Я буду за ней ходить, и приведи бог хоть этим искупить мои проступки».

Лида сама произнесла над собой приговор; но в самом деле: *виновата ли она?*

ТЮФЯК

Повесть

Семейные дела судить очень трудно, и даже невозможно!

Местная поговорка.

I

РОДСТВЕННИЦА

Однажды — это было в конце августа — Перепетуя Петровна уже очень давно наслаждалась послеобеденным сном. В спальне было темно, как в закупоренной бочке. Средство это употреблялось ради спасения от мух, необыкновенно злых в этом месяце. Часу в шестом Перепетуя Петровна проснулась и пробыла несколько минут в том состоянии, когда человек не знает еще хорошенько, проснулся он или нет, а потом старалась припомнить, день был это или ночь; одним словом, она заспалась, что, как известно, часто случается с здоровыми людьми, легшими после сытного обеда успокоить свое бренное тело. Это полусознательное состояние Перепетуи Петровны было прервано приходом горничной девки со свечою.

— Палашка! Это ты? — сказала барыня, жмуря глаза, которым, видно, было неприятно ощущение света.

— Я, матушка.

— Что тебе?

— Феоктиста Саввишна приехали.

— Что же ты, дура, давно мне не скажешь,— проговорила Перепетуя Петровна, вставая проворно с постели, насколько может проворно встать женщина лет около пятидесяти и пудов шести веса, а потом, надев перед зеркалом траурный тюлевый чепец, с печальным лицом, мед-

ленным шагом вышла в гостиную. Гостья и хозяйка молча поцеловались и уселись на диване.

— Я, в моем горестном положении,— сказала печальным тоном Перепетуя Петровна,— сижу больше там, у себя, даже с закрытыми окнами: как-то при свете-то еще грустнее.

— Что мудреного, что мудреного! — повторяла гостья тоже плачевным голосом, покачивая головою.— Впрочем, я вам откровенно скажу, бога ради, не убивайте вы себя так... Конечно, несчастие велико: в одно время, что называется, умер зять и с сестрою паралич; но, Перепетуя Петровна, нужна покорность... Что делать! Ведь уж не поможешь. Я, признаться сказать, таки нарочно приехала проведать, как и вас-то бог милует; полноте... берегите свое-то здоровье — не молоденькие, матушка.

Перепетуя Петровна ничего не отвечала на эти утешительные слова; но с половины монолога начала рыдать, закрыв лицо носовым платком. Этот обычный прием плачущих был весьма кстати для Перепетуи Петровны, потому что выражение лица ее в эту горькую минуту очень было некрасиво; слезы как-то не шли к ее полной, отчасти грубоватой и лишенной всякого выражения физиономии. Феоктиста Саввишна, *тождественная* своею наружностью и весом тела Перепетуе Петровне, смотрела на нее несколько минут с участием, а потом и сама принялась плакать.

— Я видеть ее не могу, мою голубушку,— проговорила, наконец, Перепетуя Петровна, всхлипывая,— представить ее даже не могу.

— Это-то и дурно, Перепетуя Петровна,— перебила утешительница,— ну, зять, конечно, уж не воротишь, человек мертвый; а сестрица, вот вам как бог свят, выздоровеет. У меня покойник два раза был в параличе, все лицо было сворочено на сторону, да прошло; это ведь проходит.

— Нет, матушка! — говорила Перепетуя Петровна.— Я уже советовалась о ней с Карлом Иванычем — с ней не пройдет. Ох, господи! Грудь даже начала болеть; никогда прежде этого не бывало; он говорит, у ней началось с помешательства, с гипохондрии.

— Что ж такое гипохондрия! Ничего! — возразила Феоктиста Саввишна.— Да вот недалеко пример — Басунов; Саши, племянницы моей, муж, целый год был в ги-

похондрии, однако прошла; теперь здоров совершенно. Что же после открылось? Его беспокоило, что имение было в залоге; жена глядела, глядела, видит, делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила, и прошло.

— Как странно, однако, это случилось! — начала Перепетуя Петровна.— Она сначала, как умер Василий Петрович... ничего... Конечно, грустила, только слез как-то не было: не плакала... Ну, без сомнения, я каждый день то сама, то посылаю; не поверите, все ночи не сплю, не знаю, как и самое-то бог подкрепляет; вот, сударыня моя, накануне троицына дня приходит ее Марфутка-ключница и говорит мне: «Что это, говорит, матушка, у нас барыня-то все задумывается?» А я и говорю: «Как же, я говорю, не задумываться; это по-вашему ничего, кто бы ни умер, мать ли, муж ли — все равно». А она мне на это и говорит (она, даром что простая, умная этакая, сметливая, славная женщина): «Нет, говорит, матушка, барыня-то что-то очень сумнительна: все нас изволит высылать вон и все перебирает письма Василья Петровича да Павла Васильича, а вчера как будто бы и заговариваться стала: говорит, а что — и понять невозможно». Я так и не опомнилась! Ох, боже мой! Рассказывать даже тяжело. Как сидела вот на этом диване, так руки и ноги охолодели; ничего не помню!.. В беспамятстве меня одели, снарядили, привезли к ней, и вижу: паралич во всей; кажется, и меня даже не узнала.

Перепетуя Петровна замолчала и вздохнула; Феоктиста Саввишна тоже сидела задумавшись.

— Да, вот, можно сказать, истинное-то несчастие,— начала последняя,— непритворное-то чувство! Видно, что было тяжело перенесть эту потерю; я знаю это по себе. Ах, как это тяжело! Вот уж, можно сказать, что потеря мужа ни с чем не может сравниться! Кто ближе его? Никто! Друг, что называется, на всю жизнь человеческую. Где дети-то Анны Петровны?

— Лиза писала, что приедет и с мужем сюда совсем на житье; а Паша уж месяца с три как приехал из Москвы; он, слава богу, все ихные там экзамены кончил хорошо; в наверситете ведь он был.

— Это я слышала. Что-то он, бедненький? Его-то положение ужасно: он был, как говорится, маменькин сынок.

Перепетуя Петровна вздохнула.

— Что он? Ничего... мужчина! У них, знаете, как-то

чувств-то этаких нет... А уж он и особенно, всегда был такой неласковый. Ну, вот хоть ко мне: я ему, недалеко считать, родная тетка; ведь никогда, сударыня моя, не придет; чтобы этак приласкался, поговорил бы, посоветовался, рассказал бы что-нибудь — никогда! Придет, сидит да ногой болтает, согрешила грешная. Я с вами, Феоктиста Саввишна, говорю откровенно...

— Эй, полноте, Перепетуя Петровна,— перебила Феоктиста Саввишна,— вы, я думаю, знаете: я не болтушка какая-нибудь; слава богу, десятый год живу здесь, а никогда, можно сказать, ни в одной скандалезности не была замешана.

— Потому-то я с вами и говорю. Грустно этак на сердце-то носить, особенно семейные неприятности,— продолжала Перепетуя Петровна.— Ох, боже мой! Опять забыла, о чем начала?..

— О Павле Васильиче.

— Да, о Паше. Конечно, я хоть и родная тетка, а всегда скажу: он не картежник, не мот какой-нибудь, не пьяница — этого ничего нет; да ученья-то в нем как-то не видно, а уж его ли, кажется, не учили? Шесть лет в гимназии сидел да в Москве лет пять был; ну вот хоть и теперь, беспрестанно все читает, да только толку-то не видать: ни этакого, знаете, обращения, ловкости этакой в обществе, как у других молодых людей, или этаких умных, солидных разговоров — ничего нет! Леность непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит... тюфяк, совершенный тюфяк! Я еще его маленького прозвала тюфяком.

— Что это за странность? Стало быть, он и в военную службу не пойдет?

— Какой он военный? Сама сестра тут виновата; конечно, уж теперь про нее говорить нечего... человек больной... не внушала ему никогда, надзору настоящего не было: «Паша! Паша!» — и больше ничего; что Паша ни делай, все хорошо. Паша не выходит при гостях в гостиную и сидит там у себя... Прекрасно, батюшка: бегай хорошего общества!.. Отдали танцевать учиться, через месяц пришел: «Я не хочу, маменька, учиться танцевать, я не способен!» Какая тут способность? Всякий молодой человек способен! — И то прекрасно: не учись, сынок, будь медведем. А опять хоть бы за столом... у меня всегда, бывало, ссора: черного хлеба совершенно не ест, а теперь вот на

здоровье жалуется... Ему, бывало, очень не по нутру, как я приеду; я ведь не люблю, беспрестанно замечаю: «Паша, сиди хорошенько, Паша, будь поразвязнее, поди умой руки!», ну и получше, поисправится... как быть дворянский мальчик. Сестра — добрая женщина, а мать была слабая. Говорят, в собственных детях нельзя видеть недостаток; пустое: будь у меня дети, я бы первая все видела! Вот Лиза совсем не то; как была отдана с малолетства в чужие люди, так и вышла другая! Ее еще четырех лет увезла сестра Василья Петровича, классная дама... ну, а как сюда приехала, манеры-то тоже очень начала терять. Хорошо, что я же нашла жениха, а то, пожалуй, и теперь бы сидела в девках... никто бы и не заметил. Ну, сначала было все хорошо, очень были рады, что выходит замуж, а после на меня же была претензия; Василий Петрович часто говаривал: «Бог с вами, сестрица, спровадили от нас Лизу за тридевять земель, жила бы лучше поближе к нам; зять — человек неизвестный, бог знает как и живет». Что же вышло? Человек прекрасный, каждую почту пишет ко мне преласковые письма: «Почтеннейшая тетушка!» и потом все так умно излагает. Очень, очень неглупый человек.

В продолжение всей этой речи Феоктиста Саввишна качала головой и по временам вздыхала.

— Сколько у вас неприятностей-то было, Перепетуя Петровна,— начала она после непродолжительного молчания,— особенно зная вашу родственную-то любовь... Как ведь это грустно, когда видишь, что делается не так, как бы хотелось.

— Что делать, Феоктиста Саввишна! Вся жизнь моя, можно сказать, прошла в горестях: в молодых годах жила с больным отцом, шесть лет в церкви божией не бывала, ходила за ним, что называется, денно и нощно, никогда не роптала; только, бывало, и удовольствия, что съезжу в ряды да нарядов себе накуплю: наряжаться любила... Говорили после, что я вдвое больше получила против сестры... пустое! Дело уж прошлое: лишней копейки нет на моей совести. А и теперь, для чего я живу? Племянники не родные дети; нынче и на родных-то детей нельзя положиться; и в них иногда нет утешения.

— Именно так, именно...— подтверждала Феоктиста Саввишна.

Разговор еще несколько времени продолжался на ту

же тему. Наконец Феоктиста Саввишна начала прощаться. Перепетуя Петровна умоляла ее пробыть вместе с нею вечер; но Феоктиста Саввишна решительно отказалась: она почувствовала непреоборимое желание передать в одном дружественном для нее доме все, что она узнала от Перепетуи Петровны насчет ее семейных неприятностей. Хозяйка, видя невозможность оставить у себя свою гостью на вечер, решилась сама, от нечего делать, исполнить священный долг и навестить свою больную сестру. Таким образом, обе дамы сошли вместе с крыльца и расселись по своим экипажам.

Феоктиста Саввишна... но здесь я должен несколько остановиться и обратить внимание читателя на дружественный для нее дом. Дом этот состоял из отца, матери и двух дочерей и принадлежал к высшему губернскому кругу. Владимир Андреич Кураев был представитель и родоначальник его. Жил он открыто и был человек в обществе видный, резкий немного на язык, любил порезонерствовать и владел даром слова; наружность имел он очень внушительную, солидную и даже несколько строгую. Говорили в городе, что будто бы он был немного деспот в своем семействе, что у него все домашние плясали по его дудке и что его властолюбие прорывалось даже иногда при посторонних, несмотря на то, что он, видимо, стараясь дать жене вес в обществе, называл ее всегда по имени и отчеству, то есть Марьей Ивановной, относился часто к ней за советами и спрашивал ее мнения, говоря таким образом: «Как вы думаете, Марья Ивановна? — Что вы на это скажете, Марья Ивановна?» Покупая какую-нибудь вещь в лавках, он обыкновенно говорил приказчику: «Принеси, братец, на дом, я посоветуюсь с Марьей Ивановной!» Вещь приносили, и Владимир Андреич оставлял ее за собою в долг. Что касается до Марьи Ивановны, то это было какое-то существо совершенно безличное, и она служила только слабым отражением своего супруга: что бы она вам ни говорила, вы непременно это слышали, за несколько дней, от Владимира Андреича. Были слухи, будто бы Марья Ивановна говорила иногда и от себя, высказывала иногда и личные свои мнения, так, например, жаловалась на Владимира Андреича, говорила, что он решительно ни в чем не дает ей воли, а все потому, что взял ее без состояния, что он человек хитрый и хорош только при людях; на дочерей своих она тоже жаловалась,

особенно на старшую, которая, по ее словам, только и боялась отца. В обществе Марья Ивановна слыла за женщину недальнюю, но добрую и решительно не сплетницу. Две дочери их, Юлия и Надежда, были первые красавицы во всем городе, или по крайней мере так убеждены были их родители. Стоявшие в этом городе армейские офицеры старшую прозвали гордою брюнеткой, а младшую — резвою блондинкой. Брюнетка была похожа на отца и вела себя в обществе скромно и даже несколько гордо; дома же, особенно у себя в комнате, была гораздо говорливее, давала своей горничной беспрестанные нотации за различные опущения по туалету. Блондинка была одинакова как в обществе, так и у себя в комнате, то есть немного скора и необдуманна; с девками больше смеялась, никогда не давала им наставлений и очень скоро одевалась на балы. О состоянии Кураевых носились какие-то двусмысленные слухи. По моему мнению, судя по их образу жизни, прямо бы надобно было заключить, что они богаты; но нашлись подозрительные умы, которые будто бы очень хорошо знали, что у Кураевых всего 150 мотаных и промотанных душ, что денег ни гроша и что хотя Владимир Андреич и рассказывал, что он очень часто получает наследства, но живет он, по словам тех же подозрительных умов, не совсем благородными аферами, начиная с займа, где только можно, и кончая обделыванием разного рода маленьких подрядцев. Вот что говорили подозрительные умы.

Феоктиста Саввишна, несмотря на то, что могла быть отнесена к вышеозначенным подозрительным умам, являлась и теперь явилась в дружественный для нее дом с почтением, похожим даже несколько на подобострастие. Хозяйке и барышням раскланялась она жеманно, свернув несколько голову набок, а Владимиру Андреичу, видно для выражения своего почтения, присела ниже, чем прочим. Усевшись, она тотчас же начала рассказывать, что вчера на обеде у Жустковых Махмурова наговорила за мужа больших дерзостей Подслеповой, что Бахтиаров купил еще лошадь у ее двоюродного брата, что какой-то Августин Августиныч третий месяц страдает насморком и что эта несносная болезнь заставляет его, несмотря на твердый характер, даже плакать. Владимир Андреич сидел, развалясь в креслах, и решительно не обращал внимания на рассказы Феоктисты Саввишны; барышни так-

же мало ею занимались: они в это время от нечего делать рассматривали модную картинку и потихоньку растолковывали ее друг другу. «Это, должно быть, тюлевая пелеринка»,— говорила одна. «Нет, ma chère, это блондовая», и тому подобное. Слушала Феоктисту Саввишну одна только Марья Ивановна, но и та скоро вышла к себе в комнату.

— Чем это вы, Юлия Владимировна, занимаетесь? — отнеслась Феоктиста Саввишна к девушкам.

— Смотрим,— отвечала брюнетка.

— Что это такое смотрите?

— Картинку из журнала.

Феоктиста Саввишна пододвинулась к барышням.

— Что же это такое? Моды?

— Моды.

— Нынешние?

— Нынешние.

— Нынче наряжайтесь, барышни, наряднее: у вас зимой будет новый кавалер.

— Их всегда много,— отвечала с гримасою брюнетка.

— Кто такой? — спросила блондинка.

— Ловкий... красавец из себя... богатый.

— Кто же это такой? — проговорил Владимир Андреич.

— Василья Петровича Бешметева сын; чай, изволите знать?

— Знаю. Да откуда же ему богатство-то досталось?

— Я ведь смеюсь. Месяц только и танцевать-то учился: молодой еще человек, только просто медведь; сидит да ногой болтает; и родные-то тюфяком зовут. Не больно, кажется, и умен; говорить решительно ничего не умеет.

— Жалкий какой! — заметила брюнетка.

— А собой хорош? — спросила блондинка.

— Не так красив: волосы взъерошенные, руки немытые.

— Фи, гадость какая! Хочется вам это рассказывать,— произнесла брюнетка.

— За что же его зовут тюфяком? — спросила блондинка.

— Очень уж неловок, не развязен,— отвечала Феоктиста Саввишна.

— Как это смешно! Тюфяк! — продолжала блон-

динка.— Я непременно пойду с ним танцевать; я очень люблю танцевать с этими *несчастными*.

— Вот этого-то тебе и не позволят сделать,— возразил Владимир Андреич.— Я уж заметил, что ты всегда с дрянью танцуешь. А отчего? Оттого, что все готово! Как бы своя ноша потянула, так бы и знала, с кем танцевать; да! — заключил он выразительно и вышел.

Блондинка покраснела.

На другой день Феоктиста Саввишна на крестинах у своего двоюродного брата, у которого Бахтиаров купил лошадь, рассказала, что Перепетуя Петровна до сих пор все еще плачет по зяте и очень недовольна приехавшим из Москвы племянником, потому что он вышел человек грубый, без всякого обращения, решительно тюфяк. На этот ее рассказ по преимуществу обратили внимание: рябая дама, знакомая Перепетуи Петровны, и какой-то мозглый старичок, пользовавшийся, по его словам, расположением Анны Петровны. А дней через несколько с помощью Феоктисты Саввишны и исчисленных мною особ многие, очень многие узнали, что после покойного Бешметева приехал сын, ужасный чудак, неловкий, да, кажется, и недальний — просто тюфяк.

II

БРАТ, СЕСТРА И ТЕТКА

Между тем как таким образом разносился слух о молодом Бешметеве, он сидел, задумавшись, в своей комнате. Невдалеке от него помещалась молодая женщина: это была его сестра, Лиза, как называла ее Перепетуя Петровна. Бешметев действительно никаким образом не мог быть отнесен по своей наружности к красивым и статным мужчинам: среднего роста, но широкий в плечах, с впалою грудью и с большими руками, он подлинно был, как выражаются дамы, очень дурно сложен и даже неуклюж; в движениях его обнаруживалась какая-то вялость и неповоротливость; но если бы вы стали всматриваться в его широкое бледное и неправильное лицо, в его большие голубые глаза, то постепенно стали бы открывать что-то такое, что вам понравилось бы, очень понравилось. Говорят, что это — оттенки мысли и чувств, которые в иных лицах не дают себя заметить при первом взгляде. Белые волосы его не были взъерошены, как говорила Феоктиста

Саввишна, но, умеренно подстриженные, они, конечно, лежали, как им хотелось, что, впрочем, очень шло к его бледному и большому лбу; одет он был небрежно.

Совершенно другой наружности была Лизавета Васильевна: высокая ростом, с умным, выразительным лицом, с роскошными волосами, которые живописно собирались сзади в одну темную косу, она была почти красавица в сравнении с братом. В одежде ее заметны были вкус и опрятность, что, как известно, дается в удел не многим губернским барыням. В выражении лица молодой женщины высказывалось что-то грустное, почему она и казалась как бы старше двадцати пяти лет, которые прожила на белом свете. Брат и сестра сидели, задумавшись; глаза Лизаветы Васильевны были заплаканы. Они только вышли от больной матери. Старуха была разбита параличом, отнявшим у нее движение и язык и затмившим почти совершенно умственные способности; она помнила и узнавала одного только Павла. Большею частью она была в беспамятстве, а пришедши в себя, то истерически смеялась, то плакала. Лизавету Васильевну она совершенно не узнала: напрасно Павел старался ей напомнить о сестре, которая с своей стороны начала было рассказывать о детях, о муже: старуха ничего не понимала и только, взглядывая на Павла, улыбалась ему и как бы силилась что-то сказать; а через несколько минут пришла в беспамятство.

Павел, получивший от медика приказание не беспокоить мать в подобном состоянии, позвал сестру, и оба они уселись в гостиной. Долго не вязался между ними разговор: они так давно не видались, у них было так много горя, что слово как бы не давалось им для выражения того, что совершалось в эти минуты в их сердцах; они только молча менялись ласковыми взглядами.

— Как мы с тобой давно не видались, Поль! — начала наконец Лизавета Васильевна.

— Давно, Лиза.

— Переменилась я с тех пор?

— Очень переменилась.

— У меня двое детей; старший сын ужасно похож на тебя.

— А муж твой, Лиза?

— Муж у меня, братец... он немного ветрен; но, впрочем, добрый человек и, кажется, любит меня.

— Зачем же ты за него вышла? — спросил Павел, глядя на сестру.

— Богу так угодно! Нас сосватала тетушка: она уговорила батюшку и матушку, насказавши им о бесчисленном богатстве моего мужа.

— И что ж? Это вышло правда?

— Правда,— отвечала с горькою улыбкою молодая женщина.

— Помнишь, что ты мне говорила?

— Что я тебе говорила?

— Что ты...

Молодая женщина улыбнулась.

— Это давно уж прошло,— отвечала она, вспыхнув.

— Тебя не уговаривали выйти за другого?

— Нет, Поль, я сама первая согласилась,— отвечала молодая женщина.

— Не может быть!

— Отчего ж не может быть?.. Но, впрочем, перестанем говорить об этом, Поль... Это была глупость и больше ничего.

— А я на днях еще встретил Бахтиарова.

Лизавета Васильевна вдруг побледнела.

— Разве он здесь? — спросила она, стараясь скрыть внутреннее волнение; но голос ее дрожал, губы слегка посинели...

Павел молчал и только внимательно посмотрел на сестру.

— Лучше поговорим о тебе,— начала Лизавета Васильевна, стараясь переменить предмет разговора.— Что ты с собой хочешь делать?

Этот вопрос, в свою очередь, смутил Павла.

— Не знаю,— отвечал он после минутного молчания.

— Ты думаешь здесь служить?

— Нет.

— Так, стало быть, ты хочешь уехать, опять с нами расстаться надолго?

— Да мне надобно бы было ехать.

— Но матушка? Как ты ее оставишь?

Павел задумался.

— Мое положение,— начал он,— очень неприятно... Я думал непременно ехать.

— Поживи, братец, с нами.

— Нельзя, Лиза, мне бы хотелось поподготовить себя и выдержать на магистра.

— Ну, а потом что?

— А потом... потом может быть очень хорошо... это лучшая для меня дорога.

— Так поезжай.

— А матушка?..

Лизавета Васильевна несколько минут ничего не отвечала.

— Ей, может быть, сделается лучше,— начала она,— и ты поедешь; она тоже к тебе приедет.

Разговор этот был прерван приездом Перепетуи Петровны.

— Лизанька! Друг мой! Ты ли это? — вскрикнула она, почти вбежавши в комнату, и бросилась обнимать племянницу; затем следовало с полдюжины поцелуев; потом радостные слезы.

— Давно ли ты, милушка моя, приехала? — говорила тетка, несколько успокоившись и усаживаясь на диване.

— Сегодня утром.

— Ну, слава богу, слава богу! Что сестричушка-то? Я и не спросила об ней.

— Матушка заснула,— отвечал Павел.

— Ну, слава богу, слава богу! Пусть ее почивает. Здравствуй, Паша. Я тебя-то и не заметила; подвинь-ка мне скамеечку под ноги: этакий какой неловкий — никогда не заметит.— Павел подал скамейку.—Погляди-ка на меня, дружочек мой,— продолжала Перепетуя Петровна, обращаясь к племяннице,— как ты похорошела, пополнела. Видно, мать моя, не в загоне живешь? Не с прибылью ли уж? Ну, что муженек-то твой? Я его, голубчика, уж давно не видала.

— Он дома остался; слава богу, здоров,— отвечала Лизавета Васильевна, целуя у тетки руку.

Перепетуя Петровна больше любила племянницу, чем племянника, потому что та была к ней ласковее.

— Что деточки-то твои? Михайло Николаич писал, что они просто милашки.

— Я завтра их привезу к вам, тетушка.

— Непременно привези! Смотри же, одна и не езди! Паша, полно сидеть букой-то; пододвинься, батюшка, к нам, поговори хоть с сестрой-то; ведь, я думаю, лет пять не видались?

— Мы с ним уж, тетушка, наговорились и наплакались.

— Счастье твое, мать моя! А со мной — так он не больно говорлив. О чем это с тобою-то говорил?

— Рассказывал свои обстоятельства.

— Мне никогда ни слова не говорил. Какие же его обстоятельства? Да скажи, батюшка, хоть что-нибудь. Что ты скрываешь? Что, я тебе чужая, что ли? Зла, что ли, я тебе желаю? Я, кажется, ничего тебе не показывала, кроме моего расположения: грех тебе, Паша! Какие же это обстоятельства?

— Сестра вам лучше расскажет; она знает все,— отвечал Павел, с величайшим терпением выслушивавший претензии тетки.

— Какие же обстоятельства? — спросила снова любопытная Перепетуя Петровна, уже обращаясь к племяннице.

— Вот видите, тетушка, брату нужно ехать в Москву.

— Это зачем? — почти вскрикнула Перепетуя Петровна.

— Ему надобно выдержать на магистра.

— Что же это, должность, что ли, какая?

— Все равно что должность,— отвечал Павел.

— А жалованье велико ли?

— Жалованья нет.

— Так какая же это должность? Этаких-то должностей и здесь много. Как же ты мать-то оставишь?

— Это-то меня и беспокоит, тетушка.

— Отчего ты не хочешь здесь служить? Не хуже тебя служит Федосьи Парфентьевны сын; уж именно, можно сказать, прекрасный молодой человек, с обращением: по-французски так и режет; да ведь служит же; скоро, говорят, чин получит; а тебе отчего не служить? Ты вспомни мать-то свою, чем она для тебя ни жертвовала? Здоровья своего, что называется, не щадила; немало с тобой возилась, не молоденькая была; а тебе не хочется остаться успокоить ее в последние, что называется, минуты. Лиза... конечно! Ну, да что же делать? Она ту меньше любила, да ведь она уж и отрезанный ломоть: у нее свои обязанности, свое семейство: иной бы раз и рада угодить матери, да не может, впору и мужу угождать да тешить его, а ты свободный человек, мужчина! Нет, сударь, не следует; за это

бог тебе всю жизнь не даст счастия! Нечего су́питься-то, я правду говорю.

— Все это хорошо... и я сам знаю, тетушка,— возразил Павел.

— Нет, видно, не знаешь, коли хочешь делать другое.

— Я думаю ехать, если матушка сама мне это позволит, а после и ее к себе перевезти.

Перепетуя Петровна при этих словах покраснела, как вареный рак.

— Нет уж, Павел Васильич, извините,— начала она неприятно звонким голосом,— этого-то мы никак не допустим сделать: да я первая не позволю увезти от меня больную сестру; чем же ты нас-то после этого считаешь? Чужая, что ли, она нам? Она так же близка нашему сердцу, может быть, ближе, чем тебе; ты умница, я вижу: отдай ему мать таскать там с собой, чтобы какой-нибудь дряни, согрешила грешная, отдал под начал.

— Тетушка! — начал было Павел.

— Не смейте, сударь, этого и думать! — возразила Перепетуя Петровна.— Она, конечно, человек больной... пожалуй, он это сделает, увезет ее... Да вот, дай господи мне на этом месте не усидеть: я первая до начальства пойду, ей-богу! Губернатору просьбу подам...

— Успокойтесь, тетушка! — сказала Лизавета Васильевна.

— Что это, сударыня, как это возможно? Вишь какой финти-фант! Пожалуй, гляди ему в зубы-то... Пусть один едет, уморит ее: по крайней мере на совести-то у нас не будет лежать. Ему, я думаю, давно хочется ее спровадить.

Павел весь вспыхнул...

— Бог с вами, тетушка! — проговорил он и ушел к себе в комнату.

Больная в это время простонала.

— Матушка-то моя простонала,— заговорила вдруг совершенно другим голосом Перепетуя Петровна и вошла в спальню к сестре.— Здравствуй, голубушка! Поздравляю тебя с радостью; вот у тебя обе твои пташки под крылышками. О голубушка моя! Какая она сегодня свежая; дай ручку поцеловать.

При этих словах Перепетуя Петровна поцеловала у сестры руку.

— Позови, матушка, Павла-то сюда,— прибавила она, обращаясь к племяннице.

Лизавета Васильевна пошла за братом. Павел стоял, приклонясь к окну; слезы, неведомо для него самого, текли по его щекам.

— Братец! Пойдем к матушке,— сказала тихо Лизавета Васильевна.

Павел, как бы пробудившись от сна, вздрогнул; потом, увидев, что это была сестра, обнял ее, крепко поцеловал, утер слезы и пошел к матери.

— Вот тебе и Паша! Подойди к матери-то, приласкайся,— говорила Перепетуя Петровна, усевшаяся на кровати рядом с сестрою.

Больная, не обращая внимания на ее слова, взяла сына за руку и начала глядеть на него.

— Будь спокойна, матушка-сестрица, он не поедет,— заговорила Перепетуя Петровна,— как ему ехать? Он не может этого и подумать; его бог накажет за это.

На глазах старухи показались слезы.

— Не уедет, матушка, ей-богу, не уедет! Как это возможно? Мы все его не отпустим. Скажи, сударь, сам-то, что не поедешь. Что молчишь?

Больная сначала расхохоталась, потом перешла к слезам и начала рыдать.

— Что это, Павел Васильич! — вскрикнула Перепетуя Петровна, вышед из себя.— До чего ты доводишь мать-то? Бесстыдник этакий! Бога не боишься!

— Поль! Успокой маменьку,— сказала Лизавета Васильевна брату.

— Я не поеду, матушка,— проговорил, наконец, Павел.

Но старуха не унималась и продолжала плакать.

— Я не уеду, матушка, я всю жизнь буду при вас,— говорил он, целуя мать.

Лизавета Васильевна и Перепетуя Петровна плакали; последняя даже рыдала очень громко, приговаривая:

— Давно бы так, сударь, что это за неблагодарность такая, за нечувствительность?

Еще с полчаса продолжалась эта сцена. Наконец, больная успокоилась и заснула. Тетка уехала вместе с Лизаветой Васильевной, за которой муж прислал лошадей, а Павел ушел в свою комнату.

— Господи! Что мне делать? — сказал он, всплеснув руками, и бросился на постель.

Целый час почти пролежал он, не изменив положения; потом встал и, казалось, был в сильном волнении: руки его дрожали; в лице, обычно задумчивом и спокойном, появилось какое-то странное выражение, как бы все мышцы лица были в движении, темные глаза его горели лихорадочным блеском. Он начал разбирать свои бумаги и, отложив из них небольшую часть в сторону, принялся остальные рвать. Через несколько минут все мудрые рукописи, как-то: лекции, комментарии, конспекты, сочинения, были перерваны на несколько кусков. Павел принялся было и за книги, но корешковые переплеты устояли против его рук, и он удовольствовался только тем, что подложил их к печке, видно, с намерением сжечь их на другой день. Этот энергический припадок, кажется, был не в духе Павла: он, видно, не был похож на тех горячих людей, которые, рассердившись, кричат, колотят стекла, часто бьют своих лакеев и даже жен, если таковые имеются, а потом, через четверть часа, преспокойно курят трубку. Мой студент после варварского поступка с своими тетрадями упал в изнеможении на постель; в полночь, однако, он встал и, кажется, несколько успокоился, потому что бережно начал собирать разорванные бумаги и переложил книги от печки на прежнее место. Заснул он, впрочем, уж утром.

III

МИХАЙЛО НИКОЛАИЧ МАСУРОВ

На другой день, часу в первом пополудни, Михайло Николаич Масуров, муж Лизаветы Васильевны, стоял у себя на дворе, в шелковом казакине, в широких шароварах, без шапки, с трубкою в зубах и с хлыстом в руке. Перед ним гоняли на корде лошадь, приведенную ему для продажи цыганам. Масуров имел курчавые волосы, здоровое, смазливое лицо и довольно красивые усы. Его шелковый казакин, его широкие шаровары, даже хлыст в руке и трубка в зубах очень шли к его наружности: во фраке или сюртуке он был бы, кажется, гораздо хуже.

Цыган нахваливал лошадь, а Масуров, как знаток, находил в ней недостатки.

— Смотри, барин,—говорил цыган,—передние-то ноги как несет! Корабли пройдут.

— Передние-то хорошо несет, да задними-то хлябит; на двуногой-то, брат, далеко не уедешь. Ванька! Подведи-ка ее сюда! — Ванька подвел лошадь к барину.— Вот она где хлябит-то,— говорил Масуров, толкая сильно кулаком лошадь в заднюю лопатку, так что та покачнулась,— шеи-то, смотри, ничего нет; вот и копыта-то точно у лошака: это уж, брат, значит, не тово, не породиста.

— Что копыта? — говорил цыган, поднимая ногу у лошади.— Ты посмотри, какая нога-то у лошади.

— Сашка! Куда ты бежишь? — сказал Масуров, хватая за платье горничную, которая бежала из избы с утюгом.

— Полноте, сударь, гладить пора. Ей-богу, обожгу: вон барыня смотрит в окошко.

— Эка важность, барыня! — И он уж хотел было обхватить ее за талию, но она дотронулась до дерзкой руки утюгом; тот невольно отдернул ее, и горничная, пользуясь минутой свободы, юркнула в сени.— Эка, пострел, хорошенькая! — заметил Масуров, глядя ей вслед.

Горничная действительно была хорошенькая. Лизавета Васильевна, несмотря на слабость своего супруга в отношении прекрасного пола, не оберегала себя с этой стороны, подобно многим женам, выбирающим в горничные уродов или старух. Она в это время точно сидела с братом у окна; но, увидев, что ее супруг перенес свое внимание от лошади к горничной, встала и пересела на диван, приглашая то же сделать и Павла, но он видел все... и тотчас же отошел от окна и взглянул на сестру: лицо ее горело, ей было стыдно за мужа; но оба они не сказали ни слова.

На круглом столе, стоявшем около дивана, лежала какая-то бумага. Лизавета Васильевна машинально взяла ее и развернула: это была записка следующего содержания: «Приезжайте сегодня: мы вас ждем. Вы вчера зарвались; нужно же было понадеяться на шельму валета». Лизавета Васильевна побледнела. Она очень хорошо знала смысл подобных записок: беспокойство ее еще более увеличилось, когда вспомнила она, что вчерашний день, сверх обыкновения, оставила ключи от шкатулки дома. «Он, верно, вчера играл»,— подумала она и вышла в спальню. Увы! Подозрения ее оправдались; шкатулка была даже не заперта; из пяти тысяч, единственного капитала, оставшегося от продажи с аукционного торга мужнина имения, она недосчиталась ровно трех тысяч. Видно, Лиза-

вете Васильевне было очень жаль этих денег: она не в состоянии была выдержать себя и заплакала; она не скрыла и от брата своего горя — рассказала, что имение их в Саратовской губернии продано и что от него осталось только пять тысяч рублей, из которых прекрасный муженек ее успел уже проиграть больше половины; теперь у них осталось только ее состояние, то есть тридцать душ. Но чем этим будешь жить? А главное, на что воспитывать детей, которых уже теперь двое? Вот что узнал Павел о ее семейных обстоятельствах. Лизавета Васильева просила его поговорить мужу. Павел обещался.

— Ты только сама начни, сестрица: вдруг неловко,— заметил он.

В то же время послышался голос Масурова.

— Ух! Ой, батюшки, отцы родные! — говорил он, входя в комнату.— Ой, отпустите душу на покаяние! — продолжал он, кидаясь в кресла.— Ой, занемогу! Ей-богу, занемогу! — и залился громким смехом.

— Что тебе так весело? — спросила Лизавета Васильевна.

— Ах, душка моя! Ты себе представить не можешь, что видел сейчас. Вообрази... вспомнить не могу...— Но звонкий смех, которым разразился он, снова прервал его речь.

Брат и сестра невольно улыбнулись, глядя на наивную веселость Михайла Николаича.

— Да что такое? — повторила Лизавета Васильевна.

— Вы сами умрете со смеха,— продолжал Масуров, утирая выступившие от смеха на глазах слезы.— Можешь себе представить: вхожу я в кухню, и что же? Долговязая Марфутка сидит на муже верхом и бьет его кулаками по роже, а он, знаешь, пьяный, только этак руками барахтается.— Тут он представил, как пьяный муж барахтается руками, и сам снова захохотал во все горло, но слушатели его не умерли со смеха и даже не улыбнулись: Лизавета Васильевна только покачала головой, а Павел еще более нахмурился. «И это человек,— думал он,— семьянин, который вчера проиграл почти последнее достояние своих детей? В нем даже нет раскаяния; он ходит по избам и помирает со смеха, глядя на беспутство своих дворовых людей». Михайло Николаич еще долго смеялся; Павел потихоньку начал разговаривать с сестрой.

— Ну, душка,— говорил, унявшись, Масуров и обращаясь к жене,— вели-ка нам подать закусить, знаешь,

этого швейцарского сырку да хереску. Вы, братец, извините меня, что я ушел; страстишка! Нельзя: старый, знаете, коннозаводчик. Да, черт возьми! Славный был у меня завод! Как вам покажется, Павел Васильич? После батюшки мне досталось одних маток две тысячи.

Павел с удивлением взглянул на зятя; Лизавета Васильевна только улыбнулась: она, видно, привыкла к подобным эффектным выходкам своего супруга.

— У тебя, Мишель, всегда есть привычка прибавлять по два нуля,— заметила она ему.

— Вот прекрасно! Да ты-то почем знаешь? Когда ты приехала, я их давно проиграл. Много, черт возьми, я в жизнь мою проиграл!

— А вчера много ли проиграл? — спросила Лизавета Васильевна.

Масуров очень сконфузился.

— Я вчера не проиграл,— отвечал он, запинаясь.

— Где же три-то тысячи?

Масуров покраснел и ничего не отвечал; он только мотал головой жене, показывая глазами на брата, который сидел в задумчивости.

— Нечего кивать головой-то,— говорила Лизавета Васильевна,— при брате я могу говорить все. Ну, скажи, Поль, хорошо ли это в один вечер проиграть три тысячи рублей?

— Очень нехорошо! — начал Павел.— Женатому человеку не следует рисковать не только тысячами, но даже рублями.

Говоря это, он, видимо, делал над собой большое усилие.

Михайло Николаич переминался.

— Не стыдно тебе? — сказала Лизавета Васильевна.

— Ну, душка, извини,— говорил Масуров, подходя к жене,— счастие сначала ужас как везло, а под конец как будто бы какой черт ему нашептывал: каждую карту брал, седая крыса. Ты не поверишь: в четверть часа очистил всего, как липку; предлагал было на вексель: «Я вижу, говорит, вы человек благородный».

— Это еще лучше! Сколько же ты по векселю-то проиграл?

— Ей-богу, душка, ни копеечки. Что я? Сумасшедший, что ли? Ты думаешь, я не понимаю,— что братец не скажет! — я семейный человек, мне стыдно это делать. Вот

как три тысячи проиграл, так и не запираюсь: действительно проиграл. Ну, прости меня, ангельчик мой Лиза, ей-богу, не стану больше в карты играть: черт с ними! Они мне даже опротивели... Сегодня вспомнил поутру, так даже тошнит.

— Немудрено после такого проигрыша,— заметил Павел.

— Ну, душка моя,— продолжал Масуров, ласкаясь к жене,— скажи, простила меня? Дай ручку поцеловать!

Лизавета Васильевна, кажется, мало верила в раскаяние своего мужа.

— Пустой ты человек! — сказала она, отнимая у него свою руку.

— Лизочка, душка моя! Ну, дай хоть мизинчик поцеловать! Хочешь, я встану на колени? — И он действительно встал перед женой на колени.— Павел Васильич, попросите Лизу, чтобы она дала мне ручку.

Павел молчал; ему, видимо, неприятна была эта сцена. Лизавета Васильевна глядела на мужа с чувством сожаления, очень похожим на презрение, но подала ему руку, которую тот звонко поцеловал.

— Важно! Гуляй теперь: жена простила! — вскричал Масуров, поднявшись на ноги и потирая руки.— Ну, теперь, душка, вели же нам подать хересок и закусить... О милашка! Славная у меня, черт возьми, жена! — продолжал он, глядя на уходящую Лизавету Васильевну.— Я ведь ее очень люблю, даже побаиваюсь.

— Вам нужно поосторожнее издерживать деньги,— начал Павел, когда сестра ушла,— вы небогатый и семейный человек.

— Да ведь, братец, я, ей-богу, даже очень скуп: спросите хоть жену; вчера вот только, черт ее знает, как-то промахнулся. Впрочем, что ж такое? У меня еще прекрасное состояние: в Орловской губернии полтораста отлично устроенных душ, одни сады дают пять тысяч годового дохода.

— Мне сестра говорила,— возразил Павел, не могши снести этой лжи,— что у вас имение осталось только в здешней губернии.

— Вот пустяки-то, так уж пустяки! — вскричал Масуров, нисколько не сконфузившись.— Верьте ей: она ужасная притворщица!

Подали закуску.

— Выпьемте-ка, любезный братец, по стаканчику херескy в честь нашего знакомства.

От стаканчика Павел отказался и выпил только рюмку; но Масуров выпил целый стакан.

— Послушайте, братец,— начал он, садясь около Павла,— что, если я вас о чем попрошу, исполните?

— Что такое?

— Нет, скажите наперед, что вы не откажете.

— Я не знаю, в чем еще состоит просьба.

— Нет ли у вас рублей двухсот взаймы? Я так издержался, что, ей-богу, даже совестно! Только жене, ради бога, не говорите,— продолжал он шепотом,— она терпеть этого не может; мне, знаете, маленькая нуждишка на собственные депансы.

Мороз пробежал по коже Павла; он почувствовал полное отвращение к зятю.

— Я не имею денег,— отвечал он сухо.

— Ах, черт возьми, это скверно! Не знаете ли по крайней мере у кого занять? — продолжал не унывавший Масуров.— Покутили бы, канальство, вместе!

Павел на это ничего не ответил, но молча встал и пошел было в соседнюю комнату.

— Куда это вы? — спросил его Масуров.

— Я ищу сестру; хочу проститься.

— Посидите! Она сейчас выйдет. Вы, видно, не охотники пошалить? А еще...— Продолжение этой речи было прервано приходом Лизаветы Васильевны.

— Прощай, сестрица,— сказал Павел, не могши подавить в себе неприятного чувства.

— Обедай у нас, Поль!

Павел хотел было отказаться, но ему жаль стало сестры, и он снова сел на прежнее место. Через несколько минут в комнату вошел с нянькой старший сын Лизаветы Васильевны. Он, ни слова не говоря и только поглядывая искоса на незнакомое ему лицо Павла, подошел к матери и положил к ней головку на колени. Лизавета Васильевна взяла его к себе на руки и начала целовать. Павел любовался племянником и, кажется, забыл неприятное впечатление, произведенное на него зятем: ребенок был действительно хорош собою.

— Поленька! Кто это сидит? — спрашивала его Лизавета Васильевна, указывая на брата.

Ребенок глядел на Павла и молчал.

— Постой, я тебе на ушко шепну,— продолжала мать и, пригнув его головку, что-то ему шепнула.

— Кто же? — снова повторила она, указывая на брата.

— Дада,— отвечал шепотом ребенок.

— Полька! Поди сюда! — кричал Масуров, видно, желавший тоже приласкать сына.

Ребенок посмотрел на него и не думал сходить с коленей матери.

— Поди сюда, говорят тебе,— повторил Масуров, протягивая руки.— Лиза, душка моя, пошли его ко мне.

— Поди к отцу,— сказала Лизавета Васильевна, ссаживая Поля с коленей.

Ребенок нехотя начал переходить комнату; но только что подошел к папеньке, как сейчас же заревел: Михайло Николаич, по обыкновению, ухватил его пухленькую щечку между пальцами и начал трясти.

— Экий какой! Сейчас и заплакал!

Лизавета Васильевна молча встала и взяла опять сына к себе на колени; дитя тотчас же замолчало.

Обед прошел обыкновенным своим порядком. Павел и Лизавета Васильевна мало ели и больше молчали; но зато много ел и много говорил Михайло Николаич. Он рассказывал шурину довольно странные про себя вещи; так, например, он говорил, что в турецкую кампанию какой-то янычар с дьявольскими усами отрубил у него у правой ноги икру; но их полковой медик, отличнейший знаток, так что все петербургские врачи против него ни к черту не годятся, пришил ему эту икру, и не его собственную, которая второпях была затеряна, а икру мертвого солдата. О своей физической силе и охотничьих своих способностях он тоже отзывался не очень скромно: с божбой и клятвою уверял он своих слушателей, что в прежние годы останавливал шесть лошадей, взявшись обеими руками за заднее каретное колесо, бил пулей бекасов и затравливал с четырьмя борзыми собаками в один день по двадцати пар волков.

Павел ушел от сестры с грустным и тяжелым чувством. «Она более чем несчастна,—говорил он сам с собою.— Добрая, благородная! И кто же ее муж? Кто этот человек, с которым суждено ей провести всю жизнь? Он мот, лгун, необразованный, невежа и даже, кажется, низкий человек!»

IV

ПАВЕЛ

С наступлением зимы губернский город, где происходили описываемые мною происшествия, значительно оживился: составились собрания и вечера. Общество, как повествует предание, было самое блистательное, так что какой-то господин, проживавший в том городе целую зиму, отзывался об нем, по приезде в Петербург, в самых лестных выражениях, называя тамошних дам душистыми цветками, а все общество чрезвычайно чистым и опрятным. Все веселились, даже Перепетуя Петровна ездила в два — три дома играть в преферанс. Родным племянником она была очень недовольна. «Что это за молодой человек,— говорила она,— скажите на милость? Не хочет показаться в общество; право, в нем ничего нет дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую-то молодежь: что это за ловкость, что это за вежливость в то же время к дамам,— вчуже, можно сказать, сердце радуется; а в нем решительно ничего этого нет: с нами-то насилу слово скажет, а с посторонними так и совсем не говорит. Чего у него недостает? Платье бесподобное, фрак отличнейший — самого тонкого сукна, выезд хороший; слава богу, после покойника-то одних городовых саней осталось двое; мать бы ему никогда в этом не отказала, по крайней мере был бы на виду у хороших людей; нет, сударь ты мой, сидит сиднем, в рождество даже никого не съездил поздравить». Но зато везде являлся и всех поздравлял со всевозможными праздниками другой ее племянник, Михайло Николаич Масуров. Он очень успел, по словам тетки, заискать в обществе, а все потому, что ласков и обходителен; и к ней он тоже был очень ласков. Она начинала к нему чувствовать более и более родственного расположения. «Что он мне? — говорила она.— Ведь почти посторонний человек, а лучше родного-то племянника, ей-богу! Приедет, расскажет, где был, что видел и куда опять поедет: прекраснейший человек!»

Перепетуя Петровна была совершенно права в своих приговорах насчет племянника. Он был очень не говорлив, без всякого обращения и в настоящее время действительно никуда не выезжал, несмотря на то, что владел фраком отличнейшего сукна и парными санями. Но так

как многие поступки человека часто обусловливаются весьма отдаленными причинами, а поэтому я не излишним считаю сказать здесь несколько слов о детстве и юношестве моего героя.

Павел родился на свет очень худеньким и слабым ребенком; все ожидали, что он на другой же день умрет, но этого не случилось: Паша жил. В продолжение всего своего младенчества он почти не давал голоса и только, бывало, покряхтит, когда захочет есть. Ходить он начал на третьем году и еще позднее того заговорил. Мать с восторгом рассказывала, что Паша с превосходным характером; и действительно, ребенок был необыкновенно тих, послушен и до невероятности добр: сын ключницы, ровесник Павла, приходивший в горницу играть с барчонком, обыкновенно выпивал у него чай, обирал все игрушки и даже не считал за грех дать ему при случае туза; Павел не сердился за это, но сносил все молча и никогда не жаловался. Другие дворовые люди были тоже очень довольны барчонком, потому что он никогда на них не ябедничал, и они обыкновенно делали при нем все, что им вздумается. Павел никогда не резвился и не бегал, а сидел больше в детской на лежанке, поджавши ноги. Любимым его занятием было вырезывать из бумаги людей с какими-то необыкновенно узкими талиями и раскрашивать их красками; целые дни он играл ими, как в куклы, водил их по лежанке, сажал, заставлял друг другу кланяться и все что-то нашептывал. Собой был Паша очень нехорош и страшно неопрятен. Нанковые казакинчики, в которые его одевали, были вечно перепачканы; сапоги свои он обыкновенно стаптывал и очень скоро изнашивал; последнего обстоятельства даже невозможно и объяснить, потому что Паша, как я и прежде сказал, все почти сидел. Ребенок, кажется, сознавал, что он нехорош собою, потому что очень не любил, когда приезжали гости, особливо нарядные, которые часто привозили с собою прехорошеньких детей и говорили с ними по-французски; ему было очень совестно сидеть при них в гостиной; он прятал свои руки и ноги, или, лучше сказать, весь старался спрятаться в угол, в котором обыкновенно усаживался. Ему казалось, что все смотрят на него с пренебрежением и сожалением; его никто никогда, кроме матери, не ласкал; молодые барыни никогда не подзывали его для поцелуя и для разговоров, как это бывает с хорошенькими

детьми; в его старообразном лице было действительно что-то отталкивающее.

Василия Петровича отдали под суд, и с этого времени к ним решительно перестали ездить гости. Паша этому душевно радовался и с тех пор почти никого не видал, кроме отца и матери. Для образования его был нанят семинарист. Перепетуя Петровна пришла в отчаяние и чуть не поссорилась с сестрою, доказывая ей, что семинаристы ничему не научат, потому что они без всякого обращения. Однажды (Павлу минуло в это время двенадцать лет) к Бешметевым приехал какой-то дальний родственник из Петербурга. Видно, этот господин был не кое-кто, потому что хозяева безмерно ему обрадовались, приняли с каким-то подобострастием и беспрестанно называли его: ваше превосходительство.

— Что это, Василий, твой сын, что ли? — спросил генерал за столом, взглянув на Павла.

— Сын, ваше превосходительство,— отвечал Василий Петрович.

— Чему ты, милый мой, учишься? — сказал генерал, обращаясь к ребенку.

— Мы еще многому-то, по слабости здоровья, не начинали учить; теперь иногда семинарист ходит,— отвечала мать.

Генерал покачал головой.

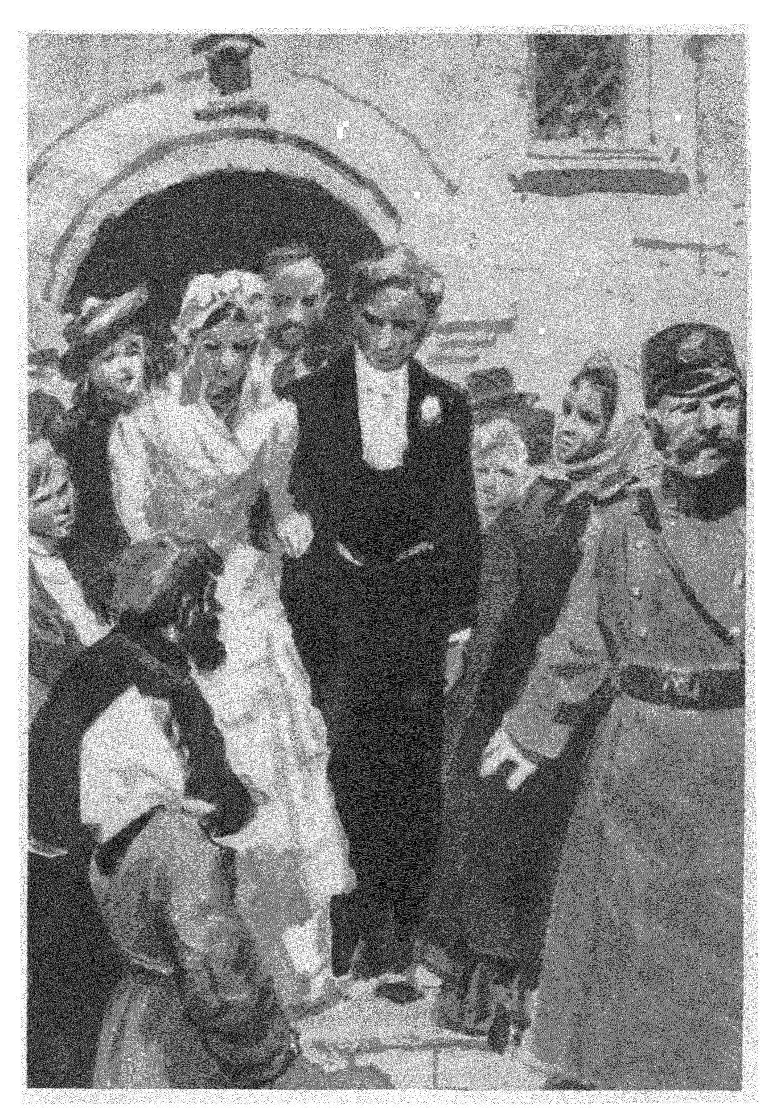
— Да что же такое тут здоровье-то? За что же вы ребенка-то губите, оставляя его в невежестве? — У Павла навернулись на глазах слезы.— Смотрите, уж он сам плачет,— продолжал генерал,— сознавая, может быть, то зло, которое причиняет ему ваша слепая и невежественная любовь. Плачь, братец, и просись учиться: в противном случае ты погиб безвозвратно.

Много после того генерал говорил в том же тоне и очень убедительно доказал хозяевам, что человек без образования — зверь дикий, что они, то есть родители моего героя, если не понимают этого, так потому, что сами необразованны и отстали от века.

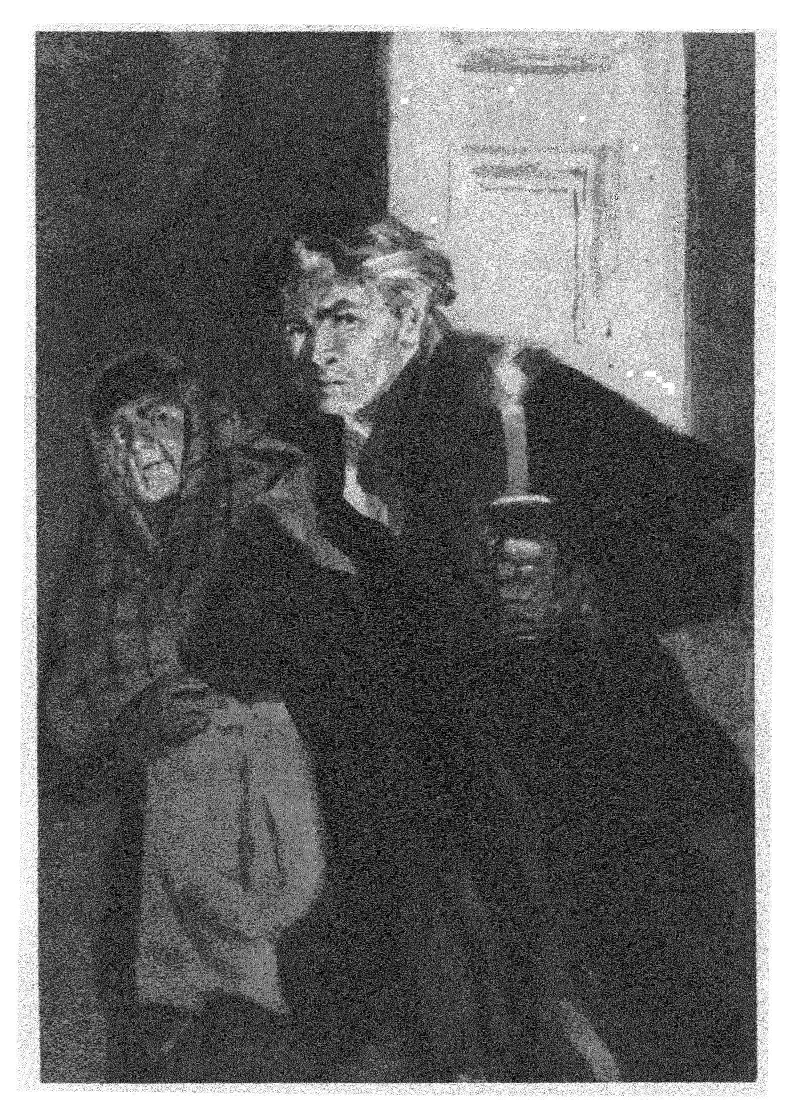
Василий Петрович и Анна Петровна, пристыженные генералом, на другой же день решились приготовлять сына в гимназию. Паша обрадовался этому решению: он очень хорошо понял, что генерал прав, и ему самому хотелось учиться. Семинарист, имевший, между прочим, известную слабость Александра Македонского, был заме-

нен приходским священником и учителем математики из уездного училища. Ребенок оказал неимоверные успехи и через год был совершенно готов в первый класс гимназии. Пашу повели на экзамен. Богу одному разве известно, чего стоило моему герою прийти в первый раз в школу; но экзамен он выдержал очень хорошо, хотя и сконфузился чрезвычайно. Товарищи приняли Павла, как обыкновенно принимают новичков: только что он уселся в классе, как один довольно высокий ученик подошел к нему и крепко треснул его по лбу, приговаривая: «Эка, парень, лбина-то!» Потом другой шалун пошел и нажаловался на него учителю, говоря, что будто бы он толкается и не дает ему заниматься, тогда как Павел сидел, почти не шевелясь. Учитель, любивший задавать новичкам острастку, поставил на целый день Павла на колени. После этого Бешметев начал бояться учителей и чуждаться товарищей и обыкновенно старался прийти в гимназию перед самым началом класса, когда уже все сидели на местах. Учиться ему, впрочем, было очень легко.

Незаметно шел год за годом. Павел подрастал. Из некрасивого и робкого ребенка он сделался мешковатым юношей. Перепетуя Петровна просто приходила в отчаяние, глядя на своего племянника, и не называла его иначе, как тюфяком. В гимназии Павел решительно не шалил, не грубил учителям и хорошо учился. Директор называл его «благонравный господин Бешметев», но товарищи его называли зубрилой; они не то чтобы не любили Бешметева, но как-то мало уважали. Все почти товарищи, некоторые из зависти, а другие просто для удовольствия, любили подтрунить над ним, рассказывая, что будто бы он спит с нянькою и по вечерам беспрестанно долбит уроки, а трубки покурить не смеет и подумать, потому что маменька высечет. Молча переносил Павел эти насмешки, но видно было, что они ему неприятны: он очень не любил бывать с товарищами, ни к кому из них никогда не ходил и к себе не звал. Дома Павел не беспрестанно долбил, как думали товарищи: он даже не много занимался, часто сидел с матерью и рассказывал ей что-нибудь. Анна Петровна внимательно слушала сына, хотя ничего не понимала из его слов; но более всего Павел любил быть один, лежать на кровати и мечтать. Восьмнадцати лет он кончил курс в гимназии и начал со-



«ТЮФЯК».



«ТЮФЯК»

бираться в Москву, чтобы поступить в университет. Анна Петровна еще за месяц перед отъездом сына принялась плакать, а в минуту расставания с ним упала в страшный обморок и целые полгода после того не осушала глаз.

Павел приехал в Москву и отыскал квартиру со столом на Смоленском рынке, у одной титулярной советницы Подхлебовой, по рекомендательному письму от Перепетуи Петровны, находившейся с Подхлебовой когда-то в большой дружбе. Титулярная советница очень опасалась взять к себе на квартиру молодого человека, потому что вообще в числе молодых людей очень много пьяниц, развратных и буянов; но Перепетуя Петровна писала весьма убедительно, и Подхлебова решилась, тем более что третья комната нанимаемой ею квартиры была решительно ей не нужна. Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся: молодой человек оказался скромен и тих, даже более, чем следовало. Она прозвала его *старичком* и всем своим знакомым рассказывала, что постояльца ей просто бог послал, что он второй феномен, что этакой скромности она даже сама в девицах не имела, что он, кроме университета, никуда даже шагу не сделал, а уж не то чтобы заводить какие-нибудь дебоширства. Придет, пообедает, полежит, почитает книжку, попишет и, видно, чрезвычайно много занимается науками; даже с ней мало вступает в разговоры, хотя она и старается его обласкать.

С озабоченным и несколько сердитым лицом явился Павел в университет, сел на самую дальнюю скамейку и во все время экзаменов не сказал почти ни с кем ни слова. Так же начал он ходить и на лекции: приходил, садился где-нибудь вдали, записывал слова профессора, а потом уходил. Он не сошелся ни с одним из товарищей и ни с одним из них даже не кланялся. Дома он действительно, как говорила титулярная советница, вел самую однообразную жизнь, то есть обедал, занимался, а потом ложился на кровать и думал, или, скорее, мечтал: мечтою его было сделаться со временем профессором; мечта эта явилась в нем после отлично выдержанного экзамена первого курса; живо представлял он себе часы первой лекции, эту внимательную толпу слушателей, перед которыми он будет излагать строго обдуманные научные положения, общее удивление его учености, а там обще-

ственную, а за оной и мировую славу. С течением времени, однако, такого рода исключительно созерцательная жизнь начала ему заметно понадоедать: хоть бы сходить в театр, думал он, посмотреть, например, «Коварство и любовь»; но для этого у него не было денег, которых едва доставало на обыденное содержание и на покупку книг; хоть бы в гости куда-нибудь съездить, где есть молодые девушки, но,— увы! — знакомых он не имел решительно никого. Часто часу в десятом-одиннадцатом вечера выходил он из дома и долго ходил по улицам без всякой цели и только иногда останавливался перед каким-нибудь освещенным домом... Внутри было светло: в каком-то фантастическом свете являлись ему движущиеся там фигуры людей; ему казалось, что там должно быть очень хорошо и весело. Лежа по вечерам на кровати, он каким-то странным чувством прислушивался к говору женских голосов, раздававшемуся в комнате хозяйки. К ней очень часто ходили ее приятельницы, но все, как нарочно, были очень дурны собой.

За два года перед выпуском Бешметев, приехав домой на вакацию, увидел в первый раз сестру свою. Сначала он очень дичился ее, но Лиза была живее брата; она начала его мало-помалу приучать к себе, и к концу вакации он даже просиживал с нею целые дни и разговаривал. Перед отъездом она ему намекнула, что ей по преимуществу нравится некто Бахтиаров. Павла, кажется, это очень заинтересовало: он в каждом письме после того намекал сестре на это обстоятельство. На третьем курсе Бешметев переменил квартиру. Хозяйка его, титулярная советница Подхлебова, несмотря на то, что двенадцатый год вдовела, была женщина строгой нравственности. Сначала она, как мы видели, очень опасалась взять к себе на квартиру молодого студента, но потом успокоилась, увидев, что этот студент совершенный старичок, и очень скоро к нему привыкла. Она вместе с ним обедала, поила его чаем, часто приходила в его комнату и даже упросила быть при ней в халате, очень справедливо замечая, что, живши вместе, на всякий час не убережешься. Потом... Титулярная советница, несмотря на сорок пятый год жизни, хранила еще в груди своей сердце, способное любить: когда Бешметев уехал на вакацию, она с ужасом догадалась, что питает к своему постояльцу не привычку, а чувство более нежное, более страстное, потому что,

в продолжение трех месяцев его отсутствия, безмерно грустила и скучала, а когда Павел приехал, она до сумасшествия обрадовалась ему и чрезвычайно сконфузилась. В голове ее образовалась довольно смелая мысль: она вздумала выйти замуж за Павла, когда он кончит курс, а до тех пор постараться внушить ему любовь к себе. С этого времени жизнь Павла сделалась гораздо комфортабельнее: в комнате его поставлена была новая мебель, и даже приделано было новое драпри к окошку; про стол и говорить нечего: его кормили как на убой; сама титулярная советница начала просиживать целые дни в его комнате; последнее, кажется, очень надоедало Павлу, потому что он каждый раз, когда входила к нему хозяйка, торопился раскрыть книгу и принимался читать. «Я вам не буду мешать, а только так посижу»,— говорила хозяйка и, сев напротив, начинала пристально на него смотреть, вздыхать и даже набивала ему трубки; холодность Павла относила она к робости. Титулярная советница чувствовала непреоборимое желание объясниться с своим постояльцем и ободрить его. 10 октября, в день своего рождения, она, кажется, исполнила свое намерение: за ужином она много поила Павла вином, а потом пришла к нему в комнату и очень долго там сидела. Но на другой день Павел чуть свет ушел из дома и нанял другую квартиру. К титулярной советнице он более не возвращался; даже за вещами своими просил съездить своего нового хозяина, честного немца, питаемого повивальным искусством своей супруги. Госпожа Подхлебова, кажется, не ожидала такого поступка со стороны своего постояльца. «Что вам угодно? Я вас не знаю... Не может быть... Я не могу верить!..» — говорила она и решительно было не хотела отдавать вещей пришедшему за ними немцу. «Моя Каролин Ивановна кочет, я кочет, господин студент кочет: ви не может не давать... Когда ви, мой дам, не катите, то я пашоль на квартальный»,— сказал немец и действительно пошел было за квартальным; но титулярная советница сочла за лучшее покориться судьбе и отпустить вещи... Впрочем, она написала к Павлу предлинное письмо и послала его к нему с горничною девкой. Содержание этого письма мне тоже неизвестно, потому что и сам Бешметев, не прочитав его, разорвал и бросил в печь.

На новой квартире Павел начал жить так же одно-

образно и еще уединеннее. Хозяева его не беспокоили: повивальная бабка почти никогда не бывала дома, а честный немец предавался по целым дням невинному и любимому его занятию: он все переписывал прописи, питая честолюбивые замыслы попасть со временем в учителя каллиграфии. Вскоре у Павла появилось новое занятие: он очень долго начал засиживаться у окна и все смотрел на крыльцо противоположного дома, откуда часто выходила молоденькая девушка в сопровождении пожилой дамы, садилась в парные сани, куда-то уезжала и опять приезжала. В теплые дни девушка выходила с какою-то дамой, а иногда с господином в бекешке гулять пешком и была одета, в таком случае, в теплый шелковый капот. Боже мой! Как хороша казалась Павлу его соседка! Какая была чудная у ней талия! А глаза... даже на таком дальнем расстоянии видно было, что у ней чудные черные глаза! Жизнь Павла как будто бы сделалась полнее. Каждый день он просыпался с надеждою увидеть соседку и действительно каждый день ее видел. Он очень хорошо заучил, в котором часу она ходит гулять, долго ли гуляет; знал дни, в которые она уезжала часов в двенадцать и возвращалась уже поздно. По праздникам девушка и дама выезжали из дома часу в одиннадцатом и часу в двенадцатом возвращались домой; Павел догадался, что они ездят к обедне, а потом узнал — и куда именно; оказалось, что в соседний приход. Он сам пошел туда, видел ее, видел вблизи, и каждое воскресенье, каждый праздник начал ходить в эту церковь. С этого времени он почти перестал заниматься и вполне предался своим мечтам. Ему очень хотелось, чтобы девушка его заметила, но этого ему никак не удавалось достигнуть.

В конце первой недели великого поста соседний дом запустел; ни девушки, ни дамы, ни господина в бекешке не стало видно: они уехали. Трудно описать, как Павлу сделалось скучно и грустно; он даже потихоньку плакал, а потом неимоверно начал заниматься и кончил вторым кандидатом. Профессор, по предмету которого написал он кандидатское рассуждение, убеждал его держать экзамен на магистра. Все это очень польстило честолюбию моего героя: он решился тотчас же готовиться; но бог судил иначе.

Через несколько времени Павел получил письмо от тетки, которая уведомляла его, что отец его умер, а мать

в параличе, и просила его непременно приезжать как можно скорее домой. Павла это очень огорчило, и он тотчас же поехал, с твердым, однако, намерением снова возвратиться в Москву. Мы видели, какие печальные обстоятельства встретили Бешметева на родине, видели, как приняли родные его намерение уехать опять в Москву; мать плакала, тетка бранилась; видели потом, как Павел почти отказался от своего намерения, перервал свои тетради, хотел сжечь книги и как потом отложил это, в надежде, что мать со временем выздоровеет и отпустит его; но старуха не выздоравливала; герой мой беспрестанно переходил от твердого намерения уехать к решению остаться, и вслед за тем тотчас же приходила ему в голову заветная мечта о профессорстве — он вспоминал любимый свой труд и грядущую славу. Грустно, тошно становилось Павлу. «Поеду, непременно поеду»,— говорил он сам с собою, и только день отъезда откладывал в дальний ящик... Он не мог себе без ужаса представить той минуты, когда мать, прощаясь с ним, может быть не перенесет этого и умрет на его руках; кроме того, не будучи самонадеян, он, кажется, не слишком твердо был убежден, что достигнет своей любимой цели, профессорства, или по крайней мере эта цель была слишком еще далека. Весьма естественно, что в настоящем своем положении Бешметев не был спокоен: он чувствовал невыносимую тоску, грусть и скуку; заниматься ему почти не давали, потому что то кликали к матери, то приезжала тетка или сестра, да, кажется, и сам он был не слишком расположен к деятельности. Оставаясь один, он обыкновенно ложился на кровать и бог знает о чем начинал думать, а сердце между тем беспрестанно ныло и тосковало. Семейная жизнь сестры была для Бешметева новым источником неприятностей; Масуров казался ему отвратительнейшим существом, а сестра страдалицею, тем более что ей угрожало впереди существенное зло — бедность. Впрочем, Лизавета Васильевна впоследствии ни слова не говорила брату о своих семейных неприятностях, была как будто бы спокойна и очень ласкалась к Павлу. Целые дни проводили они вдвоем. Бешметев начал все более сближаться с сестрою, сделался с нею говорлив, откровенен и даже поверил ей свою мечту. Женщины, как известно, очень находчивы. Лизавета Васильевна нашла, что брат может заниматься, не уезжая в Москву, и что,

если ему нужны книги, он может их выписать. Бешметев счел эту мысль довольно справедливою и решился при первом же получении оброков выписать рублей на двести книг и начать приготовляться. Успокоившись на этом решении, он между тем целые дни начал просиживать у сестры.

Случайно или умышленно, но только разговоры их по преимуществу стали склоняться на любовь. Лизавета Васильевна в этом отношении была гораздо опытнее брата: она знала любовь в самых тонких ее ощущениях; она, как видно, очень хорошо знала страдания и счастие влюбленного. С отрадою и не без волнения прислушивался Павел к словам сестры и понимал их каким-то неясным чувством; в первый раз еще сблизился он с женщиною и взглянул в ее сердце.

— Где это ты, сестрица, все узнала? — спросил он однажды, прослушав от сестры живой рассказ о нечаянной встрече одной молодой девушки с любимым человеком.

— Я много читала романов,— отвечала она.

Павел сомнительно покачал головою.

— Женщина в двадцать лет много знает, много чувствовала,— продолжала Лизавета Васильевна.

— И много испытала? — перебил Павел.

— Может быть, и так,— отвечала Лизавета Васильевна.

Результатом таких бесед было то, что Павел, приходя от сестры и улегшись на постель, не сознавая сам того, по преимуществу начал думать о женщинах. Московская соседка была припомнена в малейших подробностях. «Как хороша вообще женщина! — думал он.— Какое блаженство любить хорошенькую женщину!» Праздное воображение его дополняло ему то, что не досказывала сестра. Он потом рассказал ей слегка о своей любви в Москве к соседке, которую он, по его словам, до сих пор слишком хорошо помнит, как будто бы видел ее вчера.

V

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Лизавете Васильевне случилась надобность уехать на целый месяц в деревню. Павлу сделалось очень скучно и грустно. Он принялся было заниматься, но,— увы! — все шло как-то не по-прежнему: формулы небесной механики

ему сделались как-то темны и непонятны, брошюрка Вирея скучна и томительна. «Не могу!» — говорил он, оставляя книгу, и вслед за тем по обыкновению ложился на кровать и начинал думать о прекрасной половине рода человеческого.

Проскучав недели две, Павел вздумал съездить к тетке. Перепетуя Петровна, при его приходе, стояла перед зеркалом и надевала что-то вроде мантильи, сшитой по ее собственному воображению.

— Насилу-то, батюшка, пожаловал,— сказала она, увидев племянника.— Ну что, какова маменька-то?

— Все так же-с,— отвечал Павел.

— Палашка,— говорила Перепетуя Петровна, отряхая шелковое платье,— ведь юбка-то у меня все-таки видна.

— Нет, матушка, это так.

— Какое, дура, так! Паша, видна, у меня юбка-то?

— Я ничего не вижу.

— Наклонись, батька, пониже, посмотри хорошенько; нехорошо... растрепой-то приедешь.

— Я ничего не вижу.

— Ну, уж и этого-то не умеешь сделать порядочно; экий какой! Еще кавалер! Что у меня сегодня какой нехороший цвет лица? Этакая краснота неприятная! Палашка! Подай-ка мне лодиколону обтереться. Оботрись-ка, Павел, и ты.

— Да мне-то зачем, тетушка?

— Пустяки, сударь, изволь-ка обтереться да поедем вместе со мной.

— Это куда?

— К Феоктисте Саввишне. Небось, не привезу в какое-нибудь неприличное место.

— Помилуйте, тетушка! Я с ней незнаком.

— Это что за вздор? А я-то на что? Я знакома, все равно. Нечего, извольте-ка сбираться: вместе и поедем, отпусти свою лошадь-то. Палашка, вели его лошади домой ехать!

— Тетушка...

— Вздор, сударь, вздор! — затараторила Перепетуя Петровна.

Как мой герой ни противился, но через несколько минут он был вытерт из собственных рук Перепетуи Петровны одеколоном и повезен в гости. Он едва мог опо-

титься у крыльца Феоктисты Саввишны. Перепетуя Петровна, всходя по деревянной лестнице, освещенной фонарем, опиралась на руку племянника как для поддержания своей особы, так и для прекращения Павлу всякой возможности улизнуть, что уже и было им прежде того один раз сделано. Они вошли в лакейскую, где было с десяток шуб, три лакея и сильный запах салом. В зале... Но я предварительно должен сказать несколько слов о хозяйке дома и ее гостях. Феоктиста Саввишна, так как и Перепетуя Петровна, не принадлежала к высшему губернскому кругу, но имела из этого круга один только дружественный дом — Кураевых; сфера же ее знакомства ограничивалась незначительным чиновным людом. В настоящее время у Феоктисты Саввишны были в гостях некто помещик Иван Иваныч, дающий деньги под проценты, уездный стряпчий, человек очень бы хороший, но, к несчастью, по нескольку раз в год предающийся запою, и, наконец, учитель гимназии, метивший в инспекторы, и еще кое-кто. Все эти господа привезли с собою жен, а некоторые и своячениц; но вечера свои Феоктиста Саввишна обыкновенно скрашивала, приглашая к себе дружественное для нее семейство из высшего круга — Кураевых. Владимир Андреич никогда сам не ездил к Феоктисте Саввишне, но, занимая иногда через нее деньги, жену и дочерей отпускал. Брюнетка, как сама она говорила, очень скучала на этих жалких вечерах; она с пренебрежением отказывалась от подаваемых ей конфет, жаловалась на духоту и жар и беспрестанно звала мать домой; но Марья Ивановна говорила, что Владимир Андреич знает, когда прислать лошадей, и, в простоте своего сердца, продолжала играть в преферанс с учителем гимназии и Иваном Иванычем с таким же наслаждением, как будто бы в ее партии сидели самые важные люди; что касается до блондинки, то она выкупала скуку, пересмеивая то красный нос Ивана Иваныча, то неуклюжую походку стряпчего и очень некстати поместившуюся у него под левым глазом бородавку, то... но, одним словом, всем доставалось! Гости же Феоктисты Саввишны в отношении особ высшего круга держали себя почтительно, а хозяйка оказывала им исключительное внимание, хотя в то же время все почти знали, что эти особы — пуф, или, как говорили многие, *сидят на овчинах, а бьют с соболей,* то есть крепко небогаты. Но их изящная форма? Что де-

лать: их изящная форма внушала невольное к ним уважение.

Хозяйка встретила еще в зале Перепетую Петровну и Павла.

— Честь имею представить племянника,— сказала Перепетуя Петровна, целуясь с хозяйкой.

— Очень приятно,— отвечала Феоктиста Саввишна, жеманно кланяясь Павлу и глядя на него с некоторым удивлением: она представляла его себе вовсе не таким.— Милости прошу, Перепетуя Петровна,— продолжала она, указывая на дверь в гостиную,— Павел Васильич, сделайте одолжение.

Но Павел не сделал одолжения, не пошел в гостиную. Постояв несколько минут, он сел невдалеке от гостя в коричневом фраке, который тоже, видно, не принадлежал к числу дамских любезников, а потому сидел один-одинехонек в зале. Брюнетке и блондинке сделалось очень скучно и жарко в гостиной, в которой действительно была страшная духота. Обе девушки, взявшись под руки, вышли в залу; они взглянули вскользь на Павла и на его соседа, а потом насмешливо переглянулись между собою; Павел тоже заметил их, и страшное изменение произошло в его наружности: он сначала вздрогнул всем телом, как бы дотронувшись до лейденской банки, потом побледнел, покраснел, взглянул как-то странно на гостя в коричневом фраке, а вслед за тем начал следить глазами за ходившими взад и вперед девушками: в брюнетке мой герой узнал свою московскую соседку. Барышни с своей стороны не глядели более ни на Павла, ни на его собеседника, а разговаривали громко о недавно бывшем маскараде на французском языке, что они всегда делали в укор невежественным гостям Феоктисты Саввишны. Вскоре вошла хозяйка и начала умолять Юлию Владимировну что-нибудь пропеть; Юлия отказывалась.

— Вы не поверите,— говорила Феоктиста Саввишна, обращаясь к Павлу и к господину в коричневом фраке,— что у них за ангельский голосочек.

Коричневый фрак встал, кашлянул и ничего не сказал: выражение лица его как будто бы говорило: «Не могу знать-с, не мое дело!» Но еще страннее вел себя Павел; он даже не встал и не сказал ни слова хозяйке.

— Кто это такой? — шепнула блондинка.

— Бешметев,— отвечала хозяйка.

Блондинка сжала губки и слегка кивнула головой.

— Юлия Владимировна,— заговорила снова Феоктиста Саввишна, мучимая меломанией,— сжальтесь над нами, доставьте нам это наслаждение.

Юлия Владимировна сжалилась и с кислою миною уселась за фортепьяно. С первым же ее аккордом все гости, игравшие и не игравшие в карты, вышли в залу, а потом со второго куплета (она пела: *«Что ты, ветка бедная...»*) многие начали погружаться в приятную меланхолию.

— Я не могу без слез слушать этого романса,— говорила растроганная Марья Ивановна,— так, знаете, много в нем души!

— Да-с,— отвечал Иван Иваныч,— прекрасная песенка, да и Юлия Владимировна прекрасно изволят петь.

— У ней хорошенький голосок,— подтвердила мать.

Между тем Павел все сидел на прежнем месте и в том же положении. Блондинке очень хотелось поговорить с ним, по похвальной ее наклонности сближаться с несчастными.

— Вы любите музыку? — спросила она его.

— Я не знаю музыки,— отвечал Бешметев.

— Вы ни на чем не играете?

— Ни на чем-с.

— А как вам нравится голос сестры?

При этом вопросе Павел заметно сконфузился и молчал.

«Какой он странный! — подумала блондинка.— Как бы его заставить поговорить? Может быть, скажет что-нибудь смешное».

В этом намерении она села рядом с Павлом.

— Вы бываете в собрании? — спросила она.

— Нет-с.

— Отчего же?

— Я не люблю собраний.

— Отчего вы не любите собраний?

В это время брюнетка подошла к сестре.

— Послушай, ma soeur [1],— продолжала блондинка,— monsieur не любит собраний.

Юлия отвечала сестре улыбкою и, взяв ее за руку, отвела от Павла.

---

[1] сестра, *(франц.)*

Часу в двенадцатом за Кураевыми были присланы лошади, и они, несмотря на убедительные просьбы хозяйки — закусить чего-нибудь, уехали домой. Павел уехал вместе с теткою после ужина. Придя в свою комнату, он просидел с четверть часа, погруженный в глубокую задумчивость, а потом принялся писать к сестре письмо. Оно было следующее:

«Лиза, друг мой! Ты себе представить не можешь, что сегодня со мною случилось. Пришел я к тетке; она собиралась в гости на вечер и требовала, чтобы и я с ней ехал. Я, разумеется, не хотел; но она закричала, забранилась, почти насильно посадила меня в сани и привезла к Феоктисте Саввишне, и здесь я встретил, знаешь ли, кого? Я встретил ее... ту, которую видел в Москве. До сих пор я не могу еще хорошенько опомниться. Тетка говорит, что она здешняя: фамилия ее Кураева. Боже мой, как она еще похорошела! Лицо ее сделалось еще правильнее... Что за чудные у ней ручки, Лиза! Когда она играла на фортепьяно, это была не женщина, а античная статуя, совсем как есть статуя...»

Написав это, Павел лег на кровать. Губернский учитель музыки был, впрочем, совершенно другого мнения: он всегда выговаривал брюнетке за то, что она решительно не умеет держать себя за фортепьяно, потому что очень ломается. Пролежав несколько минут, Павел встал и снова принялся писать:

«Я решительно влюблен: во мне совершается что-то странное и непонятное. Бог знает что бы я готов был отдать, если бы она меня полюбила! Я бы за это готов был отказаться от всего».

На этом месте он снова остановился, снова полежал на постели и, вставши, еще приписал:

«Приезжай, Лиза, бога ради, скорее,— мне без тебя смертная скука; мне так много надобно с тобою переговорить... Что ты там делаешь? Приезжай! Остаюсь любящий тебя и влюбленный

Бешметев».

Заключивши таким образом письмо, он запечатал его и улегся уже совсем, но долго еще не спал и ворочался с боку на бок. Встав на другой день, Павел распечатал свое письмо, перечитал его несколько раз и, видно, разду-

мав посылать его, разорвал на мелкие куски; но тотчас же написал другое:

«Милая Лиза! Что ты делаешь в деревне? Приезжай скорее: мне очень скучно. Матушка в том же положении, тетка бранится; мужа твоего не видал, а у детей был: они, слава богу, здоровы. Приезжай! Мне о многом надобно с тобой переговорить. Брат твой...» и проч.

Это письмо Павел отправил и принялся читать какую-то книгу, но через четверть часа швырнул ее, лег вниз лицом на кровать и почти целый день пролежал в таком положении.

VI

ПОЕЗДКА В СОБРАНИЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Бешметев, в своем бездействии, думал решительно об одной брюнетке: ему страшно хотелось видеть ее. Он узнал, где их дом, и часа по два прохаживался невдалеке от него и поджидал, не пойдет ли она, как бывало это в Москве, гулять или по крайней мере не поедет ли куда-нибудь; был даже раза два в театре, но ничто не удавалось. Приехала Лизавета Васильевна. Павел только через неделю, и то опять слегка, рассказал сестре о встрече с своею московскою красавицей; но Лизавета Васильевна догадалась, что брат ее влюблен не на шутку, и очень этому обрадовалась; в голове ее, в силу известного закона, что все сестры очень любят женить своих братьев, тотчас образовалась мысль о женитьбе Павла на Кураевой; она сказала ему о том, и герой мой, хотя видел в этом странность и несбыточность, но не отказывался. Страшно и отрадно становилось ему, когда он начинал думать, что эта девушка, столь прекрасная и которая теперь так далека от него, не только полюбит его, но и отдастся ему в полное обладание, будет принадлежать ему телом и душой, а главное, душой... Как все это отрадно и страшно! Впрочем, Павел все это только думал, сестре же говорил: «Конечно, недурно... но ведь как?..» Со времени появления в голове моего героя мысли о женитьбе он начал чувствовать какое-то беспокойство, постоянное волнение в крови: мечтания его сделались как-то раздражительны, а желание видеть Юлию еще сильнее, так что через несколько дней он пришел к сестре и сам начал просить ее ехать

с ним в собрание, где надеялся он встретить Кураевых. Лизавета Васильевна с удовольствием согласилась: ей самой очень хотелось видеть Юлию. Но здесь явилась новая забота: Павел боялся показаться в собрание и несколько раз был готов отказаться от своего намерения; даже мороз пробегал по телу при одной мысли, как неловко и неприятно будет его положение в ту минуту, когда он войдет в залу, полную незнакомых людей! Что ему там делать? Как вести себя? О чем и с кем говорить? Не удивляйтесь, светский читатель, последним чувствованиям моего героя. Вы образовывались совершенно под другими условиями, вы, может быть, подобно Онегину, выйдя из-под ферулы вертлявого, но с прекрасными манерами француза, еще с семнадцати лет, вероятно, сделались принадлежностью света и балов. Но Бешметев во всю жизнь был только на одном бале, куда его еще маленького привезла мать, и он до сих пор не забыл, как было ему неловко и скучно в светлой зале. В день собрания он очень много занимался своим туалетом, долго смотрелся в зеркало, несколько раз умылся, завился сначала сам собственноручно, но, оставшись этим недоволен, завился в другой раз через посредство цирюльника, и все-таки остался недоволен; даже совсем не хотел ехать, тем более что горничная прескверно вымыла манишку, за что Павел, сверх обыкновения, рассердился; но спустя несколько времени он снова решился. Часов в восемь он нарядился в черный фрак и какой-то цветной жилет. Фрак отличнейшего сукна сидел на нем не отлично. Когда Павел пришел к сестре, она была еще в блузе; но голова ее была уже убрана по-бальному. В лице Бешметева очень заметно было волнение; поздоровавшись с сестрою, он беспокойными шагами начал ходить по комнате.

— О чем ты думаешь, Поль? — спросила Лизавета Васильевна.

— Так, ни о чем.

— Как ни о чем? Ты чем-то расстроен.

— Право, так; мне что-то не хочется ехать.

— Но ведь ты сам меня звал.

— Знаю,— но, видишь...

— Нет, ничего не вижу.

— Мне что-то нездоровится.

— Полно, Поль, пустяки-то говорить; что за робость.

Павел не отвечал.

— Что ж, мы не едем? — спросила Лизавета Васильевна после минутного молчания.

— Я не знаю,— отвечал Павел.

— Что это у тебя, братец, за дикость? Отчего это?

— Вовсе не дикость.

— Как не дикость? Чего же ты боишься людей?

— Я не боюсь, но не люблю общества; мне как-то неловко бывать с людьми; все на тебя смотрят: нужно говорить, а я решительно не нахожусь, в голове моей или пустые фразы, или уж чересчур серьезные мысли, а что прилично для разговора, никогда ничего нет.

Лизавета Васильевна покачала головой.

— Странный ты человек! Другой на твоем месте еще в Москве бы познакомился с Кураевыми.

— Вот прекрасно! Каким же образом я мог бы познакомиться?

— Очень просто: приехать в дом, да и только.

— С какой же стати я приехал бы?

— Да как же другие-то знакомятся?

— Я не знаю: их, верно, зовут.

— Вовсе нет: сами приезжают.

— В таком случае это нахальство.

— Никакого тут нет нахальства.

— Конечно, нахальство; вдруг ни с того ни с сего приехать и рекомендоваться. Очень, я думаю, интересен я для них.

— Всякий молодой человек интересен в семейном доме, потому что он жених. Нет, Поль, это не оттого... ты еще мало влюблен.

— Нет, Лиза.

— Что же?

— Так... ты неправду думаешь.

Сказав эти слова, Павел вспыхнул.

Брат и сестра замолчали.

— Послушай, Поль,— начала Лизавета Васильевна,— вот мы теперь съездим в собрание; ты еще посмотришь на нее, и я посмотрю, а потом...

— Что же потом?

— Потом стороной и разузнаем, что и как... а там ты съездишь в дом раза два...

— Ни за что не поеду.

— Нет, это пустяки: ты поедешь, а тут и я съезжу,

и, смотришь, вдруг скажут: «Павел Васильич с супругою приехали!».

— Нет, сестрица, это невозможно... это так, одно пустое предположение...

— А вот посмотрим... Что ж? Прикажете одеваться? Угодно вам ехать? — шутила Лизавета Васильевна, вставая.

— Одевайся,— отвечал Павел каким-то странным голосом.

Лизавета Васильевна вышла, Павел задумался, и через полчаса она возвратилась уже совсем одетая. Бешметев, несмотря на внутреннее беспокойство, чуть не вскрикнул от удивления: так была она хороша с своею стройною талиею, затянутою в корсет, с обнаженными руками и шеею, покрытыми белою и нежною кожею, с этим умным, выразительным лицом, оттененным роскошными смолистыми кудрями. Павел невольно взглянул в зеркало, и — боже мой! — как некрасива и непредставительна показалась ему его собственная фигура! С приближением к собранию беспокойство его увеличилось, сердце ныло; он несколько раз покушался просить сестру воротиться назад, но промолчал.

В залу Бешметев вошел в лихорадочном состоянии; лицо его было бледно и с каким-то странным выражением. Масурову тотчас же заметили.

— Лизавета Васильевна! Наконец-то вы показались,— говорила толстая, почтенная дама, пожимая ей руку.— С кем это вы,— продолжала она, увидя Павла,— с мужем?

— Нет, это мой брат,— отвечала Лизавета Васильевна и взглянула было на брата, в намерении представить его почтенной даме; но Павел очень серьезно глядел на сестру и не трогался с места. Масурову окружили еще многие старые знакомые; некоторые уже знали о ее приезде, другие же, подходя к ней, издавали звуки удивления и радости: «Mon Dieu! Est-ce bien vous?» — «C'est vous, madame?»[1] Даже слышалось: «ma bonne Lise», «ma chère» и «Lisette»[2],— но никто не заметил, никто не приветствовал Павла. Ему сделалось, как и ожидал он, страшно неловко: он решительно не знал, что делать с руками, ногами, с шляпою, или, лучше сказать, он решительно не находился, как прилично расположить всю свою особу.

---

[1] Боже мой! Вы ли это? — Это вы, сударыня? (*франц.*)

[2] милая Лиза, дорогая; Лизочка, (*франц.*)

Павел не знал ни одного обычного в то время приема молодых людей: он не умел ни закладывать за жилет грациозно руку, ни придерживать живописно этою рукою шляпу, слегка прижав ее к боку, ни выступить умеренно вперед левою ногою, а тем более не в состоянии был ни насмешливо улыбаться, ни равнодушно смотреть; выражение лица его было чересчур грустно и отчасти даже сердито. Постояв несколько минут в положении смешавшегося в своей роли трагического актера, он счел за лучшее сесть. Не излишним считаю здесь заметить, что Павел по своей наружности был не самый последний в собрании. Не говоря уже о толстых, усевшихся играть в преферанс или вист, было даже несколько тоненьких молодых людей с гораздо более неприличными, чем он, для бала физиономиями и фраками: некоторые из них, подобно ему, сидели вдали, а другие даже танцевали. Конечно, были и такие, которые далеко превосходили Бешметева; к числу таких, по преимуществу, принадлежал высокий господин лет тридцати пяти, стоявший за колонною: одет он был весь в черном, начиная с широкого, английского покроя, фрака, до небрежно завязанного атласного галстука. Желтоватое лицо его, покрытое глубокими морщинами и оттененное большими черными усами, имело самое модное выражение, выражение разочарования, доступное в то время еще очень немногим лицам. Карие глаза его лениво смотрели на составлявшуюся невдалеке от него французскую кадриль. Высоким господином интересовались, кажется, многие дамы: некоторые на него взглядывали, другие приветливо ему кланялись, а одна молодая дама даже с умыслом села близ него, потому что, очень долго заставив своего кавалера, какого-то долговязого юношу, носить по зале стул, наконец показала на колонну, около которой стоял франт; но сей последний решительно не обратил на нее внимания и продолжал лениво смотреть на свои усы. Молодая дама, усевшись, несколько раз повертывала к нему голову и поднимала на него большие серые глаза.

— Monsieur Бахтиаров,— сказала, наконец, она, не утерпев.

Франт лениво взглянул на нее.

— Посмотрите,— продолжала дама, указывая глазами на Бешметева,— за что этот господин сердится?

— Я вдали не вижу.

— Да это недалеко, на стуле у третьего окна.

— Не вижу-с.

— Да что это!.. Посмотрите.

— Право, не вижу.

Дама несколько обиделась и отворотилась от Бахтиарова.

— Вы сегодня не в духе? — начала снова она.

— Как и всегда.

— Пожалуйста, посмотрите на этого сердитого господина!

Бахтиаров насмешливо улыбнулся.

— Странное желание! — проговорил он и, нехотя приложив к глазу одностекольный лорнет, взглянул на Павла: равнодушное выражение лица его мгновенно изменилось, он как будто бы покраснел.— Какое сходство! — проговорил он как бы сам с собою.

— С кем? — спросила она.

Бахтиаров не отвечал.

— С кем сходство? — повторила дама.

— С вами,— отвечал Бахтиаров.

Дама пожала плечами и надула губы.

— Вы забываете, вам начинать,— сказал Бахтиаров после небольшого молчания.

Дама начала ходить в первой фигуре, но смешалась в шене. Между тем Бахтиаров взглянул в ту сторону, где танцевала Лизавета Васильевна, и лицо его снова изменилось. Когда соседка его возвратилась на свое место, он выдвинулся из-за колонны и начал с нею весело разговаривать.

— У вас, должно быть, сегодня истерика? — сказала дама.

— Это отчего?

— Да как же? Вы то грустны, то веселы чересчур. Со мною бывало это.

— Со мною не то, что с вами,— ответил Бахтиаров.— Знаете ли что? Судьба иногда дарит человека в его скучной жизни вдруг, неожиданно, таким... как бы это выразить? — удовольствием, или, пожалуй, даже счастием...

— Право? — перебила дама.— Не случилось ли с вами того же?

— Отчасти.

— Поздравляю вас! Стало быть, вы счастливы?

— Отчасти.

— Нельзя ли узнать причину?
— Невозможно.
— Почему же?
— Потому что вы всем расскажете.
— Честное слово, никому не скажу.
— Извольте: я встретил одного старого приятеля. Дама сомнительно покачала головою и старалась угадать по направлению взгляда Бахтиарова, на кого он смотрит.
— Полно, не приятельницу ли? — сказала она.
— У меня нет приятельниц.
— Это почему?
— Приятельницами могут быть только женщины.
— Ну так что же?
— А женщин я давно не люблю.
— А М., а К., а Д.? А дама в очках?
— Это они меня любили, а не я их.
— Послушайте: это неблагородно так говорить о женщинах.
— А еще неблагороднее сплетничать на приятельниц.
— Кто же на них сплетничает?
— Вы.
— Ах, боже мой!.. Это все говорят... Это вы сами сейчас говорили.
— Я хотел подделаться под ваш тон.
— Под какой же мой тон?
— Посплетничать.
— Это ни на что не похоже,— сказала дама, очень обидевшись, и встала с своего места.

Кадриль в это время кончилась. Бахтиаров тоже довольно быстро пошел на другой конец залы: там стояла Лизавета Васильевна и разговаривала с каким-то плешивым господином. Бахтиаров подошел к ней и несколько минут оставался в почтительном положении.

— Je vous salue, madame! [1] — произнес он потом довольно тихо. Лизавета Васильевна вздрогнула и обернулась: все лицо ее вспыхнуло, и она ответила одним молчаливым поклоном; Бахтиаров тоже, кажется, не находился, что говорить, и только пригласил ее на следующую кадриль: Лизавета Васильевна колебалась.

— Извольте,— отвечала она после минутного размыш-

---

[1] Приветствую вас, сударыня! *(франц.)*

ления. Оба они простояли еще несколько минут в странном молчании; наконец, Лизавета Васильевна опомнилась и подошла к брату.

— Поль, которая же она? — спросила молодая женщина, не могши скрыть внутреннего беспокойства.

— Ее здесь нет,— отвечал Павел, сидевший все это время в прежнем положении.

— Пойдем, походим,— сказала она, взяв его за руку.

— Нет, я не пойду.

— Бога ради, Поль; ты мне нужен.

— Не могу, сестрица.

— По крайней мере сядь около меня, когда я буду танцевать. Пожалуйста, Поль.

— Хорошо.

Лизавета Васильевна тотчас подхватила какую-то рыжую даму и начала с ней ходить по зале; Бахтиарову, кажется, очень хотелось подойти к Масуровой; но он не подходил и только следил за нею глазами. Проиграли сигнал. Волнение Лизаветы Васильевны, когда она села с своим кавалером, было слишком заметно: грудь ее подымалась, руки дрожали, глаза искали брата; но Павел сидел задумавшись и ничего не видел.

Всю эту сцену видела молоденькая дама, рассердившаяся на Бахтиарова: она видела, как он встал и пошел к Лизавете Васильевне; видела обоюдное их смущение и, сообразивши слова Бахтиарова о неожиданном его счастье, тотчас поняла все.

— Как я сейчас взбесила Бахтиарова! — сказала она, подойдя к даме в очках.

— Он всегда зол.

— Я открыла тайну его сердца.

— Давно ли у него стало сердце?

— А вот посмотрите,— сказала молоденькая дама,— каким тигром смотрит он за дамою в коричневом платье.

Бледная дама в очках еще более побледнела.

— У них старая интрига. Она еще в девушках...

— Я догадалась,— перебила молоденькая дама и отошла по случаю начала французской кадрили.— Посмотрите, как счастлив Бахтиаров,— заметила она своему кавалеру, очень еще молодому человеку, но с замечательно решительною наружностью.

— Именно,— подтвердил тот,— он даже перестал кисло улыбаться.

Молодой человек, постоянно сердившийся на Бахтиарова за то, что на том всегда был фрак самой последней моды, придя в буфет и решительно бросившись на диван, сказал сопровождавшему его приятелю, армейскому офицеру:

— Как эти господа не умеют себя выдержать!

— А что? — спросил тот, безбожно затягиваясь изделием Жукова.

— Мрачный Бахтиаров целую кадриль, как аркадский пастушок, любезничал с своей дамой.

— Он танцевал с Лизаветой Васильевной Масуровой,— отвечал офицер, имевший необыкновенную способность знать имена и фамилии всех, даже незнакомых ему дам.

Офицер, выйдя в залу, встал около другого офицера, тоже своего приятеля. Сей последний, увидев проходившую мимо их Лизавету Васильевну, заметил:

— Посмотри-ка, брат, какие плечи-то... тово...

— Нет, брат, тут не тово... занята ваканция.

— А кто?

— Да Бахтиаров.

— Ну, так уж, конечно не тово...

Между тем Бахтиаров действительно вел себя как-то странно и совершенно не по-прежнему: в лице его не было уже обычной холодности и невнимания, которое он оказывал ко всем городским дамам и в которых, впрочем, был, как говорили в свете, очень счастлив; всю первую фигуру сохранял он какое-то почтительное молчание. Лизавета Васильевна тоже молчала и беспрестанно взглядывала на брата. В половине кадрили Павел, наконец, взглянув на сестру и увидев, что она танцует с Бахтиаровым, тотчас встал, быстро подошел к танцующим и сел невдалеке от них. В это время Бахтиаров заговорил.

— Я не могу еще опомниться,— начал он,— я так неожиданно вас увидел, так поражен был...

— Мы года четыре с вами не видались,— перебила Лизавета Васильевна.

Бахтиаров несколько смешался.

— Ваш супруг здесь? — спросил он.

— Он остался дома... я с братом.

— Боже мой! Как я вас давно не видал...— начал было Бахтиаров прежним тоном.

Лизавета Васильевна прежде времени отошла делать соло.

— Вы несправедливы ко мне,— продолжал он, одушевляясь,— мало того, вы были жестоки ко мне!..

— Поль, подержи мой веер,— сказала Лизавета Васильевна, обращаясь к Павлу.

— Это ваш брат?

— Да...

И она снова отошла.

Бахтиаров с досады начал щипать усы.

— Вы позволите мне быть у вас?..— спросил он, уведя Лизавету Васильевну в последней фигуре на другую сторону от брата.

Молодая женщина несколько колебалась.

— Это от вас зависит,— отвечала она.

Кадриль кончилась.

— Поедем, Лиза,— сказал тихо Павел.

— Поедем,— отвечала молодая женщина.

— Accordez-moi la mazurque?

— Pardon, monsieur, je pars.

— Mais...

— Allons, Paul...[1]

Лизавета Васильевна вышла с братом.

Бахтиаров, расстроенный, снова встал у колонны.

— Вы, верно, скучаете, не видя одной особы,— сказала бледная дама в очках, проходя мимо его с моломоденькою дамою.

— Гораздо менее, чем видя другую особу,— отвечал Бахтиаров.

Постояв еще несколько времени, он ушел в бильярдную и сел между зрителями на диван. Ему, видно, было очень скучно. Около бильярда ходили двое игроков: один из них был, как кажется, человек солидный и немного сердитый на вид, другой... другой был наш старый знакомый Масуров.

Солидный игрок дал промах.

— А вот мы так не так!..— сказал Масуров, живо перекинувшись через борт бильярда, и, вывернув неимоверно локти, принялся целиться.— Бац! — вскрикнул он, сделав

---

[1] — Позвольте вас пригласить на мазурку?
— Извините, сударь, я ухожу!
— Но...
— Идем, Павел! *(франц.)*

довольно ловко желтого шара в среднюю лузу.— Вот оно что значит на контру-то, каков удар! А? — продолжал он, обращаясь к зрителям.

— Отлично играют! — отнесся к Бахтиарову худощавый господин, которого в городе называли пла́тельной вешалкой.

— Кто? — спросил Бахтиаров.

— Я говорю: Михайло Николаич отлично играют.

— Какой Михайло Николаич?

— Масуров.

— Это разве Масуров?

— Масуров... ловкий игрок.

Бахтиаров сейчас же встал с своего места и подошел к игрокам.

— Каков удар-то? — повторил Масуров, заметив его около себя.

— Славный! — отвечал Бахтиаров.

— Вот как долго целитесь, а еще говорите, что с Тюрей играли... на «себя», ей-богу, на «себя»! — повторил Масуров, между тем как прицеливался его партнер.

— Перестаньте говорить под руку,— возразил тот, отнимая с досадою кий.

— Да я и так ничего не говорю; играйте; что мне за надобность.

— Как же не говорите! Как колокол над ухом,— возразил партнер, снова принимаясь целиться.

— Сами вы колокол. Ну, смотрите... так и есть: на «себя»! — вскрикнул он и залился смехом.

Партнер действительно сделал на «себя».

— С вами невозможно играть,— сказал он, отнимая кий.

— Ну, уж вы и сердитесь... всяко бывает! А вот мы так поиграем: красного сделаем да под желтого выход!.. Есть! Вот тут-то мы вас, батенька, и поймали! Эй ты, маркерина, считай; раз двенадцать, два двенадцать; честь имею вас поздравить: партия кончена!

— Будет! — сказал партнер, выкидывая на бильярд десятирублевую.

— Давайте играть; что за пустяки?

— Не буду я играть, беспрестанно говорите под руку.

— Я не стану, ей-богу, не стану; слова не скажу.

— Не буду,— отвечал лаконически партнер и вышел.

— Экий какой! — проговорил ему вслед Масуров.—

Кутнул на красненькую, да и испугался... я, черт возьми, по десяти тысяч проигрывал в вечер да и тут не отставал.

— Не хотите ли со мной? — сказал Бахтиаров.

— Очень рад,— отвечал, обрадовавшись, Масуров,— вы ведь, кажется, гусар?

— Гусар.

Они начали играть. Масуров был в восторге: как-то так случилось, что он то с одного удара кончил партию, то шары разбивались таким образом, что Бахтиарову оставалось делать только белого.

— Что это с вами? — говорили некоторые зрители, обращаясь к Бахтиарову.

— Он хорошо играет,— отвечал тот и начинал как будто бы сердиться.

— Нет, вам нельзя играть со мной так и так,— сказал Масуров,— возьмите десять вперед.

— Я оттого проигрываю, что мы играем по маленькой: давайте по пятидесяти рублей.

— Вот еще что вздумали! Как это возможно? Это значит наверняка взять у вас деньги. На вино давайте.

— Извольте.

И вино проиграл Бахтиаров.

— Будет! — сказал Масуров.— Нет, вам нельзя со мной играть, давайте пить.

Они сели за дальний столик.

— Я очень рад, что с вами познакомился,— произнес Михайло Николаич, протягивая руку к Бахтиарову.

— Взаимно и я,— отвечал тот, пожимая ему руку.

— Фамилия моя Масуров.

— А я Бахтиаров.

— Ну и прекрасно.

— Славно вы играете.

— Так ли я еще прежде играл! Не поверите: в полку, бывало, никто со мной не связывался. Раз шельма жид какую штуку выкинул в Малороссии на ярмарке: привозит бильярд без бортов; как вам покажется?

— Не может быть.

— Честью моей заверяю. Но... каким же образом, однако, играть?.. Тот... другой: были хорошие игроки; посмотрели; нет, видят, хитро! Что, я думаю... «Послушай, свиное ухо,— говорю я жиду,— когда у тебя пуста бильярдная?» — «От цетырих цасов ноци до восьми утра, васе благородие»,— говорит. Хорошо! Прихожу в четыре

часа ночи, начинаю катать шарами, всю ночь проиграл один,— что же? Поутру его, каналью, самого обыграл на две партии. Тут было схватились со мной другие: было человек десять уланов; всех обдул, как липок; а смешнее всего, один чиновник, с позволения сказать, все белье с себя проиграл.

— Но я не понимаю, каким же образом играют? — сказал Бахтиаров, внимательно выслушав весь этот рассказ.

— Очень просто: дублетов вовсе нет, и тише бьют шары, чтоб не падали на пол. Чокнемтесь, monsieur... позвольте узнать ваше имя.

— Александр Сергеич.

— Чокнемтесь, Александр Сергеич!

Они чокнулись.

— Я сейчас имел удовольствие танцевать с вашей супругой.

— Что вы? Да разве она здесь?

— Была здесь; а вы, видно, и не знаете?

— А я и не знаю... Я дома целый день не был: помню, что-то говорила.

— Я знал их еще девушкой.

— Не правда ли, что славная женщина?

— Чу́дная!

— Да, черт возьми, кабы не была жена, даже приволокнулся бы за нею.

— А вы разве охотники волочиться?

— Даже очень люблю. Допьемте другую бутылку и пойдемте волочиться.

— Пойдемте.

— Там я, еще в прошлое собрание, видел даму: ух, черт возьми, с какими калеными глазами!

Новые знакомцы вышли под руку в залу, но Масуров скоро юркнул от Бахтиарова; он был в зале собрания как у себя дома, даже свободнее, чем ловкий и светский Бахтиаров: всем почти мужчинам подавал руку, дамам кланялся, иным даже что-то шептал на ухо; и Бахтиаров только чрез четверть часа заметил его усевшимся с дамою во ожидании мазурки. Михайло Николаич, увидя своего приятеля, показывал ему пальцем на свои глаза и в то же время подмигивал на свою даму. У дамы были действительно странные глаза: они были, если хотите, и черные, но как будто бы кто-то толкал их изнутри, и им

сильно хотелось выпрыгнуть. Бахтиаров чуть не засмеялся и, желая не поддаться приятелю в выборе дамы, отыскал какую-то девушку тоже с довольно необыкновенными глазами. Эти глаза были, впрочем, совершенно другого свойства: они уходили внутрь, и как владетельница их ни растягивала свои красноватые веки, глаза прятались и никак не хотели показаться на свет. Масуров захохотал во все горло, увидев помещающегося с своей дамой около него Бахтиарова.

— Браво, Александр Сергеич! То, что у вас очень закрыто, у меня очень открыто!

Оба знакомца немного дурачились в мазурке: они очень шибко вертели дам, подводя их к местам, то чересчур выделывали па, то просто ходили, выдумывая какие-то странные пословицы. В отношении же дам своих они вели себя несколько различно: Бахтиаров молчал и даже иногда зевал, но зато рекой разливался Масуров: он говорил даме, что очень любит женские глаза, что взгляд женщины для него невыносим, что он знал одну жидовочку и... тут он рассказал такую историю про жидовку, что дама не знала — сердиться на него или смеяться; в промежутках разговора Масуров обращался к Бахтиарову и спрашивал его вслух, знает ли он романс: «Ах, не глядите на меня, вы, пламенные очи», и в заключение объявил своей даме, что он никогда не забудет этой мазурки и запечатлел ее в сердце. Дама молча поворотила на него свои глаза и отошла.

Бахтиаров и Масуров отужинали вместе, выпили еще бутылки две шампанского, и Масуров начал называть своего приятеля просто — mon cher.

Дружеское сближение Бахтиарова с Масуровым заметили многие, и многие угадали настоящую причину: это были по преимуществу дамы, которые, как известно, в подобных случаях обнаруживают необыкновенное любопытство и невыразимую сметливость. На другой же почти день было решено, что гордец Бахтиаров заискивает в Масурове и подделывается под его дурной тон, потому что интригует с его женой. Слух об этом дошел и к Кураевым: брюнетка, говорят, услышав об этом, тотчас вышла к себе в комнату и целый день не выходила, жалуясь на головную боль. Горничная ее даже рассказывала, что будто бы барышня все это время изволила лежать в постели и плакала.

VII

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Еще печальнее, еще однообразнее потекла жизнь Павла после его неудачной поездки в собрание; целые дни проводил он в совершенном уединении. С сестрою видался он гораздо реже. Лизавета Васильевна как-то изменилась, сделалась несколько странною и совершенно иначе держала себя в отношении к брату. По приезде из собрания она несколько дней была больна, или по крайней мере сказывалась больною, и лежала в постели. На другой же день поутру приехал к ним Бахтиаров. Михайлю Николаич просил было жену выйти к его новому знакомому, который, по его словам, был старинный его приятель, видел ее в собрании и теперь очень желает покороче с ней познакомиться. Лизавете Васильевне очень неприятно было это посещение, и она решительно сказала мужу, что больна и не может выйти.

— Бог с тобой, Лиза, ты мне все делаешь напротив; этот ведь совершенно непохож на других моих приятелей: человек с огромным весом, для детей наших даже может быть полезен.

Сказав это, Масуров вышел из спальни. Гость и хозяин, кажется, скоро совершенно забыли о Лизавете Васильевне. Они уселись играть в бостон и проиграли до вечера. На третий день, когда снова приехал Бахтиаров, Лизавета Васильевна спросила мужа: долго ли этот человек будет надоедать им?

— Нет, душа моя,— почти закричал Михайло Николаич,— ты хоть зарежь меня, а мы каждый день будем играть: этакого отличнейшего и благороднейшего игрока я во всю жизнь не видал.

— Что же вы не играете у него?

— У него невозможно, ей-богу, невозможно: во всем доме переделывают печи; нам бы все равно.

— Это несносно, Мишель: целый день чужой человек.

— И не говори лучше, Лиза: это невозможно; в чем хочешь приказывай.

— Но как же?

— Душа моя, ангелочек, бога ради, не говори,— произнес Масуров и ушел проворно.

На четвертый день повторилась та же сцена. На пятый день Лизавета Васильевна проснулась бледнее

обыкновенного, глаза ее были красны и распухли. Видно было, что она провела не слишком спокойную ночь. Часу в двенадцатом приехал Бахтиаров, и Михайло Николаич тотчас уселся с ним за карты. На этот раз Лизавета Васильевна не сказалась больною: она вышла в гостиную и довольно сухо поклонилась гостю, проговорившему ей свое сожаление о ее болезни; в лице Бахтиарова слишком было заметно волнение, и он часто мешался и даже забывал карты. Что касается до Лизаветы Васильевны, то она была как будто бы спокойна: работала, занималась с детьми, выходила часто из комнаты и, по-видимому, решительно не замечала присутствия постороннего человека; но к концу дня, ссылаясь на головную боль, легла снова в постель. На следующие дни стали повторяться те же сцены. Павел был всему постоянным свидетелем. Он очень подозревал, что Бахтиаров неравнодушен к сестре и что она если и не любит, то когда-то очень любила этого человека: ему очень хотелось поговорить об этом с нею, но Лизавета Васильевна заметно уклонялась от искренних разговоров и даже по приезде из собрания перестала говорить с братом о его собственной любви. Когда начинал Павел думать об отношениях сестры к Бахтиарову, ему становилось как-то грустно; неприятное предчувствие западало на сердце; положение его в доме Масуровых начало становиться неловким. Бахтиаров и Масуров его мало замечали, сестра чуждалась; он перестал к ним ходить. «Для чего это сестра переменилась ко мне? — часто думал Павел.— Отчего ж она не скажет мне, если точно любит этого человека? Но достоин ли он? Он светский человек; он мне не нравится». Павел прощал сестре чувство любви, но только ему казалось, что избранный ею предмет был недостоин ее; впрочем, при таких размышлениях Павлу всегда как-то становилось грустно и неприятно. «Лучше, если бы этого не было,— заключал он,— и что будет из этой любви?» На последний вопрос Павел боялся отвечать. Больше всего он сердился на Михайла Николаича. «Этот пустой человек,— думал он,— решительно погубит все свое семейство, он в состоянии продать жену; он подл, низок, развратен... Как сестре не предпочесть Бахтиарова, который, может быть, тоже развратный человек, но по крайней мере приличен, солиден». Были даже минуты, когда Павел завидовал сестре и Бахтиарову: они любят, они любимы, тогда как

он?.. Здесь в воображении его невольно начинал воскресать образ брюнетки, не той холодной брюнетки, которую он видел, которая не приехала в собрание, нет, другой — доброй, ласковой, приветливой к нему брюнетки; она подавала ему руку, шла с ним... Но мечты прерывались, его то звали к матери, то приезжала тетка или сестра и заставляли его рассказывать, что делала и как себя чувствовала старуха в продолжение двух дней и не хуже ли ей? На все вопросы Павел отвечал односложно. Тетка при этих посещениях обыкновенно выговаривала Павлу, почему он не служит, почему не бывает у нее и как ему не грех, что он так холоден к матери, которая для него была истинно благодетельница?

Однажды — это было в начале великого поста — Перепетуя Петровна приехала к сестре. Она была очень взволнована, почему с несвойственною ей быстротою и небережливостью сбросила на пол салоп и вошла в залу: все лицо ее было в красных пятнах.

— Где Паша? — спросила она.

— У себя в комнате,— отвечала горничная.

Перепетуя Петровна прошла к Павлу.

— Здравствуй, Паша! Полно, нечего одеваться-то, и в халате посидишь. Что это у тебя какая нечистота в комнате? Пол не вымыт; посмотри, сколько на столе пыли; мало, что ли, батюшка, этих оболтусов-то? Притвори дверь-то: мне нужно с тобой поговорить.

Павел затворил дверь. Перепетуя Петровна уселась в кресла.

— Давно ли ты видел сестру?

— Дня с три.

— У них был?

— Нет, Лиза у нас была.

— А у них давно ли был?

— У них был неделю назад.

— Что она, с ума, что ли, сошла?

— Кто?

— Да сестрица-то твоя.— Павел с удивлением посмотрел на тетку.— Я себя не помню; можно сказать, если бы не мой твердый характер, я не знаю, что... Кто у них был при тебе?

— Никого.

— Нет, ты лжешь, что никого: у них был Бахтиаров; бывает каждый день, только что не ночует: вот что!

Павел тут только начал догадываться, в чем дело.

— Это приятель Михайла Николаича,— сказал он.

— Нет, не приятель; он скорей злодей его: он злодей всего нашего семейства. Прекрасно! Михайло же Николаич виноват!.. Сваливайте на мужа вину: мужья всегда виноваты! Ты и этого не понимаешь.

— Мне нечего понимать.

— Нет, ты должен понимать: ты брат.

— Что же мне такое понимать?

— А то понимать, что сестра твоя свела интригу.

— Тетушка...

— Нечего «тетушка». Ты думаешь — мне легко слышать, как целый город говорит, что она с этим Бахтиаровым в интриге, и в интриге мерзкой, скверной.

Павел весь вспыхнул.

— Это клевета! Прошу вас, тетушка, не говорите этого при мне.

— Нет, я буду при тебе говорить: ты должен действовать.

— Мне нечего действовать: это сплетни подлых людей.

— Ты не можешь этого сказать: это говорили мои хорошие знакомые, это говорят везде... люди постарее, посолиднее тебя; они жалеют тут меня, зная мое родственное расположение, да бедного Михайла Николаича, которого спаивают, обыгрывают, может быть, отправят на тот свет. Вот что говорят везде.

— Тетушка, пощадите сестру! — произнес Павел почти умоляющим голосом.

— Нет, мне нечего ее щадить; она сама себя не щадит, коли так делает; я говорю, что чувствую. Я было хотела сейчас же ехать к ней, да Михайла Николаича пожалела, потому что не утерпела бы, при нем же бы все выпечатала. А ты так съезди, да и поговори ей; просто скажи ей, что если у них еще раз побывает Бахтиаров, то она мне не племянница. Слышишь?

— Я не поеду, тетушка.

— Как тебе ехать? Я наперед это знала: давно уж известно, что ты никаких родственных чувств не имеешь, чтó сестра, чтó чужая — все равно; в тебе даже нет дворянской гордости; тебе ведь нипочем, что бесславят наше семейство, которое всегда, можно сказать, отличалось благочестием и нравственностью.

— Это одна клевета.

— Да за что же вы меня-то мучите, за что же я-то терзаюсь? Вы, можно сказать, мои злодеи; в ком мое утешение? О чем я всегда старалась? Чтобы было все прилично... хорошо... что же на поверку вышло? Мерзость... скверность... подлость... Я девок своих за это секу и ссылаю в скотную. Бог с вами, бог вас накажет за ваши собственные поступки. Съездить не хочешь! Лентяй ты, сударь, этакий тюфяк... ты решительно без всяких чувств, жалости ни к кому не имеешь!

В продолжение этой речи голос Перепетуи Петровны делался более и более печальным, и, наконец, она начала всхлипывать.

— Нет, видно, мне в жизни утешения ни от чужих, ни от родных: маятница на белом свете; прибрал бы поскорее господь; по крайней мере успокоилась бы в сырой земле!

Перепетуя Петровна очень расстроилась.

Вошла горничная и сказала, что больная проснулась.

— Не сказывайте ей обо мне,— говорила Перепетуя Петровна,— я не могу ее видеть, мою голубушку; страдалицы мы с ней, по милости прекрасных детушек! Я сейчас еду...

И действительно уехала, не простясь даже с Павлом.

Перепетую Петровну возмутила Феоктиста Саввишна. Она рассказала ей различные толки о Лизавете Васильевне, носившиеся по городу и по преимуществу развиваемые в дружественном для нее доме, где прежде очень интересовались Бахтиаровым, а теперь заметно на него сердились, потому что он решительно перестал туда ездить и целые дни просиживал у Масуровых.

Феоктиста Саввишна, поговорив с Перепетуей Петровной, вздумала заехать к Лизавете Васильевне посидеть вечерок и собственным глазом кой-что заметить. Она непременно ожидала встретить там Бахтиарова; но Лизавета Васильевна была одна и, кажется, не слишком обрадовалась гостье. Сначала разговор шел очень вяло.

— А вы не выезжаете?— спросила Феоктиста Саввишна.

— Нет, я не выезжала эти дни... Голова болит.

— Время такое, насморки везде. А я так сегодня целый день не бывала дома; бездомовница такая сделалась, что ужас; теперь вот у вас сижу, после обеда была у ва-

шей тетушки... как она вас любит! А целое утро и обедала я у Кураевых... Что это за прекрасное семейство!

— А вы знакомы?

— Господи помилуй! Мало что знакома: я, можно сказать, дружна, близка к этому семейству.

— Которая из дочерей у них лучше? — спросила Лизавета Васильевна.

— Ах, Лизавета Васильевна, я просто не могу вам на это отвечать! Они обе, можно сказать, как два амура или какие-нибудь две белые голубки.

— Которая у них брюнетка?

— Старшая.

— Она мне лучше нравится.

— Да, это Юлия Владимировна: прекрасная девица. Дай только бог ей партию хорошую, а из нее выйдет превосходная жена; наперед можно сказать, что она не огорчит своего мужа ни в малейших пустяках, не только своим поведением или какими-нибудь неприличными поступками, как делают в нынешнем свете другие жены.— Последние слова Феоктиста Саввишна произнесла с большим выражением, потому что, говоря это, имела в виду кольнуть Лизавету Васильевну.

— Она очень нравится одному молодому человеку,— сказала та, не поняв последних слов Феоктисты Саввишны.

— Право? Кому же это?

— Этот молодой человек видел ее раза два. Он говорит, что она чудо как хороша собой, грациозна и бесподобно поет.

— Ай, батюшки! Кто же это такой? — спросила Феоктиста Саввишна, и у ней уже глаза разгорелись, как будто дело шло об ее собственной красоте или о красоте ее дочери.

— Он меня очень просил,— продолжала Лизавета Васильевна,— чтобы узнать стороной, как о нем думают у Кураевых и что бы они сказали, если бы он сделал предложение.

— Ах, боже мой! Кто бы это был? — сказала Феоктиста Саввишна, еще более заинтересованная.— Постойте, я ведь догадываюсь: не Бахтиаров ли?

Лизавета Васильевна покраснела.

— Это с чего вам пришло в голову? С какой мне стати говорить за него?

— Ну, я думала, так, по дружбе; он так часто бывает у вас.

— Он часто бывает у моего мужа. Нельзя ли вам, Феоктиста Саввишна, переговорить с Кураевыми?

— Да про кого, матушка, поговорить-то: я еще не знаю, про кого.

— Нет, вы наперед дайте слово, что переговорите.

— Извольте; про кого же?

— Про моего брата.

— Про Павла Васильича? Не может быть!

— Отчего же не может быть?

— Нет, вы шутите!

— Вовсе не шучу.

— Да как же? Ведь он еще не служил.

— Что ж такое! У него уж три чина.

— Да кто их дал?

— Царь дал. Он кандидат.

— Ей-богу, не знаю... Позвольте, мне от своего слова отпираться не следует: поговорить поговорю; конечно, женихи девушке не бесчестье; только откровенно вам скажу — не надеюсь. Главное дело — нечиновен. Кабы при должности какой-нибудь был — другое дело... Состояние-то велико ли у них?

— У него своих пятьдесят душ, да после тетки еще достанется.

Феоктиста Саввишна размышляла. Она была в чрезвычайно затруднительном положении: с одной стороны, ей очень хотелось посватать, потому что сватанье сыздавна было ее страстью, ее манией; половина дворянских свадеб в городе началась через Феоктисту Саввишну, но, с другой стороны, Бешметев и Кураева в голове ее никоим образом не укладывались в приличную партию, тем более что она вспомнила, как сама она невыгодно отзывалась о Павле и какое дурное мнение имеет о нем невеста; но мания сватать превозмогла все.

— Поговорю, Лизавета Васильевна, с большим удовольствием поговорю; я так люблю все ваше семейство! Мне очень будет приятно устроить это для вас. Вы говорите: у него пятьдесят душ и три чина?

Разговор этот прервался приходом бледного и расстроенного Павла. Лизавета Васильевна очень ему обрадовалась.

— Вот и он! Легок на помине. Как я тебя давно не

видала, Поль,— говорила она, целуя брата в лоб и глядя на него,— но что с тобой? Чем ты расстроен?

Павел ничего не отвечал и, почти не кланяясь Феоктисте Саввишне, сел поодаль; Лизавета Васильевна долго вглядывалась в брата и сама задумалась. Феоктиста Саввишна, внимательно осмотрев Павла, начала с ним разговаривать, вероятно, для узнания его умственных способностей; она сначала спросила его о матери, а потом и пошла допытываться — где он, чему и как учился, что такое университет, на какую он должность кандидат; и вслед за тем, услышав, что ученый кандидат не значит кандидат на какую-нибудь должность, она очень интересовалась знать, почему он не служит и какое ему дадут жалованье, когда поступит на службу.

Павел говорил очень неохотно, так что Лизавета Васильевна несколько раз принуждена была отвечать за него. Часу в восьмом приехал Масуров с клубного обеда и был немного пьян. Он тотчас же бросился обнимать жену и начал рассказывать, как он славно кутнул с Бахтиаровым. Павел взялся за шляпу и, несмотря на просьбу сестры, ушел. Феоктиста Саввишна тоже вскоре отправилась и, еще раз переспросив о состоянии, чине и летах Павла, обещалась уведомить Лизавету Васильевну очень скоро.

VIII

СВАТОВСТВО

Феоктиста Саввишна, возвратясь от Лизаветы Васильевны, почти целую ночь не спала; сердце ее каждый раз замирало и билось, когда она вспоминала, что судьба сжалилась, наконец, над ней и доставила ей случай посватать. Будь другая на месте Феоктисты Саввишны, не имея для этого дела истинного призвания, она, конечно бы, не решилась сватать какого-либо полуплебея губернской аристократке и по причинам, выше уже изложенным. Собственно, два только благоприятные шанса имела Феоктиста Саввишна: во-первых, она слышала стороной, что будто бы у Кураевых продают имение с аукциона и что вообще дела их сильно плохи, а во-вторых, Владимир Андреич, обыкновенно человек гордый и очень мало с нею говоривший, вдруг на днях, ни с того ни с сего,

подсел к ней и сказал: «Чем вы, любезная Феоктиста Саввишна, занимаетесь? Хоть бы молодым девушкам женихов приискивали»,— а она, как будто бы предчувствуя, и ответила, что она очень рада, но только в состоянии ли будет найти достойных молодых людей. Владимир же Андреич на это возразил: «Нынче девушкам копаться нечего!» — и что вот хоть у него две дочери, девушки не из последних, а он зарываться не будет, был бы человек хороший.

На другой день Феоктиста Саввишна сходила к заутрене, к обедне и молилась, чтобы хорошо начать и благополучно кончить, и вечером же решилась отправиться к Кураевым. Ехав дорогой, она имела два опасения: первое, чтоб не было посторонних, а второе, чтобы Владимир Андреич не очень уж был важен и сердит, потому что она его безмерно уважала и отчасти побаивалась; даже, может быть, не решилась бы заговорить с ним, если бы он сам прежде не дал тону. Первое ее опасение было напрасно: Кураевы только своей семьей сидели в угольной комнате; второе же, то есть в отношении Владимира Андреича, отчасти оправдалось: он был, видно, чем-то очень серьезным расстроен, а вследствие того и вся семья была не в духе; но Феоктиста Саввишна не оробела перед этим не совсем благоприятным для нее обстоятельством и решилась во что бы то ни стало начать свое дело.

— Что это нынче за времена,— начала она, просидев с полчаса и переговоря о различных предметах,— что это нынче за годы? Прошла целая зима... танцевали.. ездили на балы... тоже веселились, а свадьбы ни одной.

На это замечание никто не ответил; Владимир Андреич поднял, впрочем, нахмуренные глаза и поглядел на нее.

— А ведь женихи-то есть, и очень бы желали,— продолжала она.

— Да где вы нашли женихов? — проговорил Владимир Андреич.— И танцевали, наша братья, женатые да мальчишки.

— Мало ли есть, которые и не выезжают. Право, нынче молодой человек, который посолиднее, то и не поедет в общество-то. Не те времена: жизнь как-то не веселит. Вот, например, Василья Петровича Бешметева сын: прекраснейший человек, а никуда не ездит, все сидит дома.

— Это тюфяк-то? — перебила блондинка.— Мы еще у вас его видели: смирный такой.

— И который еще рук не моет? — прибавила насмешливо брюнетка.

— То-то и есть! Я не знавши это говорила, ан вышло не то,— возразила увертливая Феоктиста Саввишна.— После, как узнала, так вышел человек-то умный; не шаркун, правда; что ж такое? Занимается своим семейством, хозяйством, читает книги, пятьдесят душ чистого имения, а в доме-то чего нет? Одного серебра два пуда, да еще после тетки достанется душ восемьдесят. Кроме того, у Перепетуи Петровны и деньги есть; я это наверно знаю. Чем не жених? По моему мнению, так всякую девушку может осчастливить.

Родитель и родительница весь этот рассказ выслушали очень внимательно.

— Да это его сестра за Масуровым? — спросила мать.

— Его самого.

— Семейство-то очень уж дурное: тетка Перепетуя Петровна... сестра Масурова — бог знает что такое! — говорила Кураева, глядя на мужа и как бы спрашивая его: «Следует ли это говорить?»

— Что ж такое сестра? — возразила Феоктиста Саввишна.— Она совершенно отделена. Если и действительно про нее есть там, как говорят, какие-то слухи, она не указчица брату.

— Это пустяки: что такое сестра? — проговорил Кураев.— Служит он где-нибудь?

— Нет, нигде не служит.

— Отчего же? Ленив, что ли?

— Ай нет; как это возможно! Холостой человек, одинокий: думает, не для чего: состояние обеспеченное, у него уж три чина: он какой-то коллежский регистратор, что ли.

— Коллежский секретарь?

— Так точно, коллежский секретарь.

Феоктиста Саввишна, сметливая в деле сватанья, очень хорошо поняла, что родители были почти на ее стороне; впрочем, она даже несколько удивилась, что так скоро успела. «Видно, больно уж делишки-то плохи»,— подумала она и прямо решилась приступить к делу.

— Я, признаться сказать,— начала она не совсем твердым голосом,— нарочно сегодня к вам и приехала.

В своем семействе можно говорить откровенно — он очень меня просил узнать, какое было бы ваше мнение насчет Юлии Владимировны?

— Насчет меня? — спросила брюнетка и побледнела.

— То есть в каком же отношении насчет? — сказал Владимир Андреич, переглянувшись с женою.

— Ну, то есть известно, в каком. Он видел Юлию Владимировну: она ему очень понравилась, так он очень бы желал быть осчастливлен. Конечно, его мало знают, но он говорит: «Я, говорит, со временем постараюсь, говорит, заслужить».

Владимир Андреич думал. Впрочем, по выражению его глаз заметно было, что слова Феоктисты Саввишны были ему не неприятны.

— Что ж, он делает формальное предложение, что ли? — спросил он.

— Да!.. Конечно... все равно и через меня... делает формальное предложение.

— Формальное предложение,— проговорил как бы сам с собою Владимир Андреич и поглядел на дочь.

Юлия сидела почти не жива; на глазах ее навернулись слезы. Блондинка с испуганным и жалким лицом смотрела на сестру; у нее тоже показались слезы. Марья Ивановна глядела то на дочь, то на мужа. Несколько минут продолжалось молчание.

— Как ты думаешь, Марья Ивановна? — начал Владимир Андреич, обращаясь к жене. Та глядела ему в глаза и ничего не отвечала.

— Ну, а ты что, Юлия? — отнесся он к дочери.

Юлия Владимировна едва собралась с духом отвечать.

— Я не хочу еще замуж, папенька.

— Это пустое ты говоришь: всякая девушка замуж хочет.

— Он мне не нравится, папенька.

— И это пустое...

Решив таким образом, Владимир Андреич встал и начал ходить по комнате; все другие сидели молча и потупившись. У Феоктисты Саввишны очень билось сердце, и она беспокойным взором следила за Кураевым.

— Пойдем туда, Маша,— проговорил, наконец, Владимир Андреич, показав жене глазами на кабинет. Марья Ивановна встала и пошла за мужем. Барышни тоже

недолго сидели в угольной. Брюнетка взглянула исподлобья на Феоктисту Саввишну и, взяв сестру за руку, ушла с нею в другую комнату.

Феоктиста Саввишна, чтобы не мешать семейному совещанию, тоже вышла в залу и, прислонившись к печке, с удовольствием начала припоминать ту ловкость, которую обнаружила в этом деле. «Задала же я им задачу,— думала она: — господи, хоть бы мне эту свадьбу устроить: четвертый год без всякого дела. Старики-то, кажется, на моей стороне; невеста, пожалуй, заупрямится; ну да Владимир Андреич не очень чувствительный родитель: у него и не хочешь, да запляшешь. Признаться сказать, не ожидала я для себя этого. Делишки-то, главное, делишки, видно, больно плохи. Как бы подслушать, что барышни-то говорят?» — подумала Феоктиста Саввишна и, зная очень хорошо расположение дружественного для нее дома, тотчас нашла дверь в комнату барышень и, подойдя весьма осторожно, приложила к небольшой щели ухо. В комнате царствовало молчание и только слышались глухие рыдания. Феоктиста Саввишна тотчас же догадалась, что это плачет невеста.

— Не плачь, ma soeur,— заговорила блондинка,— папенька, может быть, еще не согласится... Ты скажи, что просто не можешь, что у тебя к нему антипатия.

— Какая тут антипатия? Больше, ma soeur, чем антипатия. Я представить его не могу, имя его теперь уж мне противно. Что это такое? Выдают за дурака!

— Именно,— подхватила блондинка,— лицо гадкое, ноги кривые. Очень весело... такой муж своими немытыми руками будет обнимать. Фуй, гадость какая!

Брюнетка ничего не отвечала: несколько минут не было слышно ни слова.

— Если меня выдадут за него,— начала довольно тихо брюнетка,— я знаю, что делать.

— А что такое, ma soeur?

— А вот увидишь.

— Скажи, душенька!

— А то, что я буду держать его, как лакея...

— Конечно: он того и стоит.

— Еще как стоит!

Снова продолжалось несколько минут молчание.

— Мне тебя, ma soeur,— начала блондинка,— очень жаль: мы с тобой уж не будем жить вместе.

Брюнетка молчала.

— Все это гадкая Феоктиста Саввишна,— продолжала блондинка.

— Конечно, она, урод проклятый! — подхватила Юлия.

— Дыня гнилая!

— Киевская ведьма!

— Черт с хвостом!

Феоктиста Саввишна не сочла за нужное долее подслушивать и снова вышла в залу. Ей очень была обидна неблагодарность Юлии Владимировны, о счастии которой она старалась. «Впрочем, бог с ней! — подумала она.— Это происходит от глупости и молодости: им бы все за богачей выдавай; где же их взять? Для меня бы все равно сватать; сами виноваты; хороший-то жених спросит и приданого, а приданое в трубе прогорело, даром что модницы этакие! Вот посмотрим, сколько отвалят; ан смотришь: старую перину, новый веник да полтину денег; конечно, тряпок много, да ведь на тряпки-то хорошего человека не приобретешь». Феоктиста Саввишна много еще думала в этом же роде: в голове ее проходили довольно серьезные мысли. Так, например: что если нет в виду хорошего приданого, так девушек не следует по моде и воспитывать, а главное дело — не нужно учить по-французски: что от этого они только важничают, а толку нет, и тому подобное.

Но еще более серьезные мысли, как и надобно было ожидать, высказывал Владимир Андреич в своем совещании с супругою.

— Как ты думаешь, Марья Ивановна? — начал он.

— Я, ей-богу, еще, Владимир Андреич, опомниться не могу. Мне кажется это даже дерзостью.

— Пустое! Где же тут дерзость?

Марья Ивановна не отвечала.

— Я тебя спрашиваю: где же тут дерзость?

— Конечно, если уж не дерзость, так, сам согласись, странность.

— И странности никакой нет. А это не странность, что у нас имение-то все с молотка продадут? Это не странность, что я в пятьдесят лет должен ехать в Петербург — надевать лямку и тереться в частной службе за какие-нибудь четыре тысячи в год? Это не странность, по-вашему, это не странность? Понимаете ли вы, что из этого выйдет?

— Я сама знаю, Владимир Андреич, что наше состояние очень расстроено.

— Не расстроено, сударыня, а совсем его нет. Что теперь у нас? Домашняя рухлядь да экипажи; далеко-то не уедешь. Хорошо, что еще хоть частное место удастся приятелям выхлопотать, а то хоть по миру ступай; впору с одной-то возиться. Слава богу, что выискался добрый человек да берет, что называется, из одного расположения. Нет уж, сударыня, по милости вашей у меня шея-то болит давно; вам все готово, а я, может быть, целые ночи верчусь, как карась на горячей сковороде; у меня только и молитвы было, чтобы взял кто-нибудь; знаешь ли ты, что через месяц мы должны ехать отсюда? Ну, если б еще здесь оставались, можно бы было погодить, да и то... четыре зимы их вывозили, а что толку-то? Ездили, ухаживали, обедали, а ни один не присватался; припомни, сколько было этих франтов-то: Портнов, Караев, Мелуса, Коваревский, Умнов, Глазопалов, Бахтиаров; а ведь ни одного не умели завлечь хорошенько; сами виноваты, мне делать нечего, в самого себя уж не влюбишь.

— Конечно... впрочем, все-таки... ты не рассердись, Владимир Андреич, я говорю это так: все-таки ужасно пожертвовать дочерью...

— Да какой черт ею жертвует? Не в Сибирь ссылают, замуж выдают; она, я думаю, сама этого желает. Жертвуют ею! В этом деле скорей наш брат жертвует. Будь у меня состояние, я, может быть, в зятья-то пригнул бы и не такого человека.

— Да ведь это я так только сказала...

— И так говорить не следует. Надобно ли нам о себе-то подумать?

— Конечно, надобно.

— Наш ведь век еще не определен!

— Конечно, еще не определен: может быть, мы еще долго будем жить.

— То-то и есть: долго жить. Теперь позови-ка Юлию... Я поговорю с ней, а после и ты ей внуши хорошенько: во-первых, что она бедная девушка, что лучше ей жениха быть не может, а в девках оставаться нехорошо, да и неприлично в наш век.

Марья Ивановна вышла. Владимир Андреич, оставшись один, погрузился в размышления. Через несколько

минут вошла, в сопровождении матери, невеста, с заплаканными глазами и бледная, как полотно.

— Поди, поцелуй меня, Юлия,— сказал Владимир Андреич ласковым тоном,— сядь поближе.

Юлия поцеловала отца и села.

— Знаешь ли ты,— начал он своим внушительным тоном,— что всякая порядочная девушка в двадцать лет должна думать выйти замуж?

— Знаю, папа.

— Ты порядочная девушка?

Юлия молчала.

— Тебе двадцать лет? Что ж из этого следует? То, что ты должна думать выйти замуж.

— Но, папа, я еще не хочу.

— Ты не можешь не хотеть, на том основании, как я сказал, что порядочная девушка в двадцать лет хочет замуж; но теперь другой вопрос: за кого выйти замуж?

— Мне он очень гадок.

— Хорошо: этот гадок, положим, так. Стало быть, ты кого-нибудь имеешь в виду. Может быть, в тебя кто-нибудь влюблен и уж делал тебе предложение? Кто ж это такой? Бахтиаров, что ли?

— Мне никто не делал предложения,— отвечала, вспыхнув, Юлия Владимировна.— Я пойду, папенька, в монастырь.

— Прекрасно! Ступай в монастырь, только завтра же; зачем же тебе отягощать нас? Мы, стало быть, ничего уже не можем для тебя сделать. Мы поедем в Петербург, а ты ступай в монастырь.

Юлия залилась слезами.

— Вот видишь,— начал снова Владимир Андреич,— это только пустые слова, а в таком важном деле пустых слов говорить не следует. Плакать нечего, а надобно слушать, что говорят.

— Мне хочется, папенька, пожить с вами.

— Пожить с нами! Это всего лучше! На все, сударыня, свое время: с нами ты уж пожила; теперь тебе надобно выйти замуж,— ведь ты с этим сама согласна. Ну, скажи, согласна ли?

— Согласна.

— Прекрасно! Что ж тебя останавливает? Каков этот человек?

— Он совершенный тюфяк, папа.

— Вот то-то и есть; тебе, по молодости, не должно ни в чем полагаться на собственные понятия. А я тебе лучше растолкую, что это за человек. Во-первых, я знал его отца и мать; отец был очень честный человек, а мать умная и добрая женщина; во-вторых, он сам учился в университете и имеет уже три чина. Что же из этого выходит? Этот жених умный человек, по месту своего воспитания, потому что это высшее заведение, и должен быть добрый человек, по семейству, в котором он родился, а главное — состояние: пятьдесят душ незаложенных; это значит сто душ; дом как полная чаша; это я знаю, потому что у Василья Петровича бывал на завтраках; экипаж будет у тебя приличный; знакома ты можешь быть со всеми; будешь дамой, муж будет служить, а ты будешь веселиться; народятся дети, к этому времени тетка умрет: вот вам и на воспитание их. Чего ж недостает в этом женихе?

— Он очень необразован, папа.

— Нет, необразован быть он не может; разве только неловок, не шаркун; да ведь муж не танцевальный учитель. Это ведь в танцмейстеры да в паяцы выбирают ловких.

Владимир Андреич замолчал. Из всех его рассуждений Юлия поняла, кажется, только то, что папенька непременно решился ее выдать за Бешметева и что теперь он говорит ласково, только убеждает, а потом, пожалуй, начнет кричать и, чего доброго, посадит в монастырь.

— Ну, Марья Ивановна, ты теперь с нею поговори,— сказал Владимир Андреич и вышел.

Юлия по уходе отца принялась плакать. Марья Ивановна тоже едва удерживалась.

— Он меня, пожалуй, прогонит,— говорила Юлия, утирая слезы.

— Что мудреного, друг мой? Выходи лучше, Джулинька. Что? Бог милостив.

— Да он мне гадок, maman.

— Привыкнешь, душа моя, ей-богу, привыкнешь. Этого ведь нельзя наперед сказать; сначала не нравится, а после полюбишь; а иногда и по любви выходят, да после даже ненавидят друг друга. Он добрый человек: по крайней мере он будет тебе повиноваться, а не ты ему.

— Да, уж если я выйду,— сказала разгневанным голосом Юлия,— так я ему дам знать себя; я ему докажу,

что значит жениться насильно. У него пятьдесят душ, maman?

— Пятьдесят душ, мой ангел.

— Сколько же это доходу?

— Я думаю, тысяч до трех; да еще, я думаю, деньги у них должны быть.

— Все деньги себе буду брать; ему никогда копейки не дам; буду ездить по знакомым, по балам; дома решительно не стану сидеть.

— Да это как ты хочешь...— говорила мать.— Ну, что пользы-то, посуди ты сама: вот я вышла за Владимира Андреича; ну, молодец, умен и богат. Конечно, жила в обществе, зато домашнего-то удовольствия никакого не имела. Решись, мой друг; в наше время в девушках оставаться даже неприлично.

И на это замечание Юлия ничего не отвечала и, казалось, была в раздумье.

— Позвольте мне, maman, поговорить с сестрой,— сказала она после минутного размышления.

Марья Ивановна вышла в угольную комнату: там сидели Владимир Андреич и Надя.

— Ну, что? — спросил он, увидя жену.

— Она почти согласна,— отвечала Марья Ивановна,— хочет только с сестрой поговорить.

Надя встала и хотела было идти.

— Постой,— сказал Владимир Андреич.— Ты смотри не разбивай сестру; я ведь после узнаю. Ты скажи, что ты бы на ее месте тотчас пошла.

— Да ведь он очень смешон, папа,— возразила блондинка.

— Я тебе за это уши выдеру! Болтунья этакая! — прикрикнул Владимир Андреич.

У блондинки на глазах навернулись слезы.

— Ты должна ей говорить, что ей необходимо выйти замуж, потому что этого хотят родители, а родителей должно уважать,— что папенька, то есть я, рассердится и отдаст в монастырь... ступай!

Блондинка вошла к сестре, которая сидела в задумчивости.

— Меня за тебя, ma soeur, прибранил папа,— сказала она, садясь, надувши губы, на диван.

— За что?

— Что ты замуж не выходишь. Выходи, пожалуйста,

скорее... Я-то чем виновата? Он и тебя хочет посадить в монастырь.

— Я лишу его этого удовольствия, потому что выйду замуж.

— Я сама бы вышла за кого-нибудь замуж; все бранятся беспрестанно: сегодня третий раз.

— Знаешь, ma soeur, кого мне хочется взбесить, если я выйду замуж?

— Кого?.. Б...?

— Ну да. Ты не знаешь еще, какой он ужасный человек. Мне именно хочется выйти замуж, чтоб доказать ему...

— Он славно ездит верхом,— перебила блондинка.

— Конечно, хорошо. А все-таки ужасный человек: ты не знаешь еще всего... Помнишь, как он летом за мной ухаживал? Ну, я думала, что он в самом деле ко мне неравнодушен.

— Ты в него, ma soeur, была ведь очень влюблена,— перебила блондинка,— целые ночи все говорила о нем.

— Ну да, конечно. Но вообрази себе, что он сделал со мной на обеде у Жарковых: я стою у окна, он подходит ко мне. «Что вы делаете, говорит, на что вы смотрите? Не заветные ли вензеля пишете?» А я и говорю: «Да, заветный вензель». Он говорит: «Напишите при мне». Я думаю, что ж такое? Взяла да и написала его вензель. Он посмотрел на окошко, сделал, знаешь, эту его насмешливую гримасу и отошел. Самолюбие у меня вспыхнуло, и с этих же пор я перестала его замечать. После он очень опять ухаживал: нет, извините,— теперь пусть поймет, что это значит. Я сделаюсь дамой и решительно не буду обращать на него внимания. Он, говорят, дам гораздо больше любит.

Сестры несколько минут молчали.

— Где папенька? — спросила, наконец, брюнетка.

— В угольной: сидит с мамá.

— Поди, скажи, что я согласна...— произнесла Юлия Владимировна решительным тоном.

— В самом деле, ma soeur? — спросила та.

— В самом деле.

— Я пойду скажу.

— Поди.

— Ты не шутишь?

— Нет.

Наденька постояла еще несколько минут, ожидая, что

не откажется ли сестра от своего намерения. Но Юлия Владимировна молчала, и Надя вошла в угольную комнату.

— Сестра согласна, папа,— сказала она, войдя к Владимиру Андреичу.

— И прекрасно! — сказал тот с просветлевшим лицом.— Что ж она сама нейдет?

— Она там, папа.

Владимир Андреич вошел в кабинет.

— Ну что, Джули?

— Я согласна.

— Поцелуй меня, душа моя... нет, поцелуй три раза... в этих торжественных случаях целуются по три раза. Ты теперешним своим поступком очень хорошо зарекомендовала себя: во-первых, ты показала, что ты девушка умная, потому что понимаешь, что тебе говорят, а во-вторых, своим повиновением обнаружила доброе и родителям покорное сердце; а из этих данных наперед можно пророчить, что из тебя выйдет хорошая жена и что ты будешь счастлива в своей семейной жизни.

Юлия хотела поцеловать руку отца, но Владимир Андреич не позволил этого сделать и сам поцеловал ее в лоб.

— Ты посиди здесь, а я переговорю с Феоктистой Саввишной.

Сказав это, Владимир Андреич вышел в угольную и снова уселся на диване. Через четверть часа предстала перед ним и Феоктиста Саввишна.

— Ну что, любезнейшая моя Феоктиста Саввишна? — начал Владимир Андреич.— Так как вы, я думаю, и сами знаете, что дочери моей, с одной стороны, торопиться замуж еще нечего: женихов у ней было и будет; но, принимая во внимание, с другой стороны, что и хорошего человека обегать не следует, а потому я прошу, не угодно ли будет господину Бешметеву завтрашний день самому пожаловать к нам для личных объяснений; и я бы ему коечто сообщил, и он бы мне объяснил о себе.

— Да верно ли это, батюшка Владимир Андреич? Верно ли это по крайней мере?

— Почти верно.

— Он, признаться сказать, мало надеется и говорил мне: «Я бы, говорит, Феоктиста Саввишна, и сам сделал предложение, да сами посудите, я ведь решительно не знаю, как обо мне разумеют».

— Невеста и все наше семейство разумеют о нем очень хорошо. Вы его ободрите.

— Можно ли, Владимир Андреич, надежду-то ему подать?

— Даже больше чем надежду. Мы хорошего человека никогда не обегали.

Феоктиста Саввишна была почти в восторге. Она очень хорошо поняла, что Владимир Андреич делает эту маленькую проволочку так только, для тону, по своему самолюбивому характеру, и потому, не входя в дальнейшие объяснения, отправилась домой. Ехавши, Феоктиста Саввишна вспомнила, что она еще ничего не слыхала от самого Бешметева и что говорила только его сестра, и та не упоминала ни слова о формальном предложении.

«Что, если он откажется, даже потому только,— подумала она,— что у них к свадьбе ничего не готово?»

Эта мысль сильно беспокоила немного далеко взявшую сваху. Она тотчас было хотела ехать к Лизавете Васильевне, но было уже довольно поздно, и потому она только написала к ней письмо, содержание которого читатель увидит в следующей главе.

IX

ПОМОЛВКА С ПРЕДЫДУЩИМИ И ПОСЛЕДУЮЩИМИ ЕЙ СЦЕНАМИ

Павел ничего не знал о переговорах сестры с Феоктистой Саввишной, и в то самое время, как Владимир Андреич решал его участь, он думал совершенно о другом и был под влиянием совершенно иных впечатлений. Долго не мог он после посещения тетки опомниться. Ему очень было жаль сестры.

«Бедная Лиза,— думал он,— теперь отнимают у тебя и доброе имя, бесславят тебя, взводя нелепые клеветы. Что мне делать? — спрашивал он сам себя.— Не лучше ли передать ей об обидных сплетнях? По крайней мере она остережется; но каким образом сказать? Этот предмет так щекотлив! Она никогда не говорит со мною о Бахтиарове. Я передам ей только разговор с теткою»,— решил Павел и приехал к сестре.

Но ему, как мы видели, не удалось этого сделать. С расстроенным духом возвратился он домой и целую почти ночь не спал. «Что, если она его любит, если эти

сплетни имеют некоторое основание?» — думал Павел и, сам не желая того, начинал припоминать небольшие странности, которые замечал в обращении сестры с Бахтиаровым.

Так, например, Лизавета Васильевна, не любившая очень карт, часто и даже очень часто садилась около мужа в то время, как тот играл с своим приятелем, и в продолжение целого вечера не сходила с места; или... это было, впрочем, один только раз... она, по обыкновению как бы совершенно не замечавшая Бахтиарова, вдруг осталась с ним вдвоем в гостиной и просидела более часа. Павел в это время под диктовку Масурова переписывал какую-то бумагу в соседней комнате, и когда он вошел, то заметил на лицах обоих собеседников сильное волнение; видно было, что они о чем-то говорили, но при его появлении замолчали, и потом Бахтиаров, чем-то расстроенный, тотчас же уехал, а Лизавета Васильевна, ссылаясь на обыкновенную свою болезнь — головную боль, улеглась в постель.

Размышления Павла были прерваны приездом Лизаветы Васильевны, которая прошла прямо к нему в комнату. Увидя сестру, он несколько смешался. Ему предстояло рассказать ей все, что говорила тетка; но герою моему, как уже, может быть, успел заметить читатель, всегда было трудно говорить о том, что лежало у него на сердце. Лизавета Васильевна вошла с веселым лицом и, почти ни слова не говоря, подала Павлу какое-то письмо. Бешметев, ничего не подозревая, начал читать и, прочитав, весь растерялся: лицо его приняло такое странное и даже смешное выражение, что Лизавета Васильевна не могла удержаться и расхохоталась.

— Что с тобой, Поль? — проговорила она.

Павел молчал.

Письмо это было от Феоктисты Саввишны, довольно оригинальной орфографии и следующего содержания:

«Почтеннюющая Илисавета Васильевна, ни магу выразить, скаким нетерпенем спишу ваз уведомить, што я, пожеланию вашому, вчерас была у В. А., зделала предложение насчет вашаго браца к Юли Владимировны, оне поблагородству собственной души незахотят мне зделать неприятности и непреставять миня лгуньею прид таким прекрасным семейством, сегодняшнего числа в двенацат

часов поедут кним знакомитца, там оні все узнают, принося мое почтение и цолуя ваших милых детачек остаюсь

покорная к услугам

Феоктиста Панамарева».

— Я тебе все скажу,— начала Лизавета Васильевна.— Вчера мне пришло в голову попросить Феоктисту Саввишну узнать, как о тебе думают у Кураевых, а она не только что узнала, но даже сделала предложение, и они, как видишь, согласны.

Павел все еще не мог прийти в себя.

— Извольте одеваться и ехать: вас ждут,— продолжала Масурова.

— Но это, должно быть, какая-нибудь болтовня,— возразил, наконец, Бешметев.

— Нечего тут рассуждать, а извольте одеваться и ехать. Константин! Дай барину одеться.

И Лизавета Васильевна вместе с лакеем начали наряжать брата. Герой мой как будто был не совсем в своем уме, по крайней мере решительно не имел ясного сознания и, только одевшись, немного опомнился: уселся на диван и объявил, что не поедет, потому что Феоктиста Саввишна врунья и что, может быть, все это вздор. Лизавета Васильевна начала терять надежду; но от свахи получено было новое, исполненное отчаяния письмо, в котором она заклинала Павла ехать скорее и умоляла не губить ее. Этот новый толчок и убеждения Лизаветы Васильевны подействовали на Павла как одуряющее средство: утратив опять ясное сознание, он сел на дрожки и, не замечая сам того, очутился в передней Кураевых, а потом объявил свое имя лакею, который и не замедлил просить его в гостиную.

Простояв несколько минут на одном месте и видя, что уже нет никакой возможности вернуться назад, Павел быстро пошел по зале, решившись во что бы то ни стало не конфузиться, и действительно, войдя в гостиную, он довольно свободно подошел к Кураеву и произнес обычное: «Честь имею представиться».

— Очень приятно, весьма приятно,— перебил Владимир Андреич, взяв гостя за обе руки,— милости прошу садиться... Сюда, на диван.

Павел сел. Владимир Андреич внимательным взором

осмотрел гостя с головы до ног. Бешметеву начало становиться неловко. Он чувствовал, что ему надобно было что-нибудь заговорить, но ни одна приличная фраза не приходила ему в голову.

— Я знал вашего батюшку и матушку,— начал опять Владимир Андреич.— Мне очень приятно вас видеть у себя в доме. Вы, как слышно, не любитель общества: сидите больше дома, занимаетесь науками.

— Да, я больше бываю дома,— проговорил, наконец, Павел.

— Это очень похвально... Рассеянные молодые люди как-то бывают неспособны к семейной жизни: теряются... заматываются... Конечно... кто говорит? С одной стороны, не должно бегать и людей...

Владимир Андреич остановился с тем, чтобы дать возможность заговорить своему собеседнику; но Павел молчал.

«Уж чересчур неговорлив: видно, самому придется начать»,— подумал Владимир Андреич и начал:

— Вчерашний день Феоктиста Саввишна...

Здесь опять он замолчал и остановился в ожидании, не перебьет ли его речь Бешметев; но тот сидел, потупившись, и при последних словах его весь вспыхнул.

— Через Феоктисту Саввишну,— продолжал Владимир Андреич,— угодно было вам сделать нам честь... искать руки нашей старшей дочери.

— Я был бы очень счастлив...— проговорил, наконец, Павел.

— Очень верю и благодарю вас за это,— возразил Владимир Андреич,— но позвольте мне с вами говорить откровенно: участь ваша совершенно зависит от выбора дочери, которой волю мы не смеем стеснять. Очень естественно, и в чем я даже почти уверен, что она, руководствуясь своим сердцем, согласна. Но мы, старики-родители, на эти вещи смотрим иначе: во-первых, нам кажется, что дочь наша еще молода, нам как-то страшно отпустить ее в чужие руки, и очень натурально, что нас беспокоит, как она будет жить? Любовь — сама по себе, а средства жизненные — сами по себе, и поэтому, изъявляя наше согласие, нам, по крайней мере для собственного спокойствия, хотелось бы знать, что она, будучи награждена от нас по нашим силам, идет тоже не на бедность; и потому позвольте узнать ваше состояние?

— У меня пятьдесят душ.

— Чистые?

— Чистые-с.

— И деньги есть?

— Есть небольшие.

— Примерно — сколько?

— Тысяч пять.

— Стало быть, после старика-батюшки ничего еще не продано, не заложено и не истрачено?

— Нет, ничего-с.

— Благодарю вас за откровенность; я, признаться сказать... вы извините меня; теперь, конечно, прошлое дело,— я, признаться, как-то не решался... мало даже советовал... но, заметя ее собственное желание... счел себя не вправе противоречить; голос ее сердца в этом случае старше всех... у нее были прежде, даже и теперь много есть женихов — очень настоятельных искателей; но что ж делать? не нравятся... Так богу угодно... Родством своим я могу похвастать: вот вы, когда войдете в наше семейство, увидите сами, и надеюсь, что вы любовию своею и уважением вознаградите нас за нашу в этом случае жертву... Сейчас я приглашу жену... Марья Ивановна!

Марья Ивановна вошла и, жеманно поклонившись Павлу, села на ближайшее кресло.

— Павел Васильич,— начал Кураев,— делает честь нашему семейству и просит руки Юлии. Я говорил им, что это зависит от нее самой.

— Конечно, это зависит совершенно от ее желания,— отвечала Марья Ивановна.

— Нынче на брак,— подхватил Владимир Андреич,— не так уже смотрят, как прежде: тогда, бывало, невест и связанных венчали. Мы это себе уж не позволим сделать.

— Как можно? Мы этого никогда не позволим себе сделать,— подтвердила Марья Ивановна.

— Позовите же Юлию.

Марья Ивановна вышла и скоро возвратилась с Юлиею.

— Подойди сюда поближе, Джули,— начал Владимир Андреич.— Павел Васильевич делает тебе честь и просит твоей руки, на что ты вчерашний день некоторым образом и изъявила уже твое согласие. Повтори теперь твои слова.

Юлия, с бледным лицом, с висящими на ресницах слезами, тихо проговорила:

— Я согласна.

Павел, кажется, ничего не слышал, ничего не понимал; он стоял, потупившись, как бы не смея ни на кого взглянуть, и только опомнился, когда Владимир Андреич сказал ему, подавая руку дочери:

— Примите, Павел Васильич, и, как водится, поцелуйте.

Бешметев схватил руку и поцеловал. Он чувствовал, как рука невесты дрожала в его руке, и, взглянув, наконец, на нее, увидел на глазах ее слезы! Как хороша показалась она ему с своим печальным лицом! Как жаль ему было видеть ее слезы! Он готов был броситься перед ней на колени, молить ее не плакать, потому что намерен посвятить всю свою жизнь для ее счастия и спокойствия; но он ничего этого не сказал и только тяжело вздохнул.

— Как вы думаете насчет сговора, Павел Васильич? — спросил Владимир Андреич.

— Я не знаю.

— Не угодно ли вам сегодня?

— Очень рад.

— И прекрасно! Священник готов.

Все вошли в залу.

Священник был действительно готов и сидел около образов. При появлении Кураевых он указал молча жениху и невесте их места. Павел и Юлия стали рядом, но довольно далеко друг от друга; Владимир Андреич, Марья Ивановна и Наденька молились. Несколько горничных девок выглядывало из коридора, чтобы посмотреть на церемонию и на жениха; насчет последнего сделано было ими несколько замечаний.

— Ой, какой нехороший! — говорила белобрысая девка.

— Нехорош и есть, девонька,— подхватила женщина с сердитым лицом.

— Лицо-то какое широкое! — заметила девчонка лет тринадцати.

— Постойте, чертовки, дайте-ко посмотреть,— говорила, продираясь сквозь толпу, прачка.— Ах, какой славный! Красавец!

Горничные потихоньку засмеялись над простодушием прачки. Лакеи тоже выдвинулись из лакейской, но они стояли молча; только один из них, лет шестидесяти старик, в длинном замасленном сюртуке и в белых воротнич-

ках, клал беспрестанно земные поклоны и потихоньку подтягивал дьячку. Церемония кончилась.

— Шампанского! — закричал Владимир Андреич.

Но шампанское что-то долго не подавалось. В буфете вышел спор. Старик в белых воротничках никому не хотел уступить честь разносить.

— Полно, старый хрен: разобьешь, ведь оно двенадцать рублев,— говорил молодой лакей, отнимая у старика поднос.

— Ах ты, молокосос! Давно ли был ты свинопасом-то? Туда же, учить... Анна Семеновна, разлей, матушка, напиток-то,— говорил старый лакей, не давая подноса и обращаясь к ключнице.

— Не тронь, Сеня, его,— говорила та и разлила вино.

Спиридон Спиридоныч (так звали старика) с довольным лицом вынес шампанское в залу. Он шел очень модно, как следует старинному лакею.

— Разве там других нет? — спросил Кураев, недовольный тем, что перед женихом явился лакей в замасленном сюртуке.

— Извините, батюшка Владимир Андреич,— отвечал старик,— по собственному моему расположению я отнял у Семена: молоденек еще.

— Это слуга моего отца,— сказал Кураев, обращаясь к Павлу,— и по сю пору большой охотник до всех церемоний. Батюшка жил барином.

— Блаженной памяти Андрей Михайлыч,— отвечал старик,— изволили меня любить и имели всегда большие празднества: нас по трое за каретой ездило.

— Довольно. Подавай,— проговорил Владимир Андреич.

Начались поздравления. Первый поздравил жениха и невесту сам хозяин, потом Марья Ивановна, потом Наденька и, наконец, священник.

— Осмелюсь, батюшка Владимир Андреич,— заговорил опять Спиридон,— и я проздравить от моей персоны.

Все захохотали, даже Павел улыбнулся.

— Ну, поздравь,— сказал Владимир Андреич,— да, знаешь, повысокопарнее, своим слогом...

— По недоразумению моему готов: честь имею вас проздравить, батюшка Владимир Андреич, и честь имею вас проздравить, благодетельница наша Марья Ивановна. Проздравление мое приношу вам, Надежда Вла-

димировна,— говорил он, подходя к руке барина, барыни и барышни,— а вам и выразить не могу,— отнесся он к невесте.— А вам осмеливаюсь только кланяться и возносить за вас молитвы к богу,— заключил он, обращаясь к жениху, и раскланялся перед ним, шаркнувши обеими ногами.

— Позови же и других,— сказал Владимир Андреич, желая перед зятем похвастать количеством дворни.

— Не молоденьки ли еще, батюшка Владимир Андреич? — заметил Спиридон, видно, не желавший, чтобы прочая прислуга удостоилась чести поздравления.

— Нет, позови,— повторил Кураев.— Преуморительный старик! — продолжал он, когда Спиридон вышел.— Впрочем, довольно еще здоровый: больше делает у меня молодых-то.

— Какое, папа, больше делает, ничего не может делать,— перебила блондинка.

Владимир Андреич значительно посмотрел на дочь.

— Он преусердный, престарательный,— заметила Марья Ивановна, вторя мужу.

Между тем Спиридон Спиридоныч прошел в девичью.

— Ступайте вы, егозы: проздравьте господ-то!

— Да что, приказано, что ли? — спросила баба с сердитым лицом.

— Приказано не приказано, а порядок такой. Эх вы, необразованные! Смотрите, хорошенько поцелуйте у всех руки.

— Спиридон Спиридоныч, поучи-ко, как поздравить-то,— сказала с насмешкою молоденькая горничная, очень хорошенькая собой, так что в нее был, говорят, влюблен какой-то поручик.

— Ну, как проздравлять! — отвечал Спиридон Спиридоныч, очень довольный тем, что у него просят советов.— Известно как: имею-де счастие облчить вам свое проздравление.

Научивши таким образом, старый лакей прошел в лакейскую и там велел идти к поздравлению.

В залу начала входить целая гурьба горничных, с различными лицами и талиями. Все начали подходить сначала к руке жениха и невесты, а потом к Владимиру Андреичу, Марье Ивановне и Наденьке. Молодые свои поздравления бормотали сквозь зубы и улыбались, но старые говорили ясно и с серьезными лицами. Спиридон

Спиридоныч и в этот раз не утерпел, чтоб не поздравить еще: он подошел к жениху, говоря: «Честь имею еще раз кланяться!» — поцеловал руку и шепнул ему на ухо: «Я, батюшка, иду в приданое за Юлией Владимировной». Павел хотел было дать ему денег, а вместе с тем вспомнил, что и всем следовало бы дать; но денег с ним не было; это еще более его сконфузило.

Наконец, поздравления кончились, и скоро сели за стол. Жениха и невесту поместили, как следует, рядом, но они в продолжение целого обеда не сказали друг другу ни слова. Юлия сидела с печальным лицом и закутавшись в шаль. Что же касается до Павла, то выражение лица его если не было смешно, то, ей-богу, было очень странно. Он несвязно и отрывисто отвечал Владимиру Андреичу, беспрестанно вызывавшему его на разговор, взглядывал иногда на невесту, в намерении заговорить с ней, но, видно, ни одна приличная фраза не приходила ему в голову. Блондинка нехотя рассказывала матери, что поутру их поваренок очень больно треснул чью-то чужую собаку, зашедшую в кухню ради ремонта, так что та, бедная, с полчаса бегала, поджавши хвост, кругом по двору, визжала и лизала, для уврачевания, расшибленный свой бок. Вообще всем как-то было неловко.

После обеда Павел хотел ехать домой, но Владимир Андреич не отпустил. К вечеру невеста сделалась внимательнее к Павлу: она получила от папеньки выговор за то, что была неласкова с женихом, и обязана была впредь, особенно при посторонних людях, как можно больше обнаруживать чувства любви и не слишком хмуриться. Часу в восьмом съехались друзья Владимира Андреича: откупщик, председатель уголовной палаты, статский советник Коротаев, одним словом, тузы губернские. Пошли новые поздравления. Павел очень конфузился, невеста делала над собою видимое усилие, чтобы казаться веселою. Скоро гости уселись за карты. Юлия подошла, села около жениха и начала с ним разговор.

— Вы не любите играть в карты?

— Нет-с, не люблю.

— А я так очень люблю... я умею даже в штос... Меня выучил один мой cousin [1]; он теперь, говорят, совсем проигрался.

---

[1] двоюродный брат; *(франц.)*

Павел ничего не отвечал; разговор прервался.

— А вы где до сих пор жили? — заговорила опять Юлия.

— Я жил в Москве.

— Что ж вы там делали?

— Я учился в университете.

— Учились? Который же вам год?

— Двадцать второй.

— Зачем же вы так долго учились?

— У нас велик курс: я был четыре года в гимназии да четыре в университете.

— Сколько же вы времени учились?

— Восемь лет.

— Как долго!.. Вам, я думаю, очень наскучило. Я всего два года была в пансионе, и то каждый день плакала.

— Я не скучал.

Разговор опять прервался.

— Я здесь не думал остаться,— начал Павел после продолжительного молчания.

— Зачем же остались?

Читатель, конечно, согласится, что на этот вопрос Павлу следовало бы отвечать таким образом: «Я остался потому, что встретил вас, что вы явились передо мною каким-то видением, которое сказало мне: останься, и я...» и проч., как сказал бы, конечно, всякий молодой человек, понимающий обращение с дамами. Но Павел если и чувствовал, что надобно было сказать нечто вроде этого, проговорил только:

— Я остался по обстоятельствам.

— Напрасно. В Москве, я думаю, веселей здешнего жить.

И здесь опять следовало Павлу объяснить, что ему теперь в этом городе веселее, чем во всей вселенной; но он даже ничего не сказал и только в следующее затем довольно продолжительное молчание робко взглядывал на Юлию. Она вздохнула.

— Вы так печальны! — едва слышным голосом проговорил Бешметев.

— На моем месте каждая была бы грустна.

— Отчего же?

Невеста отвечала только горькою улыбкою.

Вечер кончился. При прощании Юлия сказала жениху довольно громко, так что все слышали:

— Жду вас завтра.

Павел вышел от Кураевых в каком-то тревожном и полусознательном состоянии. Приехав домой, он с несоответственной ему быстротою вбежал, не снимая шинели, к матери и бросился обнимать старуху.

— Матушка! Я женюсь,— повторял он несколько раз.

Но больная не отвечала ничего на ласки сына и, кажется, ничего не понимала, хотя он и старался в продолжение получаса втолковать ей, что он нашел невесту, сговорился и теперь счастлив. Старуха ничего не отвечала и только крестила его, глядя на него каким-то грустным взором. Он вышел от матери и лег на постель. Но, видно, ему не спалось и, кажется, очень хотелось поделиться с кем-нибудь своими ощущениями, потому что он велел было закладывать себе лошадь, но, не дождавшись ее, пошел пешком к сестре. Пройдя несколько переулков, он задохнулся и принужден был остановиться.

«Не спит ли сестра? Теперь уже поздно,— подумал он.— Конечно, спит. Досадно... ей-богу, досадно!.. Как бы мне хотелось ее видеть! Не обязаны же все не спать ночи, потому что нам не спится. Она, я думаю, никак не ожидает, что со мной случилось. Впрочем, я лучше завтра к ней пойду!»

Проговоря это, Павел пошел обратно домой. Возвратившись к себе в комнату и снова улегшись на постель, он не утерпел и сказал раздевавшему его лакею:

— Константин, ты слышал? Я женюсь.

— Слышал-с. Хороша ли невеста-то, Павел Васильич?

— Хороша.

— И крестьяне есть?

— Есть. Я и тебе невесту приведу, и ты женишься.

— Коли ваша милость, Павел Васильич, будет, я не прочь.

X

ОПЯТЬ ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

На другой день Павел проснулся часу в двенадцатом, потому что с вечера раздумался и заснул только на утре. Различные мысли без всякого порядка приходили ему в голову в продолжение целой ночи; то представлялся

ему добрый Владимир Андреич, так обласкавший его (Владимир Андреич показался Павлу очень добрым), то невеста — девушка, от которой он еще поутру был так далек, которой почти не надеялся никогда видеть, но вдруг не только видел ее, но сидел с нею, говорил: она невеста его, она, говорят, влюблена в него, и недели через две, как объявил уже Владимир Андреич, она сделается его женою. Не похоже ли все это на сон?

Он с восторгом помышлял, что завтрашний день опять увидит брюнетку, будет видеть каждый день, может быть, найдет случай сказать ей, как он ее давно любит, может быть она сама ему признается в том. «Как-то она об этом скажет? Я думаю, вся вспыхнет, и как будет она хороша в эту минуту». Но нет, я решительно не в состоянии проследить все то, что Павел перемечтал о своей невесте, о ее возвышенных чувствах, о взаимной любви, одним словом, о всех тех наслаждениях, которые представляет человеку любовь и которых, впрочем, мой герой еще хорошо не знал, но смутно предполагал. Самая прекрасная будущность представлялась ему: вот он теперь женится, выпишет из Москвы книг, будет заниматься; выдержит экзамен, сделается профессором; весь погрузится в науку. Боже мой! Что может быть лучше этого? — счастие в домашней жизни, слава в публике.

Проснувшись, Павлу очень не хотелось вставать; ночные мечтания снова начали овладевать его воображением. Он лежал, повернувшись к стене, как вдруг почувствовал, что с него сдернули одеяло. Бешметев обернулся: перед ним стоял Масуров.

— Здравия желаем, господин жених! — вскричал гость.— Разве так долго спят? Какую вы, батенька, выкинули штуку! Славно, право, славно... я сегодня только узнал. Вставайте да давайте шампанское пить!

Павел, несколько сконфузившись, торопился надевать халат и спальные сапоги.

— Фу ты, канальство, какая пышная фигура! — говорил Масуров.

— Что сестра?

— Чего сестра? Еще вчера ночью уехала в деревню. Такая досада, что ужас; ну, сами посудите, зачем теперь в деревню ехать?

— Зачем же она уехала? — спросил Павел, удивленный и озабоченный этим известием.

— Бог ее знает; вчера приступила, чтобы я не был знаком с Бахтиаровым. «Это, говорит, неприлично; я молодая женщина, в обществе могут перетолковать»; черт знает какая чушь пришла в голову! Очень мне нужно, что болтают там сороки.

Павел очень хорошо понял причину нечаянного отъезда сестры: видно, она была у тетки, а та передала ей по-своему все сплетни.

Вот теперь он один. Ему даже не с кем посоветоваться в столь важное для него время; но, размыслив, что это почти необходимо для Лизаветы Васильевны, потому что только этим одним могли прекратиться городские толки насчет ее отношений к Бахтиарову, он был рад ее отъезду.

— Надолго ли же Лиза уехала? — спросил он.

— Право, не знаю; и детей увезла,— скука смертная! Сегодня всю ночь не спал. Досадно, ей-богу, смерть досадно. Напишите, пожалуйста, братец, ей письмо; что это за глупости? Сегодня уж Перепетуе Петровне на нее жаловался. Ну, батюшка, как она на вас сердится! Так просто, я вам скажу, и не ходите лучше: высечет. От нее я и узнал, что ваша милость женится на Кураевой. Важнительно! Очаровательная, черт возьми, девушка. Тетка всех пушит: и вас, и Лизу, и Кураевых со всем их потрохом. С Феоктистой Саввишной, за сватанье, такую при мне пановщину сочинила, что я хотел послать за квартальным; ругательски разругались... Меня только хвалит: на днях денег хотела дать взаймы. Вы лучше не ходите; ей-богу, если не высечет, так непременно прибьет, «и на свадьбу, говорит, не поеду; знать их не буду, на нищей, говорит, женится, по миру пойдут». Когда у вас свадьба-то?

— Скоро.

— Меня в шафера возьмите.

— Извольте.

— Смотрите же. А я новый фрак себе шью: вчера пятьсот рублей выиграл у Бахтиарова. У вас есть ли деньги-то на свадьбу? А то я, пожалуй, дам взаймы. Какой славный малый Бахтиаров! Чудо просто, а не человек! От вас просто он в восторге. Напишите, пожалуйста, Лизе-то, чтобы приехала; меня-то она не послушает. Прощайте. Я сегодня вечером приеду к Кураеву; я,

правда, с ним мало знаком, да ничего: так, мол, и так... честь имеют рекомендоваться. Влюблена в вас невеста?

— Я не знаю.

— Кто же знает? Славная вам будет теперь жизнь! Прощайте. Мне надобно еще к Бахтиарову. К матушке не заходить? Отчего она меня никогда не узнает?

— Оттого, что вы редко бываете.

— Некогда, братец, ей-богу, некогда; прощайте, напишите к Лизе-то; я нарочно за этим приезжал к вам. Прощайте, вечером увидимся.

По отъезде Масурова Павел начал одеваться. Туалетом своим в этот раз он занимался еще более, чем перед поездкою в собрание; раз пять заставлял он цирюльника перевивать свои волосы, и все-таки остался недоволен. Фрак свой он назвал мерзейшим фраком, а про жилет и говорить нечего; даже самого себя Павел назвал неопрятным дураком, который в Москве не умел завестись порядочным платьем. Часу в двенадцатом он был готов; но доложили о приезде Владимира Андреича. Павел сконфузился: ему совестно было принять будущего тестя в своем доме, который, конечно, ни в каком отношении не мог равняться с аристократическим домом Кураевых, и поэтому он встретил гостя с озабоченным лицом. Что касается до Владимира Андреича, то он вошел, как надобно было ожидать, с прилично-важным видом. Сначала объявил, что он желал сам быть у него, с тем чтобы поклониться ему от всего своего семейства, и по преимуществу от невесты, которая будто бы уже ожидает его с восьми часов утра, а потом, спрося Павла о матери и услышав, что она заснула, умолял не беспокоить ее, а вслед за тем он заговорил и о других предметах, коснувшись слегка того, что у него дорогой зашалила необыкновенно злая в упряжке пристяжная, и незаметно перешел к дому Павла (у Бешметева был свой дом).

— Теплый должен быть домик,— заметил Владимир Андреич,— впрочем, все-таки вам надобно сделать небольшие поправки. Вы извините меня: я, по праву будущего тестя, желал бы дать вам в этом отношении маленький совет.

— Мне очень приятно,— отвечал Павел.

— Иначе я и не думаю. Я советовал бы вам, так как уже теперь штукатурить некогда, попросту обить французскими обоями: это будет недорого и красиво.

— Я сделаю.

— Да... ну, уж и мебель надобно другую. После покойного Калинина продается отличнейшая мебель, решительно за безделицу: отдадут за какие-нибудь рублей девятьсот, на две комнаты — на спальную и гостиную. В первой вся мебель без дерева, обита малиновым бараканом, с черными стальными пуговицами: прелесть, просто прелесть! подушки все эластик, и эластик-то неимоверный; красного дерева трюмо с двумя бронзовыми бра, необыкновенного искусства; а для гостиной все орех, самой утонченной нежности в работе.

И на этот совет Владимира Андреича Павел согласился и объявил, что готов купить, с большим даже удовольствием. Кураев также поинтересовался узнать, каковы у Павла экипажи, и так тонко довел разговор, что Бешметев сам пригласил будущего тестя в сарай и конюшню. Здесь Кураев учтиво раскритиковал пару карих лошадей, желтую коляску, дрожки с разбитыми колесами и даже двое городские сани, о которых с такою похвалою отзывалась Перепетуя Петровна. По его словам, у всякого порядочного человека должно быть не более трех экипажей, но только чтоб они были в своем виде, а именно, нужно всего только: парную карету для выезда жены по парадным визитам и на балы, пролетки собственно для себя и хорошенькие городские парные сани, да три лошади: две чтобы были съезжены парою у дышла, а одна ходила в одиночке. Павел с этим вполне согласился и объявил, что он готов бы все это сейчас купить, но только не знает где. Оказалось, что Владимир Андреич знает, где все это можно приобрести по самой умеренной цене: двуместная карета, например, продается у того же покойного Калинина, на венском ходу и с кузовом петербургской работы, и продается за какие-нибудь ничтожные полторы тысячи рублей. Лошадей он советовал купить на заводе у Киркина, у которого лошади, при чистоте во всех статях, необыкновенно добронравны и крепки в езде. Говоря таким образом, Кураев и Павел возвратились в комнаты.

— Свадьба такое дело,— продолжал Владимир Андреич,— что тут каждый человек, начиная с самого себя, обновляется во всем, вступает некоторым образом в другую сферу и запасается уже на новую жизнь. Возьмите даже в пример мужика: и тот для свадьбы делает синий

армяк; для этого случая даже занять не стыдно, потому случай экстренный. Даже у древних греков, как известно по описаниям, устроивались свадебные пиршества и празднования, потому что тут человек хочет показать себя обществу в самом приличном виде. Вот, с пустого взять, как семейная-то жизнь далеко не походит на жизнь холостого человека. Вот, например, взять с посуды, тарелок, мисок, плошек и тому подобной дряни... пустяки... а все деньги, всем надобно завестись; хорошо у кого много, а у другого молодого человека ничего этого нет. Вот у вас так, я думаю, после батюшки много этого хлама осталось?

— У нас этого очень много,— отвечал Павел.

— Я припоминаю, что у покойного Василья Петровича видел вазу серебряную, что ли, или поднос, или самовар, но только удивительно древней работы рококо.

— Это, верно, вы стопку видели.

— Нет, не стопку, а что-то такое вроде бокала, что ли? Решительно не помню. Сами посудите: может быть, тому уже несколько лет; помню только, что видел преинтересную большую серебряную вещь. У вас есть серебро?

— Есть.

— Перечислите, пожалуйста, покрупнее вещи: мне очень хочется припомнить.

— Стопка серебряная.

— Нет.

— Поднос, кофейник, чайник.

— Нет, не то.

— Корзинка, два большие бокала.— Павел остановился.

— Ну-с!

— Все-с.

— Все? Серебра больше нет?

— Есть еще ложки и ножи.

— Ну, да этих, я думаю, много у вас.

— Я, право, и не знаю; ложек, кажется, дюжин с семь есть.

— Ну так, стало быть, это я действительно корзинку видел.

— Может быть.

— Позвольте мне ее видеть. Признаться сказать, я очень люблю античные вещи.

Павел хотел было идти за корзинкой; но Владимир Андреич был столько вежлив, что не позволил ему этого сделать и просил его просто подвести к шкафу, где хранилось серебро. Павел провел своего гостя в угольную комнату и представил ему на рассмотрение два огромные стеклянные шкафа с серебром, фарфором и хрусталем.

Владимир Андреич, кажется, весьма остался доволен тем, что видел. Серебра было, с придачей ложек и ножей, по крайней мере с пуд; а про фарфор и хрусталь и говорить нечего. Возвратившись в гостиную, Владимир Андреич продолжал разговор с свойственною ему тонкостию; выспросил у Павла, в каком уезде у него имение, есть ли усадьба и чем занимаются мужики. Услышав, что мужики по большей части обручники и стекольщики и что они ходят по летам в Петербург и Москву, он очень справедливо заметил, что подобное имение, с одной стороны, спокойнее для хозяев, но зато менее выгодно, потому, что на чужой стороне народ балуется и привыкает пить чай и что от этого убывает народонаселение и значительно портится нравственность. Наконец он начал прощаться, изъявив предварительно искреннее свое сожаление о том, что не видал старушки, и поручил ей передать свое глубочайшее уважение, и потом, объявив Павлу, что его ожидают через полчаса, сел молодцевато на дрожки. Сердитая пристяжная варварски согнулась, а коренная с места же пошла крупной рысью.

Когда Владимир Андреич уехал, Павел несколько минут думал об нем. «Какой он умный, практический человек! — говорил он сам с собою.— Он будет мне очень полезен своими советами. Боже мой! Думал ли я когда-нибудь об этаком счастии: женюсь на девушке, в которую страстно влюблен; вступаю в умное, образованное семейство? Как досадно, что нет теперь Лизы здесь? Как бы она порадовалась со мною! Чудная она женщина!» Когда Павел вспомнил о сестре, ему сделалось как-то грустно, и он с нетерпением начал поглядывать на часы: до назначенного Владимиром Андреичем срока оставалось еще с час... Тут Бешметеву пришло в голову, что до свадьбы осталось очень немного: нужно торопиться делать закупки и надобно скорее взять из приказа пять тысяч. Решившись исполнить это, он пришел к матери и

начал ей толковать, что ему нужны деньги и чтобы она дала ему билет. Старуха опять, кажется, не вполне поняла, в чем дело, впрочем, подала сыну ключ, перекрестила его и поцеловала в лоб.

Между тем Владимир Андреич заехал к Перепетуе Петровне, но хозяйки не было дома. Кураев велел к себе вызвать кого-нибудь поумнее из людей. На зов его явилась Пелагея.

— Скажи, любезная,— начал Владимир Андреич,— Перепетуе Петровне, что приезжал Кураев, будущий ее родственник, и что-де очень сожалеет, что не застал их дома, и что на днях сам опять заедет и пришлет рекомендоваться все свое семейство, которое все ее очень уважает. Ну, прощай; не соври же!

От Перепетуи Петровны Кураев поехал к Феоктисте Саввишне, которую застал дома.

— Здравствуйте, моя любезнейшая Феоктиста Саввишна! Во-первых, позвольте поцеловать вашу ручку и передать вам низкий поклон от наших.

Феоктиста Саввишна сильно переполошилась от приезда почтенного Владимира Андреича и его ласкового обращения; она выбежала в девичью, заказала в один раз «для дорогого гостя» чай, кофе и закуску, а потом, накинув на обнаженные свои плечи какой-то платок и вышед к Кураеву, начала перед ним извиняться, что она принимает его не так, как следует.

Владимир Андреич говорил, что ничего, чтобы не беспокоилась, а потом объявил, что он был сейчас у Бешметева, в котором нашел прекраснейшего и благороднейшего человека, но что он, то есть Бешметев, еще немного молод и, как видно, в свадебных делах совершенно неопытен и даже вряд ли знает обычай дарить невесту вещами, материею на платье и тому подобными безделушками, но что ему самому, Владимиру Андреичу, говорить об этом было как-то неловко: пожалуй, еще покажется жадностию, а порядок справить для общества необходимо.

Догадливая Феоктиста Саввишна тотчас поняла, в чем дело.

— Что это, батюшка Владимир Андреич? Да я-то на что? Худа ли, хороша ли, все-таки сваха. В этом-то теперь и состоит мое дело, чтобы все было прилично: на родных-то нечего надеяться. Перепетуя Петровна вышла

гадкая женщина, просто ехидная: я только говорить не хочу, а много я обид приняла за мое что называется расположение.

— Так уж вы, пожалуйста,— начал Владимир Андреич,— знаете... эдак слегка замечайте ему: вот то-то, это-то необходимо. Вот, например, фермуар нужно подарить невесте, какие-нибудь браслеты, не для себя, знаете, а больше для общества: в обществе-то чтоб знали. Прощайте, матушка.

— Почтеннейший Владимир Андреич! Да покушайте чего-нибудь, хоть бы кофейку или бы водочки выкушали: ведь свежо на дворе-то.

— Не могу, ей-богу, не могу; вы ведь, я думаю, знаете: до обеда не пью, не ем. Прощайте.

Павел ехал к Кураевым в этот раз с бо́льшим присутствием духа; он дал себе слово быть как можно разговорчивее с невестою и постараться с ней сблизиться. Он даже придумал, что́ с ней говорить; он расскажет ей, что видел сон, а именно: будто бы он живет в Москве, на такой-то улице, в таком-то доме, а против этого дома другой, большой желтый каменный дом; вот он смотрит на него; вдруг выходит девушка, чудная, прекрасная девушка; ему очень хотелось к ней подойти, но он не решался и только каждый день все смотрел на эту девушку; потом вдруг не стал ее видеть. Юлия, конечно, догадается, что эта девушка она сама; таким образом он даст ей знать, что он еще в Москве в нее был влюблен; все это думал Павел, ехав дорогой; но, войдя в гостиную, где сидели дамы, опять сконфузился.

Марья Ивановна сказала ему, что они давно уже его ожидают, а невеста сухо поклонилась; Павел сел поодаль. Владимир Андреич был в кабинете; разговор не вязался, хотя Марья Ивановна несколько раз и начинала: спросила Павла о матери, заметила, что сыра погода и что поэтому у Юлии очень голова болит, да и у ней самой начинает разбаливаться. Юлия молчала. Наденька играла с собачкою. Павел, несмотря на свое желание заговорить, решительно не находился; ему очень хотелось сесть рядом с Юлией, но у него недоставало даже смелости глядеть ей в лицо, и он, потупя глаза, довольствовался только тем, что любовался ее стройною ножкой, кокетливо выглядывавшей из-под платья.

Пришел Владимир Андреич.

— Ах! Вы здесь,— сказал он, увидя Павла, и пожал ему руку; потом велел подавать горячее.

— Ну что, где вы побывали? — продолжал он.

— Я был в приказе,— отвечал Павел.

— Это зачем?

— Деньги получал.

— А!..— произнес протяжно Владимир Андреич.— А много ли получили?

— Пять тысяч.

— Славно... что ж, вы закупки думаете делать?

— Да-с, но я не знаю, где и как...

— Об этом хлопотать нечего; я сам, пожалуй, с вами поеду; вот после обеда же и поедем. Давайте скорее обедать! Вы уж, Юлия Владимировна, извините нас! Мы у вас опять жениха увезем, нельзя; бог даст, женитесь, так все будет сидеть около вас. Что, покраснела? Ну, поди, поцелуй же меня за это.

Юлия молча и с несколько сердитым лицом подошла и поцеловала ласкового папеньку.

За столом занимал всех разговорами, как и прежде, Владимир Андреич. Он рассказывал Павлу об одном богатом обеде, данном от дворянства какому-то важному человеку, и что он в означенном обеде, по его словам, был выбран главным распорядителем и исполнил свое дело очень недурно, так что важный человек после обеда расцеловал его. К концу стола Павлу подали письмо. Эта была записка от Феоктисты Саввишны, следующего содержания и уже известной ее орфографии:

«Милъастивеющий Государь
Павил Василич!

Сичас я была у ваши маминке и ваз.састат ни магла, вы, верна, нахотетес у сваи дарагии нивезты, и патаму рашъаюсь писать квам, у атнои знакомои моеи Аграфены Матъвевны Салъубиевой продаютца по самои дишовой цене расные дамъскии украшении, брислет, фармуар и два колъца, и неугодно ли вам повашим в сем опстоятельствам их купит для вашии Юли Владимировны, я могу их привестъти когда ежели назъначете, вождъании приятнава вашаго гли миня атвас отъвета остаюс

пакорноя куслугам

Фиктиста Панамарева».

Вышед из-за стола, Павел написал Феоктисте Савишне ответ, в котором благодарил ее за беспокойство и просил привезти к нему вещи на другой день, а потом тотчас же вместе с Владимиром Андреичем отправился делать покупки. Более достопримечательного в этот день ничего не случилось. Павел проездил с Владимиром Андреичем до девяти часов и, возвратившись, услышал, что у Юлии сильно болит голова, а потому она теперь лежит в постеле. Марья Ивановна вязала шерстяную косынку, а Наденька читала какой-то французский роман. Владимир Андреич, услышав о болезни дочери, прошел в комнату к барышням и, через несколько минут вернувшись, предложил Павлу, не угодно ли ему повидать невесту. Павел без сомнения согласился и с трепещущим сердцем пошел за Владимиром Андреичем по темному коридору, ведущему в комнату к барышням.

Странное, обаятельное впечатление производит на нас, в пору молодости, комната всякой молоденькой девушки, и, особенно комната той, в которую мы влюблены. Доказательством тому может служить значительное число стихотворений, написанных собственно по этому предмету. Один модный когда-то поэт сказал, что воздух в комнате девушки напоен девственным дыханием. Когда Павел вошел в комнату, то почувствовал, кроме девственного дыхания, сильный запах *л'о-де-колоном,* которым Юлия примачивала голову. Боже мой! Нет, я откажусь... слабому перу моему не выразить того, что чувствовал Павел. Юлия лежала на постеле, в широкой блузе, приникнув повязанною головою к батист-декосовой подушке. Напротив самой постели стояло зеркало с комодом, на комоде стояли в футляре часы, две склянки с духами, маленький портфель для писем, колокольчик, гипсовый амур, грозящий пальчиком, и много еще различных кабинетных вещей; у окна стояли вольтеровские кресла и небольшой столик, оклеенный вырезным деревом, а у противоположной стены помещалась кровать Наденьки, покрытая шелковым одеялом и тоже с батист-декосовыми подушками. Чудно хорошо показалось все это Павлу.

— Ну, вот тебе и Павел Васильич! — сказал Владимир Андреич, войдя в комнату дочери.— Посидимте-ка здесь, садитесь на вольтерово-то кресло, а я усядусь на кровать.

— Вы больны? — проговорил Павел едва слышным голосом.

— Да, у меня очень голова болит.

У Бешметева было такое печальное лицо, что это даже заметил Владимир Андреич.

— Посмотри, Джули, он чуть не плачет. Ничего, молодой человек, не теряйте присутствия духа; к свадьбе выздоровеет. Садитесь; что же вы не садитесь.

Павел сел и молча продолжал глядеть на невесту.

— Вы долго не приезжали,— проговорила Юлия, заметив, что папенька кидает на нее значительные взгляды.

— Мы были во многих местах,— отвечал Павел.

— Лучше скажите, что мы купили на две тысячи. Да-с, Юлия Владимировна, вот каковы мы! Вы только лежите, а мы, черт возьми, мужчины, народ деятельный.

— Я бы сама умела покупать,— отвечала Юлия,— покупать очень весело.

— Видишь, какая храбрая... а что, голова болит?

— Болит, папа.

— Хочешь, я тебе лекарство скажу?

— Скажите.

— Поцелуй жениха, сейчас пройдет; не так ли, Павел Васильич?

— Что это, папа? — сказала Юлия.

Павел покраснел.

— Непременно пройдет. Нуте-ка, Павел Васильич, лечите невесту; смелей.

Он взял Павла за руку и поднял со стула.

— Поцелуй, Юлия: с женихом-то и надобно целоваться.

Павел дрожал всем телом, да, кажется, и Юлии не слишком было легко исполнить приказание папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцеловала жениха, а потом сейчас же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платком, но Павел ничего этого не видел.

— Ну, оба сконфузились!.. Ох, дети, дети! Как опасны ваши...— «лета», конечно, думал сказать Владимир Андреич, но остановился, видно найдя, что подобное окончание решительно нейдет в настоящем случае.

Вскоре Владимир Андреич увел Павла от невесты, ради толкования с пришедшим торговаться обойщиком.

По уходе их Юлия, всплеснув руками, начала плакать.

Павел уехал от Кураевых после ужина. Он заходил прощаться к невесте и на этот раз поцеловал только у ней руку.

Ехав домой, он предавался сладостным мечтаниям. Перспектива будущей семейной жизни рисовалась пред ним в чудном свете; вот будет свадьба: какой это чудный и в то же время страшный день! Какое нужно иметь присутствие духа и даже некоторое... а там, там будет лучше, там пойдет все ровнее, попривыкнешь к новому положению; тут-то вот и можно наслаждаться мирно, тихо. В это время Павел подъехал к крыльцу, и необходимость вылезть из дрожек остановила на несколько времени его мечтания.

По приезде его домой ему подали записку от Лизаветы Васильевны:

«Прости меня, Поль,— писала она,— что я уехала, не сказав тебе, оставила тебя в такое время. Я не могла поступить иначе: этого требуют от меня мой долг и мои бедные дети. О самой себе я расскажу тебе после, когда буду сама в состоянии говорить об этом, а теперь женись без меня; молись, чтобы тебе бог дал счастия, о чем молюсь и я; но ты, ты должен быть счастлив с своею женою. Прощай».

Письмо это прочитал герой мой почти механически: так был он занят новым положением, своими новыми чувствованиями!

XI

СВАДЬБА

Две недели, назначенные Владимиром Андреичем до свадьбы, прошли очень скоро. Это поэтическое время для каждого почти жениха прошло для Павла слишком прозаически. Он обыкновенно отправлялся рано поутру к Кураевым, и каждый раз с твердым намерением сблизиться с невестой; но это ему никогда не удавалось, во-первых, по застенчивости собственного характера и по холодности невесты, а во-вторых, и потому, что решительно было некогда. Владимир Андреич беспрестанно ездил с ним закупать для него различные вещи. Дом был уже оклеен французскими обоями, экипажи и лошади куплены, подарки невесте сделаны, вследствие чего пяти

тысяч как будто бы и не бывало у Павла в кармане, но расходов предстояло еще очень много; нужно было занимать, но у кого занять? Павел был в очень трудном положении и сел бы совершенно на мель, если бы сама судьба, в образе Перепетуи Петровны, не подала ему руку помощи. Тетка, сердившаяся на Павла за то, что он, по словам ее, не хотел принять участия в погибели сестры, совершенно разобиделась сватовством моего героя без предварительного совета с нею; но, сверх ожидания, вдруг умилостивилась, искренно расположилась к новому родству и приняла живейшее участие в хлопотах племянника. Причина такой перемены заключалась в тонкой вежливости Владимира Андреича, заехавшего к Перепетуе Петровне и приславшего к ней потом все свое семейство. Старая девушка была очень честолюбива. Это, не заслуженное еще с ее стороны внимание от Кураевых, изменило совершенно ее образ мыслей насчет женитьбы Павла. Она приехала к нему и, намылив, как водится, ему голову за то, что он начинал хорошее дело тайком, стала хлопотать и даже снова помирилась с Феоктистой Саввишной. Обе приятельницы беспрестанно переезжали одна к другой в дом, заезжали к Павлу, в один голос кричали на людей его и удивлялись тому, как скоро идет время. Перепетуя Петровна, узнав стороной, что Павел ездил занимать к кому-то деньги и не занял, намылила в другой раз ему голову и сама предложила из собственной казны три тысячи рублей ассигнациями, впрочем, под вексель и за проценты. Павел ожил духом. О невесте во все это время некогда было ему и подумать; он как угорелый день и ночь ездил по лавкам и по мастеровым, исполняя поручения, которые давал ему каждое утро Владимир Андреич. Сам Кураев был решительно в это время полководец: он ездил сам, посылал Павла, посылал жену, Наденьку и людей — и все это делал, впрочем, для Павла, то есть на его деньги. Менее всех принимала участия во всех хлопотах сама невеста. Она обыкновенно, встав поутру, завивала с полчаса свои волосы в папильотки, во время кофе припекала их, а часу в первом, приведя в окончание свой туалет, выходила в гостиную, где принимала поздравления, здоровалась и прощалась с женихом, появлявшимся на несколько минут; после обеда она обыкновенно уходила к себе в комнату и не выходила оттуда до тех пор, покуда не вызывали ее внимательные родители, очень

прилежно следившие за нею. Бедная Юлия! В настоящее время она одна переживала драму, она одна страдала, всем было хорошо, все делали, что им хотелось, и были довольны собою. Владимир Андреич был счастлив, потому что пристроивал дочь, обделывал довольно трудное дело и только силою характера *преоборал* препятствия и утонченностию ума заинтриговывал зятя, Марья Ивановна наслаждалась тем, что Владимир Андреич, занятый хлопотами, не кричал на нее. Ей, впрочем, было иногда жаль Юлии, но, по размышлении, она постоянно доходила до той мысли, что часто и по страсти женившиеся живут, как кошка с собакой. Перепетуя Петровна сделалась похожа на индийского петуха, растопырившего крылья. Она начала ходить подняв голову, в необыкновенно накрахмаленных юбках, и неизвестно для чего принялась говорить в нос. Внимание Кураевых сильно развило в ней важность. «Эта подлая семейка так обошла ее,— говорила она впоследствии,— что ей даже не пришло в голову спросить племянника, дают ли что-нибудь за невестой». Феоктиста Саввишна была тоже очень счастлива. Она до того говорила со всяким встречным и поперечным о свадьбе, ею устроенной, что решительно потеряла голос. Про жениха и говорить нечего: неопытный, доверчивый, увлеченный первою еще страстью к женщине, Павел ожидал, что вот так и окунется в море блаженства, не видел и не понимал, что невеста почти не может его равнодушно видеть. Хитрый Владимир Андреич беспрестанно ему твердил, что Юлия чрезвычайно скромна и никогда не выражает того, что чувствует. Наденька более всех обнаруживала участия к положению сестры, но, впрочем, и та часто увлекалась мечтою о грядущем бале и об обещанном новом бальном платье. Юлия же оставалась постоянно грустною. Боже мой! Такую ли думала она составить партию? Она думала, что непременно выйдет за какого-нибудь гвардейского офицера, который увезет ее в Петербург, и она будет гулять с ним по Невскому проспекту, блистать в высшем свете, будет представлена ко двору, сделается статс-дамой. И что же вместо этих роскошных мечтаний давала ей горькая существенность: всю жизнь прожить в губернском городе, и добро бы еще женою какого-нибудь ловкого богатого человека, а то выйти за тюфяка, с которым даже стыдно в люди показаться. Сверх того, сердце... читателю уже известно, что сердце Юлии не

было свободно и принадлежало жестокому, но все-таки интересному Бахтиарову. Размышляя таким образом, она начинала чувствовать к жениху еще более неприязненное чувство. «Урод этакой! Тюфяк!» — шептала она сама с собою и начинала с досады плакать. Чтобы избавиться от предстоящего брака, несколько несбыточных планов составлялось в голове ее; так, например, броситься перед отцом на колени и просить его не губить ее; объясниться с самим Павлом: сказать ему, что она не может быть его женою, потому что любит другого, и просить его как благородного человека не принуждать ее делать жертву, которая, может быть, сведет ее во гроб. Мало этого — она вздумала было написать письмо Бахтиарову, признаться ему, что она его любит и умоляет его спасти несчастную от ужасного брака, увезти куда-нибудь дальше, например в Париж. Эта мысль нравилась Юлии более других. Но, отчасти по робости, а отчасти от самолюбия, она не решилась сделать этот неосторожный шаг. Хорошо, если Бахтиаров поймет ее, а если станет смеяться, и потом узнает об этом папенька? Одно только утешало Юлию в ее положении: это мысль, что она, наконец, выйдет из-под родительской ферулы, будет дамой, станет выезжать одна и куда ей будет угодно.

Свадебные чины были розданы следующим образом.

Перепетуя Петровна, несмотря на девическое состояние, никому не уступила чести быть посаженой матерью жениха, пунктуально доказывая, что девушка в пятьдесят лет все равно что дама; а в посаженые отцы для Павла Владимиром Андреичем был вызван сосед по деревне, который по сю пору все со слезами вспоминал Василья Петровича, его друга, соседа и сослуживца. Феоктиста Саввишна возведена была в звание почетной дамы; шафером со стороны жениха определен был Масуров, который, несмотря на свое обещание, не познакомился еще с новыми родственниками и неизвестно где пропадал. Со стороны невесты, как водится, отец, мать. Почетной дамой была баронесса Клукштук, очень похожая на пиковую даму; шафером — двоюродный брат невесты, известный в городе под именем Петруши Масляникова, который, по случаю своего звания, купил около дюжины перчаток и всех спрашивал, что ему нужно будет делать? Здесь я должен заметить, что Владимир Андреич, как сам после рассказывал, обставил бы свадьбу и другими людьми

поважнее, да со стороны жениха родство-то было уже слишком плоховато; так этаких-то людей с такими-то людьми не так ловко было свести.

Наконец, наступил день свадьбы. Павел проснулся очень рано; он был в каком-то истеричном состоянии: ему было грустно и весело, ему хотелось плакать и смеяться. Старуха проснулась тоже очень рано. Перепетуя Петровна, с помощью горничных, наконец, втолковала ей, что Павел женится и что высокий господин, приезжавший к ней и целовавший у ней руку, тесть его. Она расплакалась. Павел сам рыдал, как ребенок. Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна, бывшие при этой сцене, тоже плакали. Плакал, кажется, и весь дом, по крайней мере Константин, нашивавший в лакейской на новую шинель галуны, заливался слезами и беспрестанно сморкался, приговаривая: «Эк их пустилось!» Венчание было назначено в четыре часа, потом молодые должны были прямо проехать к Кураеву и прожить там целую неделю; к старухе же, матери Павла, заехать на другой день. Часу в первом Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна разъехались по домам, чтобы одеться. Они непременно хотели присутствовать при венчании и потом уже проехать к Кураевым, где был назначен парадный танцевальный вечер. Обе дамы весьма хлопотали о своих нарядах и обе гневались на своих горничных: одна за то, что измят был блондовый чепец, а другая — другая даже и не знала за что, но только дала своей femme de chambre[1] урок... Павел, кажется, совсем растерялся; как бы не понимая ничего, он переходил беспрестанно из комнаты матери в свой кабинет, глядел с четверть часа в окошко на улицу, где, впрочем, ничего не было замечательного, кроме какого-то маленького мальчишки, ходившего босыми ногами по луже. Отошедши от окна, он ложился на кровать, вздыхал и наконец, затворясь в своей комнате, молился.

Часа за два до венчания Павел вспомнил, что он не видал еще своего шафера Масурова, хоть и писал к нему. Очень естественно, что зять, по своей ветрености, забудет и не приедет! Он послал за ним лошадь. Через четверть часа кучер явился и объявил, что он объехал весь город, но Масурова не мог отыскать нигде. Что было делать?

[1] горничной (*франц.*).

Приехали Перепетуя Петровна и Феоктиста Саввишна, приехал, наконец, посаженый отец — шафер не являлся. Тетка и сваха были просто в отчаянии. Перепетуя Петровна, несмотря на свою привязанность к Масурову, назвала его в присутствии постороннего человека мерзавцем, а сосед пожал плечами. Но времени терять невозможно было; надобно было ехать. Павел, одетый в новый фрак, цветом аделаид, в белом жилете-пике и белом галстуке, который, между нами сказать, к нему очень не шел, начал принимать благословения сначала от матери, посаженого отца, а потом и от тетки.

Плач и вопль снова начались; старуха была очень дурна; посаженый отец со слезами вспомнил Василья Петровича, благословил Павла, поцеловал его и пожелал ему жить в счастии и нажить кучу детей, и потом понюхал табаку, посмотрел на часы и взялся за шляпу. Перепетуя Петровна, проплакавшись и осушивши батистовым платком слезы, начала так:

— Ну, Павел Васильич, дай тебе бог счастия, дай бог, чтобы твоя будущая жена была тебе и нам на утешение. Нас тоже не забывай: мы тебе не чужие, а родные. Можно сказать, что все мы живем в тебя; конечно, супружество — дело великое, хоть сама и не испытала, а понимаю: тут иной человек, иные и мысли. Ну, с богом, тронемтесь.

Павел, накинувши шинель, сел в свой фаэтон. Пара вороных жеребцов дружно подхватила его от подъезда, так что у Константина едва удержалась круглая шляпа; и весь поезд двинулся к церкви ни шибко, ни тихо, но как следует свадебному дворянскому поезду.

С большею торжественностию и в лучшем порядке шли предсвадебные сцены в доме Кураевых. Избранный в шаферы Петруша Масляников давно уже был в зале и наивно рассказывал барону Клукштук, супругу почетной дамы, что он не бывал еще ни на одной свадьбе и даже венчание видел только один раз, когда женился его лакей. Невесту одевали. При туалете ее присутствовали: почетная дама, троюродная сестра Владимира Андреича, очень обижавшаяся тем, что не получила никакой должности в свадебной церемонии, Наденька, которая, как известно, была обязана подать сестре крест и серьги, и еще три девицы, из коих две были дочери троюродной сестры Кураева. Юлия была вся в слезах до такой степени, что ее

несколько раз принимались утирать мокрым полотенцем и все убеждали не плакать, потому что будут очень красны глаза.

Марья Ивановна сидела в гостиной на диване и тоже плакала, взглядывая по временам на Владимира Андреича, ходившего с заложенными на спину руками взад и вперед по комнате. На столе стояли приготовленные для благословения образа. Наконец, невесту вывели, и все сошлись в гостиную. Владимир Андреич взял икону. Юлия поклонилась отцу в ноги: дыхание у нее захватило, она не могла уже сама встать, ее подняли на руках, и на этот раз уже все советовали проплакаться. Кураев поцеловал дочь и сам прослезился. С Марьей Ивановной сделалась истерика, она решительно не могла благословить дочери. Невесту под руки вывели и посадили в карету с почетной дамой. Шафер сел на парные дрожки; барон Клукштук — с троюродною сестрою Владимира Андреича, а барышень усадили всех в карету. Им очень хотелось посмотреть на венчание, но они, как не принадлежавшие к поезду, должны были приехать после. Владимир Андреич и Марья Ивановна остались дома. Венчание началось и кончилось своим порядком. В церкви было пропасть народу, и целая толпа еще ломилась извне. Квартальный надзиратель несколько раз принужден был прибегать к мерам строгости. Он еще до приезда невесты поставлен был в необходимость ударить какую-то личность в фризовой шинели, порывавшуюся в церковь, толкнул, и толкнул довольно больно, в шею звонкоголосую мещанку и жестоко надрал волосы мальчишке, перепачканному в саже и очень похожему, по словам квартального, на дьяволенка. Жених и невеста во время всей церемонии даже не взглянули друг на друга. На их счет зрителями было произнесено несколько суждений, по которым оказалось, что у жениха нос велик и лицо плоско, а что невеста гораздо лучше его. Какой-то маленький гимназист прозвал Перепетую Петровну дыней-канталупкой. Почетная дама, баронесса Клукштук, имела довольно длинный и серьезный разговор с Феоктистой Саввишной насчет того, что у жениха нет шафера.

Наконец, молодые возвратились. Владимир Андреич и Марья Ивановна встретили их в зале. Они, сопровождаемые всем своим поездом, вошли и начали принимать благословения.

— Дети мои! — начал Владимир Андреич своим внушительным тоном.— Позвольте мне в настоящем, важном для вас, случае сказать небольшую речь.— При этих словах Владимир Андреич вынул из бокового кармана небольшую тетрадку. Такое намерение Кураева, кажется, всем присутствующим показалось несколько странным, и некоторые из них значительно между собою переглянулись.

— Ныне вы вступили, дети мои,— начал Владимир Андреич,— в новую жизнь, в новые обязанности: для некоторых эти обязанности легки и приятны, а для некоторых цепи брака тяжелее кандалов преступника. Отчего же это происходит? Это происходит от нас самих. Мужья хотят слишком много власти, а жены слишком мало повиноваться. Возьмите вы в пример двух голубков: эти пернатые могут служить прекрасным образцом для человека. Они искренне любят друг друга. Голубь трудолюбив и нежен к своему семейству и заботится о нем; голубка покорна, нежна к своему другу. Будьте подобны двум голубкам, мои дети, и вы будете счастливы. Вы, Павел Васильич, можно сказать, отрываете от нашего сердца лучшую часть, берете от нас нашу чистую, нежную голубицу, а потому на вас лежит священная обязанность заменить для нее некоторым образом наше место, успокоить и разогнать ее скуку, которую, может быть, она будет чувствовать, выпорхнув из родительского гнезда. Может быть, вы сами будете отцом и тогда узнаете, как тяжелы теперешние наши чувствования; одно, может быть, только приличие удерживает нас от беспрерывных слез, которыми бы мы готовы разлиться, отпуская наше милое дитя в чужие люди. Да, примите еще раз от меня благословение!

С этими словами Владимир Андреич проворно спрятал речь в боковой карман и, поклонившись, осенил молодых руками.

— Отличная речь! — заметил шафер барону Клукштук. Барон только пожал губами и ни слова не отвечал.

Все вошли в гостиную; начали подавать чай; невесту повели переодевать из венчального платья в бальное. Часов в восемь пришли музыканты и начали съезжаться гости.

Честолюбивый Владимир Андреич не утерпел, чтобы не позвать на свадебный вечер знакомых своего круга.

Также приглашены были, ради танцевания, и молодые люди, в числе которых был и Бахтиаров. Молодая еще не выходила. Павлу, кажется, было очень неловко: он видел, что на него взглядывали искоса все дамы, а некоторые из мужчин, хотя почти ему незнакомые, никак не могли удержаться, чтобы не сделать несколько двусмысленных намеков. Перепетуя Петровна была не в духе, потому что Кураев ее принял не с подобающею честию, как следовало бы принять посаженую мать жениха, и, пройдя в гостиную, попросил сесть на диван не ее, а баронессу Клукштук. Даже Марья Ивановна не занялась с нею, а подсела к троюродной сестре Владимира Андреича, тоже усевшейся на другом конце дивана. Таким образом, Перепетуе Петровне почти пришлось сесть на крайнем кресле, чего она никак не хотела сделать, и села к окошку.

Наконец, вышла невеста, и вскоре за тем приехала Марья Николаевна, помещица трех тысяч душ. Дам и кавалеров было уже достаточное число. Из приглашенных молодых людей не явился только один Бахтиаров. Владимир Андреич махнул музыкантам: заиграли польский.

— Не угодно ли вам начинать? — сказал Кураев, обращаясь к зятю.

Бедный Павел решительно смешался. Он даже не понимал, какой это начинается танец. Он стоял и все еще не брал руки невесты, давно уже стоявшей около него. Юлия догадалась и, сделав гримасу, сама взяла его за руку и повела в залу.

— Вы, верно, не умеете танцевать? — спросила она его тихо.

Павел покраснел: ему было очень совестно.

— Я... нет-с... но, знаете... давно очень учился...

— Так вы скажите папеньке, что у вас нога болит, а то неловко: будете путать.

Вслед за молодыми следовал Владимир Андреич с Марьей Николаевной. Этот поступок Кураева жестоко оскорбил Перепетую Петровну. Она думала, что он непременно возьмет ее на польский.

— Это уж, видно, не свадебный вечер, а бал какой-то,— сказала она проходившей мимо Феоктисте Саввишне.

— А что? — спросила та.

— Да так уж... Нас уж с вами, кажется, совсем забыли, всё знатными людьми занимаются.

Не знаю, что бы ответила на это Феоктиста Саввишна, но ее в это время кликнули к Марье Ивановне.

Польский кончился. Юлия подошла к отцу.

— Папа, он совсем не умеет танцевать.

— Кто?

— Бешметев.

— Не может быть: французскую пройдет.

— Какое французскую: он и польский не умеет. Я с ним ни за что не пойду; я уж ему велела сказать, что у него нога болит.

Владимир Андреич махнул рукой, говоря: «Хорошо!»

— Какая неприятность! — сказал он потом, выходя в залу.— У нас молодой наш отказывается от танцев: вчерашний день ногу ушиб, выскакивая из кареты. Павел Васильич,— сказал он, обращаясь к вдали стоящему Бешметеву,— что, ваша нога болит еще?

— Болит-с,— отвечал Павел.

— Досадно, а делать нечего. Постойте-ка, батюшка, у косячка да полюбуйтесь, как женушка с другими будет любезничать; вот и узнаете, каково мужнино-то дело: ничего, привыкайте.

Все это Владимир Андреич говорил довольно громко, так что слышали все почти кавалеры и многие дамы. Началась французская кадриль; молодая танцевала с шафером.

Во время другой кадрили в залу вошел Бахтиаров. В этот раз, кажется, он еще был молодцеватее и интереснее собою. Лицо его было бледнее обыкновенного. Он прямо подошел к невесте, поздравил ее, потом поздравил попавшегося ему навстречу Владимира Андреича и поклонился Павлу. А вслед за тем в своей обычной равнодушной позе расположился стоять у окна, объявив решительно хозяину, что он танцевать не будет. Молодая, несмотря на то, что очень была грустна и расстроена, заметила, что Бахтиаров приехал очень бледен и чем-то рассержен; она слышала его отказ танцевать и перетолковала все это решительно в свою пользу. «Он, верно, влюблен в меня,— думала она,— страдал, услыхав, что я выхожу замуж, и потому очень бледен и расстроен»; но она этому очень рада и начнет его мучить с этого же вечера. По окончании кадрили Юлия подошла к Павлу, сидевшему невдалеке от Бахтиарова.

— Как жаль, Поль, что ты не танцуешь! Я бы желала с тобою только танцевать!

Павел быстро встал на ноги; на глазах его, кажется, навернулись слезы; он никак не ожидал подобной выходки; ему было и стыдно и приятно. Юлия Владимировна подала ему руку. Павел едва догадался, что ему надобно было поцеловать эту руку.

Начались снова танцы. Бахтиаров не танцевал; Юлия Владимировна, чтобы окончательно взбесить губернского льва, казалась веселою, счастливою и несколько раз обращалась с нежными выражениями к Павлу; но Бахтиаров уехал, и она сделалась грустна, задумчива и решительно не стала замечать мужа. Павел все стоял у притолоки и все глядел на жену. Наденька очень любезничала с одним молодым чиновником, необыкновенно ловко танцевавшим вальс. Перепетуя Петровна решительно выходила из себя от невнимания, оказанного ей хозяином: ее даже не посадили играть в преферанс. Владимир Андреич решительно был занят губернскими тузами, а Марья Ивановна все егозила около помещицы трех тысяч душ.

За ужином Перепетуя Петровна поставлена была в такое положение, что только от стыда не расплакалась. Мало того, что она, как бы следовало посаженой матери, не была посажена на первое место, мало этого,— целый стол голодала она, как собака, и попила только кваску. Вот в чем дело: свадебный день был постный, а стол был приготовлен скоромный, и у доброго хозяина не стало настолько внимания, чтобы узнать, нет ли таких гостей, которые не едят скоромного. Что она, попадья, что ли, какая? Она, кажется, дворянка и, можно сказать, тут первое лицо: для нее бы для одной можно приготовить стол приличный. Феоктиста Саввишна — известное *мелево,*— ей хоть козла подай на страстной неделе, так съест. Сами посудите, в какое она поставлена была положение, точно проклятая какая-нибудь, ни к чему прикоснуться не может; не скоромиться же нарочно для этого раза; кроме греха, тут некоторые знают, что она соблюдает посты. Это просто насмешка! — Вот что думала Перепетуя Петровна, сидя за столом; гнев ее возрастал с каждым блюдом, у ней едва доставало присутствия духа сказать, что она не ужинает; сами же хозяева как будто бы этого ничего не замечали и не видели. Невеста была бледна и ничего не ела, Павел тоже сидел потупившись и ни к чему не прикасался.

— Посмотрите, им уж хлеб нейдет на ум,— заметил армейский офицер сидевшему около него молодому человеку с решительными манерами, с которым мы еще в собрании познакомились.

Молодой человек с прическою à la diable m'emporte[1] сделал гримасу и, проговоря: «Это все глупости!», залпом выпил стакан красного вина. После ужина бальные гости все разъехались, остались одни только непосредственные участники свадьбы. Молодых проводили в спальню с известными церемониями. Видимым образом, кажется, все шло своим порядком. Впрочем, Перепетуя Петровна никак не могла удержаться, чтобы не высказать своего неудовольствия Владимиру Андреичу.

— Позвольте вас поблагодарить за ваше внимание и угощение,— говорила она, прощаясь с хозяевами.— Мы хоть, конечно, и небогаты, но все-таки понимаем что-нибудь и постараемся с своей стороны отплатить тем же, что сами получили.— Проговоря это, она раскланялась и ушла в лакейскую.

На другой день свадьбы в чайной дома Кураевых происходил следующий разговор, который ключница Максимовна, пользовавшаяся от господ большим доверием за пятнадцатилетние перед ними сплетни на всю остальную братию, вела с одною ее знакомой торговкою.

— Ну что, матушка Марья Максимовна, каков ваш молодой-то барин? — спрашивала та.

— Смирненек очень, Федотовна; не под пару нашей-то, я люблю сказать правду: ей бы надобно муженька посердитее, чтобы побранивал да пошколивал. А этому она скоро голову свернет.

— Вишь ты, какое дело! — заключила глубокомысленно торговка.

XII
ДОМАШНИЕ СЦЕНЫ

Более полугода прошло после женитьбы Павла. Наступила снова зима, снова начались удовольствия. В городе ничего не случилось достопримечательного. Значительной перемены в жизни главных лиц моего рассказа никакой не было. Павел жил с женою и с матерью; Кура-

[1] черт меня побери *(франц.)*.

ев не уезжал еще в Петербург; хорошие приятели его по сю пору еще не приискали ему там частного места. Лизавета Васильевна жила в деревне; Перепетуя Петровна решительно разошлась с своим родным племянником, даже голубушку-сестрицу третий месяц не видала. Она некоторым образом действительно была права в своем неудовольствии на Бешметевых: во-первых, если читатель помнит поступок с нею Владимира Андреича на свадьбе, то, конечно, уже согласится, что это поступок скверный; во-вторых, молодые, делая визиты, объехали сначала всех знатных знакомых, а к ней уже пожаловали на другой день после обеда, и потом, когда она начала им за это выговаривать, то оболтус-племянник по обыкновению сидел дураком, а племянница вздумала еще вздернуть свой нос и с гримасою пропищать, что «если, говорит, вам неприятно наше посещение, то мы и совсем не будем ездить», а после и кланяться перестала. Она уж сама не станет заискивать: извините — не такого характера, и потому совершенно прервала с неблагодарными всякое сношение и подала на Павла ко взысканию вексель. Впрочем, она очень тосковала, что не видит бедную сестрицу, и каждый день посылала Палашку наведываться о ее здоровье, а тут, к слову конечно, спрашивала, каково поживают и молодые. Палашка обыкновенно на вопрос Перепетуи Петровны сначала отвечала, что все — слава богу! — хорошо, а уж после кой-что и порасскажет. Из рассказов ее Перепетуя Петровна узнала, что Владимир Андреич по сю пору еще ничего не дал за дочкою; что в приданое приведен только всего один Спиридон Спиридоныч, и тот ничего не может делать, только разве пыль со столов сотрет да подсвечники вычистит, а то все лежит на печи, но хвастун большой руки; что даже гардероба очень мало дано — всего четыре шелковые платья, а из белья так — самая малость. Хозяйством молодая барыня ничего не занимается, даже стол приказывает сам Павел Васильич, а она все для себя изволит делать наряды, *этта* на днях отдала одной портнихе триста рублей; что молодые почивают в разных комнатах: Юлия Владимировна взяла себе кабинет Павла Васильича и все окошки обвешала тонкой-претонкой кисеей, а барин почивает в угольной, днем же постель убирается; что у них часто бывают гости, особенно Бахтиаров, что и сами они часто ездят по гостям,— Павлу Васильичу иногда и не хочется, так

Юлия Владимировна сейчас изволит закричать, расплачутся и в истерику впадут. Слушая эти рассказы, Перепетуя Петровна обыкновенно приговаривала: «Так ему, дураку, и надобно,— еще по щекам будет бить; как бы родство-то свое больше уважал да почитал, так бы не то и было!»

Вечером накануне Нового года Павел сидел в комнате у матери. Старуха целую осень заметно слабела, а этот день с нею повторился параличный припадок; послали за доктором, который поставил ей около десятка горчичников и обещался ночью еще раз заехать. Видно было, что он даже опасался за жизнь больной, которая была в совершенном беспамятстве и никого не узнавала. Павел послал сказать Перепетуе Петровне и отправил нарочного к сестре. Несмотря на болезнь матери, Юлии Владимировны не было дома — она находилась у модистки, где делалось для нее новое платье, в котором она должна была явиться на бал в дворянское собрание. Павел был худ и бледен. Видно, золотое время для новобрачных не слишком-то счастливо прошло для него. Он сидел около больной и держал ее за руку; ключница Марфа стояла в ногах, пригорюнившись, и вздыхала; молодая горничная девка приготовляла новый горчичник, перемарав в нем руки и лицо. Приехала Юлия Владимировна в сопровождении гризетки, бережно несшей новое платье. Сначала она прошла в свой кабинет, или, как она его называла, будуар, и еще раз начала примеривать обнову. Платье сидело необыкновенно ловко. Юлия Владимировна с полчаса любовалась пред большим зеркалом своим платьем и собой; она оглядывала себя во всевозможных положениях — и спереди, и с боков, и загибала даже голову, чтобы взглянуть на свою турнюру, и потом подвигала стул и садилась, чтоб видеть, каково будет платье, когда она сядет. Платье было отличное. Переодевшись, Юлия Владимировна вошла в комнату больной.

— Что ж вы не сбираетесь? По сю пору не бриты,— сказала она, даже не поздоровавшись с мужем.

— Я сегодня не могу ехать, Юлия,— проговорил Павел.

— Вот прекрасно! Вот хорошо! — вскрикнула Юлия каким-то неприятно звонким голосом.— Зачем же я платье делала? Зачем вы это меня дурачите?

— Вы видите, матушка умирает.

— Скажите, пожалуйста, что выдумал! Во-первых, матушка не умирает, а обыкновенно больна; а во-вторых, разве вы поможете, что тут будете сидеть?

— Воля твоя, я не в состоянии.

— И вы это решительно говорите?

— Вы знаете, когда можно ехать, я еду.

— Нет, вы скажите мне, что вы решительно не хотите ехать.

— Я не могу ехать.

— Очень хорошо! Отлично! Вы думали меня испугать — ужасно испугалась,— я одна поеду.

Павел ничего не отвечал.

— И непременно поеду. Нарочно, знал, что мне хочется, выдумал предлог, какого совсем нет.

— Предлог у вас перед глазами, Юлия.

— Никакого у меня нет перед глазами предлога, а есть только ваши выдумки... Я одна поеду.

Проговоря это, Юлия вышла в угольную и, надувши губы, села на диван. Спустя несколько минут она начала потихоньку плакать, а потом довольно громко всхлипывать. Павел прислушался и тотчас догадался, что жена плачет. Он тотчас было встал, чтоб идти к ней, но раздумал и опять сел. Всхлипывания продолжались. Герой мой не в состоянии был долее выдержать свой характер: он вышел в угольную и несколько минут смотрел на жену. Юлия при его приходе еще громче начала рыдать.

— О чем же вы плачете? — спросил он.

— Всегда напротив,— говорила сквозь слезы Юлия,— если бы я знала, я просила бы папеньку. Как я поеду одна? Зачем же я делала платье? Вечно с вашими глупостями; я не служанка ваша смеяться надо мной; поутру сбиралась, а вечером сиди дома!

— Ах, как вы малодушны!

— Сам ты малодушен — тюфяк!

Павел улыбнулся и сел около жены, но Юлия отодвинулась на другой конец дивана.

— Не извольте садиться около меня... неблагодарный... вчера что вечером говорил?

— Я и теперь скажу то же.

— Очень нужны мне твои слова, притворяется туда же: умереть для вас готов, а съездить на вечер не хочется!

— Как вы несправедливы ко мне. Что, если мы поедем, а матушка умрет,— что даже посторонние скажут? С какими чувствами мы будем веселиться?

— Вот прекрасно — с какими чувствами! Не прикажете ли все сидеть да плакать? Подите вон: видеть вас не могу! Наказал меня бог, по милости папеньки. Наденька теперь, я думаю, уж совсем оделась.— При этих словах Юлия снова залилась слезами и упала на подушку дивана.

— Юлия! Это ведь смешно — вы ребячитесь,— сказал Павел, подходя снова к жене.

— Отойдите от меня! — вскрикнула Юлия, оттолкнув мужа рукой, и продолжала плакать.

Павлу жаль было жены: он заметно начал сдаваться.

— Не плачьте, Юлия, я поеду,— проговорил он.

Юлия не унималась.

— Я поеду, я пойду сейчас бриться. Ну, вот видите, я пошел бриться,— говорил Павел и действительно пошел в залу.

По уходе мужа Юлия тотчас встала и отерла глаза.

«Дурак этакой,— говорила она про себя, глядясь в зеркало,— вот теперь с красными глазами поезжай на бал — очень красиво!»

Муж и жена начали одеваться. Павел уже готов был чрез четверть часа и, в ожидании одевавшейся еще Юлии, пришел в комнату матери и сел, задумавшись, около ее кровати. Послышались шаги и голос Перепетуи Петровны. Павел обмер: он предчувствовал, что без сцены не обойдется и что тетка непременно будет протестовать против их поездки.

— Батюшки мои! Что это у вас наделалось? — говорила Перепетуя Петровна, входя впопыхах в комнату и не замечая Павла.— Господи! Она совсем кончается... Матушка сестрица! Господи! Какой в ней жар! Да был ли у нее лекарь-то?

— Лекарь был, тетушка,— произнес Павел.

Перепетуя Петровна, наконец, заметила племянника.

— Что, батюшка,— сказала она,— уморил матушку-то? Дождался этакого счастия? Смотри, каким франтом, модный какой!.. На какой радости-то?.. Что мать-то умирает, что ли?

Павел не смел объявить тетке, что он едет в собрание. Но Перепетуя Петровна сама догадалась.

— На бал, что ли, они куда едут праздновать кончину матери? — спросила она, обращаясь к ключнице.

Марфа молчала.

— На бал, что ли, едете с супругой-то? — продолжала она, обращаясь к Павлу.

— Нас звали, тетушка, на дворянский бал.

— Да что, Павел Васильич, с ума, что ли, вы сошли, помешались, что ли, вы совсем с своей благоверной-то? Царица небесная! Не позволю вам этого сделать, не позволю срамить вам нашего семейства! Извольте сейчас раздеваться и остаться при матери, и жену не пускайте. Что такое? На что это похоже? Вы, пожалуй, и на похороны-то цыганский табор приведете — цыгане этакие... фиуранты! Только по балам ездить! Проюрдонитесь еще, по миру пойдете! Много отвалили за женушкой-то? В кулаке, я думаю, все приданое унесешь! Не смейте, сударь, ездить!

Старуха в это время застонала.

— Матушка моя! Голубушка! И ты мучишься — как не мучиться, видя этакую неблагодарность и бесстыдство! Мое не такое здоровье, да и то в груди закололо.

В это время в комнату вошла совсем одетая Юлия. Увидев тетку, она нахмурила брови и даже не поклонилась ей, но обратилась к мужу.

— Что ж? Поедем, пора!

Павел решительно не знал, что делать. Перепетуя Петровна вся вспыхнула.

— Нет, не пора и не может быть пора, потому что у него мать умирает.

Юлия сделала гримасу и продолжала натягивать французские перчатки.

— Велите подавать лошадей,— сказала она стоявшей тут горничной.

— Велите отложить лошадей,— перебила Перепетуя Петровна, поднимаясь со стула и придя в совершенный азарт.— Павел Васильич! Что ж вы молчите? Велите сейчас отложить лошадей. Останьтесь дома и оставьте и ее: она не смеет против вашего желания делать!

Юлия взглянула на Перепетую Петровну и залилась самым обидным смехом.

— Что, ваша тетка, верно, сумасшедшая? — спросила она Павла.

Перепетуя Петровна, не слишком осторожная в соб-

ственных выражениях, не любила, впрочем, чтоб ей говорили дерзости.

— Нет, я не сумасшедшая, а сумасшедшие-то вы с муженьком! Как вы смели мне это сказать? Я, сударыня, дворянка... почище вас: я не выходила в одной рубашке замуж... не командовала своим мужем. Я не позволю ругаться нашим семейством, которое вас облагодетельствовало,— нищая этакая! Как вы осмелились сказать мне это? Не смей ехать! Говорят тебе, Павел, не смей ехать! Командирша какая!.. Много ли лошадей-то привели? Клячи не дали. Франтить, туда же! Слава богу, приютили под кровлю, кормят... так нет еще...

Юлия сначала с презрением улыбалась; потом в лице ее появились какие-то кислые гримасы, и при последних словах Перепетуи Петровны она решительно не в состоянии была себя выдержать и, проговоря: «Сама дура!»,— вышла в угольную, упала на кресла и принялась рыдать, выгибаясь всем телом. Павел бросился к жене и стал даже перед нею на колени, но она толкнула его так сильно, что он едва устоял на месте. Перепетуя Петровна, стоя в дверях, продолжала кричать:

— Вишь, как кобенится, вишь, как гнет,— вставай, батюшка, на колена, еще пощечину даст; вот так, в губу бы еще ногой-то! Таковский!

— Ой-ой! Умираю! — кричала Юлия.

Больная, обеспокоенная криком, застонала. Павел был точно помешанный: не помня себя, вошел снова в комнату матери и сел на прежнее место.

Чтобы окончательно дорисовать эту драматическую сцену, явился Михайло Николаич Масуров, весь в мелу, с взъерошенными волосами и с выбившеюся из-под жилета манишкою. Вошел он по обыкновению быстро. Первый предмет, попавшийся ему на глаза, была лежавшая на диване Юлия.

— Это что такое? — проговорил он.— Верно, умерла матушка? Юлия Владимировна! Юлия Владимировна! Что вы такое делаете?

Вслед за тем Масуров вошел в спальню матери и увидел там сидевшего Павла, державшегося обеими руками за голову. Перепетуя Петровна в это время была в девичьей и пред лицом девок ругательски ругала их молодую барыню и, запретив им строго ухаживать за ней, велела тотчас же отложить лошадей.

— Что они, угорели все, что ли? Матушка-то, кажется, жива... еще дышит. Павел Васильич! Братец! Полноте, что вы тут делаете?

— Спасите жену, она умирает,— проговорил Павел,— бога ради, спасите!

Масуров пожал плечами и пошел к Юлии.

— Должно быть, угорели; старуху, верно, оттого и схватило.

Юлия по-прежнему лежала на диване с закрытыми глазами, всхлипывая и вздрагивая всем телом; по щекам ее текли крупные слезы.

— Сестрица! Юлия Владимировна! Вставайте, перестаньте плакать, что это вы делаете? Перестаньте гнуться, шею сломаете; постойте, хоть я вам платье-то расстегну. Платье-то какое славное, видно, бальное.

Масуров остановился и несколько минут посмотрел на невестку.

— Что ж мне с ней делать? Ей-богу, не знаю; разве водой вспрыснуть?.. Пожалуй, умрет еще — никого нет, проклятых.

С этими словами он вышел в залу, в лакейскую; но и там никого не было из людей. Делать было нечего — Масуров вышел на двор, набрал в пригоршни снегу и вслед за тем, вернувшись к своей пациентке, начал обкладывать ей снегом голову, лицо и даже грудь. Юлия сначала задрожала, чихнула и, открыв глаза, начала потихоньку приподыматься. Павел, подглядывавший потихоньку всю эту сцену, хотел было, при начале лечения Масурова, выйти и остановить его; но увидя, что жена пришла в чувство, он только перекрестился, но войти не решился и снова сел на прежнее место. Между тем Юлия совершенно уже опомнилась и, водя рукою по лбу, как бы старалась припомнить все, что случилось.

— Здравствуйте, сестрица! Что это такое с вами? Я думал, что вы совсем уж умерли.

— Велите подать лошадей мне,— говорила она,— я не могу здесь оставаться: меня скоро бить начнут. Скорей лошадей мне! Они заложены.

Масуров вышел и скоро вернулся.

— Лошади отложены, сестрица! — сказал он.

Юлия пожала плечами.

— Есть с вами лошади? Дайте мне ваших лошадей!

— У меня извозчик, ma soeur.

— Ничего, проводите меня.

— Извольте, сестрица, да вот как же Павел-то Васильич? Ему надобно сказать: он очень беспокоится.

— Пусть он беспокоится о своей мерзкой тетушке! Дайте мне салоп — он в лакейской висит.

Масуров повиновался. Юлия уехала.

— Куда это Юлия поехала? — спросил Павел, выйдя к Масурову.

— Право, не сказала. Вот узнаем от извозчика, как вернется. Что такое у вас вышло?

Павел вздохнул и не в состоянии был ничего сказать. Явилась Перепетуя Петровна и рассказала Масурову, в чем дело было.

Вернувшийся извозчик донес, что Юлия поехала к отцу. Масуров еще с полчаса пробыл у брата и по-своему успокоивал его и тетку. Павлу он говорил, что это ничего, что у него Лиза первый год, вышедши замуж, каждый день падала в обморок, что будто бы девушки, сделавшись дамами, всегда бывают как-то раздражительны, чувствительны и что только на это не надобно смотреть и много уважать. У Перепетуи Петровны он внимательно выслушал трижды рассказ о злодейских поступках племянницы и вполне согласился с нею, что Юлия даже не стоит названия благородной женщины; а потом, объяснив, что он еще не доиграл партию в бостон, отправился, куда ему нужно. Перепетуя Петровна осталась у сестры и говорила, что она пробудет у ней всю ночь и день, хоть бы от этого ее племянницу разорвало пополам, потому что для ней, Перепетуи Петровны, обязанности сестры всего дороже.

Между тем как происходили такого рода происшествия, Владимир Андреич сидел дома и встречал Новый год один. Он слегка страдал подагрой и потому, боясь простуды, не выезжал. Семейство же свое он не хотел лишить удовольствия и отпустил Марью Ивановну с Наденькой на дворянский бал. Владимир Андреич был на этот раз в очень хорошем расположении духа. Он только сегодня поутру получил письмо из Петербурга, извещавшее его, что, наконец, нашли ему там место, и в настоящее время он рассчитывал свои средства. От заложенного в опекунский совет имения он совсем хотел отступиться. Частные долги у него были все по мелочи и по распискам. Следовательно, о них беспокоиться было нечего. Он продаст дом, экипажи, лошадей, мебель, всю домашнюю

утварь,— всего будет тысяч пятнадцать,— и, следовательно, приехать в Петербург и обзавестись на первый раз будет у него с избытком. Наденьку сейчас же по приезде в Петербург выдаст замуж, а Марье Ивановне на весь домашний расход будет давать две тысячи, а остальные две тысячи на собственное удовольствие,— недурно, право, недурно!

На этой самой мысли Владимира Андреича вошла Юлия.

— А! Ты как появилась? Что это значит, и в бальном платье? Отчего ты не на бале?

Юлия молча поцеловала руку отца и, бросившись в кресла, закрыла глаза платком.

— Что с тобой, Джули? — спрашивал удивленный и несколько испуганный Владимир Андреич.

— Я не могу с ним жить, папа.

— С кем не можешь жить?

— С мужем... Меня разругали, обидели... выгнали...

Владимир Андреич сильно обеспокоился.

— Кто тебя разругал? Кто тебя выгнал?

— Он с своей мерзкой теткой; она говорит, что я нищая, что они меня хлебом кормят... Это ужасно, папа!

При этих словах Юлия залилась слезами.

— Ей-богу, ничего не понимаю! Перестань плакать-то; расскажи, что такое?

— Сегодня поутру...

— Ну?

— Сегодня поутру я сбиралась ехать на бал, он — ничего... хотел ехать...

— Дальше.

— Потом я после обеда поехала за этим платьем; приезжаю — уж совсем не то: «Я, говорит, не могу ехать, матушка умирает...» Ну ведь, знаете, папа, она каждый день умирает.

— Ну, конечно. Старуха полумертвая — давно бы уж ей пора в Елисейские поля! Продолжай.

— Я начала ему говорить, что это нехорошо, что я сделала платье; ну, опять ничего — согласился: видит, что я говорю правду. Совсем уж собрались. Вдруг черт приносит этого урода толстого, Перепетую, и кинулась на меня... Ах! Папа, вы, я думаю, девку горничную никогда так не браните — я даже не в состоянии передать вам. С моим-то самолюбием каково мне все это слышать!

— Ну, что же он-то?

— Ну, что он... как будто вы, папа, не знаете его, тюфяка; ведь он очень глуп. Я не знаю, как вы этого не видите.

Владимир Андреич задумался и начал ходить по комнате.

— Во-первых, тебя, стало быть, не выгоняли, а бранилась только эта дура Перепетуя. Отчего же ты сама ее не бранила?

— Я не могу, папа. Я только и назвала ее дурой: у меня грудь захватило, и сделалась со мною по обыкновению истерика.

Владимир Андреич снова задумался и начал ходить большими шагами по комнате.

— Все это пустяки,— произнес он после долгого молчания.— Я сейчас выпишу его сюда и дам ему хорошую головомойку, чтоб он дурьей породе своей не позволял властвовать над женою.

— Выпишите, папа, и поговорите, чтоб он просто не пускал в дом эту мерзавку-тетушку.

Владимир Андреич сел и написал зятю записку следующего содержания:

«Павел Васильич! Прошу вас покорно немедля пожаловать ко мне; мне нужно очень с вами объясниться. Надеюсь, что исполните мое желание.

Доброжелатель ваш такой-то...»

— Припиши и ты, Юлия,— сказал Кураев, подавая дочери записку.

Юлия написала:

«Павел! Приезжай сию секунду к папеньке; в противном случае ты никогда меня не увидишь».

Человек был отправлен.

— Есть ли вам жить-то чем? Деньги есть ли у вас? — спросил Кураев.

— Какие, папа, деньги! На днях пятьсот рублей заняли, а теперь всего двести осталось. Вы ему поговорите о службе — служить не хочет.

— Отчего же он не хочет?

— Оттого, что в Москву хочет ехать; профессором,

говорит, меня там сделают. Какой он профессор — я думаю, ничего и не знает.

— Что ж, ему там обещали, что ли?

— Я не знаю. Поговорите ему, пожалуйста; нам скоро будет нечем жить совсем.

— То-то и есть поговорить... Самой надобно не малодушничать... Он человек добрый; из него можно, как из воску, все делать. Из чего сегодня алярму сделали! Очень весело судить вас! Где нельзя силой, надобно лаской, любовью взять... так ведь нет, нам все хочется повернуть, чтобы сейчас было по-нашему. Ну, если старуха действительно умирает, можно было бы и приостаться, не ехать,— что за важность?

Юлия слушала выговор папеньки потупившись.

Явился Павел.

— Ну, что у вас там такое? Садитесь-ка сюда,— начал довольно ласково Владимир Андреич.

Павел сел и, кажется, решительно не смел взглянуть на жену.

— Я вас хочу попросить, Павел Васильич,— начал Владимир Андреич,— пожалуйста, не позволяйте тетке в вашем доме делать этаких комеражей!.. Что это такое? На что это похоже? Между благородными людьми, образованными, браниться... Фу ты, мерзость какая! Дочь моя так воспитана, что она решительно не только не испытала на себе, даже не видала, не слыхала ничего подобного; даже не в состоянии была передать мне всех сальных выражений: у нее язык не поворачивается! Конечно, это происходит от невежества Перепетуи Петровны — так ваша обязанность остановить ее. Вы, кажется, человек, получивший воспитание. Не нравится, не езди... Какая вам надобность в ней?

— Она приехала к матушке.

— Прекрасно! Так она и сиди у матушки,— на вас-то она какое имеет влияние? До вас ей какое дело? Помилуйте, в нашем образованном веке отцы родные не мешаются в семейные дела детей. Ну вот я, скажите, пожалуйста, мешался ли хоть во что-нибудь? Позволил ли я себе оскорбить вас хоть каким-нибудь ничтожным словом? Вы вежливы, а я еще того вежливее, и прекрасно.

Павел сидел потупившись и, кажется, вполне соглашался с словами Владимира Андреича, будучи сам убе-

жден, что Перепетуе Петровне не в свое дело не следовало мешаться.

— Ну, что матушка-то, скажите, пожалуйста, плоха?

— Очень слаба. Сейчас был доктор и пустил ей кровь.

— Да, вот еще кстати. Я, признаться сказать, хотел с вами давно поговорить об этом,— начал Владимир Андреич.— Что вы с собой думаете делать? Отчего вы не служите?

Этот вопрос очень смешал Павла.

— Я приготовляюсь на магистра-с.

— Что ж, вы занимаетесь? Повторяете старое, что ли, или вперед учите?

— Ничего не делает,— подхватила Юлия.

— Нет еще. Я буду заниматься,— отвечал Павел, совершенно сконфузившись.

С самой свадьбы, или, лучше сказать, с самого сговора, он почти не брал книги в руки. Сначала, как мы видели, хлопотал о свадьбе и мечтал о грядущем счастии, а потом... потом... мы увидим впоследствии, что занимало ум и сердце моего героя.

— Вот видите, что я вижу из ваших предположений,— рассуждал Владимир Андреич.— Вы еще не начали заниматься, а времени уж у вас много пропущено, а следовательно, я полагаю, что вам трудно будет выдержать экзамен. Это я знаю по себе — я тоже первые чины получал по экзаменам; так куда это трудно! Ну, положим, что вы и выдержите экзамен, что ж будет дальше?

— Я надеюсь получить кафедру профессора.

— Как же, то есть вас сейчас и сделают профессором после экзамена?

— Нет еще... но большая надежда получить.

— Так, стало быть, это пустяки — одни только надежды. Нет, Павел Васильич, на жизнь нельзя так смотреть: жизнь — серьезное дело; пословица говорится: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». Полноте, батюшка, приискивайте-ка здесь место; терять время нечего, вы теперь человек женатый. Вот уж двенадцать часов. Честь имею вас поздравить с Новым годом. Малый! Дай шампанского! Вот видите, жизнь-то какова: пришел Новый год, нужно бутылку шампанского, а это стоит двенадцать рублей. Вот жизнь-то какова!

Подали бутылку шампанского. Владимир Андреич заставил дочку выпить целый бокал, а Павла стакан, и сам

тоже выпил стакан, а вслед за тем, разгулявшись, предложил детям еще, и сам тоже выпил.

— Ну, теперь помиритесь же, да смотрите не ссориться, жить в любви. Юлия! Поцелуй мужа, да крепче, чтоб сердце мое родительское радовалось.

Юлия подошла к мужу и, все-таки нехотя, поцеловала его, но Павел... Вино великое действие оказывает на человека. Он обхватил жену и начал целовать ее. Напрасно Юлия толкала его в грудь, напрасно делала гримасы; он не выпускал ее и целовал ее лицо, шею и грудь.

— Браво... важно! — говорил старик.— Выпьемте еще по стакану, а ты, Юлия, еще полбокала, непременно. Чокнемтесь!

Павел на этот раз не заставил себя упрашивать, залпом выпил стакан и совершенно ожил.

— Батюшка! Я сделаю все, что вы прикажете! Я готов умереть для Юлии! Юлия! Я вас боготворю.

— А тетка где?

— Тетка у нас.

— Я, Павел, не поеду домой, если тетка у нас,— возразила Юлия.

— Я ее прогоню, я ее в шею вытолкаю, если хочешь.

— В шею толкать не следует,— заметил Владимир Андреич,— а напишите ей отсюда письмо, в котором попросите ее убираться, куда ей угодно.

— Хоть двадцать напишу,— сказал Павел.

— И прекрасно,— сказал Владимир Андреич,— вот вам бумага.

Павел начал писать, но, написав: «Милостивая государыня Перепетуя Петровна!» — остановился.

— Позвольте мне вам продиктовать,— сказал Владимир Андреич.

— Сделайте одолжение.

Кураев начал: «Давешний ваш поступок, выходящий из всяких границ приличия, поставляет меня в необходимость попросить вас немедленно удалиться из моего дома, в который ни я, ни моя жена в противном случае не можем возвратиться, опасаясь скандалезных сцен, столь неприличных и невыносимых для каждого образованного человека».

Павел написал и тот же час отправил это письмо к себе на дом. Бешметев еще часа два сидел у тестя. Допили всю бутылку. В припадке нежности Павел дал слово

Владимиру Андреичу отказаться от своей мысли о профессорстве и завтра же начать приискивать себе должность. Возвратившийся слуга донес, что Перепетуя Петровна по получении письма тотчас же уехала.

Павел, возвращаясь с женою домой, обхватил ее, сверх обыкновения, за талию и начал целовать.

— Оставь, пожалуйста, завтра Бахтиарова у нас обедать: он такой милый, так любит тебя!

— Оставлю, душа моя, оставлю, чего я для тебя не сделаю, хоть это, знаешь, для меня...

— Что такое?

— Так, ничего... горько немного...

— Вот какие глупости выдумал!

Приехав домой, они застали священника, который соборовал старуху.

XIII

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Старуха умерла. Смерть ее не произвела на Павла того сильного впечатления, какого бы следовало ожидать по его искренней к ней любви. Герой мой думал о себе, о своем тяжелом и безотрадном положении. Несмотря на свою неопытность, он скоро, и очень скоро, догадался, что жена не любит его, что вышла за него замуж так, может быть для того только, чтоб сделаться дамой, может быть даже, ее принудили к тому. Павел проклинал свою недальновидность, помешавшую ему узнать чувства Юлии, когда она еще была невестой. «Что теперь мне делать? — думал он.— Буду стараться внушить ей любовь к себе: буду угождать малейшим ее желаниям, прихотям, даже капризам. Постараюсь ей объяснить самого себя». Утвердившись на этой мысли, Павел каждый день просыпался с твердым намерением высказать жене, как он ее любит, как он страдает, видя ее холодность, и объяснить ей, что таким образом жить невозможно в супружестве,— просить ее хоть приневоливать себя и постараться к нему привыкнуть. Но герою моему не только не удавалось вполне объясниться с женою, но даже заговорить об этом. Юлия вечно была занята: она то капризничала и сердилась на Павла, то хлопотала о своем туалете, то принимала гостей или собиралась на бал; и только иногда — что, может быть, случалось не более двух или

трех раз — она делалась как бы внимательнее к мужу и заговаривала с ним ласково. Обрадованный Бешметев тотчас приступал к объяснению; но Юлия слушала его довольно невнимательно и почти всегда перебивала просьбой — дать ей денег или познакомиться с каким-нибудь новоприезжим молодым человеком.

Так проходили дни за днями. Павел, как робкий любовник, подмечал каждое слово жены, каждое движение, каждый взгляд ее и старался их перетолковать в свою пользу. «Вот она, кажется, начинает привыкать ко мне и любить меня»,— думал он, но тотчас же, вслед за тем, кидался невольно ему в глаза такой поступок Юлии, который очень ясно выказывал не только отсутствие любви, но даже уважения.

Мучения Бешметева еще не ограничивались этим: он уже ревновал Юлию к довольно опасному человеку, к общему мучителю местных губернских мужей — Бахтиарову. Губернский лев бывал у них довольно часто, но с какой целию, решить было трудно, потому что с Юлией он был только вежлив; но зато сама хозяйка очень много обнаруживала к гостю внимания. Она обыкновенно без всякой скрытности с большим нетерпением ожидала его приезда, с самым глубоким вниманием прислушиваясь к каждому его слову, не пускала его, когда он сбирался ехать домой, и ревновала его ко всем городским дамам. В его отсутствие она старалась со всеми говорить о нем и приходила в искренний восторг, говоря о его наружности или припоминая рассказываемые им анекдоты.

Незадолго до смерти старухи Бахтиаров сделался гораздо внимательнее к Юлии и начал бывать у ней без Павла. Я не в состоянии описать тех мучений, которые переживал Бешметев. Несколько раз он думал отказать Бахтиарову от дому; но положит ли этим конец? Ему очень хотелось расспросить людей, что делает Бахтиаров, когда бывает у жены в его отсутствие; но и этого герой мой не решался сделать из деликатности: ему казалось, что подобными расспросами он унизит и себя и Юлию.

Нечаянный приезд Лизаветы Васильевны значительно успокоил ревность Павла, во-первых, потому что Бахтиаров с первого же дня начал к ним ездить реже и снова сблизился с Масуровым; а во-вторых — Лизавета Васильевна была на этот раз откровеннее и вполне посвятила Павла в тайну своих отношений к Бахтиарову и

своих чувствований к этому человеку. Она рассказала брату, как губернский лев с первого ее появления в обществе начал за ней ухаживать, как она сначала привыкла его видеть, потом стала находить удовольствие его слушать и потом начала о нем беспрестанно думать: одним словом, влюбилась, и влюбилась до такой степени, что в обществе и дома начала замечать только его одного; все другие мужчины казались ей совершенно ничтожными, тогда как он владел всеми достоинствами: и умом, и красотою, и образованием, а главное, он был очень несчастлив; он очень много страдал прежде, а теперь живет на свете с растерзанным сердцем, не зная, для кого и для чего. С юных лет он хотел быть чем-то выше посредственности и, может быть, достигнул бы этого; но люди и страсти испортили его на первых порах. Вот в чем уверял ее Бахтиаров и просил у ней сочувствия, просил ее врачевать его больное сердце своею юною любовию. Лиза сочувствовала, тем более, что это все так возможно, так походит на многих героев романов, которые она читала. Предусмотрительная Перепетуя Петровна заметила любовь племянницы к Бахтиарову и довольно тонко начала с того, что ласково вошла с нею в искреннее объяснение по этому предмету. Доверчивая Лиза призналась тетке, что Бахтиаров говорил ей о любви своей и что она сама его тоже любит. Старая девушка, услышав, какой опасности подверглась ее племянница, всплеснула руками и подняла на целый дом тревогу: разбранила не слишком деликатно Лизу за ее будто бы безнравственные поступки и, призвав сестру и зятя, торжественно объявила им, что дочь их погибла, потому что ее поймал в свои сети модник Бахтиаров. Старики перепугались и уже всем хором принялись бранить Лизу, толкуя ей, каждый по-своему, что мужчина имеет право говорить о любви только невесте; если же он скажет это не невесте, то тотчас же должен сделать предложение; в противном случае он низкий человек и ищет только одной погибели девушки. В пример приведена была какая-то Машенька Жилова, которую увез музыкальный учитель и потом бросил, а это уморило старика, ее отца, уморило потом и ее самое. Лиза плакала в продолжение всех этих выговоров, плакала и остальной весь день, а к вечеру написала Бахтиарову письмо, в котором, пересказав о случившемся, просила его на другой же день

сделать ей предложение и успокоить папеньку, маменьку и ее. На это письмо Бахтиаров на другой день прислал самый страстный ответ, в котором, проклиная судьбу, признавался, что он жениться не может, потому что женат, но умолял Лизу любить его по-прежнему и не проклинать его. Лиза целую неделю после этого открытия не осушала глаз, но видеть Бахтиарова уже более не хотела. Каждодневные визиты, дюжина самых страстных писем, даже несколько ночных прогулок под окнами со стороны губернского льва остались без всякого успеха. Ему не удавалось ни видеться, ни поговорить с m-lle Бешметевой. Родственная Перепетуя Петровна, чтобы окончательно исправить беду, не замедлила приискать для племянницы жениха в особе Михайла Николаича Масурова. Старики согласились; Лиза тоже согласилась, и через неделю была сыграна свадьба, а через месяц молодые супруги уехали в дальнее имение Масурова, в котором, по его словам, были три каменные усадьбы.

Лизавета Васильевна не переставала любить Бахтиарова. Мужа она не уважала. Встречу ее с Бахтиаровым и дальнейшую тактику с той и другой стороны мы видели уже прежде. В деревню уехала Лизавета Васильевна после свидания с теткою, от которой она узнала все городские толки; но, кажется, главною причиною ее отъезда было то, что бедная женщина стала очень бояться самое себя. Живя в деревне, она приходила в состояние полного отчаяния: ходила в весеннее время по сырой земле в одних башмаках с целью получить горячку; ездила верхом на невыезженных лошадях — и вот теперь расстроила свое здоровье совершенно. Бахтиаров писал к ней несколько писем, над которыми плакала она по целому дню, но не допускала себя прочитать их и даже нераспечатанными отправляла обратно. Но теперь она чувствует себя более способною владеть собою и не допустит Бахтиарова заговорить с нею о любви; но не видеть его совершенно у ней недостает сил.

Вот что рассказала Павлу Лизавета Васильевна.

Что касается до Юлии, то она в настоящее время тоже страдала не менее других. Лишенная правильного, или, лучше сказать, всякого нравственного воспитания, она имела свой идеал мужа, к которому, конечно, никаким образом не мог подходить неуклюжий и неловкий в обращении Павел. Внутренних его достоинств, которые бы

могли составить счастие другой женщины, Юлия не могла ни понять, ни оценить. Она вышла замуж, главное, затем, что этот брак выгоден. Но и в этом отношении она ошиблась: Павел был небогат и нечиновен. Часто она проплакивала почти целые ночи после встречи в обществе с другою какою-нибудь молоденькой дамою в богатом нарядном платье, приехавшею шестерней в карете с чиновным, но не старым еще мужем, с которым обходятся запанибрата все сильные в губернии. Но еще невыносимее были для нее слухи о новых партиях, делаемых ее сверстницами, которые, как она была убеждена, не стоили ее башмака, а между тем выходили за красивых и богатых людей. Кроме того, она, как мы знаем, была влюблена, еще в девушках, в того же счастливца — Бахтиарова, который так жестоко оскорбил ее самолюбие своим невниманием. Выходя замуж, она думала досадить губернскому льву, быть с ним как можно холоднее и ласкаться в его присутствии к Павлу. Все это легко бы было исполнить для Юлии, потому что Бахтиаров бывал у них довольно часто. Но вышло совсем иначе; в присутствии его она сделалась еще холоднее к мужу и как бы невольно заговаривалась с гостем и по целым часам не спускала с него глаз, а недели через две уже решительно убедилась, что она обожает этого человека, и дала себе слово употребить все средства, чтобы и его заставить полюбить себя. Юлия начала действовать без всякой осторожности: видимо старалась остаться с Бахтиаровым наедине, заговаривала с ним о любви. Однажды, в беседе tête-á-tête [1], Бахтиаров, молча и довольно нецеремонно, взял у Юлии руку и поцеловал ее. M-me Бешметева хотела было рассердиться, но франт посмотрел на нее таким убедительным взором, что она только вздохнула. Приехавшая в это время с визитом одна почтенная дама прервала эту сцену. Уезжая, Бахтиаров спросил у Юлии, когда она будет дома одна.

— Послезавтра поутру,— отвечала она.

В продолжение этих двух дней Юлия одумалась и дала себе слово держать Бахтиарова в почтительном отдалении и только влюбить его в себя и заставить его, на досаду прочим дамам, предпочтительно перед всеми заниматься ею одною в обществе. В назначенный день она

---

[1] с глазу на глаз *(франц.)*

приняла его в гостиной, с умыслом растворив дверь в соседнюю комнату, в которой сидела горничная и что-то шила. Бахтиаров заметил эту предосторожность и с кислою гримасою уселся против Юлии. Разговор начался на французском языке. Юлия, в сильном волнении, призналась льву, что она его давно любит, но любовию чистою, что будто бы его не любила так ни одна женщина. Бахтиаров был совершенно спокоен и только немного скучен; впрочем, он уверял Юлию, что он тоже ее любит давно, но жениться на ней не мог по одной тайной причине, холоден с нею был потому, что боялся увлечься бесполезною страстью.

Приезд Лизаветы Васильевны изменил ход происшествий, потому что изменил совершенно Бахтиарова, который стал гораздо реже ездить к Бешметевым и целые дни по-прежнему просиживал у Масуровых; с Юлией же он более не заговаривал о любви.

Истинно страдала бедная Юлия, терзаемая досадою, любовию, обиженным самолюбием и ревностью. Не видя почти целую неделю Бахтиарова, она решилась написать ему письмо на французском языке, которое и имею честь представить в переводе:

«Что ты со мною сделал? Я плачу, я умираю, я чувствую все муки ада, потому что не вижу тебя. Если ты меня не любишь, скажи мне, умертви меня, и я тебя буду благословлять, потому что теперь я умираю каждую минуту. О, приди, приди! Дай мне тебя видеть, пересказать тебе все, что я чувствую! А если нет... я умру. Видишь, я забываю стыд, самолюбие и пишу к тебе.

Вся твоя».

Юлия в этом письме хотела поразить Бахтиарова силою страсти, но ни подозрения, ни ревности, ни самолюбия не хотела высказать. Павел в этот день на весь вечер ушел к сестре. Юлия отправила письмо с своей преданной горничной, которая, впрочем, забежав в кухню, не преминула рассказать прочей братии, что барыня послала ее с какою-то записочкой к Бахтиарову. Отправив свое послание, Юлия, в ожидании ответа, без преувеличения начала переживать муки ада. Ей вдруг сделалось стыдно и страшно своего поступка: что, если Бахтиаров не любит ее и только обманывает? Что, если он будет по-

казывать это письмо своим знакомым и об этом узнает весь город и папенька Владимир Андреич? Юлия расплакалась и молила бога, чтоб ее послание каким-нибудь образом не дошло по своему назначению. Она решилась даже уехать к отцу, пробыть у него целый вечер; но... Бахтиаров явился. Юлия задрожала; она даже была не в состоянии отвечать на его обычное приветствие и сидела, как уличенная преступница.

— Вы желали меня видеть,— сказал он, усаживаясь очень близко около хозяйки.

Юлия была не в состоянии ничего отвечать.

— Вы любите меня,— продолжал он, беря ее за руку.

Юлия потихоньку выдернула руку и отодвинулась; но Бахтиаров опять взял ее руку.

—А вы так меня не любите, вы меня обманываете,— проговорила она со слезами на глазах.

— С чего же это вы взяли? Я вас очень люблю,— проговорил лев и хотел Юлию взять за талию.

Но она быстро встала и перешла на другой конец комнаты.

— Я не хочу, чтобы вы так любили меня,— сказала она.

— Как же вы хотите? — спросил Бахтиаров.

— Я хочу, чтоб вы меня любили, как брат, как друг, чтоб вы только гуляли со мной, говорили; мы станем вместе читать, заниматься музыкой. Я вас люблю чистою любовью.

На слове «чистая любовь» Бахтиаров сделал гримасу.

— Adieu, madame[1],— проговорил он, взявшись за шляпу.

Юлия взглянула ему в глаза.

— Куда же вы? — спросила она.

— Куда-нибудь,— отвечал франт.— Я не могу вас видеть, я не должен даже вас видеть, потому что я слишком страстен, слишком люблю вас. В письме вашем вы гораздо более обнаружили чувств: стало быть, вы меня обманывали...

— Нет, я писала, что чувствовала, ты сам это очень хорошо знаешь.

— Adieu, madame,— проговорил опять Бахтиаров.

— Постой, выслушай меня,— сказала Юлия, взяв его

[1] Прощайте, сударыня, *(франц.)*

за руку,— разве это не любовь, что я о тебе только и думаю, что ты для меня я не знаю что такое?

— Право? — спросил Бахтиаров.

Приехавший от сестры Павел остановил дальнейшее развитие их объяснений. Бахтиаров успел уже пересесть в почтительное отдаление от хозяйки. Разговор не начинался, всем было неловко.

Павел на этот раз почти не обратил никакого внимания на то, что застал губернского льва наедине с женою, он думал о бедной Лизавете Васильевне, которая рассказала ему, что Бахтиаров перестал к ним ездить и прислал к ней письмо, которое она, против собственной своей воли, приняла и прочитала. Бахтиаров писал, что он отказывается от свидания с нею, потому что страсть его возрастает с каждым днем; что он уже долее не в состоянии владеть собою и готов, несмотря на ее холодность, при ее муже броситься к ее ногам и молить о любви. После этого письма Бахтиаров целую неделю не бывал у них. Лизавета Васильевна говорила, что она уже привыкла не видеть его, что Бахтиаров сделал это потому, что благороден и не хочет погубить ее. Сказав это, бедная женщина расплакалась и проплакала целый вечер.

XIV

СОПЕРНИЦЫ

Кураев, наконец, уехал в Петербург, а Павел определился на службу. Случилось это следующим образом: Владимир Андреич, как мы видели еще в первой главе, советовал зятю, не рассчитывая на профессорство, определиться к должности, а потом начал убеждать его сильнее и даже настаивать, говоря Павлу, что семейный человек не то, что холостой,— он должен трудиться каждую минуту и не имеет никакого права терять целые годы для слишком неверных надежд, что семьянину даже неприлично сидеть, как школьнику, за учебником.

— Павел Васильич,— говорил Владимир Андреич своим внушительным голосом,— мы вам отдали дочь не для того, чтобы она терпела нужду; тем более, от чего проистекает эта нужда? Извините меня, просто от вашей лености. Что вы теперь делаете? Ничего! Я вам должен прямо сказать: вы не можете быть профессором, вы,

верно, уже все перезабыли; но вы можете, и по вашим способностям и по вашему воспитанию, быть хорошим чиновником. Полноте, милый мой, выкиньте из головы ваши бредни и завтра же поедемте со мною к доброму и почтенному Назанову; он вас полюбит и выведет в люди.

Павел не возражал тестю, потому что в словах Владимира Андреича, пожалуй, было много и правды. Грустно и тошно сделалось моему герою, когда он попристальнее вгляделся в самого себя и свое положение: заниматься науками он действительно не мог; для чего же он трудился десять лет? Чем вознаграждены эти труды? В обществе он до сих пор не имеет никакого значения, а в домашней жизни... В домашней жизни он мог бы быть счастлив, но Юлия, жестокая Юлия, она решительно не любит его, она не может даже выслушать его, когда он начнет ей говорить о самом себе или даже о чем бы то ни было, не говоря уже о том счастье, которое могло бы возникнуть из взаимной любви, дружеских вечерних бесед, из этой обоюдной угодливости и проч. и проч. Ничего этого не было, а между тем нужда, этот бич даже счастливых супругов, начала уже ощутительно показываться в их жизни. Деньги были все прожиты, наделано тысячи три долгов, карета сломалась, одну лошадь совершенно испортили — все бы это следовало исправить, а на что? Денег всего пятьдесят рублей, которых едва достанет на неделю. «Бог с ним, с профессорством,— решил Павел,— определюсь на службу и стану трудиться».

Здесь я должен заметить, что при этих размышлениях Павлу, несмотря на всю его неопытность в практической жизни, невольно пришло в голову: отчего Владимир Андреич сам ничего не дал за дочерью, почему все заботы складывает на него, а в то же время решительно не оценивает ни его благородства, ни его любви к Юлии; что Владимиру Андреичу следовало бы прежде внушить дочери, чтобы она любила и уважала мужа, а потом уж и от него требовать строгого и предусмотрительного исполнения обязанностей семьянина.

Но, как бы то ни было, Павел решился служить и на другой же день объявил о своем намерении тестю. Тот сейчас же свез его к Назанову, занимавшему довольно значительное место, который, собственно из одного расположения к Владимиру Андреичу, после нескольких недель испытания и приготовления дал ему место столоначаль-

ника. Павел начал работать неутомимо: написанные им доклады и бумаги невольно кидались в глаза отчетливостью, краткостью и ясностью изложения; дела принятого им стола пошли гораздо быстрее и правильнее, одним словом, в какие-нибудь два или три месяца Бешметев успел заслужить, что называется, канцелярскую славу; начали даже поговаривать, что вряд ли начальство не готовит его в секретари. Все эти служебные подвиги герой мой совершил с величайшим усилием над самим собою, или, лучше сказать, над своим сердцем. Он был привычен и способен ко всякому занятию, но трудно было ему просиживать почти целые дни, не видавшись с Юлиею: он не знал, что она делает, а главное, его мучило подозрение, не сидит ли у ней Бахтиаров. Как бы желая рассеять себя, он еще прилежнее и внимательнее начинал работать целое утро, целый вечер до поздней ночи. Возвращаясь домой, находил Юлию постоянно печальною и чем-то расстроенною. Она тоже боролась с своим сердцем. Бахтиаров сдержал свое слово и не бывал у них. M-me Бешметева ровно две недели не давала волю этому бедному сердцу и только посылала к Бахтиарову то за книгами, то за нотами, который все это присылал к ней, но сам не являлся. Наконец, в ней не стало больше силы не видеть его; она написала к нему письмо, в котором умоляла его прийти к ней. Послание это отправлено было с тою же горничной.

Поутру в этот день случилось одно ничтожное и неважное происшествие, имевшее, как увидит читатель, довольно важное последствие. Юлия сбиралась ехать с визитами и велела себе, между прочим нарядом, подать тюлевый воротничок, который и был подан; но оказалось, что надеть этого воротничка не было никакой возможности, потому что он скверно вымыт и еще хуже того вытюжен. Юлия Владимировна очень рассердилась на горничную, которая, в оправдание свое, донесла госпоже, что воротничок этот мыла не она, а ключница Марфа. Юлия Владимировна позвала Марфу и спросила ее, как она смела так скверно вымыть. Старая и почтенная ключница, очень обижавшаяся тем, что ее заставляют, как простую прачку, полоскать всякую дрянь, объяснила, что она лучше мыть не умеет и что уже она стара, и потому с нее грех спрашивать, как с молоденькой. Юлия, конечно, еще более рассердилась за подобную дерзость и

закричала на Марфу, говоря, что она ее заставит мыть хорошо, и назвала ее, в заключение своего монолога, мерзавкою. Марфа с своей стороны тоже очень рассердилась и возразила госпоже, что она не мерзавка, что ее никогда так не называла — царство небесное! — старая барыня и что отчего-де Юлия Владимировна не спрашивает ничего с своего приданного человека, который будто бы уже скоро очумеет от сна, а требует только с людей барина, и что лучше бы-де привести с собою молодых горничных, да и распоряжаться ими.

— Вон пошла, скверная! — закричала Юлия Владимировна и плюнула.— Ах ты, негодная! Сегодня же заставлю Павла Васильича наказать тебя. Вон пошла, тебе говорят,— выгоните ее вон.

Марфа, не переставая говорить и расплакавшись, ушла в девичью, ворчала целое утро и не явилась даже к столу, говоря, что она оплеванная, а ввечеру отправилась к людям Лизаветы Васильевны. Юлия Владимировна была вспыльчива, но не зла. Когда возвратился Павел, она даже забыла рассказать ему про грубость Марфы, и, кажется, тем бы все и должно было кончиться; но Марфа сидела очень долго у прислуги Лизаветы Васильевны, жаловалась на барыню, рассказывала утреннее происшествие и, к слову, рассказала много кое-чего еще и другого, а именно, что барин хоть ничего и не видит, а барыня-то пришаливает с высоким барином, с Бахтиаровым, что у них переписка, что все будто бы за книжками посылает свою приданную дуру. Ан дело-то не то, вот и сегодня отправлена к нему записочка. Петрушка своими глазами видел в щелку, как они целовались.

— Ведь в него и наша-то влюблена,— заметила горничная Лизаветы Васильевны на слова Марфы и вечером, раздевая барыню, никак не утерпела, чтобы не рассказать ей новости, сообщенной Марфою, и с некоторыми даже прибавлениями. Лизавета Васильевна, выслушав весь этот рассказ, сначала вспыхнула, а потом страшно побледнела, как будто бы вся кровь бросилась к сердцу.

— Кто же это тебе наболтал? — спросила она.

— Ключница ихняя, она не станет врать; сегодня целый вечер сидела у нас и все, все, что ни есть, рассказала.

— Да отчего же они знают, что у них переписка?

— Ну как, матушка, не знать! Вот и сегодня послала свою горничную опять с записочкою.

— И сегодня? — едва могла выговорить Масурова.

— И сегодня,— отвечала горничная.— А этта так все за книжками будто бы посылала к нему, раза по два в день. Ну, а уж известно, какие книжки-то.

— Все это пустяки; у меня не смейте никому болтать,— проговорила Лизавета Васильевна и выслала горничную от себя.

Несколько минут она не могла прийти в себя, так поразила ее сообщенная горничною новость. «Неужели это правда? — думала она.— Неужели Бахтиаров обманывал ее? Неужели он такой интриган — он, который был при ней всегда так холоден со всеми другими женщинами? Неужели он влюблен в Юлию и интригует с нею? Нет, это не может быть: они из пустяков обыкновенно выводят свои заключения. Может быть, она так только приветлива с ним, как хозяйка; но эта переписка? Прислуге не придет в голову выдумать о переписке». Вот что думала Лизавета Васильевна, а между тем сердце ее разрывалось на части. Сила любви, говорит Жорж Занд, заключена в нас самих и никак не обусловливается достоинством любимого человека, которого мы сами украшаем из собственного воображения и таким образом любим в нем свой призрак. Лизавете Васильевне Бахтиаров казался чем-то выше всех других людей. Отторгнувшись от его исканий еще до замужества своего, отторгаясь и теперь от них вследствие нравственного инстинкта, она все-таки не переставала любить и уважать его. В своих отношениях с ним она видела что-то поэтически прекрасное; она воображала, что они оба страдальцы, родные по душе, но отторгнутые обстоятельствами, хотя и должны жить далеко друг от друга, но с непрестанною мыслью один о другом, с вечною и неизменною любовью. Вот что она думала прежде; но что же выходит теперь: он обманывал ее, как обманывал другую, третью; можно ли, любя одну, интриговать с другою? В состоянии ли, например, она не только полюбить другого мужчину,— но, боже мой! — даже подумать о другом, кроме него, тогда как он, может быть, теперь, в эту минуту, счастлив с другою, с которою смеется над нею и над ее любовью? Напрасно рассудок говорил бедной женщине, что это не должно ее беспокоить, что, отторгнувшись от Бахтиарова,

она не имеет никакого права обязывать его, как мужчину, на верность, что это даже лучше, потому что предохранит ее самое навсегда от падения. Но сердце не слушало, оно тосковало, грустило и ревновало. Приехал Михайло Николаич и, как обыкновенно, немного пьян; он начал было длинный рассказ о том, что кто-то без всяких уважительных причин прибил кого-то стулом. Но Лизавета Васильевна, ссылаясь на болезнь, просила мужа идти в свою комнату. Тот ушел, но только не в свою комнату, а велел заложить лошадь и опять куда-то уехал.

На другой день поутру, часу в двенадцатом, Масурова отправилась к брату. Я не мо́гу здесь умолчать о том, что единственной причиною этой поездки был рассказ горничной девки. «Я, верно, застану его у нее,— думала Лизавета Васильевна,— а если нет, то нарочно буду заговаривать о нем и увижу, как она будет себя вести». Приехав к Бешметевым и увидя у крыльца лошадь Бахтиарова, она тихо прошла лакейскую, в которой никого не было, и еще осторожнее пошла по зале. Дверь в гостиную была притворена, и оставалось небольшое отверстие. Лизавета Васильевна не могла утерпеть и, не входя в комнату, заглянула в щель. Все сомнения рушились: Бахтиаров сидел на диване рядом с Юлией, которая одною рукой, опирающейся на стол, поддерживала свою голову, а другою держала затянутую в перчатку руку льва. Она была грустна и в заметном волнении! Что же касается до Бахтиарова, то он тоже смотрел довольно пристально на Юлию, но с каким именно выражением, Масурова не могла уже заметить, потому что сама едва удержалась на ногах. Дрожащими руками схватилась она за косяк двери и несколько минут пробыла как бы в бессознательном состоянии. Придя несколько в себя, она отошла от двери, начала довольно громко кашлять и с этими уже предосторожностями вошла в гостиную. При входе ее хозяйка сидела у окна за пяльцами, Бахтиаров оставался на прежнем месте. Юлия в смущении поздоровалась с сестрой и просила ее сесть. Несколько минут продолжалось странное молчание.

— А брат где? — спросила, наконец, Лизавета Васильевна.

— Он на службе,— отвечала Юлия.— Как теперь ваше здоровье?

— Мне лучше.

Здесь разговор прекратился на несколько минут.

— Как здоровье Михайла Николаича?

— Он здоров.

И опять разговор прекратился.

— Какое у вас миленькое платье! Где брали?

— У Кривоногова.

— У него все товары со вкусом.

— Нельзя сказать!

Опять молчание, которое прервала уже Лизавета Васильевна.

— Что вы теперь поделываете? — спросила она.

— Ничего особенного, вышиваю подушку.

— А я так ужасно скучаю: книг совершенно нет. Вы, я слышала, ma soeur, берете книги у Александра Сергеича,— сказала Лизавета Васильевна, указав глазами на Бахтиарова.

При этом намеке Юлия вся вспыхнула. Что же касается до губернского льва, то в первую минуту он надулся, но потом на устах его появилась улыбка, как будто бы ему был приятен намек Масуровой. Возобновившийся потом, после непродолжительного молчания, разговор также как-то не вязался, но зато очень много говорили глаза: Бахтиаров, не говоривший почти ни слова, несколько минут пристально смотрел на Лизавету Васильевну, которая, видно, была не в состоянии вынести его взгляда и потупилась; Юлия, по-видимому, глядевшая на свою работу, в то же время прилежно следила за Бахтиаровым и, поймав его продолжительный взгляд на Масурову, посмотрела на него с немым укором. Губернский лев тотчас начал глядеть на потолок. Лизавета Васильевна, с своей стороны, тоже все видела и, наконец, встала.

— Куда же вы? — спросила Юлия тем тоном, которым обыкновенно говорят хозяева гостям, когда искренне желают, чтобы они поскорее убирались восвояси.

— Домой. Дети одни. Прощайте, ma soeur, adieu, monsieur,— проговорила Масурова и уехала.

Во всей этой сцене Масурова, как мы видели, по возможности владела собою. Но когда она возвратилась домой, силы ее оставили; бледная, истерзанная, упала она на кресло и долго сидела в таком положении, а потом позвала было к себе Костю, игравшего у окошка бумажною лошадкою, хотела ласкать его, заговаривала с ним, но все напрасно — слезы невольно текли по щекам ее. «Гос-

поди!» — проговорила она, оттолкнула от себя ребенка и ушла в свою комнату. Приехал Михайло Николаич и не мог добиться от жены ни одного слова. Она сидела задумавшись и, кажется, решительно не понимала и не видела, что происходит вокруг нее.

По отъезде Масуровой Бахтиаров и Юлия несколько минут молчали.

— Она все знает,— сказала, вздохнув, Бешметева.— Вот видишь ли,— продолжала она, устремив на Бахтиарова нежный взор,— что я еще сделала? — ничего, а между тем злые люди клевещут на меня. Но я теперь спокойна; совесть меня не укоряет; если бы даже и папенька узнал, я бы и тому сказала, что я люблю тебя, но люблю благородною любовью. Я не понимаю, что у вас, мужчин, за страсть отнимать у женщин спокойствие души, делая из них, чистых и прекрасных, каких-то гадких существ, которых вы сами будете после презирать.

Бахтиаров не обратил, кажется, должного внимания на этот прекрасный монолог, потому что занят был какими-то собственными соображениями, и при последних словах он встал и взялся за шляпу.

— Куда же? — спросила Юлия.

— Нужно. Надо поздравить одного именинника,— отвечал лев.

— Опять меня оставляешь, бог с тобой!

— Нужно. Увидимся.

— Скоро?

— Скоро.

— Постой, два слова. Было у тебя что-нибудь с Масуровой?

— Решительно ничего.

— Лжете вы, monsieur, она в вас влюблена по уши, а теперь ревнует.

— Ты думаешь?

— А ты не видишь будто бы... Ох, какой ты хитрец!

— Adieu,— проговорил франт и, как бы желая загладить свою холодность, взял руку Юлии и крепко поцеловал ее...

Долго, очень долго смотрела Юлия вслед ему и потом в раздумье села за пяльцы, но не могла вышивать, потому что в подобном состоянии только для вида садилась за работу.

Между тем Бахтиаров приехал домой. Здесь я считаю

себя обязанным представить читателю моему тот монолог, который произнес он сам с собою, ходя взад и вперед по своему залу. «Чудная эта женщина — Масурова,— думал он,— какие у ней прекрасные манеры! Насколько она лучше этой Бешметевой! А эта решительно дрянь: в каждом слове, в каждом ее движении так и лезет в глаза провинцией; покуда молчит, еще ничего: свежа... грудь хорошо развита... и, должно быть, довольно страстная женщина... Но Масурова... черт знает что за женщина. Вот три года, как я за ней ухаживал, и как она себя выдерживает! Не может же быть, чтобы это было одно кокетство; ну, а если это проистекает из нравственного чувства, из какого-то прирожденного благородства? Но страннее всего, я сам с нею теряюсь, я не могу быть ни решительным, ни настойчивым, делаюсь каким-то приторным воздыхателем, то есть отъявленным дураком. Сегодня она решительно ревнует. Давно бы мне схватиться за эту мысль. Притворюсь спокойным, заведу у ней под носом интригу, а женщины из ревности, что в переводе значит из самолюбия, решаются на все. Интереснее всего, что и эта госпожа Бешметева толкует о каком-то идеализме».

Затем губернский лев еще глубже начал вглядываться в свое сердце, и нижеследующие мысли родились в его голове: «Я просто ее люблю, как не любил ни одной еще в мире женщины. Как иначе объяснить, что я по целым вечерам припоминаю то время, когда она была еще девушкой? Что это было за умное и милое существо! Как был я счастлив, просиживая у них в их душных комнатах целые дни и наслаждаясь только тем, что глядел и любовался на нее! Даже теперь я женился бы на ней и, право, был бы, по возможности, счастлив. Мой расчет верен: какая и в настоящем своем положении она нежная мать и терпеливая жена».

Результатом этих размышлений было то, что Бахтиаров решился ехать к Масуровым.

Время до семи часов показалось ему очень долго; он беспрестанно глядел на часы и, наконец, не дождавшись, отправился в шесть с половиною. В расчете его было не застать Масурова дома, но, сверх ожидания, Михайло Николаич оказался налицо. Увидев Бахтиарова, он искренне обрадовался.

— А, ваше баронство! — вскричал Масуров.— Лиза! Барон приехал. Я вас все зову бароном; у вас в лице

есть что-то такое важное... баронское. Милости прошу. Мы с женою часто о вас говорим. Я вас уж с неделю не видал... Ну, думаю, мой барон, должно быть, какую-нибудь баронессу обхаживает.— Говоря таким образом, Масуров ввел своего гостя в гостиную. Прозвать приятеля бароном Михайло Николаич выдумал экспромтом, от радости, что его увидел. Лизавета Васильевна сидела за самоваром. Она поклонилась гостю довольно сухо.

— Честь имею представить вам господина барона,— говорил Масуров.— Прошу покорнейше к столу. Я надеюсь, что ваше баронство не откажет нам в чести выпить с нами чашку чаю. Милости прошу. Чаю нам, Лиза, самого сладкого, как, например, поцелуй любви! Что, важно сказано? Эх, черт возьми! Я когда-то ведь стихи писал. Помнишь, Лиза, как ты еще была невестой, я к тебе акростих написал:

Лицом прелестна, как богиня
Или как будто б сам амур,
За все, за все тебя я обожаю ныне,
А прежде все влюблялся в дур.

Этот акростих Михайло Николаич тоже создал экспромтом.

— Что, ведь недурно?.. Ну, а ваше баронство, вы, я думаю, переписали акростихов всякого рода: и к Катенькам, и к Машенькам, и к Лизанькам — ко всему женскому календарю. Нынче, впрочем, я очень начал любить Перепетую, потому что имя это носит драгоценная для меня особа, собственно моя тетка. На днях дала триста рублей взаймы. Что же вы трубки не курите? Малый, дай трубку, вычисти хорошенько, горячей водой промой, знаешь!.. Люблю я вас, Александр Сергеич, ей-богу, славный вы человек!

Бахтиаров поклонился.

— Право, ей-богу,— продолжал Масуров,— я очень склонен к дружбе. Будь я подлец, если не готов вот так, как теперь мы сидим, прожить десять лет в деревне. Жена... приятель,— черт возьми! Чего же больше?

Так говорил без умолку Масуров, очень обрадованный приездом Бахтиарова. Он потом рассказал, что в Малороссии даже и были такие два помещика и жили почти таким образом в деревне, один женатый, а другой холостой, и что прожили, кажется, двадцать лет, никуда не

выезжая. Бахтиаров заметно мало слушал хозяина, и все внимание его было обращено на хозяйку. Лизавета Васильевна занималась с сидевшим около нее Костей, с которым случилось весьма печальное приключение: он забил в рот огромный кусок кренделя, намоченный в горячем чае, и обжегся. «Выброси»,— говорила мать, но Костя не выпускал и со слезами на глазах продолжал управляться с горячим куском. Наконец, терпения не стало: он заплакал. Мать взяла его к себе на руки и утешала, говоря, что это ничего, что все прошло. Ребенок утешился и, став к матери на колени, начал с нею играть, заливался громким смехом и притопывал ножонками.

Вот на что смотрел с искренним чувством Бахтиаров.

— Юлия Владимировна приехала,— сказал вошедший слуга.

— А! — закричал Масуров и бросился встречать гостью.

Лизавета Васильевна взглянула на Бахтиарова и вышла в залу. В лице губернского льва ясно обозначилась досада.

Здесь я должен вернуться несколько назад. Бешметева, по отъезде Бахтиарова, осталась, как мы знаем, в странном состоянии духа. Ей очень хотелось скорей его опять увидеть и поговорить с ним. У ней едва достало терпения дождаться того времени, в которое Павел обыкновенно снова уходил в вечернее присутствие. Наконец время это пришло. Юлия тотчас же написала к Бахтиарову страшно страстную записку, в которой заклинала его прийти к ней на вечер. Воротившаяся горничная донесла, что Бахтиарова нет дома и что он сейчас куда-то уехал со двора. Юлия едва не умерла от досады. Но где ему быть? Куда он уехал? Неужели он отправился к Масуровым? И в сердце Юлии Владимировны забушевало то же чувство ревности, которое, за несколько часов, так сильно мучило Лизавету Васильевну, и она, подобно той, вздумала съездить к невестке и посмотреть, что там делается. Но на лошади уехал Павел. Нетерпение Юлии было слишком сильно. Она не в состоянии была даже подождать экипажа и пешком отправилась к Масуровым. Шла она, видно, очень быстро, потому что, придя в лакейскую, принуждена была сесть и едва уже переводила дыхание.

— Сестрица, прекраснейшая из всех сестриц! — гово-

рил Масуров, целуя ее руку.— Ужасно как я люблю целовать ваши ручки. Что это какие вы бледные? Не опять ли истерика?

— Нет, я пешком пришла... устала. Кто у вас?

— Никого нет, всё свои.

— Кто же?

— Один только Бахтиаров.

Юлия вздрогнула, но, впрочем, встала и пошла в залу, где ее встретила хозяйка.

— Вот как я вам скоро отплатила визит — даже пешком пришла. Павел уехал, но мне хотелось пройтись.

Войдя в гостиную, Юлия небрежно кивнула головой Бахтиарову и села на диван. Михайло Николаич не замедлил усесться близ нее.

— Помните, сестрица, как я вас снегом-то оттирал,— начал он.— Вы такие были тогда хорошенькие, что просто ужас...

— А теперь что же? — спросила Юлия.

— А теперь еще лучше — честное слово! Знаете что, сестрица, признаться вам? — продолжал Масуров.

— В чем признаться?

— Я в вас влюблен.

— Право? Отчего же вы давно мне этого не скажете? Бедненький! Мне вас очень жаль.

— А вы, я думаю, кузина, меня терпеть не можете?

— Напротив; вы сами у нас никогда не бываете.

Юлия Владимировна любезничала с Масуровым для того, чтобы досадить Бахтиарову, но, к вящему ее мучению, заметила, что тот почти не обращает на нее внимания и разговаривает вполголоса с Лизаветой Васильевной. Ей очень хотелось к ним прислушаться. Но голос Михайла Николаича заглушал все их слова.

Юлия справедливо желала послушать разговор Бахтиарова с Лизаветой Васильевной, который был весьма многозначителен.

— Я не мог исполнить своего слова и не видеть вас,— говорил вполголоса и с чувством Бахтиаров.

— Вы, верно, приехали к мужу,— отвечала тоже вполголоса Масурова.

— Нет, я приехал вас видеть.

— Merci.

— Позвольте мне опять бывать у вас, видеть вас хоть ненадолго, хоть на минуту.

— Как вы смешны, Бахтиаров!

— Чем же?

— Тем, что — говорите теперь...

Бахтиаров насупился. В это время на него взглянула Бешметева.

— Monsieur Бахтиаров, есть с вами лошадь? — спросила она.

— Есть,— отвечал тот.

— Довезите меня до дому — я пешком.

Бахтиаров несколько минут думал.

— С большим удовольствием,— отвечал он и отошел от Лизаветы Васильевны.

Здесь я должен заметить, что Юлия решилась на опасную и не весьма приличную поездку с Бахтиаровым с целью досадить Лизавете Васильевне. Тот, с своей стороны, согласился на это с удовольствием, имея в виду окончательно возбудить ревность в Масуровой.

После вышеописанной сцены всем сделалось как-то неловко: Лизавета Васильевна потупилась; Бахтиаров сел поодаль и продолжал по временам взглядывать на нее. Юлия была в тревожном состоянии и едва могла выслушивать любезности Масурова, который уверял ее, что он никому в мире так не завидует, как Павлу. Через четверть часа Юлия уехала вместе с Бахтиаровым. Масуров очень просил было взять его с собою и позволить ему встать на запятки; но запятки были заняты лакеем. M-me Бешметева села в экипаж, почти не помня себя от ревности. В противном случае, как я уже и прежде успел заметить, она никак бы не позволила себе сделать подобного неосторожного поступка.

— И после этого вы скажете, что у вас ничего нет с Масуровой? — сказала она, схватив своего обожателя за руку и крепко сжав ее.

— Что же такое у меня с ней?

— Как что? Зачем ты сегодня к ним приехал?

— Так, от нечего делать.

— Послушай, зачем ты меня обманываешь? Если не любишь, скажи мне прямо. Что у тебя за желание терзать и мучить бедную женщину, которая тебя боготворит?

После этих слов Юлия принялась потихоньку плакать.

— Перестаньте, Юлия; вы до безумия ревнивы,— говорил Бахтиаров.— Пойдемте, мы приехали.

Бешметева опомнилась.

— Где мы? — спросила она, заметив, что это был не их дом.

— Выходите, madame,— говорил вышедший уже Бахтиаров.

— Что ты хочешь со мной делать? — почти вскрикнула Юлия.— Ни за что... ни за что в свете! Лучше умру, а не пойду!

Бахтиаров пожал плечами и захлопнул дверцы экипажа.

— К Бешметевым,— сказал он кучеру и, не поклонившись Юлии, ушел в дом.

XV

ПАВЕЛ ВСЕ УЗНАЛ

Лизавета Васильевна сделалась больна. Болезнь ее была, видно, слишком серьезна, потому что даже сам Михайло Николаич, который никогда почти не замечал того, что делается с женою, на этот раз заметил и, совершенно растерявшись, как полоумный, побежал бегом к лекарю, вытащил того из ванны и, едва дав ему одеться, привез к больной. Врач этот пользовался в городе огромной известностью. Он был человек еще не старых лет, был немного педант в своем ремесле, то есть любил потолковать о болезнях и о способах своего лечения, выражаясь по преимуществу на французском языке, с которым, впрочем, был не слишком знаком. Он щупал несколько секунд пульс больной, прикладывался ухом к ее груди и потом с очень серьезным лицом вышел в гостиную, где, увидев Масурова с слезами на глазах, сказал:

— У ней воспаление в легких.

— Что же, это опасно? — спросил Масуров.

— Как вам сказать? — каков будет исход болезни; но вот видите, я бы желал, главное, знать основную причину болезни. Позвольте мне с вами переговорить.

— Сделайте милость,— отвечал Масуров.

— Во-первых, я вам объясню, что воспаление в легких есть двоякое: или чисто чахоточное, вследствие худосочия, и в таком случае оно более опасно, но есть воспаление простое, которое условливается простудою, геморроидальною посылкою крови или даже часто каким-нибудь нравственным потрясением, и в этом случае оно более излечимо; но дело в том, что при частом повторении

этих варварских воспалений может образоваться худосочие, то есть почти чахотка. Теперь позвольте вас спросить: супруга ваша золотушна?

На этот вопрос Михайло Николаич решительно ничего не мог отвечать.

— Не жаловалась ли она по крайней мере часто на грудную боль?

Михайло Николаич сказал, что жена больше жаловалась на головную боль.

Врач задумался.

— Не было ли у них прежде кашля, кровохарканья? — спросил он.

Михайло Николаич не знал и этого. Лизавета Васильевна никогда не говорила мужу о своих болезнях.

— Впрочем, я вам скажу,— продолжал доктор,— что способы лечения одинаковы, но мне хотелось бы основательнее узнать, потому что я поставляю себе за правило — золотушные субъекты, пораженные легочным воспалением, по исходе воспалительного периода излечивать радикально, то есть действовать против золотухи, исправлять самую почву.

Блеснув таким образом перед Масуровым медицинскими терминами, врач велел пустить больной кровь, поставить к левому боку шпанскую мушку и прописал какой-то рецепт.

Масуров всю ночь не спал, а поутру послал сказать Павлу, который тотчас же пришел к сестре. Михайло Николаич дня три сидел дома, хоть и видно было, что ему очень становилось скучно: он беспрестанно подходил к жене.

— Ну, ведь тебе лучше, Лиза? Ведь ты, по виду-то, ей-богу, совсем здорова. Хоть бы посидела, походила, а то все лежишь. Встань, душка: ведь лежать, ей-богу, хуже. Вот бы вышла в гостиную, посидела с братцем; а я бы съездил — мне ужасно нужно в одном месте побывать.

Лизавета Васильевна улыбалась.

— Да ты поезжай.

— Нет, душа моя,— я дал себе слово, покуда ты лежишь, ни шагу из дому. Павел Васильич, сделайте милость, сядемте в бостончик, я вас в две игры выучу, или вот что: давайте в штос — самая простая игра.

Павел не решался играть ни в бостончик, ни в банк, говоря, что он ненавидит карты. Михайло Николаич от

скуки принялся было возиться с Костей на полу, но и это запретил приехавший доктор, говоря, что шум вреден для больной. Масурову сделалось невыносимо скучно, так что он вышел в гостиную и лег на диван. Павлу, который обыкновенно очень мало говорил с зятем, наконец сделалось жаль его; он вышел к нему.

— Каким образом сестра захворала? — спросил Бешметев.

— Должно быть, простудилась,— отвечал Масуров,— я уж это и не помню как; только была у нас вот ваша Юлия Владимировна да Бахтиаров, вечером сидели; только она их пошла провожать. У Юлии-то Владимировны лошади, что ли, не было,— только она поехала вместе с ним в одном экипаже.

— С кем? — спросил, вспыхнув, Павел.

— С Бахтиа́ровым; а Лиза вышла провожать их на крыльцо, да, я думаю, с час и стояла на улице-то. Я и кричал ей несколько раз: «Что ты, Лиза, стоишь? Простудишься». «Ничего, говорит, мне душно в комнате». А оттуда пришла такая бледная и тотчас же легла.

— А в котором часу Юлия уехала? — спросил Павел.

— Да очень еще рано — только что мы чай отпили, ну, ведь вы знаете, весна, время сырое. Я помню, раз в полку, в весеннюю ночь, правду сказать, по любовным делишкам, знаете... да такую горячку схватил, что просто ужас. Ах, черт возьми! Эта любовь! Да ведь ужас и женщины-то! Они в этом отношении отчаяннее нас — в огонь, кажется, полезут!

Павел на этот раз очень недолго оставался у сестры и скоро ушел домой.

Прошла неделя. Лизавете Васильевне сделалось лучше. Доктор объявил, что воспаление перехвачено. Услышав, что у ней уже с полгода есть небольшое кровохарканье, и прекратив, как он выражался, сильное воспаление, он хотел приняться лечить ее радикально против золотухи. Между тем Павел день ото дня делался задумчивее и худел, он даже ничем почти не занимался в присутствии, сидел, потупя голову и закрыв лицо руками. Его мучила ревность... страшная, мучительная ревность. Случайно сказанные слова Масуровым, что Юлия уехала от них в одном экипаже с Бахтиаровым, не выходили у него из головы. Через несколько дней борьбы с самим собою он, наконец, решился спросить об этом жену.

— Вы на днях от сестры приехали с Бахтиаровым?

— Да, он довез меня в своем экипаже,— отвечала Юлия совершенно спокойным голосом.

«Или она дьявол, или она невинна! Я бы на ее месте при таком вопросе умер от стыда»,— подумал Павел и уже не расспрашивал более жены. Подозрения его еще более увеличились от некоторых вопросов Лизаветы Васильевны — так, например, она спрашивала: «Кто у них часто бывает? Нельзя ли Павлу переменить место и ехать в Петербург, потому что в здешнем городе все помешаны на сплетнях и интригах»,— а также и от некоторых замечаний ее, что Юлия еще очень молода и немного ветренна и что над нею надобно иметь внимательный надзор. Благородная Лизавета Васильевна была не в состоянии сказать брату прямо того, что она знала; но, с другой стороны, ей было жаль его, ей хотелось предостеречь его. «Но к чему это поведет? — думала она.— Может быть, зло пройдет, и он не узнает». А что думала о самой себе, на это может отвечать ее болезнь.

Наконец, у Павла недостало более силы переживать свои мучительные сомнения. «Скажу, что пойду на целый вечер к сестре, а сам возвращусь потихоньку домой,— он, верно, у ней,— и тогда... тогда надобно будет поступить решительно; но, боже мой! как бы я желал, чтоб это были одни пустые подозрения». Вот что думал герой мой, возвращаясь домой обедать. Придя к себе, он боялся взглянуть на Юлию: ему было совестно ее, ему казалось, что она уже знает его намерение и заранее оскорбляется им. Юлия была действительно в этот день чем-то очень встревожена.

— Ты рано ли сегодня придешь? — спросила она Павла.

— По обыкновению,— отвечал Павел.

У него едва достало силы проговорить это слово.

Читатель, конечно, догадывается, что Павел не занимался в присутствии своими делами и сидел насупившись.

— Зачем это вы, Павел Васильич, ходите, когда у вас голова болит? — сказал молодой писец.— И нам бы полегче было, и мы бы не пришли — у нас очень мало дел-то.

— Я сегодня уйду рано: у меня очень голова болит,— отвечал Павел.

— Павел Васильич, и мне нужно уйти, у меня дяденька именинник.

— Вишь какой подхалим, вечно выпросится,— подхватил другой, необыкновенно белокурый и страшно рябой писец.

Павел ушел через полчаса. Он шел домой быстро и, кажется, ничего ясно не сознавал и ничего определительно не чувствовал; только подойдя к дому, он остановился. Не лучше ли вернуться назад и остаться в счастливом неведении! Но как будто бы какая внешняя сила толкала его. «Что будет, то будет»,— подумал он и вошел в лакейскую, в твердом убеждении, что непременно застанет Юлию в объятиях Бахтиарова. Он прошел залу — в ней было темно; прошел гостиную — и там темно. Весь дом был пуст, только в девичьей светился огонек. Павел вошел туда.

— Никого нет дома? — спросил он.

— Никого-с,— отвечала, встав на ноги, Марфа.

Павлу очень хотелось спросить, где барыня, но он опять не решился.

— Дайте мне свечку в гостиную,— проговорил он каким-то странным голосом и вышел из девичьей.

Свеча была подана.

«Где же она? — подумал он.— Я непременно должен спросить: где она? Есть же на свете люди, которые сделали бы это не думав».

— Марфа! — закричал Павел необыкновенно громким голосом.

Марфа предстала.

— Есть какое-нибудь там вино?

— Есть, Павел Васильич,— мадеры, что ли, прикажете?

— Давай мадеры!

Марфа принесла целую бутылку и рюмку, но Павел потребовал стакан и, не переводя духу, выпил стакана три. Вино значительно прибавило энергии моему герою. Посидев несколько минут, он неровным шагом вошел в девичью и позвал Марфу в гостиную; Марфа вошла за ним с несколько испуганным лицом.

— Где барыня? — спросил Павел, не подымая глаз на служанку.

— Я не знаю, батюшка.

— Врешь, ты знаешь... где барыня?

— Батюшка, Павел Васильич! Наше дело рабское.

— Где барыня? — повторил Павел.

— Павел Васильич! Я маменьке вашей служила, я не могу вам льстить. Оне изволили уехать, батюшка Павел Васильич.

— Куда?

— Наше дело подчиненное, вы со мной можете все делать, а я скрыть не могу, потому что я маменьке вашей служила и вам служу.

— Куда же она уехала, тебя спрашивают?

— Оне изволили уехать, Павел Васильич, не в доброе место. Горько нам, батюшка Павел Васильич, мы не осмеливались только вам докладывать, а нам очень горько.

— Говори все!

— Если вы изволите приказывать, я не смею ослушаться,— оне изволят быть теперь у Бахтиарова. Я своими глазами видела — наши пролетки у его крыльца. Я кучеру-то говорю: «Злодей! Что ты делаешь? Куда барыню-то привез?» «Не твое, говорит, дело, старая чертовка»; даже еще выругал, разбойник. Нет, думаю я, злодеи этакие, не дам я господина своего срамить, тотчас же доложу, как приедет домой!

Через несколько минут Павел уж был близ квартиры Бахтиарова. Пролетка его действительно стояла у крыльца губернского льва. Кучер, разобидевший Марфу, полулежал на барском месте и мурлыкал тоненьким голоском: «Разлапушка-сударушка».

— С кем ты здесь? — проговорил Павел, быстро подойдя к нему, и толкнул его в бок.

Кучер вскочил, вытянулся и побледнел.

— С кем ты здесь? — повторил Павел.

— Я-с... на лошади-с...— отвечал кучер.

— Где барыня? — сказал Павел.

— Не могу знать, Павел Васильич,— отвечал кучер.

— Где барыня? — закричал уже Павел и, схватив кучера за ворот, начал с несвойственною ему силою его трясти.

— Батюшка Павел Васильич, я не могу ничего знать! Они изволили сюда уйти.

Павел выпустил его из рук и несколько минут глядел на него, как бы размышляя, убить ли его или оставить живым; потом, решившись на что-то, повернулся и быстрыми шагами пошел домой. Дорогой он прямиком прорезывал огромные лужи, наткнулся на лоток с калачами и свернул его, сшиб с ног какую-то нищую старуху и когда

вошел к себе в дом, то у него уж не было и шляпы. Кучер остался тоже в беспокойном раздумье...

— Вот что,— проговорил он, почесывая затылок,— пожалуй, ведь и в части высечет. Вот тебе и синенькая. Эка чертова оказия вышла!

Придя домой, Павел тотчас же написал к жене письмо следующего содержания:

«Я знаю, где вы. Там вы, с вашим любовником, конечно, счастливее, чем были с вашим мужем. Участь ваша решена: я вас не стесняю более, предоставляю вам полную свободу; вы можете оставаться там сегодня, завтра и всю жизнь. Через час я пришлю к вам ваши вещи. Я не хочу вас ни укорять, ни преследовать; может быть, я сам виноват, что осмелился искать вашей руки, и не знаю, по каким причинам, против вашего желания, получил ее».

Написав это письмо, Павел несколько минут сидел на одном месте, потом встал, быстро вошел в комнату матери, которая сделалась его кабинетом, и взглянул на бритвенный ящик... Но в это время что-то стукнуло. Павел вздрогнул, обернулся, и глаза его остановились на иконе божьей матери, перед которой так часто молилась его мать-старуха. Он бросился перед образом на колени. Выражение лица его умилилось, спасительные слезы полились из глаз. Долго, и как бы забыв все, молился Павел, а потом, заметно уже успокоившись, вышел в гостиную, позвал к себе горничную Юлии и велел ей собрать все вещи жены.

Чтобы хоть несколько оправдать совершенно неприличный поступок Юлии, я должен вернуться назад и объяснить нижеследующие обстоятельства.

Мы видели уже, как в последний раз расстался Бахтиаров с Юлией. В продолжение целой недели он не ездил к Бешметевым, но, видимо, беспокоился о здоровье Лизаветы Васильевны, потому что каждый день стороной наведывался о ней. Напрасно Юлия посылала к нему за книгами, писала к нему полные отчаяния записки: Бахтиаров книги присылал, но сам не ехал и приказывал сказать, что он болен и никуда не выезжает. «Я пойду к нему; для его здоровья я решусь на все! Пусть он поймет, как я его люблю,— может быть, он, бедненький, умирает теперь, и я должна забыть все». Приняв такое намерение, Юлия,

как и прежде, начала переживать муки ада. Не сознавая почти ясно того, что делает, призвала она кучера, дала ему ни с того ни с сего пять рублей на водку, а часов в шесть вечера, велев заложить лошадь и выехав из дому, приказала везти себя к Бахтиарову. Дорогой, впрочем, она придумала: «Приду, взгляну на него, скажу ему, что я пожертвовала для него всем, чтобы только видеть его, и тотчас же уеду домой».

Между тем как Юлия принимала и исполняла свое намерение, губернский лев, как говорится, проводил этот день глупо. Поутру он встал, от скуки ли, или от чего другого, в дурном расположении духа и часу до двенадцатого хандрил, а потом придумал, для рассеяния, угостить свою особу завтраком на крепкую руку. Вследствие чего призван был повар, который объявил, что у него готовится необыкновенного свойства бифштекс, который и был тотчас же спрошен, и к оному потребованы бутылки две вина. Часу ко второму пополудни все это было употреблено дочиста, а затем, пообедав, насколько достало сил, Бахтиаров под пасмурную погоду заснул и часу в шестом проснулся уже в совершенно дурном состоянии духа и с неимоверною жаждой, которую он и решился утолить холодным шампанским с сельтерскою водой. В это самое время лакей доложил, что приехала какая-то дама. Бахтиаров едва успел запахнуть надетое на нем широкое пальто, как явилась Юлия. Она вошла немного сценически, как входят трагические актрисы в последних актах драм.

— Ты, конечно, не ждал меня,— сказала она, беря франта за руку,— но я пришла, чтоб видеть тебя,— продолжала она, усаживаясь на диван и устремляя на льва отчаянно нежный взор.

Не знаю, что думал Бахтиаров; но только несколько минут он глядел на гостью с довольно странным выражением.

— Неужели ты и теперь сомневаешься в моей любви?

— Юлия! Я вас очень рад видеть,— проговорил, наконец, хозяин,— позвольте, впрочем, я скажу, чтобы никого не принимали.

И вслед за тем, вышед на несколько минут, он вернулся к своей гостье и уселся рядом с нею.

— Право, вы очень милы,— продолжал он,— что решились посетить меня в моей хандре. Долой вашу шляпу и давайте ваши ручки,— они удивительно хороши.

— Я к тебе на минуту; я хотела только тебя видеть, и прощай.

— Вот пустое! Куда вам торопиться-то? Кто может знать, что вы у меня?

— Я сама знаю, какие я глупости делаю, и никогда себе этого не прощу.

— Пустое вы говорите, Юлия! Какие это глупости. Малый! Давай нам скорей шампанское и воду. Выпейте со мною вина, я сегодня в удивительном расположении духа пить вино.

— Но ты ведь болен, друг мой,— может быть, тебе это будет вредно.

— Мне вино никогда не бывает вредно. Мы с вами будем пить вместе.

— Я не могу.

— Вот пустяки. А если я буду просить у вас как жертвы?

— Если требуешь как жертвы — изволь; но только сейчас же поедем ко мне.

— Хорошо.

Вино было подано.

В это самое время подано было также и письмо Павла к Юлии, которая, прочитав его, побледнела и передала Бахтиарову. Тот, в свою очередь, тоже заметно сконфузился.

— От кого же он узнал? — проговорил он после нескольких минут размышления.

— Я не знаю,— отвечала Юлия.

Бахтиаров вошел в залу. Стоявший в лакейской кучер объяснил ему все.

— Он сам здесь был у крыльца,— сказал Бахтиаров, возвратившись к совершенно растерявшейся Юлии.

— Что мне теперь делать? — спросила она.

— Вам надобно ехать.

— Я боюсь, Александр,— возразила Юлия,— поедем вместе со мной; скажем, что мы катались и я к тебе заехала на минуту.

— Вот прекрасно! Вы хотите, чтобы при вас же была дуэль.

— Ах, я боюсь, Александр!

— Что ж вы боитесь?

— Я не знаю. Я прежде его никогда не боялась. Если он меня убьет?

— Вот что выдумала! Много что побранитесь, еще сами прикрикните на него и скажите, в самом деле, что катались.

— Я скажу, что тебе дала лошадь, а сама где-нибудь была.

— Ну и чудесно.

Юлия встала, надела шляпку, но остановилась; ей, видно, очень не хотелось ехать.

— Ах, Александр! До чего ты меня довел! Что теперь со мною будет?

— Вы сами очень неосторожны, Юлия.

— Вот прекрасно! Я же виновата. Ты ужасный человек; ты решительно не понимаешь меня. Как же мне быть осторожной, когда я одним только тобою дышу, когда ты моя единственная радость? Я ненавижу моего мужа, я голоса его слышать не могу! Что же мне делать? Научи меня, как разлюбить тебя.

— Можно любить и быть более скрытною.

— Нет, Александр, я не могу скрываться, я сегодня же скажу ему, что я люблю тебя, и пусть он делает, что хочет,— пусть убьет меня, пусть прогонит. Я решительно не могу без тебя жить. Друг мой, милый мой! Возьми меня к себе, спаси меня от этого злодея; увези меня куда-нибудь,— я буду служить тебе, буду рабою твоею.

— Все это иллюзии; вы, Юлия, еще слишком молоды.

— Нет, друг мой, это не иллюзии, а любовь. Послушай, если муж меня прогонит, разве ты не обязан меня взять к себе? Разве ты уже не отнял теперь у меня доброго имени?

— Вам пора ехать, Юлия.

— Если он меня прогонит или будет кричать, я сегодня же приду к тебе. Я не в состоянии с ним жить.

Бахтиаров ни слова не сказал на это. После нескольких минут нерешительности Юлия уехала.

— Черт возьми! — проговорил сам с собою губернский лев.— Эта сумасшедшая женщина, пожалуй, навяжется мне на руки. Она совершенно как какая-нибудь романическая героиня из дурацкого романа. Надобно от нее решительно отвязаться. Я предчувствую, что она сегодня непременно придет. Уехать разве куда-нибудь? Так завтра приедет; надобно как-нибудь одним разом кончить. Напишу я к ней записку и отдам Жаку, чтобы вручил ей, когда пожалует. Даже комнаты велю запереть,

чтобы в дом не пускали, а то, пожалуй, усядется да станет дожидаться.

Решив таким образом, Бахтиаров тотчас же написал записку к Юлии:

«Я не могу принять вас к себе, потому что это повлечет новое зло. Муж ваш узнал,— следовательно, наши отношения не могут долее продолжаться. Увезти вас от него — значит погубить вас навек,— это было бы глупо и бесчестно с моей стороны. Образумьтесь и помиритесь с вашим мужем. Если он считает себя обиженным, то я всегда готов, как благородный человек, удовлетворить его».

Бахтиаров позвал человека, оделся, отдал ему записку и велел передать ее Юлии, если она приедет; про себя велел сказать, что он уехал на несколько дней и приказал запереть комнаты.

Догадливый Жак смекнул, в чем дело. Он тотчас же запер двери и, закурив сигарку, уселся на рундуке крыльца.

— Матушка Юлия Владимировна! Ваше высокоблагородие! Заступитесь за меня, сделайте божескую милость, примите все на себя: вам ведь ничего не будет. Я, мол, его через силу заставила. Ваше высокоблагородие! Заставьте за себя вечно бога молить!

Все это говорил кучер, везя Юлию домой, которая и сама была в таком тревожном состоянии, что, кажется, ничего не слышала и не понимала, что вокруг нее происходит; но, впрочем, приехав домой, она собралась с духом и довольно смело вошла в гостиную, где сидел Павел.

— Что это такое значит ваше письмо? — проговорила она, снимая шляпку и садясь на диван.

Павел, видно, не ожидавший жены, встал в недоумении при ее приходе, а при последних словах решительно остолбенел.

— Я ездила прокатиться и заехала к нему — велика важность! — У него часто бывают дамы.

— Юлия! Вы так молоды и так...— начал Павел.

— Что такое?

— И уж так бесстыдны!

— Сам ты, бесстыдный человек, выдумал какую историю! Мало ли чего вам наскажут ваши люди!

— Я вам писал и теперь повторяю: я не могу с вами жить.

Юлия посмотрела на мужа.

— Что ж! Вы хотите меня прогнать?

— Не прогнать, а предоставить вам полную свободу,— вы можете сейчас же ехать, куда вам угодно.

— Вы этого не можете сделать — я ваша жена, вы должны меня содержать.

— Я вас обеспечу, дам вам содержание, но жить с вами не хочу.

— Ах, боже мой! Как вы меня испугали! Я очень рада,— сделайте милость, только обеспечьте меня.

— Я это знал и потому прошу вас сейчас же ехать.

— Что такое?

— Я сейчас вас прошу выехать из моего дома.

— Куда ж я поеду?

— Куда угодно.

— Что ж, ты с ума сошел или пьян?

— Я не сошел с ума и не пьян, но повторяю вам, что вы должны сию же секунду оставить меня,— деньги и все ваши вещи собраны.

— Смотри, что выдумал; я думала, что он так говорит. Ах ты, дрянь!

— Вы можете браниться, сколько вам угодно, потому что такой женщине все прилично.

— Какая же я, по вашему мнению?

— Развратная и бесстыдная.

— Так вот же тебе за это! — вскрикнула Юлия и плюнула на мужа.

Павел побледнел и затрясся.

— Послушай, глупая женщина, я добр, но могу быть и бешен.

Глаза его горели, на губах показалась пена. Юлия отскочила и упала на кресло.

— Он меня убьет! Люди! Люди! Он меня убьет!

Прибежало несколько человек, но Павел был уже в зале и, схватив себя за волосы, как полоумный, прижался к косяку.

— Я не могу с ним жить, он меня убьет сегодня же ночью! Где мои вещи? Подайте их сюда! Я сейчас еду. Женился насильно, да еще убить хочет; я завтра же к па-

пеньке напишу письмо. Если б я даже любила Бахтиарова, что ж такое? Не тебя же любить. Благородный человек скрыл бы. Велите заложить лошадей, я сейчас еду, а завтра напишу папеньке письмо, бумагу подам и вытребую себе следующую часть.

— Вы будете получать и без бумаги приличное от меня содержание,— отвечал Павел из залы.

Юлия надела шляпку, забрала свои вещи и вместе с горничною куда-то уехала. Но через полчаса она явилась. И в этот раз она уже едва вошла в залу. Горничная вела ее под руку. Войдя в гостиную, Юлия приостановилась и, вырвавшись из рук служанки, совершенно без чувств упала на пол. Павел, услышав стук, вошел в гостиную и увидел Юлию почти мертвую на полу. Служанка бросилась принести спирт и позвать прочих, чтобы поднять барыню. Бешметев на этот раз решительно не обеспокоился обмороком жены и возвратился к себе в комнату.

Юлия пришла в себя, но истерическое состояние еще продолжалось. Она плакала навзрыд, и, несмотря на то, что стоны ее доходили до ожесточенного супруга, он не только не пришел к ней помириться, но, напротив, послал к ней горничную и велел спросить ее, когда она его оставит. Служанка не решалась передать этого барыне. Но Павел написал жене записку, в которой прямо просил ее выехать из его дома. Юлия на это отвечала ему словесно, что он дурак, что она, назло ему, нарочно не поедет и что если он хочет, так пусть сам убирается вон.

Этим объяснением кончился роковой для моих супругов день.

XVI

БАХТИАРОВ

До сих пор я имел честь представлять губернского льва или в обществе, или в его интересных беседах с дамами, или, наконец, излагал те отзывы, которые делали о нем эти дамы; следовательно, знакомил читателя с этим лицом по источникам весьма неверным, а потому считаю нелишним хотя вкратце проследить прошлую жизнь, в которой выработалась его представительная личность, столь опасная для местных супругов. Отец его

был помещик двух тысяч душ. До пятидесяти лет прожил он холостяком, успев в продолжение этого времени нажить основательную подагру и тысяч триста денег; имение свое держал он в порядке и не закладывал, развлекаясь обыкновенно псовой охотой и двумя или тремя доморощенными шутами, и, наконец, сбирал к себе раза по три в год всю свою огромную родню и задавал им на славу праздники. Но под старость, к ужасу своей родни, мечтавшей уже о грядущем после него наследстве, он женился на молоденькой француженке, жившей в гувернантках у его соседа. Первым и единственным плодом этого брака был наш губернский лев. Несмотря на обидные толки обманутой в ожиданиях родни, ребенок, заимствовав от матери черные глаза и нежную ко́жу, видимо, наследовал крепкие мышцы и длинный рост папеньки. Не минуло еще ребенку семи лет, как старик-отец умер. Бахтиарова тотчас же переехала в Петербург, чтобы заняться воспитанием сына. Еще десяти лет Саша, красивый как амур, щегольски танцевал всевозможные танцы, говорил на трех языках, ездил мастерски верхом и дрался на рапирах. Дальнейшее воспитание сына Бахтиарова вздумала докончить в Париже. Услышав это намерение, вся родня пришла в отчаяние, пророча, что сиротка сам непременно будет года через три парижским ветошником, потому что матушка, конечно, не замедлит промотать все состояние с каким-нибудь своим старым любовником. Злопророчество это отчасти начало сбываться, потому что Бахтиарова, тотчас же по приезде в Париж, отдала сына одному дальнему ее родственнику, профессору какой-то парижской школы, с видимою целью свободнее насладиться удовольствиями парижской жизни. Двадцать тысяч в один месяц утонуло в модных магазинах, и, может быть, к концу года к этому числу прибавился бы еще нуль, но судьба берегла сироту. Француженка простудилась на одном гулянье и умерла тифом. Саша остался в полном распоряжении своего наставника, который был по породе и по душе истый немец. Систему воспитания он имел свою, и довольно правильную: он полагал, что всякий человек до десяти лет должен быть на руках матери и воспитываться материально, то есть спать часов по двадцати в сутки, поедать неимоверное количество картофеля и для укрепления тела поиграть полчаса в сутки мячиком или в кегли, на одиннадцатом году посту-

пить к родителю или наставнику, под ферулой которого обязан выучить полупудовые грамматики и лексиконы древнего мира и десятка три всякого рода учебников; после этого, лет в восемнадцать, с появлением страстей, поступить в какой-нибудь германский университет, для того чтобы приобресть факультетское воспитание и насладиться жизнию.

Такого рода системе воспитания хотел подвергнуть почтенный профессор и сироту Бахтиарова; но, к несчастию, увидел, что это почти невозможно, потому что ребенок был уже четырнадцати лет и не знал еще ни одного древнего языка и, кроме того, оказывал решительную неспособность выучивать длинные уроки, а лет в пятнадцать, ровно тремя годами ранее против системы немца, начал обнаруживать явное присутствие страстей, потому что, несмотря на все предпринимаемые немцем меры, каждый почти вечер присутствовал за театральными кулисами, бегал по бульварам, знакомился со всеми соседними гризетками и, наконец, в один прекрасный вечер пойман был наставником в довольно двусмысленной сцене с молоденькой экономкой, взятою почтенным профессором в дом для собственного комфорта. Убедившись решительно последним обстоятельством в присутствии страстей в молодом воспитаннике, немец решился отправить его в один из германских университетов. Юноша, с своей стороны, очень этому обрадовался, потому что немец, а главное дело, его кухня, несмотря на привлекательную экономку, страшно ему надоели, и таким образом месяца через два он уже был в Германии.

Наставник снабдил Бахтиарова целою дюжиной рекомендательных писем к знаменитым ученостям. Но он не явился ни к одной из них и даже, может быть, не поступил бы и в университет, если бы еще существовавшая в то время бурша не подействовала сильно на его воображение. Он тотчас же переменил модный парижский фрак на полуиспанский колет, запасся лосиною курткой и рапирами, начал выпивать неимоверное количество пива, курить крепкий кнастер и волочиться за немками. Прошло два года. Бахтиаров по слуху узнал философские системы, понял дух римской истории, выучил несколько монологов Фауста; но, наконец, ему страшно надоели и туманная Германия, и бурша, и кнастер, и медхен; он решился ехать в Россию и тотчас же поступить

в кавалерийский полк,— и не более как через год из него вышел красивый, ловкий и довольно исполнительный офицер.

Обеспеченность состояния, прекрасные манеры и почти ученое воспитание сблизили Бахтиарова на дружескую ногу с некоторыми из его аристократических товарищей. Но честолюбивому корнету хотелось более — ему хотелось попасть в тот заветный круг, в котором жили его друзья, посмотреть поближе на тех милых женщин, о которых они беспрестанно говорили и в которых были влюблены. Его представили, но замечен он не был. Бахтиаров, впрочем, принадлежал к числу тех людей, которые не отступятся от своего намерения при первой неудаче. Он поклялся заставить себя заметить и с этой целию вздумал удивить Петербург богатством: покупал превосходные экипажи, переменял их через месяц, нанял огромную и богатую квартиру и начал давать своим породистым приятелям лукулловские обеды, обливая их с ног до головы шампанским и старым венгерским.

Слух о неимоверных издержках его достиг до будуаров, его стали замечать, остроумие его начало смешить; и таким образом прошло три года. Но между тем как честолюбивый корнет предавался обаяниям общества, в котором все так льстило его самолюбию, так приятно развлекало, так умно и так ловко умело заинтересовать и ум его и сердце, родительское состояние приходило к обычному концу, то есть к продаже за долги с аукционного торга. Бахтиаров был слишком умен, чтобы дойти донельзя. Рассчитав в одно прекрасное утро, что он уже никак не может жить долее таким образом, решился сразу переменить образ жизни и, убедя почти вполне своих приятелей, что он в сплину и что ему все надоело, скрылся из общества и принялся, для поправления ресурсов, составлять себе выгодную партию.

Звезда его еще не угасла. Он успел сыскать себе, сообразно с своими планами, невесту. Это была богатая купеческая вдова, некогда воспитанная, по воле родителей, в каком-то пансионе и потом, тоже по воле родителя, выданная за купца с бородою, который, впрочем, умер от удара, предоставив супруге три фабрики и до миллиона денег. Пять лет купчиха вдовствовала, питая постоянно искреннее желание выйти замуж за молодого, кра-

сивого и здорового офицера. Всеми этими качествами в избытке владел Бахтиаров, и потому не удивительно, что он очень скоро успел в своих исканиях и получил, по совершении брака, сверх титла супруга, тысяч пятьдесят на собственные его расходы. Как ни выгоден был этот брак, но все-таки честолюбие корнета, принадлежавшего некогда к иному кругу, должно было сильно пострадать; потому на другой же день брака, к ужасу богатой вдовы, он подал в отставку, с намерением тотчас же переехать в Москву. Как молодая супруга ни убеждала не снимать мундира, который к нему так шел, он его снял, и таким образом через несколько месяцев они переселились в Москву. Целый год для обоих прошел сносно. Бахтиаров развлекался в клубах, обедал в гостиницах, а остальное время выезжал рысаков и присутствовал на бегах. M-me Бахтиарова между тем наряжалась донельзя и ездила на всевозможные гулянья.

Наконец, все это надоело Бахтиарову; выпросив у жены всеми неправдами довольно значительную сумму, он разошелся с ней и решился переехать в провинцию. С этою целию он купил в той губернии, где мы первый раз с ним познакомились, имение и переехал туда, с намерением осуществлять на практике свои агрономические сведения. Но вышла неудача. Как поля ни отдыхали в шестипольной системе, как ни сеялся клевер, как ни укатывался овес — ни хлеба, ни овса, ни сена не только что не прибывало, но, напротив того, года через два агроном должен был еще с февраля месяца начать покупку хлеба и корма. Проклиная жестокий климат и дурную почву, Бахтиаров переселился в губернский город и с первого же появления в свете сделался постоянным и исключительным предметом разговоров губернских дам, что, конечно, было результатом его достоинств: привлекательную наружность его читатель уже знает, про французский, немецкий, английский языки и говорить нечего — он знал их в совершенстве; разговор его был, когда он хотел, необыкновенно занимателен и остроумен, по крайней мере в это верили, как в аксиому, все дамы. И в самом деле, Париж, например, он знал, как свою деревню, половину Германии пешком выходил и целые два года жил в лучшем петербургском обществе. Но я, как беспристрастный историк, должен здесь заметить, что с дамами он вообще обращался не с большим уважением, и одна только Лизавета Ва-

сильевна составляла для него как бы исключение, потому ли, что он не мог, несмотря на его старания, успеть в ней, или оттого, что он действительно понимал в ней истинные достоинства женщины, или, наконец, потому, что она и станом, и манерами, и даже лицом очень много походила на тех милых женщин, которых он видал когда-то в большом свете,— этого не мог решить себе даже сам Бахтиаров.

XVII

ДЕРЕВНЯ

На другой день после описанной мною между Павлом и Юлиею сцены оба они были больны. Бешметев, видя, что жена не хочет его оставить, решился сам от нее уехать, с благородным, впрочем, намерением — предоставить ей половину своего состояния. Приняв такое намерение, он еще ранним утром выпросился в отпуск, с тем чтобы на другой же день уехать, и велел Марфе сказать об этом жене. Лично они не видались. Юлия испугалась не на шутку. Разойтись с мужем! Но что об этом скажут в свете, а главное — как примет это Владимир Андреич? И, наконец, за что же он так с ней поступает? Что такое она сделала? Однако надобно было что-нибудь предпринять; Павел решительно собирался в деревню. Не просить же у него прощения! И кто теперь без папеньки внушит дураку? На этой самой мысли застала ее старинная наша знакомая Феоктиста Саввишна, которая только ей одной известными средствами уже знала все недавно описанное происшествие до малейших подробностей и в настоящее время пришла навестить людей в горе.

— Сейчас только услышала от вашей девушки, что вы не так здоровы,— говорила она, поздоровавшись с хозяйкой,— давно сбиралась зайти, да все некогда. У Маровых свадьба затевается; ну, ведь вы знаете: этот дом, после вашего папеньки, теперь, по моим чувствам, в глаза и за глаза можно сказать, для меня первый дом. Что с вами-то,— время-то сырое — простудились, верно?

— Я очень несчастлива, Феоктиста Саввишна,— отвечала Юлия, закрыв глаза.

— Что это, Юлия Владимировна, что такое с вами?

— Муж не хочет жить со мной.

— Павел Васильич? Да что это ему сделалось?

— Ревнует меня — нельзя мне шагу сделать: вчера поехала я кататься; вдруг ему пришло в голову, что я заезжала...

— Куда же это, он думает, вы заезжали?

— Ну, к этому мерзавцу Бахтиарову.

— Скажите, пожалуйста,— говорила Феоктиста Саввишна, качая головою,— какая ревность! Но, впрочем, я вам скажу, не огорчайтесь очень, Юлия Владимировна,— мужчины все таковы: им бы все самим делать, а нам бы ничего.

— Но он не хочет жить со мной,— перервала Юлия,— едет в деревню. Поговорите ему: что он, с ума, что ли, сошел, что благородные люди так не делают, что это подло, что он меня может ненавидеть, но все-таки пусть живет со мной, по крайней мере для людей,— я ему не помешаю ни в чем.

— Ой, Юлия Владимировна! Как вас можно ненавидеть?— Так, в горячности,— больше ничего. Извольте, я поговорю, только сначала сторонкой кой-что поразузнаю и сегодня же дам ответ. Вам бы давно ко мне прислать,— как вам не грех? Случилось этакое дело, а меня не требуете; вы знаете, как я предана вашему семейству — еще на днях получила от Владимира Андреича письмо: поручают старую коляску их кому-нибудь продать. До приятного свидания.

Выйдя от Бешметевых, Феоктиста Саввишна начала обдумывать свои действия во вновь предпринятом ею на себя подвиге. Она очень сожалела, что на этакий случай в городе нет Перепетуи Петровны, которая, рассердившись на племянника, все лето жила в деревне и даже на зиму не хотела приезжать в город, чтобы только не видеть семейного сраму, и которая, конечно бы, в этом деле приняла самое живое участие и помогла бы ей уговорить Павла. Но делать нечего. Сваха отправилась к Лизавете Васильевне: лично самой говорить Павлу она считала и неудобным и бесполезным.

Масуровой только что перед приходом Феоктисты Саввишны рассказала горничная, что случилось у Бешметевых. Она встревожилась и хотела послать за братом.

— Матушка, что это у ваших-то наделалось?— на-

чала прямо Феоктиста Саввишна.— Я сейчас от них, Юлия Владимировна в слезах, Павел Васильич огорчен,— и не видала его. Говорят, он совсем хочет уехать в деревню, а супругу оставить здесь. Сами посудите — ведь это развод, на что это похоже? Мало ли что бывает между мужем и женою, вы сами по себе знаете. А ведь вышло-то все из пустяков. Вчерась поехала кататься с этим вертопрахом Бахтиаровым.

Лизавете Васильевне было очень неприятно, что происшествие это знала уже и Феоктиста Саввишна, но делать было нечего.

— Я ничего хорошенько не слыхала,— отвечала она,— это, верно, какие-нибудь пустяки.

— Какое, матушка! Я сейчас от них,— возразила Феоктиста Саввишна,— Юлия Владимировна со слезами просила меня пересказать вам. «Вы знаете, говорит, как я люблю и уважаю сестрицу; я бы сама, говорит, сейчас к ней поехала, да не могу — очень расстроена. Попросите, чтобы она поговорила брату не делать этого. Ну, уж коли ему так хочется ехать в деревню, можно ехать вместе».

— Если брат думает ехать в деревню, то, конечно, поедет с женой,— отвечала Лизавета Васильевна.

— В том-то и дело, что хотят ехать одни; это-то и беспокоит Юлию Владимировну. Пошлите-ка за ним, родная, да поговорите с ним. Я бы ему сама сказала, да мое дело стороннее, как-то неловко. Я вот хоть тут за ширмами посижу, а вы ему поговорите.

— Когда же он хочет ехать?

— Да сегодня в ночь или завтра утром.

Лизавете Васильевне самой хотелось видеться с братом, но только без Феоктисты Саввишны. С другой же стороны, она знала, что госпожу Пономареву отклонить от какого бы то ни было дела, в котором она уже приняла участие, не было никакой возможности, а потому ограничилась только тем, что отослала сваху в мезонин к детям и тотчас же послала за братом. Прошел час, другой, третий — Павел не являлся. У деятельной Феоктисты Саввишны недостало терпения дожидаться, и потому она, отправившись, куда ей было нужно, обещала вечерком непременно забежать.

Часу в третьем пришел Павел.

Несколько минут брат и сестра молчали.

— Ты, братец, поссорился с женой?— спросила, наконец, Елизавета Васильевна.

Павел молчал.

— Ты не огорчайся, друг мой,— мало ли что бывает в семействе? Я с моим благоверным раза три в иной день побранюсь. Правда ли, что ты хочешь один ехать в деревню?

— Да, я сегодня в ночь еду.

— Один?

— Один.

— Не делай, братец, этого — это грех. Ты мужчина — должен быть великодушен.

— Я могу великодушно простить слабость, но никогда — порок.

— Но отчего же прощает мне мой муж?

— Какое сравнение!

— Одно и то же. Я также любила другого человека.

— Не говори мне этого, Лиза. Ты ангел.

— Хорошо, я не буду говорить, только дай мне слово ехать с ней вместе в деревню. Как хочешь понимай ее сам, но общественно ее бесславить ты не имеешь права, потому что сам женился на ней против ее воли.

Последние слова, кажется, очень поколебали решимость Павла.

— Мне трудно с ней жить, Лиза. Я теперь ее очень хорошо понял и больше не могу ее любить.

— Не говори, брат,— все время. Ты прежде ее любил, теперь не любишь, а после опять будешь. Так же и она прежде тебя не любила, а теперь полюбит. Поверь, мой друг, в браке связует нас бог, и этими узами мы не можем располагать по собственному произволу.

— Лиза, вели мне дать вина, мне очень грустно,— прервал вдруг Павел.

Лизавета Васильевна посмотрела с удивлением на брата и велела, впрочем, подать вина. Бешметев залпом выпил целый стакан.

— Целый год я приносил этой женщине жертвы,— начал он,— целый год она ничего не видела и не понимала; даже теперь, я уверен, она не раскаивается, а вот еще ты хочешь, чтобы я принес ей новую жертву.

— Не для нее, брат, но для меня — я тебе советовала жениться, и на моей совести ваше счастье.

— Я действительно неправ,— продолжал Павел,—

что женился наобум, не понимая ничего; но теперь я ее знаю. Вот что она такое, выслушай меня, Лиза: она необразованна, дурного характера, не любит, даже терпеть не может меня и, тяжело сказать, развратна. Должен ли я жить с ней?

— Должен. Мало этого, ты должен ее исправить: на твое попечение она отдана богом. Еще раз прошу тебя — прости ее и не оставляй.

— Изволь, Лиза, но только здесь я не могу оставаться: мне стыдно стен.

— И не оставайтесь, сегодня же поезжайте в деревню.

— Но я не могу с ней говорить.

— И не говори. Я ей напишу или велю сказать. Когда ты думаешь выехать?

— Завтрашний день.

Брат и сестра расстались.

Не более как через полчаса после ухода Павла явилась к Лизавете Васильевне Феоктиста Саввишна и, к удивлению своему, услышала, что у Бешметевых ничего особенного не было, что, может быть, они побранились, но что завтра утром оба вместе едут в деревню. Сваха была, впрочем, опытная женщина, обмануть ее было очень трудно. Она разом смекнула, что дело обделалось, как она желала, но только от нее скрывают, чем она очень оскорбилась, и потому, посидев недолго, отправилась к Бешметевой.

— Ну вот, матушка, дело-то все и обделалось, извольте-ка сбираться в деревню,— объявила она, придя к Бешметевой.— Ну уж, Юлия Владимировна, выдержала же я за вас стойку. Я ведь пошла отсюда к Лизавете Васильевне. Сначала было куды — так на стену и лезут... «Да что, говорю я, позвольте-ка вас спросить, Владимир-то Андреич еще не умер, приедет и из Петербурга, да вы, я говорю, с ним и не разделаетесь за этакое, что называется, бесчестие». Ну, и струсили. «Хорошо, говорят, только чтобы ехать в деревню».

— Я, пожалуй, в деревню поеду,— отвечала Юлия, которая сама чувствовала, что в городе ей оставаться не так-то ловко, тем более что может встретиться с ужасным Бахтиаровым.— Видели вы мужа? — спросила она.

— Как же, грустный такой: он ведь вас очень любит. Что, он теперь дома?

— Кажется, дома.

— А вот я с ним поговорю.— С этими словами Феоктиста Саввишна отправилась в комнату Павла.

— А вы в деревню изволите собираться, Павел Васильич,— надолго ли, отец мой?

— Не знаю.

— Да супруга-то с вами ли едет? — прибавила она вполголоса.— Оне что-то ничего не говорят.

— Мы оба едем,— отвечал Павел.

— Так-с, в коляске?

— В коляске.

Переговорив таким образом, сваха пришла к Юлии и посоветовала ей велеть горничной тотчас же укладываться. Таким образом, на другой день поутру супруги вышли, каждый из своей комнаты, не говоря друг с другом ни слова, сели в экипаж и отправились в путь.

Небольшая усадьба Бешметева не отличалась ни живописным местоположением, ни широким довольством капитальных помещичьих усадеб. Она была в страшной глуши, окружалась со всех сторон лесом и болотами. Небольшой барский дом, или, скорее, флигель, несколько людских строений, амбар, погреб, сарай да покосившаяся набок толчея — вот и все тут. В продолжение своего путешествия супруги мои, вместо того чтоб объясниться и яснее разузнать роковое для них происшествие, ни слова почти не сказали об этом и переговорили только о совершенно посторонних для них предметах,— так, например, о попавшемся им на пути скверном мосте, об очень худой корове, о какой-то необыкновенно живописной в стороне усадьбе, и, наконец, убеждали вместе хозяина постоялого двора, заломившего с них тройную цену за ночлег.

Приехав в усадьбу, они начали с того, что взяли себе совершенно отдельные комнаты, на противоположных концах дома, и каждый из них поместился в своем отделении по-своему. Юлия повесила на маленькие окна драпировку, расставила на комоде свои модные вещицы и, впялив канву, решилась вышивать какого-то длинноногого рыцаря. Что касается до Павла, то он разложил свои книги, в намерении заниматься. Между собой они видались только за столом, и то не всегда, и почти ничего не говорили друг с другом. Вот какова была внешняя жизнь Бешметевых, и, конечно, она была результатом то-

го, как они понимали друг друга. Юлия своею порочною изменою,— в пороке жены Павел нимало уже не сомневался,— эта некогда обожаемая Юлия в один мах упала с пьедестала, на котором герой мой прежде держал ее в своем воображении. Будь на месте Павла другой муж, более опытный в житейском деле, тот, без сомнения, предварительно разузнал бы все хорошенько и, убедившись, что ничего серьезного не было, не произвел бы, конечно, никакой тревоги, а заключил бы все дело приличным наставлением, при более грубом характере — двумя — тремя тузами коварному существу. Но не так взглянул на это Павел, пуританин по своим понятиям, образовавшимся в одностороннем воспитании, и изъятый сам от юношеских дурачеств своею вялою и флегматическою природою. В чувствах к жене он как-то раздвоился: свой призрак, видимый некогда в ней, он любил по-прежнему; но Юлию живую, с ее привычками, словами и действиями, он презирал и ненавидел, даже жить с ней остался потому только, что считал это своим долгом и обязанностию. Юлия, с своей стороны, еще более стала не любить Павла. В своих отношениях с Бахтиаровым она не видела ничего преступного; напротив того, она постоянно боролась и осталась верна мужу. Но так строго и за что же осудил ее этот безалаберный человек? Что такое она сделала? Ничего — она любила другого, но не его же, болвана, любить: он дурак, решила она и не хотела оставить его оттого только, что боялась общества и папеньки. К этим горьким размышлениям моей героини присоединялась еще страшная ненависть к Бахтиарову, о котором она не могла равнодушно вспомнить.

Прошла неделя, другая, третья и, наконец, месяц. Обоим супругам сделалось невыносимо скучно. Юлия решительно не знала, что делать: наскучившись, даже наплакавшись, она обыкновенно принималась вышивать рыцаря, у которого, вследствие того, в какие-нибудь две недели обозначились даже ноги и уже начиналась лежащая у этих ног собака. Павел, думавший заниматься, ничего не делал, но обыкновенно лежал и думал; предметом его размышлений были, по преимуществу, женитьба и Юлия. Он, как нарочно, вспоминал все не слишком чистые поступки Владимира Андреича, дававшего только советы и не сделавшего лично для дочери ничего; вспоминал все невнимание и даже жестокосердие, которое обнаружива-

ла Юлия в отношении к его больной матери, всю нелюбовь ее и даже неуважение, оказываемое ею в отношении его самого, наконец, ее грязную измену и то презрение, которое обнаруживал Бахтиаров к бесстыдной женщине. О поступке губернского льва с Юлией Павел был уведомлен от людей, с которыми он уже не стыдился говорить о жене. Герой мой, в своем желчном расположении, в бездействии и скуке, не замечая сам того, начал увеличивать обычную порцию вина, которое он прежде пил в весьма малом количестве. Обед был, как я и прежде замечал, единственное время, в которое супруги видались. К этому-то именно времени Павел и делался значительно навеселе. В подобном состоянии неприязненное чувство к жене возрастало в нем до ожесточения, и он ее начинал, как говорится, шпиговать.

— Что, Константин,— говорил, например, он, обращаясь к стоящему лакею,— не хочешь ли, братец, жениться?

— Никак нет-с, Павел Васильич,— отвечал тот.

— Отчего же, братец? Ничего — будет только на свете лишний дурак.

— Сохрани бог, Павел Васильич,— возражал лакей.

— Дал мне бог ум и другие способности,— рассуждал потом Павел вслух,— родители употребили последние крохи на мое образование, и что же я сделал для себя? Женился и приехал в деревню. Для этого достаточно было есть и спать, чтобы вырасти, а потом есть и спать, чтобы умереть.

— Кто же вас заставлял жениться? — возражала Юлия.

— Собственная глупость и неблагоприятная судьба.

Юлия пожимала только плечами.

— Сегодня именины у Портновых, и у них, верно, бал,— сказал однажды Бешметев.

В этот день он был даже пьян.

— Как вам, Юлия Владимировна, я думаю, хотелось бы туда попасть!

Юлия не отвечала мужу.

— Вы бы там увиделись и помирились с одним человеком; он бы вас довез в своем фаэтоне, а может быть, даже вы бы и к нему заехали и время бы провели преприятно.

Юлия не могла этого вынести и залилась слезами.

— Подлый и низкий человек! — в состоянии была только проговорить она и ушла к себе в комнату.

Целый день она после того плакала. Павел не обратил сначала внимания на слезы и уход жены; но, выспавшись, ему, видно, сделалось совестно своих слов: он спрашивал у людей, что делает жена. Ему отвечали, что лежит в постели, плачет и несколько раз принимала гофманские капли.

Дня три после этого супруги не видались. Юлия не могла понять, что сделалось с мужем. Она прежде была уверена, что он в нее влюблен, и поэтому она может делать все, что ей угодно, и что ей достаточно ласково взглянуть на него, чтобы осчастливить на целую неделю; но что ж выходит теперь? Он осмеливается ей делать беспрестанные обиды. Откуда в нем эта дерзость? Марфа разрешила ее сомнения.

— Не плачьте, матушка,— сказала она, утешая плачущую Юлию после одной новой выходки Павла,— ведь это он сказал так... не в своем разуме: хмельненек был маленько.

— Как хмельненек? Разве он пьет? — спросила Юлия.

— Пьет, матушка, и порядочно-таки этим занимается,— отвечала служанка.

— Господи! Только этого недоставало! — вскрикнула Юлия, всплеснув руками.— Он дурак, злой и пьяница; теперь он говорит колкости, а там и бить начнет.

Она решилась было написать обо всем к отцу, но потом раздумала: Владимир Андреич, вероятно, будет спрашивать Павла, а тот, уж конечно, напишет ему все, а этого ей очень не хотелось. Не зная решительно, что будет с нею вперед, она дала себе слово не уступать Павлу и на колкости его, насколько станет сил, отвечать бранью и угрозами. Таким образом, неприязненное расположение моих супругов друг к другу росло с каждым днем. Сколько оба они страдали, я не в состоянии описать. Оба худели и бледнели с каждым днем; для Юлии не проходило дня без слез, а Павел, добрый мой Павел, решительно сделался мизантропом. В обыкновенном состоянии он страдал и тосковал, а выпив, начинал проклинать себя, людей, жену и даже Лизавету Васильевну, с которою совершенно перестал переписываться и не отвечал ни слова на ее письма.

XVIII

СОСЕДКА

Между тем переезд Бешметевых в деревню послужил значительным предметом для толков. Молва о случившемся происшествии между Бешметевым и Бахтиаровым дошла до соседей прежде еще их приезда. История эта в различных местах рассказывалась различно. Одни говорили, что Юлия, влюбившись в Бахтиарова, ушла к нему ночью; муж, узнав об этом, пришел было за ней, но его выгнали, и он был столько глуп, что не в состоянии был ничего предпринять; что на другой день поутру Юлия возвратилась к мужу, потому что Бахтиаров, которому она, видно, наскучила, прогнал ее, и что теперь между ними все уже кончено. Более же подозрительные умы говорили, что интрига не кончена, что это только один отвод, что Бахтиаров скоро приедет к ним в деревню. Как бы то ни было, над Павлом все смеялись, а Юлию обвиняли в безнравственности. Дамы, особенно позначительнее, говорили вслух, что они даже не заплатят визита, если новая соседка вздумает приехать к ним. Но Бешметева ни с кем не знакомилась. «И прекрасно делает,— говорили те же дамы,— по крайней мере этим она доказывает, что она умная женщина и, понимая себя, не хочет собою компрометировать других». Впрочем, я должен сказать, что, несмотря на подобные обидные возгласы, были некоторые дамы, которым очень желалось познакомиться с Бешметевыми, особенно с тех пор, как все уже убедились, что новые соседи не думают знакомиться ни с кем.

По преимуществу это желание овладело одной почтенною помещицей и самою ближайшею соседкой Бешметевых, Катериной Михайловной Санич. Дама эта была уже старуха и с незапамятных годов вдовствовала в своей усадьбе, поправляя всю жизнь расстроенное покойным супругом состояние. Происхождения она была темного и, как говорил слух, выйдя весьма двусмысленно в Петербурге замуж за немолодого уже Санич, переехала с ним в деревню, привезя с собою и того времени столичные моды и столичный тон. С самого приезда обнаружила она мягкое к несчастиям ближних сердце и решительную наклонность протестовать против мнений соседей. Выго-

нял ли кто управляющего за пьянство и плутовство, спасалась ли жена от жестокосердого мужа, отказывала ли какая-нибудь дама молоденькой гувернантке за то, что ту почтил особенным вниманием супруг,— всех принимала к себе Санич и держала при себе, покуда судьба несчастных жертв не устраивалась. Услышав о приезде Бешметевых и о случившейся с ними неприятной истории и затем узнав, что деревенские дамы не хотят этой новой соседке заплатить даже визита, она начала с того, что во всеуслышание объявила нижеследующее свое решение: «Дама эта поступила дурно, но они не должны ее судить строго, потому что это может случиться со всякой, и потому она Бешметеву примет, сама к ней поедет; а как бы это ни показалось другим, для нее все равно».

— Верно, думает занять у них денег,— заметил один сосед, имевший наклонность каждый поступок человека перетолковывать в дурную сторону.

Желание, хотя и невысказанное, познакомиться с Бешметевыми разделяли также бедные дворянки, для получения законного права выносить на моих героев всевозможные сплетни, за которые они обыкновенно получают от своих покровителей место за столом и поношенные платья. Эти личности уже несколько раз порывались войти в дом Бешметевых, но Павел велел отказывать всем. Даже, может быть, добрейшей госпоже Санич не удалось бы исполнить ее христианского дела, познакомиться с Бешметевыми, если бы сама судьба не распорядилась таким образом, что знакомство это началось решительно без всякого ведома с той и другой стороны.

Юлия Владимировна приехала к обедне в свой приход, почтенная Санич была там и после обедни, как бы случайно, не замедлила подойти к Бешметевой. Разговор, как водится, начался с пустяков, с хорошей погоды; затем Катерина Михайловна была так любезна и внимательна, что Юлия разговорилась, ярко описала новой знакомой скуку деревенской жизни, к которой она еще совершенно не привыкла. Санич не преминула объяснить, что она очень хорошо знает Владимира Андреича и донельзя его уважает. Одним словом, дамы познакомились. Катерина Михайловна пригласила соседку, без церемонии, по-деревенски, для того только, чтобы провести еще несколько приятных часов в столь милом для нее знакомстве,— ехать к ней. Юлия, поблагодаря за ее лестное расположе-

ние, согласилась на предложение с удовольствием. Таким образом, обе дамы поехали в одном экипаже.

Здесь я должен объяснить, что милосердая Катерина Михайловна в это время дала приют в своем обширном доме одному безместному французу-гувернеру, которого завез в эту глушь один соседний помещик за довольно дорогую плату, но через две же недели отказал ему, говоря, что m-r Мишо (имя гувернера) умеет только выезжать лошадей, но никак не учить детей. Почтенный отец семейства до того желал отделаться от наставника, что даже отказался от данных ему вперед трехсот целковых и просил только m-r Мишо убираться, куда ему угодно. Гувернер был в весьма затруднительном положении; у него не было ни копейки, и я не знаю, чем бы все это для него кончилось, если бы милосердая Катерина Михайловна, узнав о новой жертве, не послала к нему тотчас лошадей с приглашением приехать к ней. Француз, разумеется, не замедлил согласиться и, предоставя о будущем заботиться своей судьбе, приехал и поселился весьма комфортабельно в нижнем этаже дома своей покровительницы, прося ее беспрестанно занять где-нибудь, хотя напрокат, сынка или дочку, которых бы он, по его словам, удивительно воспитал. Проживая таким образом, он обыкновенно рассказывал различные комеражи, происходившие в доме почтенного, но выгнавшего его помещика. Старуха помирала со смеху, слушая рассказы своего милого француза, который был действительно мил. Имел ли он, собственно, достоинства воспитателя, я не знаю; по крайней мере если их и имел, то тщательно скрывал таковые. Но зато он владел другими достоинствами, а именно: имел чисто французскую выразительную физиономию, был прекрасно одет, щегольски ездил верхом и мастерски стрелял, играл довольно недурно на фортепьяно, а главное — наделен был способностью болтать по целым дням на всевозможные тоны и насвистывать целые оперы, причем обыкновенно представлял оркестр, всех певцов и даже самый хор. По-русски m-r Мишо говорил чисто, что и заставляло думать, что вряд ли он и не родился в России; но, впрочем, сам он уверял, что произошел на свет на берегах Сены, и даже в Сен-Жерменском предместье, откуда для развлечения приехал в Россию и принялся образовывать юношество. Вот какого человека встретила Юлия в доме своей новой знакомой.

Старуха еще дорогой рассказала Бешметевой о своем милом жильце и, приехав, тотчас же познакомила их. Разговор сейчас завязался. M-r Мишо не замедлил пропеть комическим тоном несколько арий из «Лючии», представил оркестр из «Фра-Дьаволо», потом описал породу нормандских лошадей, описал также ужасное происшествие, постигшее один французский фрегат, попавший в плен к диким, и в заключение нарисовал карикатуру одного знакомого соседа. Юлии было невыразимо весело; она забыла свои неприятности, забыла мужа, смеялась и говорила беспрестанно. Милосердая хозяйка тоже покатывалась со смеху, слушая бесценного m-r Мишо, который не ограничился еще этим, но, перестроив себя на печальный лад, продекламировал несколько стихотворений из Виктора Гюго, причем, возведя очи к небу, вспомнил о своей невесте, будто бы два года тому назад умершей, и потом, расчувствовавшись, уселся за фортепьяно и проиграл две арии из Шуберта.

Таким образом, день прошел весьма скоро. Юлии не хотелось ехать; она готова была остаться тут еще день, неделю, месяц. Когда она села в экипаж, сердце ее замерло при одной мысли, что она после такого приятного общества должна воротиться в свою лачугу, встретиться с несносным супругом.

Приехав домой, впрочем, она не видала Павла и встретилась с ним уже на другой день за обедом. Бешметев даже не спросил жены, где она была целый день.

На третий день Юлия сама уже решилась сказать мужу, что завтрашний день приедет к ним отплатить визит Санич, с которою она познакомилась в прошлое воскресенье. Павел на это ничего не отвечал, но только на другой день, еще часу в десятом утра, уехал в город.

Катерина Михайловна приехала в четверг и, после обычных приветствий, спросила Юлию о муже. Бешметева несколько сконфузилась и нашлась только сказать, что Павел по очень нужным делам уехал в город, но что, приехав, он непременно приедет с нею представиться к Катерине Михайловне, которую он будто бы безмерно уважает. Просидев часа два, Санич уехала, взяв с Юлии честное слово быть у нее в следующее воскресенье. Юлия обещалась, решившись, впрочем, не везти мужа к новой знакомой, а если та спросит об нем, то солгать или на болезнь, или на что-нибудь подобное. Поэтому она ничего

и не говорила Павлу, который, приехав из города, вел себя по-прежнему, то есть целые дни не видался с женою, а за обедом говорил ей колкости. Юлия дала себе слово не обращать внимания на дурака и сносила все молча, даже не слушая того, что он говорит.

В следующее посещение Бешметевой к Санич француз превзошел сам себя; по крайней мере в отношении к Юлии он так был любезен, что та как бы невольно проговорила с ним целый вечер, и когда она собралась домой, то Мишо объявил ей решительное намерение провожать ее верхом и защищать в случае какой-либо опасности до последней капли крови. Сказано и сделано. До самых последних ворот француз галопировал подле коляски Бешметевой и при прощании объявил, что на днях же явится с визитом. Бешметева, не подумав, согласилась на это посещение; но, приехав домой, она вспомнила о Павле, об этом отвратительном Павле. «Что же такое? — подумала она.— Я ему скажу завтра решительно, и он, верно, куда-нибудь уедет. Не стеснять же себя для него на каждом шагу».

На этой мысли Юлия успокоилась.

XIX

ОТЪЕЗД

Павел, несмотря на то, что даже и не спросил Юлии о новом ее знакомстве с добрейшею Катериною Михайловною и милым m-r Мишо, знал уже все. Петрушка, подсмотревший некогда в щелку, как Юлия целовала Бахтиарова, подсмотрел и на этот раз и, как водится, сообщил в людской с всевозможными подробностями о посещении Юлиею соседки, о самой соседке и, наконец, и о ловком учителе. Все это подслушала Марфа и тем же вечером сообщила барину. Таким образом, Бешметев узнал, что Юлия целый вечер говорила по-французски с гувернером, что этот гувернер играл на фортепьянах, а Юлия Владимировна слушала, что, наконец, m-r Мишо провожал ее верхом до самых воротец в озимое поле. Для мнительного и решительно предубежденного против своей супруги моего героя было слишком достаточно. «Это, верно, новая интрига»,— решил он и дал себе слово на этот раз не быть таким дураком, как прежде, и не пу-

скать к себе этого нового мерзавца в дом. Приняв это намерение, он почти ни слова не говорил с женою и даже, во избежание неприятных с нею встреч, придумал уйти с раннего утра на целый день охотиться. M-r Мишо, как нарочно, приехал в этот день с первым визитом. Юлия, обрадованная тем, что гость приехал так кстати, то есть без мужа, встретила его очень любезно и, конечно, так же бы любезно провела с ним целый день, если бы не услышала часу в первом, что Павел воротился. Ожидая каждую секунду, что милый супруг войдет и, может быть, сочинит сцену, она совершенно растерялась, и потому, как m-r Мишо ни был занимателен и любезен, Юлия, ссылаясь на головную боль, сделалась молчалива и решительно не в состоянии была поддерживать разговор. Гувернер догадался и скоро уехал; на него произвела самое невыгодное впечатление нелюбезность хозяйки, которая, вместе с ее некомфортабельною гостиною, решительно уронила ее в его глазах. Он с первого свидания счел ее, по ее развязным манерам и умению выражаться на французском языке, дамою comme il faut[1], имеющею свой будуар с известными прихотями, хороший завтрак и цельное вино. Но что же вышло? Она живет только что не в кухне, ничего не дала ему пить и есть, а главное, была молчалива, как сова, при всей его любезности.

Здесь я должен объяснить, что Павел воротился домой совершенно случайно. Собравшись на охоту, он сыскал себе предварительно довольно опытного руководителя в особе соседнего мужика Фаддея, перебившего на своем веку бесчисленное множество пернатых и около полусотни медведей. Фаддей за любезное ему дело принялся, как и надобно ожидать от истого охотника, горячо, то есть провел моего героя верст пять по болоту, убил двух уток и одного даже бекаса и хотел уже вести барина еще далее, к месту, где, по его словам, была уйма рябчиков. Бешметев, вооруженный ружьем, был одним только жалким зрителем успехов своего спутника и устал до невероятности. Услышав, что ему предстоит отойти от дома еще верст пять, решительно отказался и возвратился домой через силу, с полным убеждением, что охота не может служить ему времяпрепровождением. Войдя в дом, он еще в лакейской заметил модное пальто и, не спраши-

[1] хорошего тона, *(франц.)*

вая, догадался, кому оно принадлежит. Он ограничился только тем, что посмотрел на ружье и, вернувшись к себе в комнату, бросил его на пол с такою силою, что ствол выскочил из ложи.

Однако надобно было что-нибудь предпринять: послать лакея сказать французу, чтоб он убирался, откуда пришел, или позвать Юлию и требовать от нее, чтоб она сейчас же выпроводила гостя, или, наконец, войти самому и оказать ему явную невежливость, например спросить его, зачем он пожаловал? Между тем как таким образом Павел, выходя из себя от досады и ревности, придумывал средства, какими следует выпроводить m-r Мишо, тот уехал, и потому герой мой решился все выместить на Юлии; вместе с тем, не замечая сам того, выпил несколько рюмок водки. Юлия не менее супруга была рассержена. «Господи,— говорила она сама с собою,— до чего довел меня этот урод? Я не могу принять постороннего человека в свой дом, провести два часа в неделю приятно. Он меня истерзает, живую положит в могилу».

С такого рода чувствованиями супруги сошлись к обеду и несколько минут не говорили друг с другом ни слова.

— Если сегодняшний господин,— начал Павел, обращаясь к лакею,— когда-нибудь приедет еще, то сказать ему, что его не велено пускать.

— Если Мишо приедет,— возразила Юлия, насколько стало у ней силы, решительным голосом,— то сказать ему, что я его принимаю.

— А я приказываю сказать,— перебил Павел,— что его не велено пускать,— слышишь ли? — а если не пойдет, так вытолкать его в шею! Кто хочет с ним видеться, так могут найти место в поле, на улице, у него в спальне, только не в моем доме.

В продолжение всей этой речи Павла Юлия дрожала и при последних словах, будучи не в состоянии ничего отвечать на несправедливую обиду, упала со стула в страшной истерике. Павел не бросился к жене, как он это делал прежде; он даже не позвал к ней на помощь и ушел к себе в комнату. С Юлией был неподдельный и сильный истерический припадок: она рыдала на целый дом. Несколько минут Павел сидел в каком-то ожесточенном состоянии и потом, видно, будучи не в состоянии слышать стоны жены, выбежал из дома и почти бегом пошел в поле, в луг, в лес, сам не зная куда и с какою

целью. Пробежав версты три, наконец утомился, упал на траву и, как малый ребенок, начал рыдать. Трудно перечислить и определить те чувствования, которые породили эти слезы; это были ревность, злоба, жалость, раскаяние, одним словом все то, что может составить для человека нравственный ад. Но отчего страдали и терзали друг друга эти два человека? Странно сказать, но оно справедливо. От одного только непонимания один другого, разницы в воспитании и решительной неопытности в практической жизни.

Между тем Юлия проплакалась. Слезы облегчили ее, и затем, несколько успокоившись, она решилась тотчас же ехать к Катерине Михайловне, рассказать ей все и просить у ней совета, что ей делать. Долее жить с Павлом, она уже видела, что для нее нет никакой возможности.

В это самое время милосердая Катерина Михайловна была в исключительно филантропическом расположении духа вследствие того, что ей принесли оброка до полуторы тысячи ассигнациями и неизвестно откуда явился кочующий по помещикам разносчик с красным товаром, и потому старуха придумывала, кому из горничных, которых было у ней до двух десятков, и что именно купить на новое платье, глубоко соображая в то же время, какой бы подарок сделать и милому m-r Мишо, для которого все предлагаемые в безграмотном реестре материи, начиная от английского трико до индийского кашемира, казались ей недостойными. В это самое время приехала Юлия. Катерина Михайловна обрадовалась до невероятности, выбежала встретить гостью еще в лакейскую и, заметив, что у Бешметевой заплаканы глаза и что она очень бледна, перепугалась и тотчас же спросила:

— Что с вами, бесценная моя? Вы больны или плакали? Боже мой! Не умер ли кто-нибудь из близких вам?

На этот радушный вопрос Юлия ни слова не отвечала и только, сжав руку у доброй Катерины Михайловны, просила отвести ее в отдаленную комнату и позволить поговорить с ней наедине. Просьба эта, конечно, сейчас же была исполнена. В самой отдаленной и даже темной комнате, предназначенной собственно для хранения гардероба старухи, Юлия со слезами рассказала хозяйке все свое горькое житье-бытье с супругом, который, по ее словам, был ни более ни менее, как пьяный разбойник, который, конечно, на днях убьет ее, и что она, только не желая огор-

чить папеньку, скрывала все это от него и от всех; но что теперь уже более не в состоянии,— и готова бежать хоть на край света и даже ехать к папеньке, но только не знает, как это сделать, потому что у ней нет ни копейки денег: мерзавец-муж обобрал у ней все ее состояние и промотал, и теперь у ней только брильянтовые серьги, фермуар и брошки, которые готова она кому-нибудь заложить, чтоб только уехать к отцу. Катерина Михайловна, исполненная, как известно моему читателю, глубокой симпатии ко всем страданиям человеческим, пролила предварительно обильные слезы; но потом пришла в истинный восторг, услышав, что у Юлии нет денег и что она свои полторы тысячи может употребить на такое христианское дело, то есть отдать их m-me Бешметевой для того, чтоб эта несчастная жертва могла сейчас же уехать к папеньке и никак не оставаться долее у злодея-мужа. Юлия, разумеется, на все это согласилась с удовольствием и благодарностию. Приняв такое намерение, обе дамы начали придумывать, как бы все это сделать без шума и без огласки. Катерина Михайловна решительно объявила, чтобы за вещами послали ее человека, а между тем сама хоть недельку бы у ней отдохнула и подкрепилась к такому дальнему вояжу. Юлия и на это согласилась. Послан был человек с запискою от Бешметевой к ее горничной, которой было поручено, забрав вещи Юлии, тотчас же приехать к Катерине Михайловне, а если будет спрашивать барин, так ему сказать, что она ничего не знает, а только ей так приказано.

Предпринятое дамами намерение они не открыли никому и даже m-r Мишо сказали только, что Юлия приехала к Катерине Михайловне на несколько дней. Француз с своей стороны, хотя уже и разочарованный в m-me Бешметевой, однако очень обрадовался, узнав, что она прогостит несколько времени у m-me Санич.

Чувство удовольствия одушевило еще более и без того уже довольно одушевленного m-r Мишо, поэтому в тот вечер он превзошел всякую меру любезности. Не говоря уже об анекдотах, о каламбурах, об оркестре из «Фенеллы», просвистанном им с малейшими подробностями, он представил даже бразильскую обезьяну, лезущую на дерево при виде человека, для чего и сам влез удивительно ловко на дверь, и, наконец, вечером усадил Юлию и Катерину Михайловну за стол, велев им воображать себя

девочками — m-me Санич беспамятною Катенькою, а Юлию шалуньей Юленькою и самого себя — надев предварительно чепец, очки и какую-то кацавейку старой экономки — их наставницею под именем m-me Гримардо, которая и преподает им урок, и затем начал им рассказывать нравственные анекдоты из детской книжки, укоряя беспрестанно Катеньку за беспамятство, а Юленьку за резвость. M-r Мишо так был мил в этой шутке, так уморительно гримасничал, что даже лакеи и горничные, выглядывавшие из-за дверей, не могли удержаться от смеха, а сама хозяйка и Юлия смеялись почти до истерики. Юлия не только не беспокоилась, но даже почти совсем забыла в этом приятном обществе свое неприятное положение, тем более что приехавшая горничная и привезшая ей вещи объявила, что Павел даже и не спросил, куда и зачем это везут.

Павла мы оставили бежавшим из дома от стонов и рыданий жены. Несколько успокоившись, он начал придумывать, каким бы образом помириться с Юлией, против которой он чувствовал себя на этот раз совершенно неправым. Но каким образом это сделать? Заговорить с ней? Но она, конечно, не будет отвечать. Прийти прямо и просить у ней прощения? Это смешно, да и он не в состоянии до того унизиться. Написать ей записку, в которой сказать ей, что он ее ревнует и просит ее, чтоб она откровенно призналась, если любит этого француза, и в таком случае предложить ей, не стесняя более ни себя, ни его, разъехаться, и что он, с своей стороны, предоставит ей полную свободу и даже часть состояния. С таким намерением возвратился он домой. Первый его вопрос был: что барыня? И каково же было его удивление, когда он услышал, что Юлия, которую он ожидал увидеть в страшной истерике или по крайней мере в слезах, вскоре же после его ухода уехала, и уехала к Санич, то есть к французу, а после того прислала записку к горничной, чтобы та привезла ей все вещи! Так, стало быть, все это притворство, комедия, и что теперь уже она вполне обличила себя, потому что уехала к Санич и требует свои вещи, вероятно с намерением бежать с Мишо. Что, если и этот обожатель поступит так же с этою безнравственною женщиною, как и Бахтиаров, то есть прогонит ее? Неужели же и на это новое бесчестие он должен смотреть равнодушно? «Лучше не останусь живой,— думал Павел,—

чем позволю ей переступить порог моего дома. Суди меня бог и люди, я с ней не буду более жить!» Решившись на это, Бешметев призвал Марфу и Константина и строго приказал им не пускать решительно жену, ни ее посланных в дом и не принимать никаких писем. То же было сказано и собравшейся горничной Юлии, которая, впрочем, как мы видели, не передала этого барыне. Подобное решение, видно, было слишком тяжело моему герою. С каким-то отчаянием бросился он на постель и, не смыкая глаз, пролежал целый вечер и целую ночь.

Посидев несколько минут, Юлия просила Катерину Михайловну позволить с ней поговорить наедине, которая, конечно, сейчас исполнила ее желание. Таким образом, обе дамы опять очутились в отдаленной и темной комнате, где Юлия начала умолять Санич завтрашний же день чем свет отпустить ее в Петербург, говоря, что она слышала, будто бы Павел хочет приехать и силою ее взять. Как ни жаль было добрейшей Катерине Михайловне расстаться с Юлией, но делать нечего; она сама очень хорошо понимала, какая может произойти неприятная история, если муж приедет и вздумает взять Юлию силою. Согласившись отпустить Бешметеву, она тотчас же принялась хлопотать об экипаже, собственно предназначенном для развозки несчастных жертв и в котором Юлия должна была доехать до губернского города. Юлия же, с своей стороны, приказала горничной укладывать все свои вещи. Все эти приготовления обе дамы делали со всевозможною скрытностию. Но m-r Мишо проведал и начал расспрашивать, что такое это значит, сначала людей, а потом приступил и к Катерине Михайловне, которая, для христианского дела, решилась даже солгать и объявила любопытному французу, что Юлия на несколько дней едет домой, потому что у ней болен муж, и что дня через три она возвратится к ней и уже прогостит целый месяц.

Вечер прошел довольно скучно; хозяйка грустила, что она должна будет расстаться с Юлией, которая должна одна, в таком ужасном положении, проехать такое длинное пространство, и, наконец, придумала сама проводить несчастную жертву хоть до губернского города. Юлия тоже не могла без ужаса себе представить, как поедет она одна, а главное, как примет папенька ее поступок. Француз был недоволен тем, что дамы что-то такое за-

мышляют и скрывают от него. Часов в десять все разошлись, Юлия с хозяйкой в ее спальню, а француз в свой нижний этаж. Катерина Михайловна, оставшись с Юлией наедине, начала с того, что подала Юлии полторы тысячи и очень обиделась, услышав, что та хочет дать ей в них расписку; а потом, когда Юлия хотела у ней поцеловать руку, она схватила ее в объятия и со слезами на глазах начала ее целовать и вслед за тем объявила, что сама она едет провожать ее до губернского города.

Еще m-r Мишо покоился мирным сном и даже видел очень приятные сны, как две дамы, с предварительными слезами и прощанием, уселись в экипаж и отправились в дальний путь.

XX

ОПЯТЬ РОДСТВЕННИЦА

В той же самой гостиной, в которой мы несколько лет тому назад познакомились с почтенною Перепетуей Петровной и ее знакомою Феоктистой Саввишной, они попрежнему сидели на диване, и по-прежнему Перепетуя Петровна была в трауре. Обе они тождественно пополнели, и разговор был между ними, как и прежде, на печальный лад.

— Легко сказать,— говорила Перепетуя Петровна,— в какие-нибудь три года перенесла я три потери.

— И говорить ничего не могу и утешать не смею,— перебила Феоктиста Саввишна,— одно только скажу: берегите себя. Что вы теперь остались? Круглая, можно сказать, сирота, а я по себе знаю, что такое одиночество, особенно для женщины, когда не видишь ни в ком опоры.

— Матушка моя,— возразила Перепетуя Петровна,— о прочих я не говорю: старики уже были; все мы должны ожидать одного конца. Но Павел-то, голубчик мой! Только бы, что называется, жить да радовать всех, только что в возмужалость начал приходить...

При последних словах старуха зарыдала.

— Полноте, Перепетуя Петровна, успокойтесь, умоляю вас, не кладите вы на себя руки, ведь это грех,— говорила Феоктиста Саввишна.

— Ох, господи боже мой! — отвечала Перепетуя Петровна.— Жила в деревне, ничего того не знала, не ве-

дала, слышу только, что была какая-то история, что переехали в усадьбу, и больше ничего. И вы вот, Феоктиста Саввишна,— бог с вами! — хоть бы строчку написали.

— Не говорите этого, Перепетуя Петровна, не претендуйте на меня,— перебила Феоктиста Саввишна,— вы знаете, я думаю, мой характер, где не мое дело, а особенно в семейных неприятностях, я никогда не вмешиваюсь; за это, можно сказать, все меня здесь и любят, потому что болтовни-то от меня пустой не слышат. Что я вам могла написать? Одно только огорчение доставить; так уж извините, как вы там хотите понимайте меня, а мне ваше-то здоровье дорого не меньше своего.

— Знаю, голубушка моя, все ваше расположение очень хорошо понимаю и ценю; да вы ведь знаете мою родственную любовь: самой себя, кажется, для их счастия не пожалела бы. Да вышло-то все не так, как не послушались старой тетки-то. Недели через две уже узнала, что она из деревни-то от него уехала. Что, думаю, мне делать? Однако написала к нему письмо, и письмо, знаете, этакое строгое: «Сейчас, пишу, приезжай ко мне». Не тут-то было: ни сам не едет, ни письма не шлет; я другое — и на это ничего; пишу в деревню к Лизе — та отвечает, что тоже ничего не знает и сбирается сама к нему ехать. Я — в город, к тому, к сему, вас тогда не было; никто ничего не знает. Вдруг, говорят, Владимир Андреич приехал, а на другой день и сам явился... Я так и обмерла: ну, сами посудите, каково было встретиться после этаких происшествий. «Что такое, говорит, почтеннейшая Перепетуя Петровна, ребятишки-то наши наделали?» — «Не знаю, говорю, батюшка, вам лучше должно быть известно».— «Все, говорит, пустяки: вам бы, Перепетуя Петровна, по родственному-то вашему расположению, тому и другому намылить голову, да еще и поучить, как надобно жить в супружестве; свою-то я уж поучил и привез ее теперь с собою, а со своим-то вы поуправьтесь, так дело и поправим. Мое, говорит, при отъезде было первое и последнее слово: слушайтесь и уважайте Перепетую Петровну».— «Нет, говорю, Владимир Андреич, я прежде и не это сказала, да знаете, какую неприятность получила, так благодарю покорно!»

— Какой, можно сказать,— перебила Феоктиста Саввишна,— Владимир Андреич примерный отец: из Петер-

бурга прискакал. Нынче родители-то выдадут дочку замуж, да и не думают — живи себе, как хотят.

— Кто говорит? — подхватила Перепетуя Петровна.— Конечно, человек умный, понимает все. Ах, боже мой! На чем я остановилась? Памяти совсем нет.

— Ну уж извините, и я не помню,— отвечала Феоктиста Саввишна,— нынче и я совсем растеряла соображение.

— Да вот, как Владимир Андреич ко мне приехал, сидим, разговариваем. Юлия Владимировна тоже приехала; ну, этакая, знаете, почтительная на этот раз, нечего сказать, очень довольна: целует руки, «тетенька, говорит, поучаствуйте в нашей жизни; мы, говорит, люди молодые». И придумали мы, сударыня ты моя, за ним послать экипаж — мою бричку, будто бы от меня. Только что мы этак решили, я еще не успела хорошенько заснуть — тоска такая; вдруг в полночь будят: что такое? Говорят, Константин приехал. Так и обмерла заранее. Является, и — знаете нашу прислугу, никакой ведь не имеют осторожности — с первого слова, ни с того ни с сего: «Павел Васильич приказал долго жить, третьего дня изволили скончаться». Ох, господи боже мой! Как сидела на постеле, так и упала, и только уж на другой день в состоянии была расспросить хорошенько. Холера, говорят, в полторы сутки свернула.

— Что мудреного? Что мудреного? У меня так четыре кухарки умерли. Как найму, так и умрет — на пьяниц она как-то все больше нападала.

— Известное дело: что уж у пьяного взять, и распотеет, и холодного напьется, и съест какую-нибудь дрянь. Всего вреднее грибы: я, признаться сказать, до них большая охотница, а в холеру-таки не ела.

— А что, Перепетуя Петровна, вам, по расположению вашему, сказать мне можно: правду ли говорят, что Павел Васильич испивал?

— Было, Феоктиста Саввишна,— отвечала со вздохом Перепетуя Петровна,— и порядочно было, особенно под конец; в семейных неприятностях закатит за галстук, да и пойдет, говорят, ее писать — такая и этакая, все отпоет: мало ли что ему, может быть, известно было, чего мы и не знаем. От этого, говорят, она его и оставила.

— Послушайте, Перепетуя Петровна,— перебила Феоктиста Саввишна,— они, должно быть, давно этого

ужасного порока придерживалась. Помните, как вы мне говорили еще задолго до свадьбы, что он уединение любит, я тогда, конечно, говорить не хотела, а сама с собой подумала: пьет, думаю, и пьет, должно быть запоем. У меня были этакие знакомые, на вид ничего, а пьют, и только этак благородного общества чуждаются, да кой-что еще заводят; этого-то я смертельно боялась: думаю, будет скоро и *это* — а убьет это Перепетую Петровну.

— Нет,— возразила Перепетуя Петровна,— этого-то бы я уже никак не допустила, сама бы своими руками расплескала рожу, хоть купчиха какая будь.

— Где, матушка, теперь Лизавета Васильевна?

— С мужем в деревне теперь живет; вы ведь, я думаю, слышали, им наследство досталось. И какой, можно сказать, благородный человек Михайло Николаич! Как только получил имение, тотчас же все на детей перевел; конечно, Лиза настояла, но другой бы не послушался. Она-то, голубушка моя, все хилеет, особенно после смерти брата.

— Как Павла-то Васильича имение теперь?

— Все жене отдал, еще при жизни сделал ей купчую. Владимир Андреич приезжает ко мне благодарить, а я, признаться сказать, прямо выпечатала ему: как бы, говорю, там ни понимали покойника, а он был добрый человек, дай бог Юлии Владимировне нажить мужа лучше его, пусть теперь за Бахтиарова пойдет, да и посмотрит.

— Да где его взять-то теперь? В Одессу уехал, провалиться бы ему с головой, проклятому! Не любила, сударыня, этого человека, точно разбойник какой! Скольким он, можно сказать, неприятностей сделал? Вот хоть бы, между нами сказать, вы ведь на меня не рассердитесь, как и Лизавету-то Васильевну он срамил!

— Не говорите лучше мне про этого мерзавца: чтобы околеть ему, проклятому!..

— Ведь этакой был, можно сказать, бесстыдный человек. После этой истории, как я слышала, начал опять ездить к Михайлу Николаичу. Хорошо, что ведь Лизавета-то Васильевна женщина с характером — просто не велела его пускать в дом, да и только; а то ведь, пожалуй, и тут что-нибудь бы было.

ПРИМЕЧАНИЯ

БОЯРЩИНА

Впервые роман напечатан в «Библиотеке для чтения» за 1858 год (кн. I и II).

Это первое крупное произведение Писемского имеет сложную творческую историю. Но восстановить ее ввиду отсутствия рукописей можно лишь в самых общих чертах.

Замысел «Боярщины» сложился, по-видимому, еще в студенческие годы писателя. Работа над романом продолжалась примерно с 1844 по 1846 год. Косвенным свидетельством этого является то разноречие в датах окончания «Боярщины», которое допускал сам Писемский. В «Библиотеке для чтения» он пометил «Боярщину» датой: «1844, сентября 30. Москва»; в издании Стелловского — уже иная дата: «1845 года. Сентября 30. Москва»,— а в письме к переводчику В. Дерели — третья: «...первая повесть, мною написанная еще в 1846 году, была «Боярщина» [1]. В своей автобиографии Писемский также указывает на 1846 год как на год окончания «Боярщины».

Этот разнобой в датировке не является результатом ошибок памяти. Скорее всего в нем отразилось отношение Писемского к различным стадиям работы над романом. Его первый вариант был написан, вероятно, еще в 1844 году. Подтверждение этому можно видеть в том, что герой романа «Люди сороковых годов» Павел Вихров, образ которого, по свидетельству самого Писемского, во многом является автобиографичным, еще на студенческой скамье сочинил резко обличительную повесть, горячо одобренную его товарищами. Летом и осенью 1845 года Писемский был в Москве. Очевидно, работа над повестью за истекший год не останавливалась. И то, что Писемский прочел своим московским друзьям, теперь, по-видимому, отличалось от слышанного ими год назад. Отсюда датировка повести 1845 годом.

Во время пребывания Писемского в Москве с «Боярщиной» ознакомился С. П. Шевырев. На основании его замечаний она была

[1] Письма, стр 390. Писемский постоянно колебался в определении жанра «Боярщины», называя ее то романом, то повестью.

еще раз переработана. «Повесть мою: «Виновата ли она?» — я, сообразно с вашими замечаниями, значительно изменил,— сообщал Писемский Шевыреву в письме от 13 марта 1847 года,— а именно: смягчил и облагородил, по возможности, многие сцены; а главное, обратил внимание на характер Ваньковского (мужа моей героини) и, если можно так выразиться, очеловечил его: Ваньковскому не удается уже произвести над женою следствия, повредить Шамилову; ему противодействует князь. Он бесится, страдает, пьет, вследствие последнего обстоятельства делается болен, и он уже жалок, хоть и ужасен»[1].

Сообщенные здесь подробности позволяют судить, каков был роман в том варианте, который посылался на отзыв Шевыреву, то есть в варианте 1845 года. В этой первой редакции роман — резко обличительное произведение в духе гоголевской реалистической школы. Не случайно Шевырев, ярый противник «натуральной» школы, потребовал «смягчения» обличительного пафоса романа, «очеловечения» главного персонажа — Ваньковского (в печатном варианте — Задор-Мановский).

В письме к Шевыреву Писемский высказал желание напечатать свой роман в одном из петербургских журналов: «Отечественных записках», «Современнике» или «Библиотеке для чтения» — и просил Шевырева помочь ему осуществить это желание. Послать роман прямо в редакцию одного из этих журналов он не решился, боясь, что его «даже не прочтут». Лишь через год роман был послан московскому представителю редакции «Отечественных записок» А. Д. Галахову, который переслал его издателю журнала А. А. Краевскому. Но даже в переработанном, «облагороженном» виде он не был пропущен цензурой.

Получив в ноябре 1850 года от Галахова запрещенный цензурой роман, Писемский предпринял попытку напечатать его в Москве. 26 декабря 1850 года он писал А. Н. Островскому: «Вот еще к вам одна моя просьба: вы, может быть, помните мою повесть: «Виновата ли она?» — Ее не пропустила петербургская цензура; но я отчасти переделаю ее, т. е. переменю заглавие, уничтожу резкие сцены; не пропустят ли ее в Москве. Я готов ее напечатать, где вам угодно,— в вашем альманахе, в Москвитянине, но только бы она не валялась; мне ее жаль, хотя я немного из нее и вырос»[2]. Однако роман и на этот раз не увидел света. Вероятнее всего, Писемский отказался от нового уничтожения «резких сцен», в результате которого роман утратил бы всякий смысл.

Писемский, отказавшись от мысли опубликовать роман, широко использовал его материалы в последующих своих произведениях. Причем использование зачастую носило характер простого перенесения целых эпизодов. Это и побудило Писемского при опубликовании «Боярщины» в «Библиотеке для чтения» дать следующее примечание: «Роман этот был мною написан десять лет тому назад. Не печатая его тогда, я смотрел на него как на материал и заимствовал из него для другого моего романа — «Богатый жених» одну

---

[1] Письма, стр. 24. «Виновата ли она?» — первоначальное заглавие романа. Оно было заменено новым — «Боярщина» — лишь в 1858 году при подготовке текста романа для публикации в «Библиотеке для чтения». Старое заглавие этого романа было присвоено Писемским другому своему произведению — повести «Виновата ли она?», напечатанной в «Современнике» за 1855 год (см. наст. том, стр. 214).

[2] Письма, стр. 31.

или две сцены, которые в настоящем случае изменять и вообще маскировать это дело я не считаю себя вправе» [1]. Однако журнальный текст «Богатого жениха» свидетельствует о том, что дело не ограничилось несколькими эпизодами. Один из центральных персонажей «Богатого жениха», Шамилов, был взят из романа «Боярщина», и даже в сильно переработанном для издания Стелловского тексте «Богатого жениха» Шамилов имеет много общего с Эльчаниновым. Другие персонажи «Богатого жениха» в журнальном тексте также непосредственно связаны с сюжетной схемой «Боярщины». Князь Сецкий в журнальном тексте не ревизующий сенатор, каким он показан в тексте издания Стелловского, а, подобно графу Сапеге, приехавший на отдых богатый помещик. В журнальном тексте «Богатого жениха» был племянник князя — Иван Александрыч, характеристика которого целиком совпадает с характеристикой Ивана Александрыча Гуликова из «Боярщины». Эти совпадения в тексте двух произведений вызвали позднее, при подготовке издания Стелловского, необходимость переработки «Богатого жениха».

Что касается романа «Боярщина» («Виновата ли она?»), то он, как это можно судить на основании признаний Писемского, перед печатанием в «Библиотеке для чтения» был еще раз переработан. «Денежная необходимость,— писал он Островскому,— заставила меня вспомнить мой первый роман «Виновата ли она?» Я прочитал его совершенно, как чужое произведение — и он мне понравился: мне уже теперь с таким запалом не написать — много, конечно, в нем совершенно драло мои уши, как, например, вся похабщина, которую я где совсем вырвал, где смягчил, не веря, впрочем себе, стал читать редакторству и критикам — все хвалят и «Библиотека для чтения», если только Фрейганг пропустит... дает мне за него 3 000 рублей сереб.— сумма, которая меня обеспечит более, чем на год, и даст мне хоть некоторое время не думать о проклятых деньгах» [2].

То, что в этой оценке своего первого крупного произведения Писемский отметил прежде всего молодой «запал», позволяет предполагать, что он теперь, в 1857 году, обратился не к той редакции «Боярщины», которая сложилась в 1846 году в результате переработки по советам и замечаниям Шевырева, а к более ранней — 1844—1845 годов. Этим, на наш взгляд, и объясняется дата окончания повести; 30 сентября 1844 года,—которая поставлена под текстом первой публикации «Боярщины» в «Библиотеке для чтения». На самом деле, если сравнить печатную редакцию повести с той редакцией, которая охарактеризована и отчасти изложена в цитированном выше письме к Шевыреву, то нетрудно заметить разницу между ними. В письме говорится о том, что «очеловеченному» Ваньковскому (в печатном тексте — Задор-Мановский) не удается уже произвести над женою следствие; ему противодействует князь». В печатном тексте «Боярщины» (глава V, часть вторая) описывается как раз следствие, производимое исправником по прошению Задор-Мановского. От личной встречи со следователем Анну Павловну спасает не князь, а Савелий. Задор-Мановскому не удается вследствие противодействия графа Сапеги добиться лишь врачеб-

---

[1] «Библиотека для чтения», 1858, т. CXVII, кн. 1, стр. 1.
[2] Письма, стр. 109.

ного освидетельствования якобы забеременевшей Анны Павловны. Далее. В письме к Шевыреву сообщается, что Ваньковский «бесится, страдает, пьет, вследствие последнего обстоятельства делается болен, и он уже жалок, хоть и ужасен». В печатной редакции Задор-Мановский вовсе не впадает в запой. В десятой главе второй части, как бы специально в опровержение редакции 1846 года, рассказывается, что после неудачного визита к губернатору Задор-Мановский «ничего почти не ел, а все пил воду». Заболевает он не от запоя, как это было в редакции 1846 года: в результате сильного раздражения его разбил паралич. Все это не имеет ничего общего с тем «очеловечением» мужа Анны Павловны, о котором читаем в письме к Шевыреву. В печатной редакции перед нами не обиженный муж, впавший в запой от тоски по жене, а деспот, обдуманно преследующий «распутную» жену, решивший (если уже нельзя сделать с ней ничего более жестокого) развестись с ней. «Человечность» же разбитого параличом Задор-Мановского только еще более подчеркивает его бесчеловечность в «нормальном» состоянии. Это как раз такой образ, который не мог не вызвать осуждения Шевырева, то есть образ, еще не подвергнутый переделке по советам закоренелого противника гоголевской реалистической школы

В письме к Шевыреву Писемский указывает еще на одну деталь, введенную в текст для того, чтобы «смягчить и облагородить» роман: противодействие князя Ваньковскому. Трудно судить, как развивалось это противодействие в редакции 1846 года, но в печатной редакции романа это «противодействие» не только не «смягчает» общего мрачного колорита, а, наоборот, еще больше сгущает краски.

Сопоставление печатной редакции «Боярщины» с редакцией, которая охарактеризована в письме к Шевыреву, позволяет также сделать вывод, что образ князя Сецкого в «Богатом женихе» непосредственно связан с образом князя из романа «Боярщина» в редакции 1846 года. Кроме того, это сопоставление указывает на более тесную связь «Боярщины» в редакции 1846 года с напечатанной в 1855 году в «Современнике» повестью «Виновата ли она?». В композиции последней Иван Кузьмич Марасеев занимает место, сходное с местом Ваньковского (Задор-Мановский в печатной редакции), и переживает ту же эволюцию, какая пересказана в письме к Шевыреву. Он действительно пьет и «вследствие последнего обстоятельства делается болен», а потом даже примиряется с женой.

Таким образом, история создания первого крупного произведения Писемского представляется в таком виде: в 1844—1845 годах была написана первая его редакция, выдержанная в духе «натуральной» школы. Под влиянием критики Шевырева в 1846 году роман был переработан, в результате чего критическая заостренность некоторых образов была в известной мере притуплена. Из редакции 1846 года Писемский и брал материалы для «Богатого жениха» и отчасти для повести «Виновата ли она?». Перерабатывая «Боярщину» для «Библиотеки для чтения», Писемский вернулся к редакции 1844—1845 годов. Поэтому «Боярщина» в печатной редакции достаточно полно характеризует начало творческого пути Писемского.

При подготовке «Боярщины» для издания Стелловского Писемский ограничился лишь стилистической правкой, не внеся в текст повести сколько-нибудь существенных изменений.

«Боярщина» в отличие от большинства крупных произведений Писемского, опубликованных в 50-х годах, не обратила на себя внимания критиков. Это произошло прежде всего потому, что общественные вопросы, затронутые в ней, были с достаточной полнотой и убедительностью поставлены и освещены в произведениях Писемского, опубликованных еще в первой половине 50-х годов. Даже Д. И. Писарев, иногда склонный преувеличивать общественное значение творчества Писемского, в своей статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» как бы мимоходом упоминает всего лишь об одном персонаже «Боярщины» — об Эльчанинове. Свою характеристику отношения Писемского к типу «лишнего» человека Писарев основывает на анализе образа Шамилова («Богатый жених»). Но Писарев не видел никакой существенной разницы в характере этих персонажей, поэтому его оценка Шамилова вполне приложима и к Эльчанинову. Сопоставляя Рудиных, с одной стороны, и Эльчаниновых и Шамиловых — с другой, он писал: «Рудин — человек очень недюжинный по своим способностям, но он постоянно собирается сделать какой-то фокус, перескочить á pieds joints[1] через все препятствия и дрязги жизни... деятельность обыкновенного работника мысли ему сподручна, да вот, видите ли, он—белоручка, он ее знать не хочет; ему подавайте такое дело, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его в восторженном состоянии; он черновой работы не терпит, потому что считает себя выше ее. Эльчанинов и Шамилов, напротив того, представляют собою полнейшую посредственность; они даже в мечтах своих слишком высоко не забирают; им с трудом достаются даже такие рядовые результаты, как кандидатский экзамен; они — просто лентяи, не решающиеся сознаться самим себе в причине своих неудач»[2].

В своей статье Писарев с удовлетворением отметил резко отрицательное отношение Писемского к людям типа Эльчаниновых и Шамиловых: «Надо отдать Писемскому полную справедливость: он раздавил, втоптал в грязь дрянной тип драпирующегося фразера»[3].

Необходимо иметь в виду, что «Боярщина» появилась в свет одновременно с романом «Тысяча душ». Естественно, что этот большой роман, в котором были подняты самые злободневные вопросы общественной борьбы второй половины 50-х годов, затмил «Боярщину».

В настоящем издании роман печатается по тексту: «Сочинения А. Ф. Писемского», издание Ф. Стелловского, СПб., 1861 г., с исправлениями опечаток по предшествующим изданиям.

Стр. 53. *Притоманное* — коренное, привычное.

Стр. 61. *В терновом капоте* — в капоте, сшитом из тонкой шерстяной, с примесью пуха, ткани — терно.

Стр. 73. *Лаура* — имя возлюбленной знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374), воспетой им в сонетах.

Стр. 74. *Смольный монастырь* — привилегированное женское учебное заведение в Петербурге — институт «благородных девиц».

Стр. 79. *С отрадой тайною и тайным содроганьем...* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ребенку».

Стр. 102. *О женщины! Ничтожество вам имя!* — цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

---

[1] Со связанными ногами (франц.).
[2] Д. И. Писарев. Сочинения, т. I. М. 1955, стр. 217—218.
[3] Там же, стр. 220.

Стр. 104. *Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно...*— искаженные слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 121. *Кетчер,* Николай Христофорович (1809—1886) — врач по профессии, поэт и переводчик. В 40-х годах был близок к кругу литераторов, группировавшихся вокруг В. Г. Белинского и А. И. Герцена.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — великий русский актер, один из основоположников реализма на русской сцене.

Стр. 126. *Похймости* — поворожи, поколдуй; здесь — постарайся исправить.

Стр. 145. *«Я мертвецу святыней слова обречена!»* — искаженные строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца».

ВИНОВАТА ЛИ ОНА?

Впервые повесть напечатана в «Современнике» за 1855 год (т. XLIX, № 2, февраль).

В издании Стелловского повесть датирована 3 января 1855 года. Эта повесть связана с первым, запрещенным цензурой романом Писемского «Боярщина» (первоначальное его заглавие — «Виновата ли она?»). Работая над предназначенной для «Современника» повестью, Писемский использовал некоторые материалы своего раннего, тогда еще не опубликованного романа. Так, фамилия одного из персонажей первой редакции «Боярщины» — Ваньковский — была присвоена отцу героини повести «Виновата ли она?». Кроме того, опубликованную в «Современнике» повесть сближает с первым романом Писемского и то, что в ней, как и в романе, основной причиной несчастий героини является разорение родителей. Эти факты дают основание предполагать, что Писемский начал работу над повестью вскоре после того, как узнал, что роман «Боярщина» («Виновата ли она?») запрещен цензурой. В декабре 1853 года в письме к издателям «Современника» И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову он упомянул о повести, как о законченной: «Виновата ли она?» я при неприятностях и хлопотах не успел поправить, как мне хочется, но в конце будущего месяца или в начале февраля,— одним словом к мартовской книжке непременно приготовлю» [1].

Исправления, внесенные Писемским в текст повести при включении ее в издание Стелловского, носили преимущественно стилистический характер, однако некоторые из них в какой-то мере изменили характеристики основных персонажей произведения. В шестой главе после фразы: «Большая часть этих гостей обращалась с хозяином без всякой церемонии и даже называла его разными родственными именами: дама с бородавками именовала его племянником, худощавая девица — кузеном, нарумяненная дама или девица — кумом, чиновник — сватом, господин, осматривающий ценные вещи,— братом»,— в тексте «Современника» было: «В Иване Кузьмиче, может быть, это хорошая черта, что он не чуждается родных, подумал я, но во всяком случае, ради Лидии Николаевны трудно будет с ними сблизиться, если бы они были только люди небогатые и простые, но они модничают и по своему стараются выказать некоторый тон». В тексте Стелловского это место отсутствует.

---

[1] Письма, стр. 61.

Конец XI главы после слов: «Ночь была лунная» — в тексте «Современника» читался иначе, чем в тексте Стелловского: «Леонид стоял на коленях и молился. Я с полчаса наблюдал его, он все молился, что меня удивило. Я знал, что он богомолен, но чтобы молиться ночью, скрытно от меня — этого никогда не бывало!»

Для издания Стелловского были значительно переработаны заключительные строки повести. После слов: «...разве не за меня он помер» — в «Современнике» было:

> «... и разве я не любила Курдюмова и не люблю до сих пор, и, может быть, в последнее время только твое строгое присутствие, мой добрый друг, спасло меня, что я не пала совершенно и могу еще, что бы про меня ни говорили, просить тебя не презирать меня вместе с другими, и только тень брата, ставшая между нами, дала мне силы отторгнуться от этого человека, припомни, как много и как долго обманывала я всех вас, а ты еще пишешь, что я не виновата. Быть женой твоей я не могу и не стою, моя добрая мать теперь простила меня и позволила быть при ней, она больна, я буду за ней ходить, и приведи бог хоть этим искупить мои проступки...»
>
> Дальше мне говорить, полагаю, нечего; рассказ мой, насколько было в нем задачи, кончен. Лида сама над собой произнесла суд и обвинение, но в заключение я все-таки хочу обратиться к тебе, мой беспристрастный читатель, к тебе, которому искренно, не утаив ничего рассказал эту простую повесть, реши и скажи, положив руку на сердце: виновата ли она?»

В настоящем издании повесть печатается по тексту: «Сочинения А. Ф. Писемского», издание Ф. Стелловского, СПб., 1861 г., с исправлениями опечаток по предшествующим прижизненным публикациям.

Стр. 250. *Доппелькюмель* — род тминной водки.

Стр. 261. *Тильбюри* — одноконный экипаж для двух пассажиров *(англ.)*.

Стр. 269. *«Лобзай меня, твои лобзанья...»* — цитата из стих. А. С. Пушкина «В крови горит огонь желанья».

Стр. 275. *Комераж* — сплетня *(франц.)*.

«Северная пчела» — газета, с 1825 года издававшаяся реакционными писателями Ф. Булгариным и Н. Гречем.

Стр. 292. *Лафарж* — француженка, обвиненная в отравлении своего мужа и осужденная на пожизненную каторгу.

ТЮФЯК

Впервые повесть напечатана в «Москвитянине» за 1850 год (ч. V, №№ 19, 20, октябрь; ч. VI, № 21, ноябрь).

В «Москвитянине» «Тюфяк» не датирован; в издании Стелловского окончание работы над ним помечено 29 апреля 1850 года.

Начало работы над этой повестью относится к концу 40-х годов. В автобиографии Писемский сообщает: «...в 1846 я написал большую повесть «Боярщина» ...но повесть, посланная в «Отечественные записки», была прихлопнута цензурой 47-го года, а между тем я в деревне написал другой уже роман «Тюфяк». Но разбитый в своих

надеждах не послал ее[1] никуда и решился снова начать службу».

Если принять во внимание, что Писемский ошибся в дате,— «Боярщина» была послана в «Отечественные записки» не в 1847, а в 1848 году,— то можно предположительно считать, что по крайней мере вчерне «Тюфяк» был написан именно в этом году.

К весне 1850 года первая часть повести, по-видимому, была уже окончательно отделана. Косвенное подтверждение этому содержится в письмах автора «Тюфяка» к А. Н. Островскому. В письме от 7 апреля 1850 года читаем: «О собственных моих творениях я забыл, хоть они и лежат вполне оконченные»[2]. В письме нет никакого намека на то, что Островский просил у Писемского какое-нибудь из его «творений». Скорее всего именно в ответ на это письмо Островский попросил Писемского прислать какое-либо из его «творений» в Москву. Через две недели (21 апреля 1850 года), после указанного выше письма, Островскому было послано второе: «Посылаю Вам, почтенный мой А. Н., произведение мое на полное Ваше распоряжение. Делайте с ним, что хотите. Я его назвал: «Семейные драмы»; но если это заглавие или, лучше сказать, что бы то ни было в моем творении будет несообразно с требованиями цензуры, или с духом журнала,— перемените, как хотите и что хотите. Роман мой назовите: просто Бешметев, Тюфяк, или каким Вам будет угодно окрестите названием... Я посылаю только первую часть моего романа, но Вы поручитесь редакции, что я вышлю при первом Вашем требовании и вторую, т. е. последнюю часть, которая уже вчерне написана, но не отделана окончательно; а оканчивать ее совершенно во мне недостает силы воли, так как я на этом поприще уже много трудился бесполезно. Но если редакция не доверит и будет требовать второй части, напишите, и я не замедлю ее выслать»[3].

Бесспорно, что просьба Островского дошла до Писемского между 7 и 21 апреля и едва ли раньше, чем за неделю до последней даты. При огромной служебной занятости Писемского он, конечно, не мог за этот небольшой срок приготовить необработанный черновик второй части повести к печати. Вторую часть Писемский обрабатывал летом 1850 года. 27 июня этого года он писал А. Н. Островскому: «Вторую часть я не успею выслать до Вашего отъезда из Москвы; но Вы заверьте редакцию, что я не замедлю выслать и вторую,— пусть она мой роман принимает, цензорует и печатает»[4].

Об идейном замысле повести Писемский высказался в том же письме от 21 апреля 1850 года: «Главная моя мысль была та, чтобы в обыденной и весьма обыкновенной жизни обыкновенных людей раскрыть драмы, которые каждое лицо переживает по-своему. Ничего общественного я не касался и ограничивался только одними семейными отношениями... Характеры моих героев я понимал так: главное лицо Бешметев. Это личность по натуре полная и вместе с тем лишенная юношеской энергии, видимо не сообщительная и получившая притом весьма одностороннее, исключительно школьное образование. В первый раз он встречается с жизнью по выходе из университета и по приезде домой. Но жизнь эта его начинает не

---

[1] Так у Писемского: ее, то есть повесть «Тюфяк». При определении жанра «Тюфяка» Писемский так же колебался, как и в отношении «Боярщины».

[2] Письма, стр. 26—27.

[3] Письма, стр. 28.

[4] Там же.

развивать, а терзать; и затем он, не имея никого и ничего руководителем, начинает делать на житейском пути страшные глупости, оканчивающиеся в первой части безумною женитьбою. Прочие характеры, как я думаю, достаточно объясняют сами себя» [1].

Писемский, работая над «Тюфяком», учел уроки цензурной расправы с первым романом. Если уже само первоначальное заглавие «Боярщины» — «Виновата ли она?» — говорило о социальной заостренности повести и, стало быть, настораживало цензора, то второе его произведение озаглавливалось намеренно нейтрально: «Семейные драмы», «Бешметев» и, наконец, «Тюфяк» С этой же целью — не дать цензуре явных поводов для запрета — Писемский избрал и «нейтральный» сюжет.

В «Боярщине» семейный конфликт явно перерастает в конфликт общественный: в него втягивается не только все губернское дворянское общество, но и губернские власти; больше того — губернатор, решивший удовлетворить просьбу Сапеги, уверен в поддержке министра. Социальная подоснова семейно-бытового конфликта в «Тюфяке» выявляется не с такой прямолинейностью. Действие повести, кажется, не выходит из узкосемейных рамок. Но в действительности те принципы углубления типичности, которые были применены в «Боярщине», применялись и при создании «Тюфяка».

Высказывания Писемского о «Тюфяке» явно распадаются на две части, причем у каждой из них, очевидно, различная целевая установка и различные адреса. То место письма, где усиленно подчеркивается обыденность сюжета, где уверяет Писемский: «...ничего общественного я не касался»,— звучит как инструкция на случай разговора с цензором, а может быть, и издателем «Москвитянина» — М. П. Погодиным. Что касается той части письма, где истолковывается характер Бешметева, то она по своему смыслу диаметрально противоположна первой. Здесь речь идет как раз о том, что причины несчастий Бешметева — в условиях окружающей его жизни, которая не развивает человека, а терзает его.

Цель была достигнута: «Тюфяк» прошел через цензуру, по-видимому, без особых затруднений; 4 сентября Погодин получил рукопись повести [2], а в первой октябрьской книжке журнала она уже была напечатана.

Первые журнальные отзывы о «Тюфяке» были почти все положительными. Обозреватель «Отечественных записок» заявил, что «Тюфяк» — «лучшее произведение по части беллетристики в настоящем (1850.—*М. Е.*) году. В авторе мы видим не просто талант, но талант образованный. Его дар непосредственного представления жизни не скрывает от нас серьезного воззрения на жизнь» [3]. Высокую оценку повести Писемского дал и А. В. Дружинин.

Но уже в первых откликах были высказаны такие замечания в адрес автора «Тюфяка», которые предвещали острую борьбу вокруг произведений Писемского, развернувшуюся в середине 50-х годов. Так, и Дружинин и критик «Отечественных записок» неодобрительно отметили сходство Масурова с героем «Мертвых душ» Ноздревым. По мнению Дружинина, Писемский «испортил» образ Беш-

---

[1] Письма, стр. 27—28.
[2] Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XI, стр. 89.
[3] «Отечественные записки», 1850, т. 73, № 12, стр. 122.

метева тем, что дал ему «вид типа давно избитого»[1]. Дружинин уверял Писемского, что оригинальность характера обусловливается не общественным воздействием на человека, а внутренним развитием психики каждого индивидуума. В заключение своего отзыва Дружинин писал о том, будто в «Тюфяке» отсутствует занимательность. В противовес принципу «просторы вымысла», о котором Белинский говорил, как об одном из основных качеств произведений Гоголя и писателей «натуральной школы», Дружинин выдвинул принцип: «простота подробностей, замысловатость замысла», осуществление которого якобы и обеспечивает литературному произведению непреходящий интерес[2].

Этот же упрек в отсутствии занимательности высказал и Дудышкин в статье «Русская литература в 1850 году». Отдавая должное таланту Писемского, он в то же время обвинял его в излишней критической заостренности его образов. Важнейшим недостатком образа Бешметева Дудышкин считал то, что он, как человек образованный, «не обнаружил способности действовать»[3].

Этой тенденции приглушить обличительный пафос повести Писемского противостоит оценка «Тюфяка» «Современником». Критик «Современника» прежде всего отметил, что «Тюфяк» выгодно отличается от подавляющего большинства произведений, печатающихся в беллетристическом отделе «Москвитянина». Повесть Писемского, по мнению критика, читается «с тем удовольствием, которое редко бывает результатом чтения повестей «Москвитянина». Написана она языком бойким и живым, полна наблюдательности и отличается светлым взглядом автора на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько неподдельного, практического здравого смысла, что автору безусловно во всем веришь и желаешь только одного — чтобы он писал больше и больше»[4].

Среди критических отзывов о «Тюфяке» необходимо отметить напечатанную в «Москвитянине» статью А. Н. Островского, в которой подробно охарактеризовано художественное своеобразие повести Писемского.

После опубликования «Брака по страсти», «Комика», «Богатого жениха» и «М-r Батманова», когда обличительная направленность творчества Писемского в достаточной мере выявилась, А. Григорьев пытался опорочить эту направленность, противопоставив «Тюфяк» всем перечисленным выше произведениям. Григорьев утверждал, что «Тюфяк» в отличие от других произведений Писемского ничего общего с традициями гоголевской реалистической школы не имеет, что Писемский в образе Бешметева высмеивает чрезмерные претензии самолюбивого я[5]. Такая оценка «Тюфяка» была неприемлема для Писемского и могла только ускорить его разрыв с «молодой редакцией» «Москвитянина».

Наиболее подробный и глубокий анализ «Тюфяка» сделан Д. И. Писаревым в его статье «Стоячая вода», написанной в связи с выходом в свет первого тома сочинений Писемского в издании Стелловского (1861). Писарев убедительно показал, что правдивая картина жизни дворянского общества, нарисованная Писемским в

---

[1] «Современник», 1850, № 12, стр. 204.
[2] Там же, стр. 207.
[3] «Отечественные записки», т. 74, январь, отд. V, стр. 25.
[4] «Современник», 1851, т. XXV, стр. 73.
[5] «Москвитянин», 1853, № 1, январь, стр. 27—32.

этой повести, неизбежно приводит к мысли, что «так жить, как жило и до сих пор живет большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшего порядка вещей и когда не понимаешь своего страдания»[1].

Текст «Тюфяка» в сборнике «Повести и рассказы», изданном в 1853 году М. П. Погодиным, почти идентичен журнальному. В него внесено лишь одно заметное изменение. В отличие от журнального текста, делившегося на две части, с отдельной для каждой части нумерацией глав (часть первая — главы I—X; часть вторая — главы I—IX), в «Повестях и рассказах» деление на части отсутствует, нумерация глав единая· I — XIX.

При подготовке текста «Тюфяка» для издания Стелловского Писемский не внес в него существенных изменений, ограничившись заменой некоторых слов и выражений. В этом издании повесть делится не на 19, а на 20 глав. Увеличение произошло за счет разделения главы IV «Павел» на две главы: IV, с сохранением старого названия, и V — «Неожиданная встреча».

В настоящем издании повесть печатается по тексту «Сочинения А. Ф. Писемского», издание Ф. Стелловского, СПб., 1861 год, с исправлениями опечаток по предшествующим прижизненным публикациям.

Стр. 315. *Депансы* — издержки, расходы *(франц.)*.

Стр. 322. *«Коварство и любовь»* — трагедия немецкого поэта И. Ф. Шиллера (1759—1805).

Стр. 330. *«Что ты, ветка бедная...»*—романс на слова И. П. Мятлева (1796—1844).

Стр. 340. *Изделие Жукова* — дешевый табак фабрики Жукова.

Стр. 407. *Елисейские поля* — страна, где пребывают души умерших героев и праведников (греч. миф.).

Стр. 446 *...и бурша, и кнастер, и медхен* — и студенчество, и табак, и девушки *(немец.)*.

Стр. 460. *Сен-Жерменское предместье* — район Парижа, где проживала аристократия.

Стр. 461. *«Лючия»* — опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламермур».

«Фра-Диаволо» — опера французского композитора Ф. Обера (1782—1871).

---

[1] Д. И. Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 189.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ
Собрание сочинений
в 9 томах. Том 1.
Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.
Оформление художника Г. И. Фишера.
Технический редактор А. Ефимова.

Подп. к печати 19/I 1959 г. Тираж 236 000 экз. Изд. № 131. Зак. 2571.
Форм. бум. 84×108 1/32. Печ. л. 24,8+5 вкл. (0,51 п. л.). Бум. л. 15,12.
Уч.изд. л. 28,75.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.